



Леонид МИХАЙ

ДУХ и ПЛОТЬ



Ex Libris





Леонид МИЛЬ ДУХ и ПЛОТЬ



РОМАН

«Ex libris»

Издательство
Советско-Британского
совместного предприятия
СЛОВО/SLOVO

Москва • 1992



ББК 84Р6
М60

Портрет автора работы
Стасиса Красаускаса. 1973 г.

Художник
Вл. Медведев

М 4702010201—073 Без объявл.
Ш67(03)—93

ISBN 5-85050-325-0

© СП «Слово», 1993
© Вл. В. Медведев, оформление, 1993

КОРОТКО О РОМАНЕ

Я не собирался писать его. Да, я испытывал постоянный и неутолимый интерес к Григору Нарекаци, когда переводил его «Книгу скорбных песнопений», и утолял этот интерес, узнавая все, что мог, о нем, о его среде, о времени. Как-то само собой произошло, что я стал жить в двух временах, причем гораздо содержательнее — в том, отдаленном тысячелетии. Но вот я перевел «Книгу...», и надо было полностью переключаться на сегодняшнее. А я не сумел. Тот мир не отпускал меня. И я начал еще внимательнее в него вглядываться. Григор, его отец, братья явились мне во плоти. Ничего иного не оставалось, как писать о них. Но я очень боялся что-то выдумать, нужна была правда. А правды не получалось. Примерно полгода я маялся за этим сочинением, заполнял, перемарывал и выбрасывал страницы. Люди, о которых писал, не принимали меня в свое общество. И вдруг осенило: надо, чтобы кто-то из них придумал меня. Это сделал дядя Григора, вообще большой выдумщик. Так в романе появился иудей, часто бывающий в Эчмиадзине. И дело двинулось.

Это не исторический роман, хотя быт тогдашних людей я старался передать как можно точнее. Но сам-то человек по сути своей все тот же: он по-прежнему мечется между добром и злом, он почти одновременно разру-

шает и творит или, по выражению Нарекаци, грешит и кается. Для меня не существует евангелической свободы выбора. По-моему, человек от начала и до конца задан Богом. Что касается времени, то у нас нет другого, есть только свое. Вот почему я, находясь в прошлом, невольно наделял его нынешними качествами.

Больше всего мне хотелось бы, чтобы читатель узнал в этом повествовании себя и чтобы оно подарило ему радость той полной жизни, какую жил я, когда писал.

Автор



КНИГА ПЕРВАЯ





АРХИПАСТЫРЬ

В первой молодости время часто представлялось ему строптивым, упершимся ослом, и тогда он в сердцах понукал его. Годам к двадцати пяти он заметил, что время совсем не нуждается в понуканиях, а после тридцати оно помчалось опрометью. С недавних пор стал его донимать сон: время так летит, что он еле успевает стричь ногти — на одной руке острижет, на другой опять отросли, и, кроме стремительно растущих ногтей да вороха обрезков, он ничего не видит и не знает. Вот и здесь, в тесной пещерной келье, он очнулся в поту от мерзкого наваждения и как продолжение его ощутил затылком шероховатый сор.

Пригибаясь под низким сводом, Григор поднялся, вздернул рясу, чтобы не наступить на подол, подпоясался и, отведя локтем прикрывавшую лаз козью шкуру, выбрался из пещеры.

Справа, где темнота начинала редеть, виднелся гребень хребта. Но море еще только слышалось, выделяясь из всего безмолвия шелестом, напоминавшим шумок дождя. Слева, в часе ходьбы, брезжил маячный огонь на верху южной, самой длинной крепостной башни монастыря, тоже пока незримого. Подумалось, что для путников, которые не ведают о существовании Нарека, маяк мелковат и вблизи — не маяк, а тусклая звездочка.

Осторожной ощупью Григор спустился с каменистого взгорка к берегу, постоял в сырой мгле; потом быстро скинул одежду, зашел в воду и, захватывая со дна песок, принялся растираться. Он был чистоплотен, притом что не брезглив, своя нечистота

раздражала его пуще чужой. Засоренность, затхлость кельи вчера не мешали ему, но за ночь стали его собственными, и теперь он, как мог, вымывал их.

Пещерных келий в окрестности насчитывалось до полусотни. Эту (она была предоставлена ему на неделю) занимал отшельник Акоп, известный не только в здешней округе. Посещавшие Нарек обычно посещали и отшельника. Акоп с одинаковой ровностью принимал всех, и знатым посетителям его невозмутимая ровность нравилась не меньше, чем самым убогим. Было в Акопе такое, что пусть и ненадолго, а все-таки вышибало из любого привычку унижать и унижаться.

В Нареке известность Акопа мало кого радовала: пещерник, хотел он того или нет, убавлял значимость обители. Случалось, что вельможные паломники, лишь вытребовав проводника к Акоповой келье, проезжали мимо Нарека. Акоп в монастырь не заглядывал, хотя когда-то учился в монастырской школе. Его невнимание тоже задевало нарекцев. Но Акоп вел истинно отшельническую жизнь, придаться к нему было не за что. Приходилось довольствоваться речами о дикости мирян, которые ставят монаха-недоучку выше, чем монастырь, столько делающий для просвещения всего царства. Не молчали, разумеется, и остряки. Те изошщались в насмешках над Акопом: называли Большим Грязнышом за строгое соблюдение обета не тешить себя умыванием и в келье не прибирать; говорили, что и он создан из праха земного, который в самый раз для неопрятной души. И действительно, за время отшельничества Акоп так оброс грязью, что казался из нее вылепленным. При его образе жизни этот панцирь был нелишним и для плоти: в теплую пору защищал от гнуса, а зимой — от задувавших с моря свирепых вихрей. Но месяц назад, в середине лета, Акоп простудился, стал гулко и надсадно кашлять и не мог уже являть собой ничем необоримую праведность желавшим увидеть ее паломникам. Хворь поколебала и его душевное здоровье. Он начал заговариваться, а порой, в перерывах между затяжными кашельными приступами, выкрикивал крепкие и замысловатые ругательства. В монастыре рассказывали, что на одного старенького, едва держащегося на ногах паломника Акоп рявкнул: «Ты меня, дьявол, не тронь, а я тебя все равно трону!»

Григор вспомнил, как, слушая анекдотец, снисходительно посмеивался вместе с другими, так же усмехавшимися монастырниками. Да, и он из них, из нарекских, из повышенно самомнительных. Хотелось же ему сходить в Акопову келью, повидать нынешнего Акопа, а не шел — не пускало сидевшее и в нем самодовольное «мы».

Только когда отшельника удосужились наконец привезти в монастырь, Григор позволил себе удовлетворить это давнее любопытство. Он смотрел, как Акопа отпаривали в бане, как сколупывали с него бурую корку, из-под которой вдруг залоснилась гладкая, совсем молодая кожа, как на предплечьях и груди бугристо захо-

дили мышцы,— смотрел и думал: вот странное дело — всю жизнь умерщвлял человек свою могучую плоть и, похоже, как раз этим и отсрочил омертвление.

Когда его растирали волосяной холстиной, Акоп пришел в чувство, потрогал себя, оглядел присутствующих и, благодарно улыбнувшись, выговорил сиплым голосом: «Спасибо». Он приподнялся на лавке, но тотчас затрясся в ухажющем кашле, развел винновато руками и снова лег. Бывший здесь же игумен Ованес, старший брат Григора, сам натянул на больного шерстяные подштанники, носки и рубаху и велел поместить Акопа в лучшей гостевой комнате. Примечательно, что еще до этой начальственной заботы едва ли не все в обители по-доброму отнеслись к Акопу, неожиданно избавясь от прежней к нему неприязни. Впрочем, что удивительного? Большинству людей добрые побуждения приятнее, чем недобрые.

Григор знал Акопа с детства. Оба поступили в монастырскую школу одиннадцатилетними и в один день.

Было 30 сентября 959 года.

Няня разбудила его раньше обычного. На подоконнике ворковали голуби, неповоротливые, мягкоклювые и, должно быть, потому миролюбивые создания, которых он кормил с ладони несмотря на то, что презирал за незащищенность и зависимость. «Урчат до чего настырно, попрошайки!» — успел он подумать и перестал их слышать: припомнил вчерашний разговор с отцом... Уф! Плохой разговор, скверный... На спинке стула висело иноческое одеянье. Няня с бесстрастным лицом, словно бы ничего особенного не совершая, расправляла складки на этом, как называл его Григор, панихидном наряде.

— Доброе утро, Григорик,— проговорила она спокойно, даже суховато.

Он натянул на голову сбившуюся простыню и отвернулся к стене.

— Поздно уже, сынок, пора вставать,— объявила она тем же спокойно-суховатым голосом.

Это была крупная, осанистая женщина, светлоглазая и с белесыми, почти бесцветными волосами. Родом она была из северной, очень далекой страны, жители которой, как она рассказывала, чуть ли не круглый год ходят в меховой одежде. В Ване зимой тоже случались и застаивались холода; вьюжило, наметало сугробы. Няне ванская стужа была нипочем: никакой одежды, кроме легкого платья и поверх — только в трескучий мороз — платка, она не надевала. Домашние говорили, что зимой на нее взглянуть зябко. В доме все так и звали ее — Няней. Присмотревшему ее на рынке отцу Григора, священнику Хосрову, трудно было выговорить имя рабыни. Хосров купил ее у заезжего франкского купца, а тот — у соотечественника, высокородного рыцаря. Этот продавец Няни направлялся со своими ратными людьми на богомолье в Святую

Землю и по дороге разграбил владенья замечательно богатого, по Няниному свидетельству, эмира, в гареме которого она находилась в качестве диковинного украшения. Вдоволь всякого повидала она, прежде чем очутиться в Ване, однако рассказывала преимущественно о том, как ее продавали и перепродавали.

Рабыня оказалась домовитой, расторопной; она была с умом и характером и — как-то само это вышло — взяла в доме большую власть. Нянино первенство в хозяйственной сфере признала не только уступчивая госпожа — перечить Няне остерегался и своевольный, не терпевший ничьей указки Хосров; слушались ее, рабу, и гордые своим положением в доме свободные слуги. Такое объяснялось не одним лишь Няниным нравом — властвуя, распоряжаясь, она преданно служила всем домочадцам. С расширением ее полномочий вкусней и разнообразней стала еда (появились чужеземные яства, за которыми Няня сама отправлялась на рынок и, закупая их, искусно сбивала цену), был заменен шедший вокруг второго этажа гнилой балкон, была утеплена пристройка, где размещалась низшая челядь. Сидеть сложа руки Няня не умела и вечно выискивала занятие себе и другим. Порой ее предприимчивость производила впечатление чрезмерной. Однажды надумала она переставлять мебель, и поднятые спозаранок слуги принялись по ее указаниям передвигать всю обстановку. Но когда работа была закончена, выяснилось, что вещи заняли именно свои места. Да и все в доме упорядочилось, упрочилось при Няне. Вот почему ей многое сходило с рук: и резкость обращения, и то, что она, выросшая в духовном невежестве, упрямо оставалась меднолобой язычницей, и даже то, что по ночам водила в епископский дом любовников, с которыми заводила знакомства на рынке.

При вызывающей необычности — в каком еще знатном столичном доме хозяйничала безбожная и бесстыжая раба? — это был чрезвычайно основательный дом. Два хозяина вели его, и первый, Хосров, лишь изредка, и притом очень осторожно, направлял, но никогда не проверял Няню, и вправду нянчившую, пестовавшую целый дом. Однако душою дома, средоточием его жизни был для Няни рано осиротевший Григор. Он родился хилым, болезненным; в пору младенчества особенно часто нападала на него густая яркочерная сыпь, которую он расчесывал до крови; и мать, уже неизлечимо больная, в таких случаях совершенно теряла голову. Няня с помощью опытного лекаря разобралась, что ребенок переносит не всякую пищу, а также что его непременно надо закаливать. Поспорив с матерью и переспорив ее, она взялась по утрам обтирать ребенка сначала комнатной водой, а потом и холодной, остуженной в погребе. Года через два болезни и болячки от него отвязались; он покрупнел и стал проворно вытягиваться, сделавшись, по Няниному выражению, «страх каким прогонистым». Рослый светловолосый мальчик (она примечала в нем сходство с собой; действительно что-то общее в них появилось) был ее всегдашней тревогой и утешением. Ему она позволяла и прекословить и дер-

зить. Сквернейшие его выходки Няня обычно сносила молча. Да и легче было обуздать его терпением, мягкостью, чем угрозами и нагоняями. А сейчас она заранее сучала.

— Послушай, Григорик,— сказала она, решив подступиться к нему иначе,— разве тебя принуждают схиму принять? Ты едешь в Нарек учиться.

Григор откинул простыню. На Няню он и не посмотрел. Взглянул на подоконник, где здоровенный, раскормленный голубь урчал, топорщил крылья и отпихивал других, помельче. Григор поморщился, отвел взгляд и вдруг быстро-быстро заморгал — точно кому-то подмигивая.

«Учиться!» С этого же вчера начал и отец. Но Григор ходил в школу при главном в городе храме святого Фомы и понимал, что не на учебу едет. Уже монашествовал в Нареке старший брат Ованес. И вот силком и обманом туда же заталкивают и его. Воином, мореплавателем, охотником на барсов, даже уличным лицедеем представлял себя Григор, только не монахом. И оттого, что его обманывают и неволят, что до его воли ни отцу, ни ей, рабе зазнавшейся, дела нет, в нем наливалась безбоязненная, безоглядная к ним ненависть. «Столковались, спелись и врут, врут, врут...» — распаляя себя, повторял он мысленно.

— Ага,— заговорил он вполголоса,— учиться еду. Мало, что отец морочил меня. Тебе-то мое монашество зачем? Ты ведь своим болванчикам-истуканчикам поклоны бьешь. А?.. Никому я здесь не нужен, да-да, не то что ты, раба, за которую всякий на рынке отдаст,— бахвалишься без передышки! — всё, что имеет, и столько же приплатит. А я, значит, ничего не стою? Тогда и впрямь, зачем я здесь?

Говоря это, он не сводил с нее моргающих, точно подмигивающих глаз, едва ее различая.

— Зачем? — взвизгнул он и подскочил к ней с поднятым кулаком. Няня зажмурилась, однако не сошла с места.

Удара не последовало. Но держать в себе такую ярость было невыносимо. Он лихорадочно осмотрелся, углядел на тумбочке календарь, остервенело схватил его и принялся отдиравать листы с ликами святых мучеников, плюя на них и гадко, по-взрослому, ругаясь.

Покончив с календарем, он проводил взглядом последний, налетевший на угол комода лист и злорадно выкрикнул:

— Что, получил? Так тебе и надо!

И тут он услышал Нянин голос:

— Ай, монашек, так монашек, ну и монашек!

Няня вперевалку, как громадная гусыня, передвигалась на коротких, сгребая плотные желтокожие листы. «Не простит!» — просверкнуло в нем обжигающе. «Почему же? — сразу спросил он себя. — Чего только не прощала...» — «Нет, — ответилось, — я бы не смог». Но словно кто-то другой небрежно проронил: «А она сможет». Да, сможет, он знал это наперед, нисколько не сомневался. «Господи, какая ж я дрянь!» — чуть было не вскрикнул он вслух.

Впервые в жизни окатило его презрение к себе, сознание собственной низости.

— Я их склею,— пробормотал он.

Но Няня, успевшая собрать листы, по-прежнему, с короточек, повторяла:

— Ай монашек, так монашек...

— Ну что ты заладила! Склею, слышишь?

— Склеишь, конечно, склеишь, Григорик.— Она поднялась и сочувственно, очень-очень понимающе взглянула на него.— Ты у меня самый хороший, самый славный, и все тебя любят. Успокойся, сынок. Разве можно так горячиться? Разморгался опять. Виски небось опять свербят...— И уже ворчливо зачастила: — Ты бы голубей покормил. Вон как разгалделись. Осень, корма кругом полно, а они попрошайничают. Говорила тебе: только зимой подкармливай. Им без тебя не прожить, у них клювы вдвое окоротели. Велю-ка Атому-лежебоке переловить для жарки. Не пропадать же им...

Он слушал полуслыша. Такое же иступленное, как только что выплеснувшееся бешенство, плескалось в нем сожаление. Молча, не глядя на Няню, он открыл дверцу комода, зачерпнул в ящике гречишного зерна и, подойдя к окну, протянул руки этим неумело, небольно колотящим друг дружку крыльями и хвостами, сладострастно воркующим тучным птицам.

— Во-во, дождались лоботрясы своего спасителя-вседарителя,— явно сводя счеты за болванчиков-истуканчиков, забурчала Няня.— Побалуй их напоследок. Исхудали постники, дальше некуда.

Не оглядываясь, он улыбнулся ей и спиной ощутил теплоту ответной ее улыбки.

Григор вышел на берег. Мокрая кожа уловила струение воздуха с юга. Днем снова будет пекло. Он отложил сорочку, надел рясу. Чистое тело и одежду освежило. Пожалуй, и хорьковую вонь переберет эта обильная содой вода. Наслаждение — купаться в ней. Мягкая, шелковистая, она ласкает, как ласкают касания нежной плоти.

Возвращаться в келью не хотелось. Он сел на гладкий валун и повернулся лицом к растущему в небе свету. Сумерки пятились, расступались, и он вдруг ясно почувствовал неповторимость и продолжительность нарождающегося дня.

День заполнялся вскриками ранних птиц, всплесками рыбы, стрекотом насекомых. Вода стала голубоватой, берег, вызолоченный долгим зноем, зажелтел, и прямо перед Григором, на стыке воды, земли и неба, взблеснул краешек солнца.

В эти минуты в обители начиналась утренняя. Он любил в ней участвовать. Ему нравилось слышать, как его несильный голос, поддержанный другими, постепенно крепнет, густеет и сам усили-

вает гудение хора, на утрени небольшого — десять — двенадцать певчих. Они с Ованесом становились по разные стороны алтаря и вместе со всеми изливали, переливали из сердца в сердце бес-смертную, нестынную кровь Давидовых псалмов.

Церковь поутру пустовала; заходили лишь несколько крестьян, доставивших в монастырь продовольствие. Темные от загара и пыли, они вставали возле узорчатой решетки перед амвоном. Служба шла на книжном, малопонятном им языке; они схватывали редкие слова, но это ничуть их не удручало. Торжественное великолепие храма, раскачиванье и позвякиванье золотого кадила, из которого вырывались душистые облачка ладана, таинственные перемещения вокруг алтаря монахов, как бы не поющих, а переговаривающихся с небом, — в этом для них, живого монастырского имущества, было неоспоримое наличие благодати и верный залог блаженств, обещанных добродетельным в послеземной жизни. Но почти всегда находился среди них хоть один нетерпеливый, не могущий ждать. Такой простирает к певчим похожую на плохо вымытую миску горсть и всем своим видом заклинал: «Плесните и мне чуточку благодати, куда вам столько!»

Григор встряхнул сорочку, перекинул ее через плечо и зашагал к келье. Она была гораздо старше монастыря, построенного полвека назад. Могилы отшельников у подошвы холма вполне можно было назвать кладбищем. Он насчитал дюжину базальтовых плит, которые свидетельствовали, что келье — лет четыреста: отшельники живут долго. Зато Нарек вправе гордиться более древнею родословной. Когда-то стояла на его месте пуста, где монахи былых времен, следуя строгому уставу Василия Великого, сообща трудились, все делили по-братски, удовлетворялись тем, что сами производили. Для некоторых и это подвижничество было недостаточным; они уходили из обители и селились в безлюдных урочищах (видимо, кто-то из них обжил и эту пещеру), становясь столпниками, молчальниками, грязнышами. Если не случилось какой-либо напасти, лишь исповедаться являлись они в монастырь, когда такая потребность у них возникала. Но и тот Нарек, — говорят, что персы его разрушили, — не единственный предшественник сегодняшнего: рывшие котлован землекопы вырыли бочкообразный языческий алтарь. Вероятно, еще во времена Аршакидов¹, а может, и раньше люди сочли подходящей для святилища вогнутую каменистую ладонь, которую суша протянула морю, эту величественную и уютную местность.

Ему захотелось пить, и он взобрался на макушку холма, к тутовнику, где был родник. Деревья уже обросли спелыми, сероватыми орешками, основной пищей Акопа в те дни, когда паломники не приходили. Вспугнув воробьев, Григор протиснулся между стволами на прогалину, в середине которой булькал родник,

¹ Парфянская династия, правившая Арменией в I—III веках. (Здесь и дальше примечания автора.)

заботливо обложенный камнями. Он перегнулся через них к серебряной ямке и, напившись, вновь освежил голову и шею. Возвращаться в келью желания не было, однако время утренней молитвы иссякало, и он, пересилив себя, спустился к пещере.

Перед входом в нее чернело кострище, над которым в складке глыбистого навеса лежали камень и тщательно обточенное, удобное для руки огниво. Акоп еженощно разводил костер после того, как прошлым летом к нему наведалься гигантский медведь. Лаз для зверя был узок, к тому же Акоп перед сном всегда приваливал к лазу камень (в окрестностях порядочно хищной живности), но медведь, отвалив помеху, почти сутки слонялся у пещеры, норовя уцепить лапой припадавшего к стенке Акопа. Предупрежденный им о медведе, Григор в минувшую ночь костра, однако, не жег: в келье и без того духотища.

Справа от входа зияла глубокая впадина. В ней отшельник хранил заготовленные на зиму съестные припасы. Сейчас в ней было пусто.

Козья шкура — достояние Акопова предшественника — с петлями из туго скатанных и продетых сквозь мездру завитков меха висела на толстой веревке, которую тот сплел из своих волос. Вербка держалась на воткнутых в расщелины кольях. Григор выдернул их, чтобы впустить в пещеру свет и, главное, воздух. «Задним умом крепок», — сказал он себе, когда изнутри жарко дохнуло затхлостью.

В правом углу пещеры лежал длинный нож с наборной сердоликовой рукоятью, по ее винтовому желобку шла золотая цепочка, а венчала ее голова барса из цельного массивного сердолика. Нож подарил Акопу курдский хан. Он принял в Ване христианство и, решив по дороге домой завернуть к знаменитому отшельнику, остался доволен душеспасительной с ним беседой. Взамен у Акопа он попросил мелкую монету либо отдарок. «Иначе поссоримся», — объяснил подверженный суевериям хан, — ножи поэтому и не дарят открыто, а для виду продают или обменивают на что-нибудь острое». Монеты у Акопа не оказалось. За нож пришлось отдать топор, которым он рубил хворост и который для этого дела подходил лучше ханского подношения.

Основное пространство кельи занимал алтарь — столешница с крестом, выдолбленные в стене, — словно бы из нее выдвигающиеся. Алтарь был незатейливый, грубый. Перед ним на свободном от сора приступке колени пещерников оставили две продолговатые вмятины.

Больше в келье ничего не было, даже кувшина для воды.

Акоп поселился здесь весной 966 года, когда прежний обитатель кельи, дряхлый старик, ушел в Сюникское царство, откуда был родом. В монастыре об этом узнали от крестьян, у которых он в пути побирался, и не слишком удивились: случилось и худшее с

ревностными подвижниками. Этот изводил себя одиночеством, никогда не подпускал к пещере, но в конце концов тоска по людям завладела им, и люди не осуждали старика, а подкармливали, выслушивали его темные, путанные речи и жалостливо покачивали головой.

Акоп, в ту пору необщительный восемнадцатилетний парень, вызвался занять опустелую келью.

Он был сыном известного в Ване сребродела, нужного монастырю. Но особы куда поважней стремились дать образование своим детям в великолепной Нарецкой обители. Большинство школьников относилось к сыну ремесленника с нескрываемым пренебрежением. Акоп понимал, что он не ровня никому из них, даже самым скромным, и сторонился всех. Им же стало казаться, что это он неведомо почему заносится, и, думая так («У, смерд высоконосый!»), они по любому поводу задевали его, а случалось — и поклачивали. Впрочем, скоро поутихли: руки у него уже тогда были бугристые и увесистые, задирам тоже попадало. От обидчиков Акоп избавился, однако друзей в Нареке не нашел. Да и не искал. Учился он поначалу с трудом, два класса одолевал четыре года, зато к середине обучения выправился настолько, что преподаватели выделяли его среди одноклассников. От них он заметно отличался и тем, что никогда не уваливал от обязательной для учащихся физической работы. В свободные часы он бродил по окрестностям, порой уходил очень далеко (никто не интересовался — куда и зачем) и, встречая кого-нибудь из монастыря, или из монастырских селений, или незнакомых путников, старался поклониться первым, но первым не заговаривал.

В ту весну Акопу предстояло вернуться домой. Зажиточный серебряник широко поставил свое предприятие, нанял подмастерьев и не собирався приставлять грамотного сына к точильному станку. Видясь с Акопом, он обстоятельно внушал ему, что тот должен постичь господские премудрости, чтобы достойно, прибыльно вести дела с господами из духовного сословия. Акоп выслушивал отца молча, как бы соглашаясь, и прилежно доучивался.

Однажды, в пасхальное утро, после завтрака, он подошел в трапезной к настоятелю Анании, еще молодому человеку с холемой, рисунчатой растительностью на лице и веселыми, лукавыми глазами. Низко поклонясь, Акоп изложил свое намерение.

— Зачем тебе это? — полюбопытствовал настоятель.

— Хочу жить среди мирян, — кратко и для одного себя понятно ответил Акоп.

— Что за вздор, какие миряне ждут тебя в пещерной келье? — изумился Анания. — Старик там не высидел, заскучал. А ты вон какой молодчина. Ты в пещерку и не протиснешься.

Акоп, в свой черед удивленный непониманием ясного как Божий день, пояснил:

— Я говорю о паломниках, преподобный отец. Я хочу им проповедовать.

— Ах, проповедовать хочешь? — вдвое повеселев глазами, переспросил Анания. — Как же я сразу не смекнул? Вот тупица! Проповедовать... Ну конечно. Просто-то как... А я, представь, тебя молчуном считал. (Легкие смешки залетали по трапезной. Разговлавшиеся после Великого поста нарекцы были не прочь позабыться.) И что же ты проповедовать намереваешься?

Кто-то, из мгlistой глубины помещения, живо опередил Акопа:

— Что молчание — золото!

За спиною Акопа кто-то подхватил радостной скороговоркой:

— Что не стыдно помолчать, когда нечего сказать!

Одиночные смешки сплелись в целостный смех. Полутемный зал заворочался, заколыхался.

— Что надо беречь душу, — вымолвил наконец Акоп, смущенный веселостью настоятеля и тех, кто его веселость с готовностью поддержал. — Душу надо беречь, а люди забывают об этом. Я тоже забываю... — Он запнулся, словно и вправду о чем-то забыл, потом заговорил снова, не обращая уже внимания на всплески веселого шума: — Мы, забывчивые, ведем себя не очень разумно, когда не бережем душу. Пачкаем ее, портим. А еще от такой небрежливости заводится в душе заразная порча и передается даже чистейшим душам. Это — как поветрие, от которого тяжело уберечься, потому что души трутся друг о дружку пуше, чем тела. Через это земное зло и плодится вовсю... Такое мое, может статься, немудрое разумение.

— Вот оно что... — И Анания расширенными, колюче сверкнувшими глазами выхватил из зала веселые лица (были и серьезные, заинтересованные), будто этих веселых лиц было не десятка три, а всего-навсего одно, причем до крайности ему неприятное. Смех и посмеиванье тут же смолкли. Анания спросил Акопа: — Ты у отшельников бывал?

— Бывал.

— У кого, назови.

— Если не считать затворников, я побывал у всех в нашей окружности и востанской. У Малахии, Пимена, Размика, Филательфа...

— Какой обет решил взять?

— Обыкновенный. Мыться не буду. И не только, чтобы не тешить плоть. Пускай скверна, которую в любое время можно смыть, напоминает видящим о другой, несмываемой.

— То есть как это несмываемой? А на что, по-твоему, покаянье?

Тут усмехнулся Акоп:

— Лиса покаялась — стерегите кур!

— Ладно, ладно, — сказал Анания, морщась и вставая. — Пойдем-ка отсюда, потолкуем немного.

Настоятель взял Акопа за локоть, и они, прошагав между длинно тянувшимися столами, вышли из трапезной.

Монастырники во дворе встретили их недоуменно-внимательными взглядами. Один из главных людей обители, ризничий Месроп, видный мужчина, одетый в роскошную, с серебряным шитьем, лиловую рясу, направился к ним, однако на полпути был остановлен поднятой рукой настоятеля.

— Здесь и словечком перекинуться не дадут,— сказал Аняния и, вновь ухватив Акопа за локоть, повел к воротам.

Проследовав мимо скамьи с дремлющим привратником, они обогнули крепостные сооружения и вышли на тропу к морю — тоже дремотному, безмятежному.

— Послушай-ка,— заговорил Аняния,— об уходе старика меня известили позавчера. Надо полагать, ты узнал об этом не раньше. Так?.. Так. Верно ли я понимаю, что два дня назад намеренье твое было, как говорится, лишь молочной спелости? Ведь пустых пещер кругом хоть отбавляй.

— Твое понимание не совсем верно, преподобный отец. Сперва хотел доучиться. Что до этой кельи, то она подходит мне больше прочих.

— Чем же она тебе приглянулась?

— Она ближе всех к проезжей дороге. Паломникам проще добираться.

— Действительно... Гм, похоже, что старик нарочно поселился в ней, чтобы искушение было постоянным... Да, тебе эта келья тоже годится, хотя замыслил ты вовсе иное.

Аняния с интересом глянул на вспорхнувшую у его ног крапивницу и как бы рассеянно спросил:

— Кто твой духовник?

— Отец Месроп.

— Ризничий?

— Он.

— Ты на исповеди открыл ему свое намеренье?

— Открыл. Но — может, я и ошибаюсь — показалось мне, что он не услышал меня.

— Если это и так, не осуждай отца Месропа. Забот у него столько, что другой бы совсем голову потерял.

— Я не осуждаю.

— Это хорошо. Ну что же: как говорится, в добрый час. Я, конечно, не всеведущ, но полагаю, для себя ты избрал стезю правильную. К тому же твое отшельничество может принести пользу монастырю. И не только монастырю.

Акоп вопросительно посмотрел на него. Они шли уже берегом моря, которое в этот тихий, мягкий день словно бы перетекало в небо — такое же прозрачное и непроницаемое.

— Но очень уж ты молод,— продолжал Аняния.— В твоём возрасте отшельничать особенно тягостно. Не знаю, какую тебе представляется жизнь в пещере... Ты подумал, что следует хотя бы маленьким хозяйством обзавестись? Нет? И напрасно. Подумай. Ты ведь столпника Махахию видел. Разве скажешь о нём: Божий

образ? Ему впору не столпничать, а пугалом в огороде стоять. Поэтому сходи в пещеру, прикинь, чего там недостает. Все, что понадобится, возьмишь у отца эконома. Исповедь буду принимать у тебя сам, дважды в месяц. Кстати и отъесться, отогреться сможешь. Уговорились?

— Спасибо за твою заботу, преподобный отец. На исповедь приходите буду.

— Подумай и о вещах обиходных,— настойчиво сказал Анания.— Надо рассчитывать силы, чтобы не получилось, как овчары говорят: пошел за шерстью, вернулся стриженным. Так-так...— Анания окинул его оценивающим взглядом.— Сдается мне, что отшельничать ты идешь и потому, что не всё и не все в обители тебе по нраву. А? Ты, похоже, из тех иноков, которым по душе монашество в его стародавнем виде, для которых образец монастыря — пýстьнь, где вся братия без передышки творит молитву, пашет, сеет и жнет. Так ведь?

— Не знаю, что и сказать, преподобный отец,— не уловив насмешки, простодушно отвечал Акоп.— Ты будто читаешь в моем сердце... Не знаю. Я в пýстыни никогда не бывал...

— А я бывал. Разруха, заброшенность, одичалость — вот что там. Тамошние монахи серые, полуграмотные, нелюбознательные, они и в Святом Писании несведущи. Что они могут явить мирянам? Праведность? Чувь это, бредни! И в пýстыни люди — все те же люди. И там глотают слюни от зависти, строят козни, подкапываются друг под дружку. И там тлеет жажда наслаждений, разгорается похоть. А сколько в них тщеславия! И до чего оно безобразно, это тщеславие в лохмотьях, настороженно озирающееся по сторонам! Как отвратительна боящаяся дневного света чванливость невежд! А ведь мирян они просвещают, наставляют на путь истинный, «вот он», указывают. Но глаза у них, когда глядят на тебя, так и взывают: дай хоть что-нибудь, не сквалыжничай, имей совесть!.. Сказать тебе, в чем их главное отличие от обыкновенных нищих? В том, что, требуя подачек, они и уважения требуют. А как ты думаешь: почему?.. Во-первых, каждому охота, чтобы его уважали. А во-вторых, и одновременно тоже во-первых,— чем больше их уважать будут, тем больше подадут.

— Прости, преподобный отец,— вставил Акоп, высвобождая локоть, больно стиснутый пальцами настоятеля,— неужели в пýстыни ты не увидел ничего, достойного похвалы?

— Должно быть, не успел,— усмехнулся Анания,— я там и двух дней не мог высидеть: вши заедали. Ты пойми меня верно. Я ведь не ополчаюсь против этих братств. Они — предтечи наши. И ведь не мы поносим пустынников,— что ты! — разве можем мы позволить себе такое, да и к чему нам? — а они обличают нас в нечестии. Мы же громко и на все лады восхваляем пýстьнь. А все потому, что она — там, в основании нашем. Однако безумием было бы рубить цветущее, полное жизни дерево, чтобы посадить его

комлем кверху. Но ты поразмысли: неужто нам все досталось за так, за одни прекрасные наши глаза?

И он торжествующе воззрился на Акопа светло-голубыми и в этот миг в самом деле прекрасными глазами: излучающими теплый, ласковый свет.

— Нет! — победно воскликнул он и, снова ухватив за локоть Акопа, потянул его, недоумевающего и растерянного, дальше. — Не за глаза наши прекрасные, а за ум и силу. Кто, как не мы, были едины, когда арабы вспрыгнули на армянский заговор? Кто, как не мы, превратили наши обители в воинские твердыни? Это у нас, вон там (он показал глазами на маячащее в морской лазури пятнышко), на Ахтамаре, основал Гагик Арцруни свою военную столицу и стал бить арабов. А сколько нам понадобилось терпения, чтобы замирать его с Багратидами, потому что без них ввек бы ему нехристей не одолеть... Ты слушай, слушай меня. Ты ведь не просто армянин, ты ванский армянин. Здесь осели пращуры наши, вышедшие в незапамятные времена из Вавилона... Здесь рождалась та Армения, берега которой тремя морями омывались... Тремя морями, а не этим морюшком-горюшком внутри клочка земли, который нынче зовется Васпураканским царством. Но все-таки здесь, в Васпураканском царстве, очаг нашей просвещенности, средоточие всех бесценных сокровищ наших, на которые зарится Ашот Багратуни, серый, тупой вояка. Он и сейчас, в мирное время, сидит в крепости Ани, плясая оттуда на нас, и зуд у него в ладонях, чесучка в промежности!.. Что вытворял купленный им католикос, мой окаянный тезка Анания Мокаци, пока не лопнул от собственной алчности? Он же все соки из наших храмов тянул! А когда епископ Хосров, наш, ванский епископ, великий философ, светлейший луч богословия, кротко дал понять ему, да, кротко, до чрезвычайности кротко (Анания именно потому заупорствовал на этом определении, что кротость не являлась определяющей чертой Хосрова, часто бывавшего в Нареке и всем его обитателям знакомого), в высшей степени кротко намекнул ему, что надо быть умеренней, тот взял да и предал его анафеме. Вот с чем приходится нам мириться! В сложное, очень сложное время мы живем.

Анания резко остановился.

— Ну, что ты обо всем этом скажешь? — спросил он, окидывая Акопа уже не сияющим, а колким, морозно поблескивающим взглядом.

— Что я могу сказать, преподобный отец? — не сразу отозвался Акоп. — Мой слабый ум не схватывает того, что ты хочешь в него вложить. О братствах, учрежденных древними христианами, я слышал одно хорошее и полагал, что они хранилища истинно христианского духа. От тебя же я слышу о них вовсе иное. За царя Ашота мы в обители молимся как за нашего надежнейшего друга, всегда готового поддержать нас. А по твоим словам, Васпуракан для него — лакомая добыча. Вот лишь о бедственной доле епископа Хосрова я ведал и раньше и был ошеломлен известием об анафеме.

Я читал его книгу «Толкование церковной службы» и восхищался его глубокой набожностью... Что я могу сказать обо всем этом? Чего ты ждешь от меня? Я скромный инок. Мое место среди таких же, как я, скромных людей.

— А воспитавшему тебя монастырю ты полезным быть не хочешь? Скромность твоя похвальна. Но и в скромности нужна мера. Когда в трапезной ты начал говорить, что душу надо беречь, я сперва подумал было: вот и еще одного тараторку мы вырастили. Но ты сказал об этом свежо и доходчиво. Я и понял: нет, не пустышка, своя голова на плечах, свой язык во рту. Такое дано не каждому.— Настоятель снова уверенно шагал по неровностям берега, огляывая валуны и все прочнее и глубже забирая в пальцы Акопов локоть.— Отшельничество — труднейший подвиг. Это не жизнь в пύстыни, где, если придется солоно, можно схорониться за чьей-то спиной, можно, на худой конец, поплакаться такому же бедолаге. А тут человек остается один на один с небом, и с миром земным, и, что, наверно, самое трудное, с самим собой. Праведность такого человека, пусть она и не безызъясняемая, — кто без греха? — несомненна, очевидна.— Красиво-замедленным склонением головы Анания сопроводил и оттенил сказанное.— Вот только о проповедниках, живущих в уединении, мне слышать не доводилось. А у тебя есть проповеднический дар. Я уверен, люди пойдут к тебе. Однако вот что имей в виду: да, разумеется, они, во-первых, нуждаются в разговоре с душе, но во-вторых, и одновременно тоже во-первых, нуждаются они и в разговоре по душам, в доверительном, негласном разговоре... Всякий может к тебе прийти, чтобы выговориться, облегчить душу исповедью. И если ты умело поведешь беседу, тебе могут приоткрыть такое, о чем необходимо ведать нам, твоим соотечественникам...

— Проведчиком стать предлагаешь? — звонким, обрадованно прозвучавшим голосом спросил Акоп.

— Трудиться на благо своей отчизны — вот что я тебе предлагаю.

— А как же тайна исповеди, которая, кроме исповедника и духовника, должна быть известна только Богу?

— А если эта тайна — семя будущего злодеяния, которое причинит невосполнимый ущерб твоей родине? А?.. Подумай.

— Думать буду. Но согласия не жди.

Будто порыв встречного ветра ударил Ананию и оторвал, отбросил от Акопа.

— Фью! — ошеломленно присвистнул Анания.— Ну и ну...— И вдруг с нетерпеливым, ребяческим любопытством спросил: — Чего ты больше всего хочешь в этой жизни?

— Заповеди соблюдать,— хмуро и неохотно ответил Акоп.

— М-да... Что ж, грешно препятствовать... Но неужто у тебя нет других желаний?

Акоп ничего не ответил.

В монастырь они возвращались молча.

К полудню жара превзошла вчерашнюю. Здоровенный камышовый кот, выступив из тростника, покрутил мордой и нырнул обратно, в милосердную тень. Море, казалось, вот-вот закипит, так оно дымилось. Над берегом и дальше, до плечистой громады Артоса, воздух, казалось, заполнился стрекозами. Солнце точно выжгло себя: зияло белой дырой.

Григор устроился шагах в ста от пещеры, на склоне соседнего холма, под ветвистым, но уже начавшим рыжеть и облетать буком, не слишком богатым тенью. Кое-где вокруг торчали щетинки красноватой травы.

Когда-то, юным, он, любуясь природой, рассуждал: «Природа создана для человека, для перла создания. Поэтому в ней что полезней человеку, то и прекрасней. Взять, к примеру, скалы. Они поражают внешней красотой и величавостью. Но быстро наскучивают. А почему? Проку от них маловато. А вот, скажем, вспаханное поле, даром что по виду не так прекрасно, дольше радует человеческий глаз. Еще отрадней смотреть на растения и живность, которыми можно утолять голод, утепляться. Конечно, они куда необходимей мне, чем я им,— исключая лишь этих, как Няня говорит, обесклюевших голубей, которым я по собственному неразумию стал необходимей,— да, естественно: не я существую для растений и животных, а они для меня. И я в своем праве, когда потребляю нужное и отбрасываю ненужное...»

Рассуждать-то он рассуждал. Но Няня прихлопнула как-то осу, и Григор завопил: «Зачем ты ее? Вот попробуй сделай такую!»

Не рассудочным было его отношение к природе, а затаенно-болезненным.

Однажды в мае, за четыре месяца до отъезда в Нарек, он проснулся на рассвете. Дом спал. Спало, похоже, и все за окном. Он лежал и прислушивался: ни звука. Полная тишина становилась тягостной. Он поднялся. Зашуршала постель, потом — одежда. И вновь — тихо. Он прошелся по комнате, прислушиваясь к стуку своих сандалий. «Тихо как, тоскливо... В сад, что ли, сходить?..» Скрипнула комнатная дверь, скрежетнула наружная. Темнота разрежалась. Он вступил в затишье сада и прошел к старой яблоне перед отцовым окном. Хоть и старая она была, но плодоносила гораздо раньше и обильнее других. Она и цвела душистей. Пчелы любили ее цветы, садились и на опавшие. Взобравшись на нижний сук, он ощупал несколько влажных от росы плодов, нашарил довольно крупный, сорвал и спрыгнул в траву. Яблоко было твердым и кислым, но он, с удовольствием прислушиваясь к резкому хрусту, грыз его и выплевывал вязнущую на зубах кашку. Потом пососал обкусок и выбросил. Снова стало тихо. И вдруг безмолвие прохватило его — так, до костей, прохватывает сырая стужа. Он задрожал, спрятал под мышками пальцы и огляделся. В вышине, сквозь прорехи в яблоневой кроне, он увидел безжизненно мерцающие, меркнущие звезды; вокруг него так же безжизненно чернели яблоневые

стволы. Станным все это показалось ему, каким-то случайным, необязательным. И, как будто со стороны, таким же странно-случайным увидел он себя. Он зажмурился, распахнул глаза, опять посмотрел в небо. Уже заметно светало. Но и рассвет привиделся ему странным, досрочным, что ли... Почудилось, что рассвет никогда не созреет — как только что обгрызенное и выплунутое неспелое яблоко.

Вот это болезненное ощущение странности бытия (он стыдился его, тайл) въелось ему в душу и разрешалось приступами бешенства, как это впервые случилось перед отъездом в Нарек.

По дороге в Нарек все ему казалось странным: тянущиеся слева обрывистые голые склоны и склоны пологие, иногда прикрытые леском или тесно стоящими, точно слипшимися домиками; нескончаемая тесьма прибойных волн справа; мерный скрип упряжи на бегущих машистой рысью лошадях; потная спина возницы; молчание и бормотание серебряника, везущего в обитель свои изделия и своего сына; вялая переговорка скачущих то спереди, то сзади повозки охранников. Все было странным и до тоски чужим, но больше всего странным и чужим был для себя он сам — никому не нужный человек в мешковатой черной одежде.

Позже, уже юношей, он спросил отца: «У тебя бывает чувство, будто не свою жизнь проживаешь?» Отец ответил неодобрительно и скупой: «Смысл в тебе запоздал, оттого и умствуешь»; потом все же смиростивился, пояснил: «В любой душе брезжит искра бессмертия; разжечь ее, чтобы она просияла своим, незаемным и незатененным светом — это и значит осуществить замысел Создателя, прожить свою жизнь».

Люди, и лишь они, смягчали его мучительное неприятие себя. Близость людей, их заинтересованность в нем, дружеское к нему отношение, признаки любви — этого он жаждал в молодости постоянно (так же постоянно изводила его мысль, что несметные множества людей ничего о нем не знают и прекрасно без него обходятся), этого он пылко домогался, и любая встречная холодность могла его довести до иступления, которое он не в силах был ни подавить, ни скрыть.

Некоторый перелом в этой его болезни означился, когда ему было лет двадцать. Жил тогда в монастыре служка, маленький, хлипкий, скрюченный несколькими хворями старик, по виду дряхлый ребенок. Занимался он уборкою храма и делал это, конечно, не ахти как. Вдобавок к остальным недугам начала у него сохнуть рука. Однажды, после вечерни, Григор увидел, что тот, встав под низко свисающим с купола светильником, поднес здоровой рукой большую к мутным глазам и внимательно ее разглядывает. «Что, сильно болит?» — спросил Григор. «Э, чему тут болеть! Она, видишь, по самое плечо отсохла... Но вот же — гляжу на нее, и каждый волосок мне дорог».

Вскоре служка умер, и обнаружилось, что, хотя никому он не был ни друг, ни приятель, нарекцы незаметно для себя любили его.

Провожали его печально. Анания, расчувствовавшись, напомнил собравшимся у могилы то небольшое, что знали они о покойном. В его селение ворвались разбойные кочевники и всех, кроме него и других стариков, угнали. «А какой от него прок нелюди? За него на рынке и медной монеты не возьмешь,— сказал Анания.— Но среди людей этот человек везде пришелся бы ко двору. Он был необременительный, уживчивый, услужливый,— да чего там! — безупречный в своем роде человек. Это и о нем говорил Иисус, что иные, выглядящие последними, на деле первые. Был в его душе тихий праздник, какой бывает в природе, которая не словами, а всею сущю своей благодарит за подаренное ей бытие. Вот так, празднично, он и прожил свою чудесную жизнь...»

Анания еще говорил, пространно, хорошо говорил, но главного — во всяком случае, для Григора — не сказал. Сколько подлинного достоинства, подумал тогда Григор, было в человеке, который так ценил свою сохлую руку, что вряд ли согласился бы променять ее на чью-то, пусть здоровую и сильную. Великой удачей Создателя был этот человек, которому, вероятно, сроду не приходило в голову, что ему чего-то недодано. Есть — и слава Богу, а нет — ну и нет.

Сейчас, полулежа под вянущим деревом, Григор видел и в нем, и в красноватых щетинках на склоне, и в неоглядном дымливом море мириадоликую, всегда неповторимую жизнь,— видел ее и не чувствовал одиночества. Им тоже было жарко, а ему тоже не хотелось двигаться. И — как знать? — возможно, он нужен им не меньше, чем они ему.

В Нарек он приехал тем же вечером.

Анания, приходившийся ему дядей с материнской стороны, встретил его словами: «Вот и младшенький Хосровов сынок стал моим»; затем, не спрашивая мальчика, голоден ли, распорядился поскорей накрыть стол в гостевой трапезной.

Усталый от переживаний, от дороги, Григор не разглядел ни внушительных крепостных стен и башен, ни двух одетых безукоризненно гладким коричневым туфом церквей (кресты их были на одном уровне), ни других построек с изысканными, на византийский манер галереями и внутренними двориками, по которым его вели к настоятелю. Лишь в трапезной, предназначенной для приема почетных гостей, Григор огляделся, и она восхитила его цельной и строгой красотой. Почти во всю длину пола, выложенного зеркально-блескучим, темным с прозеленью мрамором, тянулись словно бы проросшие из пола, такие же темно-зеленые стол и скамьи. В этом же мраморе были и стены, и сводчатый потолок, на котором сходились и расходились арки. В узких кругловерхих окнах сквозь такое прозрачное стекло, что, чудилось, его и нет вовсе, мерцало тоже темно-зеленое, будто намеренно окрашенное в этот цвет вечернее море. Окна или изображения? — засомневался

Григор. Но какой чудака станет изображать море вместо святых ликов да еще невеста для чего застеклять? Все-таки он подошел к ближайшему из сомнительных окошек и осторожно тронул пальцем: да, окно.

— Красиво? — требовательно спросил Анания.

Он души не чаял в Нареке и с удовольствием водил по нему гостей, чтобы лишний раз, по-новому, их глазами, полюбоваться красотой обители.

— Хорошее стекло, не мутное и без пузырьков, — деловито заметил Григор, сиюсь не выдать восхищение.

— Ишь ты! Тебя, как погляжу, удивить не просто.

— Да, — небрежно согласился Григор. — Недельку назад мы с отцом у царя были. Он нас тоже принимал в трапезной. Чаем угощал. Это китайская настойка, которую пьют горячей. Очень вкусно. Так у него трапезная побогаче твоей: вся в золотых разводах.

— Увы! — сокрушенно воскликнул Анания, вздевая руки. — Твоя правда. Куда захолустной обительке до царского дворца?.. И чая у меня нет. Горе мне, горе! Как быть? Чем тебя потчевать?

Григор не удержался и прыснул. Знаменитое дядино ехидство не задело его, а приятно напомнило о доме, где Анания, будучи среди близких, безудержно вышучивал кого ни попадя.

Внезапно без стука распахнулась дверь, и в трапезную, пригнувшись под низкой для него притолокой, вшагнул двадцатилетний здоровяк, по глаза заросший рыжею бородой.

— Овик! — вскрикнул Григор и, совсем уж забыв о приличествующей сдержанности, кинулся к нему — родному с макушки до пят — и вспрыгнул на его подставленные руки.

— Ого, братец, до чего же ты стал тяжеленький! Э-ге-ге! У-гу-гу-гу! И не подымешь.

Ованес подбросил его над собой, поймал, потискал, щекотнул ему шею бородой и оглушительно чмокнул в ухо.

— Ну, как там отец? Няня как?

— Что им сделается? Живы-живехоньки! — смеясь и увертываясь, отвечал Григор. — Да пусти ты! Щекотно!

— Щекотно — хохочи.

— Дядя, на помощь!

— Цыц, оба! — прикрикнул Анания. — Расшумелись, точно у себя дома. В монастыре все-таки... И вот что, Григорик, заруби на носу: здесь я не дядя, а преподобный отец или учитель — на твой выбор.

Григор, взлохмаченный и красный, был наконец опущен на пол.

— Изволь, преподобный отец, — чинно вымолвил он. — Но тогда и у меня к тебе просьба: зови меня, пожалуйста, не Григориком, а Григором.

— Договорились. Быть по сему отныне и навсегда.

— Добрался как? — спросил Ованес, приглаживая широченной пятерней кольцеватые кудри брата.

— Вмиг. Утром — дома. Днем — в Востане. И — здесь.

— Что-то никого из прислуги во дворе не видать. Вез тебя Толстый Атом — это само собой. А кто охранял?

— Из домашних никто. И вез не Атом. Я ехал вместе с ванским серебряником и кучей риз, обложек и застёжек. Так что охрана была порядочная.— Недоуменно дернув плечами, Григор добавил: — Серебряник и сына своего сюда на учебу привез.

— Сыи ремесленника будет учиться в Нареке? — обернувшись к дяде, воскликнул Ованес.

— Увы, мои дорогие Арцруни, будет,— живо откликнулся тот.— Но я вас понимаю, до глубины души понимаю вас, родичи царские! Кстати, давно собираюсь дознаться: вы на которой ветви раскидистого древа Арцрунидов произрастаете? На седьмой или — невольной весь трепещу при этой мысли — на шестой? Молчите? Все ясно: на шестой.

— Да нууу...— смущенно прогудел Ованес.— Пусть учится на здоровье. Я не против. Непривычно это, ново, вот и удивляюсь...

Анания с умеренной укоризной на лице и в голосе попенял:

— Тебе-то с новшествами пора свыкнуться. Четвертый год в новехоньком монастыре подвизаешься.

Неслышный и никем из них не замечаемый служка расставил на столе кушанья, поклонился и вышел. В середине стола сверкала серебряная ладья. Нежно сочилось из нее благоухание копченого тарэха. Непонятно, как рыбешка прижилась в солено-содовом море. Сколько ни пытаются других развести — другие сразу брюхом кверху всплывают.

— Хорошо блюдо? — указав на ладью, ревниво спросил Анания и, не дожидаясь ответа, сказал: — И оно, и кувшин,— да вы гляньте, какая насечка тонкая! — и кубки сработаны этим серебряником. И в обоих храмах полным-полно его изделий. Он не какой-нибудь неумеха безрукий, которых нынче без счета развелось... Ну, ладно, перекладывайте на тарелки, что на вас смотрит. Жареного и чересчур острого мы, Григорик... э, прости великодушно, Григор, не едим. Придется тебе, душа моя, притерпеться к нашей стряпне.

— Няня-то неужели ничего эдакого не прислала? — спросил Ованес, покрутив пальцами и умильно лобызнув их.— Надо бы принести, а то протухнет.

— Нянино — в погребе. Не уйдет от тебя. Ешь что Бог послал, пока не остыло,— сказал Анания, и сам, зачерпывая в горшке ложкой, разложил по тарелкам приготовленное с овощами мясо.

Ованес налил в кубки воду. Все трое прошептали благодарственную молитву и склонились к тарелкам. Дома Григор отказался от завтрака, не ел и в пути, не чувствовал голода и сейчас, однако покорно принялся есть.

— Дело в привычке,— ошибочно расценив его покорное жевание, сказал Ованес.— Привыкай. Я мигом привык. Всего три года мучился.

Григор хотел было находчиво ответить, что, мол, постное прилично есть с постным видом, с притаенной радостью, но вдруг

ощутил растущий в груди ком, ойкнул и зажал рот обеими ладонями. Заставив себя слотнуть кусок, он взглянул на брата быстро-быстро моргающими, будто подмигивающими глазами и так же быстро заговорил:

— Все мне здесь по вкусу. И это, и то — мое, домашнее. Отец выгнал меня из дому, нет у меня другого дома...

— Что ты мелешь? — испуганно привстав, перебил Ованес.

— Что слышишь. Знаешь, как умеет он исхлестать словами, доказать, что ты дрянь и тля?.. А я и точно дрянь и тля, потому что, потому что...

Рассказывать о случившемся утром было неважно. Он стремительно перекинул ногу через скамью, согнулся до пола, шмыгнул носом, однако, теркнув тыльной стороной ладони по глазам, перемог слезы.

— Ну, хватит, хватит, Григорик, — огорченно забормотал брат, присаживаясь рядом. — Может, и рано было усылать тебя из дому. Но и другие приезжают в Нарек такими же, как ты, даже младше...

— А я — не другие, и каждый — не другой, а тот самый, кто он есть! И вовсе я не хочу быть монахом! А ему нужно всех в монастырь запихнуть! Что, скажи, станет, если все монахами заделаются? От кого дети рождаться будут? От Духа Святого? А?

— Ты и его об этом спрашивал?

— Конечно.

— А он что?

— Как что? Все то же: «Не богохульствуй, смысл в тебе запоздал, бес в тебе ерничает...» А нас с тобой родил.

— Так ты что, в самом деле хочешь детей? — поразился Ованес.

— Хочу. А что особенного? Я всего хочу.

— Послушай, о детях думать тебе рановато. Отучишься, вернешься домой, тогда и семейством обзаведешься.

— Ты-то зачем меня дурачишь? Знаешь же: ему надо, чтобы все было так, как ему надо! Мы с тобой для него — монахи, которые — хоть лопни! — должны сделаться епископами, и все.

— Это верно, — опуская потускневшие глаза, согласился Ованес. — Есть в отце эдакая единоправильность. Не понимаю, как они с Няней уживаются. И она под стать ему...

— Вот именно: под стать, — твердо сказал Анания. — Они положительные, знают, чего хотят. А ты, Григор, хочешь всего. Это значит ничего не хотеть по-настоящему. Ах, да, ты уже толковал мне, что больше всего хочешь стать воином. Ну, так и учись этому здесь. У нас военное дело — предмет обязательный. Подступятся к обители какие-нибудь злодеи — нам самим придется ее отстаивать. Тебя послушать, так ты заступник не только за себя, но и за других. Каждый, говоришь, не кто-то, а тот, кто он есть. Однако ж сдается мне, себя ты ставишь куда выше прочих. Тебе, душа моя, ой как претит, что сын серебряника усядется на скамью рядышком с тобою, сыном епископа! Ты в дороге перемолвился с ним хотя

бы словечком? Узнал, как его зовут? (Григор отрицательно мотнул головой.) А знаешь, где он теперь? Сидит себе в тесной комнатенке один-одинешенек. С отцом простился. К общему ужину опоздал. Для тебя же и эта трапезная не слишком хороша... Нет-нет, сиди на месте, здесь я распоряжаюсь... Так-то, Григорик. Никакой ты пока не Григор... А тебя, Овик, я взрослым считал. Зачем ему поддакиваешь? Не зря говорят: в здоровом лесу любая сушинка в глаза бросается. А еще точнее: различаешь сучок в чужом глазу, а в собственном и бревна не замечаешь. Мы в лучшем случае сучконосы. И вот что, племяннички мои: мы родня. Поэтому правду вам я буду всегда говорить всю, не боясь обид.

И, чрезвычайно довольный собою, он поднялся со скамьи и прошелся по залу, молодой хозяин великолепной обители, статный, пирамидальный в своей струящейся ровными складками рясе, весь — бесспорная правда. Прогулявшись от стены к стене, он снова сел во главе стола и приветливо-властным, округлым — от плеча к плечу — мановением руки рассадил по обе стороны от себя глядевших на него исподлобья братьев.

— Ну, чего нахохлились? Не прав я?

— Вроде бы прав, — принужденно ответил Ованес. — Но не ты ли на уроке риторики говорил, что правд в этом мире видимо-невидимо и у каждой правдивое лицо?

Анания поиграл бровями, — смешно заходила кожа на лобных холмиках, — уставился в потолок и пожаловался:

— Мне не верят. А когда мне не верят, меня и вправду что-то эдакое приврать подмывает. — Он повернулся к Ованесу: — Вполслуха, душа моя, ты слушаешь дядины лекции. Да, правд в этом мире столько же, сколько людей. Все мирское на хитрости заквашено. И тому, кто искусством риторики не владеет, выявить хитрость тяжело. Это я тебе говорю, я, вгрызавшийся в риторику не где-нибудь, а в академии при храме святой Софии, все зубы на ней обломавший! — Анания в дурашливо-зверской улыбке показал Ованесу зубы и повернулся к Григору: — У самого Тимофея Златоречца учился, не на последнем счету был. Ты есть захотел, изгнанец горемычный?

— Захотел, — угрюмо кивнул тот.

Анания взял тарелку, положил в нее несколько копчушек и ломтей сыра, зелень, маслины, накрыл тонкой до сквозистости пшеничной лепешкой и придвинул к Григору.

С ласковой ехидцей Анания глянул на туго набившего рот племянника.

— О, совсем другое дело, душа моя. Ешь, ешь. — Снова он выразительно поиграл бровями и продолжил: — Поскольку зашел разговор о вашем отце, которому все мы обязаны пребыванием в этих стенах, давайте доведем этот разговор до конца. Я не знаю монаха более достойного, чем епископ Хосров. Видел я его среди людей сановитейших, бывал с ним в Константинополе — в императорском дворце и в патриаршем. Ваш отец ни перед кем не гнет

спину. И причина тому — не гордость, а чистая совесть, у которой он никогда, — в этом я убежден, как в том, что сижу перед вами, — ничего не выторговывал, ни единой поблажки. Вот почему отцу вашему незачем вихлять спиной. Если он и молчит, слышно, как его мысли шелестят. Да, порой откровенность его чрезмерна. Если перед тобой безногий, зачем указывать пальцем на его культю? Но таков уж ваш отец. А вот ты, Григорик, хоть и упрекаешь его, что он исстегал тебя словами, бываешь безжалостней... Мясо есть будешь?.. И не надо, не наедайся на ночь. Персик возьми и подвинь поднос к Овику, а то ему через весь стол тянуться...

С отцом посложней обстояло. Отец считал Григора своим привеском и поражался всякий раз, когда обнаруживал, что этот привесок чему-то противится. В подобных случаях отец действительно хлестал Григора словами. Говоря об отце, Анания сообщал и новое для Григора. Но не только поэтому Григор слушал дядю уже заворожено. В ушах у него вдруг снова зазвучали и слова, которыми дядя встретил его: «Вот и младшенький Хосровов сынок стал моим», — зазвучали и наполнили ощущением домашнего уюта. Он уже почти явственно ощущал, что вернулся домой после затянувшейся отлучки. Все милее становились ему и статный тонколиций красавец дядя с его незлобивой ехидцей, и огромный, будто из двух людей слепленный, начинающий тучнеть от груди благодушный Овик, были очень лакомы и эти копчушки, сыр, персики и виноградины. Он чувствовал, что здесь его не только не вынудятбрякнуть заведомую глупость, а, пожалуй, если он по нечаянности и вознамеритсябрякнуть, не позволят. «Какие они славные оба!»

— Так слушай, — продолжал дядя. — Время нашей жизни выдалось счастливым, это — время свободы и мира. Долго его не было, и потому наш народ потемнел. Самые разные люди не щадили себя, спасая книги. Рассказывают, что когда-то нехристи сровняли с землей обитель в окрестностях Тигранакерта. А в обители хранились ценнейшие старинные фолианты. Знаешь, какие они бывают громоздкие и тяжелые? Их спас молодой крестьянин, которому велели спрятать их в скальной пещере. Человек он был сильный и ловкий, книги в пещеру поднял и отсиживался в ней, покуда варвары не ушли. Но когда он спустился и увидел там, где все ему было родным, мертвое место, он обезумел, забрался опять в пещеру, развел из книг костер и сжег себя вместе с ними. На этого парня ввалили непомерную ношу: заставили бросить на произвол судьбы близких и спасать книги. Так люди не должны поступать с людьми... Недавно Арчешский монастырь прославился тем, что дьякон-книгохранитель отнес на пустырь и спалил полтора десятка книг языческих писателей — греков и латинян. И что ты думаешь? В монастыре выискались умники, объявившие такое дело богоугодным. Умников эдаких в наших царствах и княжествах жуть сколько! Послушать их, так ничего стоящего у язычников нет. А сами всю жизнь проводят примерно в таких разглагольствованиях: один твердит, что Христос был зачат в утробе принявшего облик

Марии Святого Духа, другой набожно доказывает, что Бог-Сын, коль скоро Ему поют аллилуйю в христианских храмах, святее Бога-Отца, воспеваемого и в богопротивных синагогах; третий, вычитав в Библии, что Творец вне времени, бубнит, что Творец произошел из ничего...

— Есть от чего свихнуться, — вставил Ованес. — Что такое «вне времени»? Как это вообразить, вобрать в ум?

— А чего тут мудреного? — досадливо буркнул Григор. — Сказано ведь, что Бог сотворил время. Стало быть, Он и есть Тот, Кто вне времени.

Анания благодарно склонил голову:

— Спасибо тебе. Очень ясно растолковал. Ты скажи мне, что такое правремя, как уяснить самотворность Творца?

Григор, насупившись и слегка заморгав, пообещал:

— Придет срок, скажу. Творец для того и осветил меня разумом, чтобы я все-превсе уразумел.

— Дай-то Бог, — сказал дядя серьезно.

Незаметно для себя Григор опустошил поднос с плодами и теперь беспокойно ерзал по холодящему мрамору скамьи.

— Тебе никуда не нужно? — справился дядя.

— Нужно. Где оно, нужное место?

— Овик, проводи.

— Не надо, сам дойду. Где оно?

— Спустишься по лестнице и под ней увидишь дверцу.

Григор кивнул, медленно поднялся и вышел.

— Что у него с глазами? — спросил Анания. — Почему он так часто моргает?

— Ты прежде не примечал? Это у него с младенчества. Голубь напугал, залетел в колыбельку. С тех пор как разволнуется, так моргать начинает. В школе его дразнили Мигалкой.

Анания улыбнулся:

— Мальчики метки на прозвища. А он, поди, лез в бой?

— Лез. Но драться он не умеет. Видел я, как он дерется. Больше мешает, чем бьет.

— Драться он и не любит, — подумав, уточнил Анания. — Злости в нем хватает, только она у него не в кулаках.

— Повзрослел он с весны, вытянулся...

— Ему и по разговору лет тринадцать-четынадцать. Создатель и правда осветил его. Но вот нрав ему дал, доложу тебе... Вскидчивый мальчишка. Напрасно ты поддакнул ему. Усмирить его надо было, а он от твоего «да» еще пуще разошелся.

— Так я ведь и свои обиды вспомнил. Ох, до чего тяжело с отцом...

— А без него никого из нас нет. Заклевали бы нас без него, слопали бы до косточки. Он — птица покрупнее нас, посущественней. И посмотри, он действительно прав и точен во всем. Приглядишься, как сидит подрясник на Григорике: он будто на свет в нем явился, он же прирожденный монах.

— Подрясник — ладно. А как он Библию знает, ей-ей, как свои пять пальцев!

— Ну, это уж ты преувеличиваешь.

— Не веришь? Погоняй его по Библии. Нипочем не собьешь.

Григор, входя, прямо с порога спросил:

— Так для чего же отец собрал нас здесь?

— Дверь притвори и сядь, — велел Анания. — Ты сыт?.. Вот и славно. А собрал он здесь не только нас, родню, но и других, близких ему по духу людей, причем людей нестарых. Нет, твой отец вовсе не против стариков, ему ведь самому за шестьдесят перевалило. Он против таких, как тот дьякон, сжегший языческие книги. Тебе, вижу, этот дьякон тоже мерзок. А вот, кстати, по какому Божьему закону стал бы ты его судить?

— По какому? — Григор на миг задумался. — По закону, данному через Моисея: «Если появится огонь, и охватит терн, и выжжет копны или жатву, то должен заплатить, кто произвел этот пожар».

— Ну-ка, Овик, достань с полки Ветхий Завет.

— Это вторая половина Исхода, — сказал Ованес, раскрывая книгу. — А главу не помню.

— Начало двадцать второй, — уверенно сказал Григор.

— Так... Повтори закон, — попросил Ованес, передавая книгу дяде.

Григор повторил.

— Гм, — пробормотал Анания, — в самом деле почти слово в слово... «Поле» ты запомнил.

— Ах, да! — спохватился Григор. — Это после «жатвы». Но где же быть жатве, как не в поле?

— Не обязательно. Жатва — не только спелые, но и сжатые хлеба, которые до поры держат на гумне. Впрочем, это дотошность... И что же, так ты всю Библию знаешь?

— Нет, не всю. Но Пятикнижие, Псалтырь и Новый Завет знаю. Ну, а дальше-то что? Почему ты никак не можешь забыть этого дьякона?

— Потому что дьяконов таких тринадцать на дюжину! И каждый готов испепелить все, что написано не священнослужителем. А ведь Пятикнижие написал Моисей, бывший светским вождем евреев. Да и Псалтырь написана не священником. И Петр, скала веры, прежде чем стал патриархом и богословом, был, как тебе ведомо, простым рыбаком, а Павел торговал... Ты никогда не задавался вопросом, отчего Христос, объявляясь в Иерусалиме, не искал поддержки храмовников?

— Нет.

— Оттого, что у них тогда творилось примерно то же, что сейчас происходит у нас да и на Западе, у латинян. Ортодоксы, провозгласив, что владеют окончательной истиной, тужатся не замечать, что их истина кончается, что не истина у них в руках, а недолговечная, отслужившая свой срок правда. Да что там! И

не правда, и не правдишка даже в руках у *окончательных* наших, а обветшала, обшарпанная побаска!

Анания рывком встал и подошел к среднему окну, где наливалось краснотой закатное солнце. Стоя спиной к братьям, он сказал:

— Есть у меня знакомый иудей, который часто бывает в Эчмиадзине. Христианством интересуется. В Святую Троицу не верит, верит только в Саваофа, а постится, как мы, по средам и пятницам. Эклектик, словом. Но человек занятный. Отличается чрезвычайно чутким обонянием. Так он об *окончательных* наших вот что сказал: «Ловчатся свою щепотку вони за розовый куст выдать».

Ованес хитровато посмотрел на Григора, соединил большой и безымянный пальцы и дунул на них — будто пушинку сдул. Григор понял, что дядя сочиняет про иудея. Была в Анании такая чудачинка: приписывать собственные изречения людям, которых он придумывал. (Подоплека дядиных выдумок стала ясна Григору много позже.) Анания вглядывался в окно и тихо говорил:

— Да, есть у меня знакомый иудей. Глаза у него тускло-голубые, как бы не выпавшие, с приспущенными наполовину веками. Лицо бритое. Длинная и толстая верхняя губа косым навесом находит на нижнюю. Подбородок спесивый, завернут вперед. Лоб непомерно высокий — в пол-лица, весь в змеистых продольных морщинах; на самом верху лба выпуклая, но малоприметная, цвета кожи родинка. Почти седые вихры пересекает через темя к затылку лысая дорожка...

Ованес снова свел кружочком пальцы, повращал их с мечтательным выражением, дунул и плавно развел. Григор, не утерпев, издал похожие на квохтание звуки. Дядя, словно разбуженный, вздрогнул, встряхнулся и, отвернувшись от окна, как ни в чем не бывало продолжил речь:

— В прошлое отошла их правда. Они и поэтому не любят в прошлое вглядываться. Но и архешский дьякон, и чины повыше его, не заглядывая в былое, — а оно являет собой прообраз нынешнего, — не видят общей движущейся картины мира, не ощущают его устремленностей и ничего нового этому день ото дня новеющему миру сообщить не могут. Однако в наше время интерес к прошлому, хотя и робкий, растет повсюду. Всем нам есть что перенять у древних: и знания их, и, что не менее важно, разумную веротерпимость.

Помолчав и удостоверившись, что Григор переработал услышанное, он произнес:

— Нарек — первый в Армении монастырь, где мы, монофизиты, сосуществуем с дифизитами, или, как они себя называют, православными. В монастыре — два храма и две школы.

Об этом Григору было известно, и он не одобрял этого. Ничего не сказав, он напряженно и требовательно глядел на дядю.

Тот спросил:

— Знаешь, в чем разница между нашим и их восприятием Иисуса?

— Погоди, сейчас скажу... Мы утверждаем, что в Иисусе, когда Он жил на земле, человеческое начало было поглощено божественным. Для них же земной Иисус телесен. Так?

— Приблизительно. А сам ты как относишься к их разумению?

— Как к ереси,— отрезал Григор.— Тело смертно. Значит, они крестятся смертью.

Анания усмехнулся:

— И это все?

— А чего еще?

— Пожалуй, в ванской школе большего ты узнать и не мог. Знаешь, что полтора-два столетия назад армянская церковь была дифизитской? Что половина армян живет в Византии и почти все они дифизиты? Что четверть века назад царь Гагик и католикос Теодорос готовы были вступить в униатские отношения с греческой церковью? Хоть о чем-то из этого знаешь?

— Нет.

— А знаешь, чем дифизиты обосновывают человеческую сущность Иисуса?

— Нет.

— Они считают, что, искупая человеческие преступления, Иисус должен был как человек изведать распятие, мучительнейшую казнь.

— Что ж они такие кровожадные?

Анания возражающе повел рукой.

— Не в кровожадности дело. Так же, как и мы, они понимают, что плата за искупление людских грехов была внесена полная, но, по их словам, такую плату мог внести не призрак человека, а именно человек, по-человечески страдавший и умерший за нас за всех на кресте. В противном случае, говорят они, распятие — лицедейство.

Анания добился своего: правота племянника дала трещину. Григор заморгал, повернулся к сочувственно улыбнувшемуся Ованесу, но, большей поддержки от него не дождавшись, в раздумье потер лоб. И вдруг воскликнул убежденно:

— А ведь они правы!

— Слишком ты быстр,— сказал Анания.— Бог может все, а значит, может терзаться и умирать от боли, оставаясь Богом. Считать Христа человеком — означает считать Его грешным.

Григор, опять потерев лоб, спросил:

— А уставы у вас разные?

— Чего ради? Один у нас монастырь, один и устав. Ну, понял, в чем новизна Нарека? Владеющие окончательной истиной ортодоксы боятся нового.

— Дураки они, не соображают, что эта боязнь во вред им самим,— удивленно вскинув руки, сказал Григор.

— На пользу, душа моя, на пользу! Нам они вредят, как могут,

а себе — нисколько! Пойми, что одна свежая мысль ведет за собой другую, другая — еще две, и так — без конца. А *окончательные* наши истощились, выдохлись. Им не любопытен даже путь к Всеединому, дивный путь, которым шли сонмы по-разному верующих в Господа людей, заблуждающиеся — тоже, но искренне заблуждающиеся. Этих наши *окончательные* заунывно поносят, уже и вскипеть не умея. Куда им до вестников начального, восходящего христианства!.. О, хорошо, что вспомнил.

Он подошел к шкафу и достал книгу в серой обложке и пачку крупно нарезанного пергамента.

Углы трапезной заполнялись землистыми сумерками. Багровое в среднем окне солнце вплотную приблизилось к воде и словно перескакивало с волны на волну.

— Темновато, — сказал Анания.

Он снял со шкафа трехсвечник с начищенным до блеска медным зеркалом и поддонцем, на котором лежали кремь и огниво, переставил на стол, коротким движением посадил искру на фитилек свечи и, выкрутив ее из гнездышка, перенес пламя на остальные. Три пары ровно горящих огоньков, озарив край стола, сделали уютной натекавшую сутень.

— Это, — Анания указал на книгу, — «Апология христиан» латинского писателя Тертуллиана. Для ортодоксов он еретик, которого подобает остервенело собачить, хотя он жил за шесть с лишним веков до них. А здесь, на листах, мой перевод. Латинского подлинника добыть не удалось, поэтому переводил я с греческого перевода.

Анания полукружьем раскинул листы на столе, выбрал несколько и отчетливо, с хлесткими голосовыми ударами зачитал:

— «Соединенные узами одной и той же веры, одного учения и одной надежды, мы составляем, так сказать, одно тело. Мы собираемся вместе, чтобы молиться Богу. Мы молимся об императорах, об их сановниках, о всех властях, о мире на земле, о ее благосостоянии, о продлении бытия вселенной... Уверяют, что мы бесполезны для общества. Как так? Мы живем среди вас, питаемся тою же пищей, имеем те же мирские нужды. Мы не отказываемся ни от чего, что Бог сотворил для нас, только воздерживаемся от излишеств и злоупотреблений. Мы необходимо соприкасаемся с вами на площадях, рынках, в банях, лавках, гостиницах, во всех тех местах, где человек бывает по житейским надобностям. Мы вместе с вами плаваем по рекам и морям, служим в войске, обрабатываем землю, торгуем. Так что я не понимаю, каким образом мы можем казаться вам бесполезными, когда у нас с вами общие условия жизни. Если я не присутствую на ваших церемониях, то все же я продолжаю отправлять в это время свои житейские дела. Я не хожу в баню при закате солнца во время сатурналий, чтобы, прогулявши день, не потерять и ночи; я моюсь в бане, но только в более удобное время: еще успею ооченеть и посинеть, когда меня обмоют после смерти. Я не участвую на общественных обедах

в честь Вакха, но где бы я ни ел, я употребляю ту же пищу, что и вы. Я не покупаю цветочных венков, но я покупаю цветы,— и не все ли вам равно, какое я делаю из них употребление? Они мне гораздо больше нравятся, когда не связаны в венки. Когда они сплетены в венок, я их все-таки подношу к носу: пусть не прогневаются те, которые носят венки на голове... По крайней мере, несомненно, говорите вы, из-за нас доходы ваших храмов уменьшаются с каждым днем. Не можем же мы в самом деле удовлетворить всех ваших нищих — и богов и людей, и, кроме того, мы считаем за долг подавать только тем, которые просят. Пусть Юпитер протянет руку, мы ему подадим. Впрочем, мы больше раздаем милостыни на улицах, чем вы жертвуете на свои храмы... Если бы даже наши верования были нелепостями, они никому не приносят вреда. Вы, следовательно, должны были бы отнести их в разряд мнений пустых и баснословных, которых вы не преследуете, потому что они безобидны. Даже если признать, что они заслуживают наказания, то наказывайте их в крайнем случае осмеянием, но не мечом, огнем, распятием и зверьями. Но, скажете вы, зачем вам жаловаться на гонения, когда вы радуетесь всяким страданиям? Без сомнения, мы любим страдания, но так, как любят войну, на которую мало кто идет охотно, но где, тем не менее, каждому приходится храбро сражаться. Вы объявляете нам войну, когда ведете нас на суд, где мы с опасностью для жизни боремся за истину; и эта война оканчивается нашей победой, потому что мы получаем за бой награду, которая состоит в чести сделаться благоугодным Богу и заслужить вечную жизнь... Потешайтесь сколько угодно над тем, что вы привязываете нас к столбам, чтобы поджигать хворостом: это наши трофеи и наша триумфальная колесница. Побежденные нами имеют основание нас ненавидеть: они считают нас бешеными и отчаянными. Но эти самые бешенство и отчаянность, когда они вызваны жаждою славы, почитаются у вас героизмом. А между тем, если христианин ценой мучений надеется получить от Бога воскрешение, вы считаете его сумасшедшим. Продолжайте нас осуждать, распинать, мучить, истреблять: ваша несправедливость есть доказательство нашей невинности, и потому Бог позволяет вам преследовать нас. Ваши жестокости только прибавляют нашей религии лишнюю притягательную силу. Мы умножаемся по мере того, как вы нас косите: кровь христиан дает новый всход».

Анания собрал листы, состучал пачку о стол и положил рядом с книгой.

— Ну, каково? — спросил он.

— Уфф! — выдохнул Григор.— До чего здорово! Я бы так не смог.

Анания улыбнулся:

— Сможешь, если захочешь.

И перевел взгляд на Ованеса.

— Откуда книга? — спросил тот.

— Месроп привез из Трапезунда, когда за сусальным золотом ездил. Что скажешь о Тертуллиане?

— Сильный писатель. Но горд, запальчив.

— Не без этого.

— Ничуть не запальчив, а в самую меру горяч! — возмущенно повернул Григор. — А что горд — очень хорошо: себя уважает.

— Ты прав, а я нет, — добродушно сказал Ованес. И спросил Анигию: — Что о нем известно?

— Он латинский колонист из Северной Африки. Ортодоксы винят его в языческом, вещном миропонимании. Это в нем есть. Для него и Святой Дух — тело особого рода. Но, думается, блюстителей порядка пуще задевает другое. Он высказывался против церковной иерархии, против выщеркивания христианства.

— «Выщеркивания», — вздрогнув, повторил Ованес. — Опасное словцо. От него тондракской ересью пахнет. Ты бы поосторожнее, дядя... Умер он, конечно, на кресте или в цирке.

— Нет, он не мученик.

— Точно? — недоверчиво спросил Ованес.

— Точно. В ту пору больших облав на инаковерующих не устраивали. Христианство только начиналось, и мало кто в Первом Риме относился к нему всерьез. Тертуллиан, видать, попусту дразнил красной тряпкой верховного быка. Тот, скорее всего, и внимания на него не обратил: преспокойно пасся в своем высоком удалении.

— Дааа... — протянул Ованес. — Ну, а нам-то зачем нужен этот латинянин?

— Еще как нужен! Богослов он, разумеется, устаревший, но оратор живой, жгучий. Меня прямо зачаровывает его речь. Мысль в ней то так, то сяк повернется, всеми гранями поигрывает. А как тебе перевод?

— Звучит превосходно. Твой голос тоже слышится, узнается.

— Возьми с собой листы и книгу, все сверь, все пометь и покажи мне. А после сам и перепишешь.

Анания повернулся к притихшему Григору.

— Ну, изгнанник, что-нибудь уразумел о своем новом доме?

— Угу. Чего непонятного!

— Ишь быстроумный! Устал небось? Спать хочешь?

— Ни капельки.

— А я хочу. Переночуешь в гостевой комнате. Завтра переведу тебя к школьникам и решу, в какой класс определить. В начальных, похоже, делать тебе нечего.

Они вышли на пустынный двор, вымощенный ровными, без рытвинок, плитами. Лунное сияние еще гуще вычерняло мглистые храмы. Теплились окна жилых строений. На стенах, между окнами, барсы и орлы беззлобно когтили ягнят. Тихо было. Только море, вскидываясь на берег и скатываясь, внятно о себе оповещало.

— Красиво? — с той же настойчивостью, что и в начале вечера, не спросил Григора, но потребовал от него утвердительного ответа дядя.

Григор кивнул.

Странно красив был Нарек в своей верхней части, вонзавшей в небо острые купола и башни. А двор — уютен.

Часам к четырем, когда воздух раскалился предельно, с запада наползла разлапистая туча и сначала серостью, а затем чернотой заложила солнце. Григор уже давно перебрался в тутовую рошу, к роднику, и почасту припадал ртом к благодатной студеной ямке. Есть совсем не хотелось. Предстоящую неделю он решил поститься, чтобы прояснить душу и голову, а заодно согнать жировую складку над поясом. Ссутулившись, он ощупал ее и с удовольствием убедился, что за сутки она, не подкармливаемая, пошла на убыль, сделалась прогибистой посредине.

Светлое сознание причастности ко всему не оставляло его. «Хорошо все это,— произнес он мысленно,— до чего хорошо! И дождик сейчас будет. Вот и первая капля». Однако туча, поворачивая и пороняя редкие капли, не задождила. Она подтянулась, ужалась, освободила солнце и поплыла к недалекому хребту. Она плыла примерно на половине его высоты, и Григор заинтересовался, как она поведет себя, встретив препятствие. Наверное, расползется, подумалось. Когда он пересаживался на камень, с которого удобней было наблюдать за тучей, в ухо к нему, грозно жужжа, залетели спарившиеся мухи и, пока он вымахивал их, кажется, успели-таки завершить свое спешное дело. Григор посмотрел, как они разлетаются вниз и вверх,— одна, по всей вероятности, затяжелевшая, другая — облегчившаяся,— и звонко, молодо засмеялся. «И это хорошо,— сказал он, глянув в бесцветное небо,— и за это спасибо».

Туча натолкнулась на хребет, однако не расползлась: плотным комом она облепила скалы, проволокалась по ним в сторону моря и скрылась за хребтом.

Тем не менее и без дождя посвежело. Ветер переменялся, понял Григор: туча пришла с запада.

Пониже родника, чья струя сразу терялась в надтреснутом песчанике, зашуршали золотистые травинки, и он различил в них такую же золотистую, как они, ящерку. Ее томила жажда, но, опасаясь человека, она не решалась приблизиться к роднику. Григор отсел подальше; зверек секунду-другую выждал и, скользнув к призывному бульканью, сунулся в ямку чешуйчатым рыльцем.

День, как пообещало предчувствие, оказался неизвестным. А ведь к отшельникам он наведывался не раз, знал, как они живут; подробности этой целостной новизны ничего нового для него не представляли. Так оно и есть: смотреть на одно и то же снаружи или изнутри — значит видеть не одно и то же. Все это сохранится в душе как приобретение огромное, как драгоценное воспоминание.

И, опять глянув в небо, он сказал: «Спасибо за день».

Чего он теперь не любил, не мог делать, это перебирать при ком-то свои воспоминания. У большинства его добрых знакомых память была особой кубышкой, в которой они хранили все лучшее, что приобрели за жизнь, и которую с готовностью перед ним раскрывали. Это лучшее обладало вдобавок счастливым свойством прямо на глазах улучшаться. Дорожил своим прошлым и он. Когда-то близких, ушедших из его жизни людей ему порой не хватало, он скучал по ним; многое, связанное с ними, оставалось для него милым и радостным. Но он бы не обрадовался, если бы милые тени явились к нему во плоти: в его теперешней жизни им не нашлось бы места.

Была и другая причина, по которой свою кубышку он держал закрытой. В ней бережно хранилось и дурное, и самое вроде бы случайное. Вот этого случайного, несущественного, о чем совсем уж не стоило вспоминать вслух, набилось в памяти столько, что и в зрелые годы ему продолжало чудиться, будто он проживает чужую и весьма незавидную жизнь. А между тем давно, еще в юности, обозначилось для него жизненно важное дело, причем как раз такое, куда втягивалось все его жите со всеми существенными и вроде бы несущественными событиями, впечатлениями и раздумьями, которые хранились в памяти. Ей он до известной степени доверял, именно потому доверял, что дурные и никчемные приобретения она хранила бережливей, чем стоящие. Однако не преувеличенно ли совестлива,— настораживал он себя,— такая память? Не упивается ли он сознанием собственной греховности? Нет ли и в нем самолюбования — самолюбования наыворот? Не становится ли его прошлое стыдодейственной неправдой?.. Нет, не только памятью руководился он, подступаясь к этому необходимому делу. Милые и вовсе не милые тени,— иные ушедшие из его жизни, а иные — из жизни вообще,— время от времени являлись ему и сообщали и о себе, и о нем самое сокровенное. Но, что-то сообщив, они внезапно исчезали, и он снова ждал их, ждал нетерпеливо и маетно, однако же находя утешение как раз в том, что не может держать их на привязи, не может навязать им своей воли. «Стало быть, настоящие»,— уверял он себя.

Поздней осенью 963 года, в воскресный полудожливый-полуснежный день к дому епископа Хосрова подкатила крытая двуколка, запряженная парой белых лошадей в ковровых пурпурных с черной вязью пополах. Правивший лошадьми сердитого вида воин резко натянул вожжи, набросил их на привратный столб и спрыгнул, не заметив, что под ним лужа. Она уже успела затянуться грязным ледком. Хряп! — и лужа забрала воина с сапогами. Вышагнув из глинистой, кляклой почвы, он укоризненно взглянул на сапоги, чертыхнулся и злобно застучал в калитку.

— Кто там? — донеслось через некоторое время из сторожки.

— Заспался, сытый черт! Отворяй! — рывкнул воин, обтирая один сапог о другой.

Из сторожки бочком выбрался толстый — с тремя различными под негустою бородой подбородками — привратник Атом, который действительно спал в этот послеобеденный час.

— Кого там принесло? — спросил он только по привычке, отлично узнав голос воина, позволявшего себе вовсю колотить в епископскую калитку.

Он отдернул засов и посторонился перед входящим.

— Доброго здоровья, Ост,— почтительно сказал Атом, вперевалку поспешая за воином и обдувая его сильным чесночным духом.— С чем пожаловал?

— Государь требует владыку.

На крыльце уже стояла Няня в летнем платье, далеко оттопыренном грудью.

— Живи и радуйся,— сказал ей воин и хлопнул налокотниками по стальным бокам, отчего по двору пронесся звон, напоминающий колокольный. При этом воин пробежался взглядом по Няниной груди. Няня перехватила и сопроводила нескромный взгляд, а затем ресницами смахнула с себя. Не так давно, к сорока годам, она остепенилась совершенно: не допускала никаких вольностей ни себе, ни с собой.

— Входи,— произнесла она неприветливо, еще неприветливей глянула на его сапоги и распорядилась: — Переобуешься на крыльце.

— Нет-нет, не беспокойся, во дворе побуду,— зачастил Ост,— государь вызывает владыку по неотложному делу.

— Как хочешь. Сейчас доложу.

Она поднялась на второй этаж и, приоткрыв дверь хозяйской комнаты, заглянула в нее и тихо вошла. Хосров лежал на тахте. Отрывисто, со всхлипами, посапывал. Няня тронула его за рукав халата.

— Амазасп зовет.

Он хлюпнул горлом, наполовину приподнял веки и гулко проговорил:

— Посыльничего проводи в гостиную.

— Провожу,— ответила Няня и, выйдя из комнаты, направилась на кухню доругиваться с судомойкой из-за скверно вымытого котла.

Хосров выждал, пока закроется дверь, поднялся, подошел к умывальному столику, прополоскал рот, смочил и пригладил остатки седых волос и несколько раз сдавил мокрыми ладонями нывший уже больше года затылок. Он знал, что означает это нытье и замутнявшая мысли тяжесть в затылке, тяжесть такая увесистая, что, когда он встал с тахты, голова невольно запрокинулась. Но обращаться к лекарям, которые примутся пускать кровь, ставить примочки с пиявками, он не собирался: не верил, что это поможет. Пора уходить на покой — вот что надо, а об этом

и думать мерзко. Он скинул халат, надел праздничную рясу из светло-серого сукна и золотую цепь с нефритовым крестом, вдоль и поперек прочерченным алмазиками.

Никого не найдя в гостиной, Хосров выглянул в окно, увидел слоняющегося по двору в грязных сапогах Оста и понимающе буркнул:

— Вот стерва.

Соображая, зачем он вдруг понадобился царю, Хосров вышел в прихожую. Позавчера он принимал у царя исповедь, а сегодня виделся с ним на литургии. Впрочем, царь скрытен и внезапен. Никогда не угадаешь, чего от него ждать. Хосров бережно поставил на полку с обувью домашние туфли и, помогая себе указательными пальцами, влез в уже тесноватые башмаки. Затем накинул клобук, надел теплый, на лисьем меху, плащ и застегнул серебряные шарiki.

Во дворе он кивком поприветствовал низко склонившегося и вновь зазвякавшего при этом Оста и зашагал к калитке. Ост сдернул со столба вожжи, вспрыгнул на облучок, Хосров взгромоздился на скрипнувшее под ним сиденье, двуколка покати́лась.

От Города Садов, где находился епископский дом, до крепости было рукой подать, но земляная, кратчайшая дорога раскисла, и они ехали в обход, по булыжным и дощатым мостовым. С моря дул ветер. Дождило. Людей на улицах было мало. Хосров, невидяще уставясь в Остову спину, плавно подымался и опускался на упругившем задке повозки.

Не удалась сегодняшняя литургия, с самого начала не заладилась. Торопыга дяк при выходе к алтарю споткнулся о ковер и упал. Пели враздробь, часто откашливались. А главное: проповедь у Хосрова не получилась. И хотя, по-видимому, никто этого не понял,— наоборот, подходившие к нему для целования руки почтительно и взволнованно благодарили за мудрое наставление,— он-то понимал ясно: плохая проповедь, ошибочная.

Хосров заранее определял лишь предмет проповеди. Могучий оратор, он считал, что заблаговременная подготовленность — препятствие естественному струению речи.

Сегодня предметом было предпочтительное отношение евангелистов к людям бедным. Хосров начал с рассказа о богатом юноше, который не пожелал раздать богатство нищим, как это предложил ему Иисус, чем и вызвал укоризненные Иисусовы слова: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши¹, нежели богатому войти в Царство Божие». Богатство, продолжал Хосров, обычно овладевает собственным владельцем: озабочивает, гнетет страхами, требует всяческих жертв. Как служить золотому тельцу и Небесному Агнцу

¹ Некоторые богословы полагают, что так назывались самые узкие ворота в крепостной стене Иерусалима; в пользу такого мнения говорят и выражение «удобнее», и множественное число предполагаемого названия, и становящийся вполне уместным верблюд.

одновременно? Однако не следует думать, что богатство бывает только имущественным. Есть и другие его виды. Можно быть богатым и умом, и храбростью, и одаренностью к различным наукам и ремеслам. Эти виды богатства тоже овладевают собственными владельцами, тоже отводят от Бога.

Хосров, не называя имени (его носил и кое-кто из присутствовавших), достаточно прозрачно напомнил слушателям о знаменитом в предыдущее царствование полководце. В схватках с арабами ему неизменно сопутствовала удача. Постоянными успехами он вызвал опасливое недоверие царя (речь шла о старшем брате Амазаспа, и прихожане с любопытством покосились на него; тот, окруженный громадными болгарями-телохранителями, изрядно возвышавшийся на скамье над всеми в нефе, нисколько не изменился в лице), и царь сместил его. Царь оказался прав: ни верным подданным, ни истинным христианином полководец не был. Он переметнулся к мусульманам и стал с прежней удачливостью сражаться против бывших соратников. Понизив свой мощный голос до гудения, Хосров сказал: «Вот до чего доводит богатая одаренность, которая всегда чревата гордыней, а гордыня требует служения одной себе».

Он повременил, чтобы прихожане полнее восприняли это как бы олицетворившееся в нем высказывание, и тихо спросил: «Чем хуже одаренного убийцы те, кого он убивал, те, у кого не было дара убивать?»

Сочувственный гул взлетел над нефом. Тут же сбив его взмахом руки, Хосров стал разворачивать проповедь дальше. Он перечислил другие виды богатств — здоровье, молодость, красоту, которые разжигают в своих обладателях сходную гордость. Блаженнее их некрасивые и больные — хотя бы потому, что не могут этим тщеславиться. Хосров усмотрел в изречении незавершенность и оперил его словами Петра: «Страдающий плотью перестает грешить». Все же недоходчиво, подумалось. Опять необходим, по возможности, острый пример.

Рядом с царской скамьей стояла семья князя Захарии Амуни, важного сановника, умницы и красавца, покончившего с собой в сорокалетнем возрасте. Каждую весну на князя нападала гнетущая подавленность, и минувшей весной он не совладал с приступом. Хосрову пришлось закрыть глаза на самоубийство и разрешить погresti князя со всеми обрядами. В церкви были мать, вдова и сын Захарии, после смерти отца вернувшийся из Константинополя, где он учился в военной школе при императорском дворе. Они еще не сняли траура. Точно так же, не называя имени, Хосров заговорил о греховнейшем поступке князя. Захария, при его недюжинном уме, действительно был гордецом, словно бы на руках самого себя носившим. Его не любили. К тому же он ведал государственным сыском, и у многих в храме имелись нешуточные причины ненавидеть князя. Эти люди, для которых пример Хосрова явился не столько пояснением сложной мысли, сколько суровым утеше-

нием, удовлетворенно переглянулись: вот он, наш Хосров, никого, кроме Бога, не боится!

И вдруг в храме раздался смех. Хосров изумленно повернулся вправо, откуда смех продолжал звучать, и встретил сухой, неприязненный взгляд матери князя. Старуха не смеялась: она так кашляла. Хосров вспомнил, что муж ее, который был в фаворе у великого Гагика, большие надежды подавал, умер совсем молодым. И вообще мужчины из древнего и гордого рода Амуни, как правило, рано уходят из жизни, — а ведь показательная закономерность, — точно не желают стареть, не желают терпеть старческие немощи. Он уже собрался облечь это наблюдение в неоскорбительную для Амуни, отвлеченную, эмблематическую форму, как неожиданно вспомнил и другое: отец Захарии был человеком одареннейшим и в то же время очень скромным. В нем это сочеталось. И такая ли уж редкость — подобная сочетаемость?..

«Господи Боже, что ж я нагородил? — ужаснулся Хосров. — От Тебя и здоровье, и красота, и способности, и каждому дана свобода распорядиться Твоими дарами по собственному усмотрению. Как просто все, а я мудрствую и призываю людей невесть к чему».

Не сводя взгляда со старухи, он заставил ее опустить глаза. Речь о Захарии оборвал и, произнеся Иаковлево: «Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою», грузно осел в кресло. В храме было надышано; кадильщик перекадил; гремучее бряканье раздавалось у Хосрова в затылке — будто железа туда набросали. Он положил правую руку с набухшими багрово-сизыми жилами перед собой, на застланное парчовой тканью перильце, и не откинул, как хотелось, а нагнул голову.

Первым подошел Амазасп. Склонившись к руке и оставив некоторый промежуток между ней и своими губами, царь сказал: «Превосходно». Подходившие вслед за царем прихожане — в основном богатые люди — благодарили Хосрова так прочувствованно, словно он открыл им глаза на то, каким образом с отменной пользой для души употребить свое богатство, и они здесь же, на паперти, раздадут его нищим. Подошел к нему и сын Захарии юный князь Павел, неся на лице совершенно захариевское приветливоснисходительное выражение. Спокойно он приложился к руке Хосрова и внятно, раздельно, чтобы слышно было и другим, проговорил: «Спасибо за поучение, владыка. Женщины расстроились, но дело есть дело. Спасибо и за твою благородную сдержанность, за то, что разговор об отце не довел до конца». Далеко пойдешь, стервец, недобро подумал Хосров. А впредь надо загоя готовиться к проповедям, сказал он себе, не те уже годы, голова не та...

Через ров, по опущенному мосту, мимо расступившихся стражников двуколка влетела в крепость и, миновав цитадель, подкатила к Малому дворцу. Великан болгарин соскочил с крыльца на мок-

рый, в лужицах, плитняк и предупредительно подставил епископу ладонь. Хосров отмахнулся, взошел без видимого труда по высоким ступеням, толкнул обитую бронзой двустворчатую дверь.

— Гасудар в трпэзной,— старательно коверкая человеческую речь, сообщил идущий следом болгарин.

Хосров снова отмахнулся, прогудел:

— Стой, где поставили, краснослов, без тебя дойду.

Но уже навстречу ему с крутого лестничного пролета стремительно и бесшумно сбегал племянник царя Вард, приземистый, поджарый и очень широкий в плечах юноша. Хосров утром видел его в церкви: он сопровождал царя повсюду. Вард сдвинул короткий меч за спину, округлил руку, и Хосров продел в нее свою. Подведя епископа к трапезной, Вард подождал, пока он снимет плащ, принял и, дважды стукнув в дверь, остался снаружи.

Несмотря на дневное время горели настенные светильники, желтили пустоватый простор помещения. Просторно, а душно. Натоплено — как в спальне перед сном. Хосров расстегнул ворот и пошел к царю.

Амазасп, мелкорослый, худой и узкий в кости, ворошил кочергою угли в камине.

— Сядь.— Он кивнул на плюшевое кресло у очага.

— Жарко,— сказал Хосров и сел на скамью под окном.

Царь, почему-то глядя в сторону, спросил:

— Чувствуешь себя как? Отдохнуть успел?

— Спасибо.

— Приехал наш человек из Ани. Известие привез, которого мы ждали. Догадываешься?

Хосров молчал.

— А ведь твоя превосходная сегодняшняя проповедь к такому случаю в самый раз. Все только о ней и говорят. Записать ее не худо бы, а?

Хосров молчал.

— Католикос Анания Мокаци отлучил тебя.

— Разродился наконец,— неизвестно про кого буркнул Хосров.

— Ха-ха! Этим владыку не смутишь, владыку смутить мудрено,— словно кому-то третьему, утверждавшему обратное, объявил царь.— Да и разве не ждали мы этого?

Хосров пристально взглянул на него.

— Ждать — одно, дожидаться — другое. Где оно, отлучение?

Царь снял с каминной доски свиток, развернул и вручил Хосрову. Присел рядом. Хосров достал из внутреннего кармана увеличительное стеклышко, начал читать.

Все то же самое. Неблагодарность — почему на сей раз не названа черной? — по отношению к великодушному благодетелю, утвердившему его в звании епископа, отказ признавать и уважать первенство патриарха... Гордыня, корыстолюбие, мерзость суесловия и прочее. Полный набор ругательств, звучавших в предыдущих,

остерегательных посланиях... Ага, вот оно: ересь. Прямая улика — извлечение из проповеди, которую он произнес летом: «Крест, благословенный священником, и крест, что не был благословлен, — равночтимы; благословление полагаю излишним». Ничего не скажешь, выхвачено ловко, убеждает, если не знать остального... Еще одна выдирка — из книги «Изъяснение церковного чина», где он вскользь упомянул, что возрастающее нагромождение степеней и званий делает церковь неуклюжей, тяжелой на подъем... И последнее: кошунственное потворство гонителям-магометанам. Хорошо ему, Анании Мокаци, там, в Аргине, под крылышком у Ашота, сумевшего вытеснить воинственных эмиров из своего царства. Здесь же один неприступный Хлат недешево обходится... Кошунственное потворство... Это, конечно, не столько о мусульманах, сколько камешек в нарекский огород. Запустить булыжником не посмел: греков опасается, боится Анания греков. А кто их не боится?.. Ох, надоело, устал...

— Ооох... — Хосров поднялся и положил свиток на доску.

— Ты огорчен, — сказал царь, тоже поднявшись и дотронувшись маленькой ладонью до плеча Хосрова.

— Чему радоваться? Зачем царству отлученный епископ? Зачем он царю?

— Чушь городишь! — вскипел Амазасп. — Как ты можешь вообразить такое? Никому не веришь. Мы родственники все же. А что до нужды в тебе, кто еще так же знает церковь? У кого такие же связи в Византии? Но есть, есть в тебе изъян: очень уж ты дрожишь за свое достоинство, охраняешь его, точно страж бессонный. На католиковосы послания можно было и отвечать.

— А я полагаю глупым отвечать на письма, которые со всех анийских амвонов читают, на письма, в которых льют на меня помойную грязь и в которых, что бы я ни сделал, вкривь и вкось толкуется. Как на них отвечать? Разве в них есть хоть капля правды о самой сути, о заострениях между нами и греками, которые я по мере сил затуплял? Как отвечать? Налево-направо кланяться? Ты что же хочешь, чтобы меня с обоих концов анафематствовали, вертуном обзывали, слабым и в вере и в ереси?.. Э, да ты, государь, упрекаешь меня. Правильно, выходит, я сказал: ждать — одно, дожидаться — другое.

Амазасп подшагнул к камину, дернул звоночный шнур и велел ставшему на пороге племяннику:

— Сходи к Пандальону. Если указ готов, пусть несет.

И повернулся к Хосрову, ожидая, что тот спросит: «Какой указ?» Вопроса не последовало, и царь, отойдя в дальний угол, принялся ожесточенно накручивать на палец змеящиеся за ухом полуседые прядки. Хосров хмуро смотрел в окно, где над крепостной стеною белела горбатая скала, испещренная надписями почти двухтысячелетней давности — свидетельствами величия и мощи самодержцев, которые правили единой страной отсюда, из Вана.

Вард открыл дверь. Вошел италиец Клавдий Пандальон, большоголовый, лысый, с тусклым, безвозрастным лицом. Покинув родину, он долгое время жил в Византии, где, подвизаясь в различных монастырях, еле дослужился до протодьякона. В Ван его убедил перебраться Хосров. Италиец расположил к себе Хосрова незаурядной образованностью, знанием пяти или шести языков и острым, как заточенное лезвие, умом, странно сочетающимся с кротким и созерцательным нравом. Здесь Пандальон перешел в монофизитство и вскоре стал заведующим царской канцелярией.

В руке он держал свиток. Круговым движением туловища он ухитрился одновременно поклониться Амазаспу и Хосрову, стоявшим шагах в тридцати друг от друга, и остался у двери.

— Иди же сюда,— раздраженно сказал царь.— Передай владыке указ.

Хосров принял свиток. На нем кудреватым, но разборчивым почерком было начертано о высочайших заслугах Хосрова перед церковью и о его назначении архипастырем Васапуракана. Вот это и вправду неожиданность! Поистине царский ответ на его отлучение! Радуюсь не столько за себя, сколько за Амазаспа, он проворчал:

— Указ недействителен.

— Почему ж это?— вкрадчиво спросил царь.

— Подписи католика нет и не будет.

— Ха-ха! Полагаешь, мы не придумали замену? Растолкуй ему, Клавдий.

Опять поклонившись обоим, Клавдий сказал:

— Указ доставят в Константинополь, патриарху Полиевкту. Он чрезвычайно ценит существование Нарека, в котором со всей определенностью проявилась возвышенная веротерпимость владыки, его благорасположение к дифизитам.

— Ну, владыка, что скажешь теперь?— с ядовитой усмешкой осведомился царь.

Хосров понурил голову.

— Прими, государь, мои извинения, а также признательность за великую честь, оказанную мне, недостойному.

— Ха! Так я и знал: теперь он примется разыгрывать из себя смиренного, уж я-то его знаю,— опять кому-то незримому возвестил царь.— А ведь он и без этого указа возглавлял мою церковь. (Хосров передернулся, но сумел промолчать). Что поделаешь? Такой он человек.— И тощенький, мелковатый Амазасп, выпитив грудь, быстро-быстро просеменил петушком от стены к стене. Затем сказал:— С анафемой, стало быть, покончено. Займемся другими делами. Перекусить хотите?.. Нет?— Он потянул звоночный шнурок.— Вард, сходи на кухню, к Рипсимэ. Пусть чай принесет. Не водичку желтенькую, а чай.— И пожаловался Хосрову:— До чего прижимистая баба! Не то что твоя домоправительница.

— Это верно, щедрее моей свет не видывал,— желчно отозвался Хосров, одобрявший, впрочем, Нянину бережливость.

— Однако ж и здорова она! С цыпочек до груди не достанешь. Откуда такая?

— Из Скандинавии.

— А, слышал. Воины там славные. Не хуже моих болгар. Да, здоровущая... Дети как?

— Хм, дети!— досадливо хмыкнул Хосров, злой сейчас на весь свет, кроме Амазаспа, которого постыдно недооценил.— Из Ованеса богослова не получилось. Переводит, и то кое-как, в год по листочку. Не пойму, за что ему степень лиценциата дали. Я бы не дал. А младший, наоборот, строчит без передышки. То высокоумные трактаты, в которых больше помышляет о себе, чем о Боге, то стишки. Они-то совсем никудышные.

— Ну, это ты напрасно. Ко дню рождения моего Сенекерима он великолепные стихи сложил.

— Хм, великолепные! Показывал он мне их, советовался. Это про то, как царевич на колеснице съезжает с вершины Арарата,— не разъяснишь, как он туда въехал? — съезжает в окружении серафимов и херувимов. Колесница вся из чистого золота, постромки то ли жемчужные, то ли еще какие-то, а в руке у возницы вместо кнута охапка цветов.

— А что?— озадачился Амазасп.— Это не донесение, а стихи. Красиво сочинил.

— Как же, как же, слов нет. И лошадьми правит не кто-нибудь, а сам Иоанн Креститель. Я и спрашиваю: почему на козлы ты Крестителя посадил? Где сказано, что Креститель когда-либо извозным делом промышлял? Ну, тут его не собьешь: толкования к Библии он читал. В облике Иоанна Крестителя, говорит, на землю явился в своей огненной колеснице пророк Илия. Допустим, говорю, хотя на этот счет имеется серьезное возражение у другого Иоанна — Богослова. Однако, спрашиваю, не слишком ли велика честь даже для царского сына, что на козлах его колесницы сидит Креститель?.. И что ты думаешь?... На прошлой неделе был я в Нареке, и он снова сует мне это сочинение. Теперь твой Сенекерим съезжает с Арарата не в колеснице, а в тележке, и тащат тележку уже не лошади, а быки. Но в ней по-прежнему серафимы с херувимами, и правит быками все тот же Креститель. Полная ерунда. И всем ее показывает, и говорит, что всем нравится.— Пожав плечами, он заключил:— Мне — нет.

Царь, словно бы продувая ноздри, шумно порскал. (У молодящегося, брившего седую бороду Амазаспа крошились зубы; он прятал их за отвислой верхней губой.) Итальяец неопределенно улыбался.

«Чего это я растрезвонился?— спросил себя Хосров.— А, в храме выболтаться не получилось — поэтому...»

Отворилась дверь, и вошла Рипсимэ, неся поднос с неглазурованным (царь не любил показной роскоши) глиняным кувшином и такими же чашечками. Медленно, плавно приблизилась она к столу, опустила поднос и подкупающе радушно поклонилась каж-

дому по отдельности: Хосрову сперва, потом Клавдию и лишь последнему — царю. До чего хороша! — в который раз, не желая того, восхитился Хосров: длиненькая, гибкая, с юной пухлогубостью приятно великоватого рта, с необычайно прозрачными, несмотря на угольную черноту, глазами и без румянца, без розовости, молочно-белым, как бы светящимся лицом. Когда на исповедях Амазасп признавался в чуть ли не každоношном любодеянии с нею, Хосров смущенно, совсем не по-пастырски отмахивался: «Да ладно, чего уж там...» Но царь, разоткровенничавшись, не мог остановиться, и, когда он заводил речь о нежном бесстыдстве Рипсимэ, которая, если ему, женатому все-таки человеку, удавалось какое-то время удерживаться от греха, улучала удобный случай и нашептывала: «Пожалей, покрой свою козочку», — Хосров негодуя обрывал его: «Уймись, государь! Что такое? И точно в козла превратишься!»

Всего два года назад Рипсимэ была уличной девчонкой и зарабатывала на пропитание, утоляя чью угодно похоть. До царя ей посчастливилось приглануться недреманному державному оку — князю Захарии Амуни. Он поселил ее в загородном доме — тоже в качестве домоправительницы; там и приметил ее Амазасп и не без труда отнял у князя. По явно сатанинской глумливой прихоти, по дьявольскому наущению нарекли ее именем древней праведницы, которая погибла, отстаивая свое целомудрие.

Не осуждавший без разбора чувственной любви, Хосров имел твердое суждение, что телесная связь молодости с немолодостью всегда обоюдокорыстна, лишена самозабвенной и потому отчасти прощительной, — так судил он, — поглощенности друг другом, какая нередко отличает подобные отношения людей молодых. Одухотворенность в таких отношениях он напрочь исключал, и поэтому изъеденная летами плоть, норовящая, по его убеждению, лишь налакочиться и омолодиться соками другой, свежей и сильной, виделась ему отвратно-потешною, а их обмен ласками представлялся взаимоскорбительной меновой торговлей.

На извилистой, повторяющей береговые выгибы дороге показался путник. Ходко он шел и как-то чудно, с какой-то нарочитой старательностью воспроизводя извивы дороги и поминутно вымахивая на обочины. Он ничего не нес. На крутом повороте его закинуло, он упал, но сразу вскочил и зашагал вдвое быстрее. «Пьяный, — решил Григор, — оттого и налегке идет: обронил ношу». Путник, снова, на этот раз плашмя, повалясь на спину, остался лежать. «Пойти глянуть, что с ним...»

Кисти рук упавшего были замотаны окровавленными тряпками. Боль повела глаза. По лицу, поросшему юношеским пушком, — лет шестнадцать-семнадцать.

— На живот положи... спина изломана... пить... — выстонал.

Григор перевернул его и побежал к пещере, кляня избыточ-

ный аскетизм Акопа, никакой посуды не державшего. Схватил в пещере сорочку, вскарабкался к роднику, намочил и, разбивая на камнях ступни, запрыгал вниз.

Парень был без сознания. Григор переложил его на правый бок, раздвинул ему губы и выкрутил в рот воду из сорочки. Парень очнулся.

— Дай еще.

— Нельзя тебе больше. Что с тобой сделали?— зная и что, и за что, спросил Григор, чтобы тот опять не впал в беспамятство.

— Ой, монах, не спрашивай!— Парень опасливо, как побитый пес, сжался.— Не бросишь меня?

— Схожу в обитель,— вон она, видишь?— и вернусь с повозкой. Часа за два управлюсь.

Парень возражающе затряс головой.

— Не бросай меня. Страшно.

— Идешь откуда?

— Из Востана.

— Долго шел?

— С полудня.

— Ладно, вместе пойдем. Дай-ка спину погляжу.

Григор отделил прилипшие к спине штаны и рубаху. Спина была испорота так, что заголились реберные, лопаточные кости и два копчиковых позвонка. По обочинам рос подорожник, но чахлый, выгоревший. Григор прополоскал в море сорочку и принялся раскладывать на обескоженной спине.

— Ой, монах! Ой, больно ты мне делаешь!

— Приподнимись, сынок. Рукава на груди завяжу. Потерпи, потерпи... Так, молодец.

Григор приложил лбом к его лбу. Жар уже разгорался. Разматывать тряпки на руках он не стал: могла хлынуть кровь, а остановить ее нечем.

— Легче?

— Нет.

— Ты лежи, лежи. Куда добираешься?

— Никуда. Иду, и все.

— Родители живы?

— Живые, если не померли. В Карсе они.

— Не близко.

— Я от них сбежал,— кривясь от боли, но охотно и шустро залопотал парень.— Отец говорит, не от него я. Мамку твою, говорит, взял не чистой. Она тебя, говорит, приبلудыша, через шесть месяцев выродила, как за меня вышла. Ох, и колотил он нас. Здоровенный, ууу!...

— Дружки у тебя есть?

— Кому я, покалеченный, нужен?

— Давно воруеть?

— Как сбежал... Ай, пальцы мои! До чего ж вы были ухватливые! Магниты, а не пальцы. Денежки сами к вам подсакивали.—

Он обеспокоенно взглянул на Григора.— В монастырь меня пустят? Может, соврать что-нибудь?

— Пустят. Врать ни к чему. Знаешь, как говорят? Меньше вретя, спокойней живется.

— Э, говорят и другое: не соврешь — зоба не набьешь. Давай-ка про меня чего-нибудь придумаем.— Парень требовательно сузил глаза.— Ну, думай, думай, монах, шевели мозгами!

Григор невольно улыбнулся: беспальный, а цепкий — такой должен выжить.

— Не стану думать. Все равно проговоришься. Ты говорун.

— Это верно, — смутясь, будто в чем-то стыдный уличенный, подтвердил парень.

— Пальцы все отрубили?

— Нет, на правой руке оставили большой и две култышки, чтобы, говорят, креститься и харчиться. А на что, скажи, я этот харч куплю?

— По суду сделали?

— Какое по суду! Торговцы на базаре — чик-чик! — и оттапали. Спасибо, что руки замотали... Как мне жить, а? Побираться и все.

— Захочешь — работа отыщется.

— Работа... Я выживу хотя бы?

— Выживешь, — уверенно сказал Григор. — В тебе не одна, а десяток жизней.

Парень окинул его вьедчивым, оценивающим взглядом.

— Я сперва за отшельника тебя посчитал. А потом смотрю: нет. Гладкий и ряса не обтрепанная. Ты что здесь делаешь?

— Живу.

— И давно живешь?

— Сутки.

— Тебя что, из монастыря выгнали? — вновь затревожился парень. — Зачем же мне туда с тобой идти?

— Не бойся, не выгнали. Ну, пора подыматься.

— Слушай, ты чего мне все подмигиваешь? Ты нечаянно не того? — Он покрутил рукой у виска.

— Не того. Ну-ка встали. Цепляйся за шею.

Ясно было, что парень пойдет совсем не так споро, как прежде: до сих пор его гнали ужас и отчаянье, теперь же, приободрившись, он и расслабился сразу. Охая и чертыхаясь в ухо Григору, он жаловался на боль, наверняка чудовищную, особенно внизу позвоночника. Садящееся солнце сверлило глаза, любую выбоину приходилось огибать, и, пройдя шагов двести, парень взмолился об отдыхе.

— Это не дело, — сказал Григор, уложив его на траве. — Так мы и к ночи не доберемся. А у тебя жар начинается. Жди меня здесь.

— Как же так? Так не договаривались. Куда ты? У, чертов поп, сволочуга, вернись, кому говорят!..

Не оборачиваясь, Григор быстро, как мог, зашагал к обители. За сутки он успел сбить ступни и каялся, что ушел в пещеру босиком,

желая хоть чем-то уподобиться ее постоянному жилищу. Впереди была глубоко вдававшаяся в берег излучина. Он решил спрямить путь, подобрал полы рясы, пошел по воде и, уже выбираясь на противоположную кромку, поскользнулся, больно ушиб плечо и в сердцах тоже помянул окаянного.

Отшагав примерно треть пути, он заметил едущего по отлогому склону на осле псаломщика Вифония, своего давнего друга. Вифоний, поступивший в школу несколькими годами позже Григора, не закончил ее. Порывистый, переменчивый, он тянулся то к одному, то к другому занятию, — составлял гороскопы, мастерил арфы и кимвалы, пытался развести в море форель, почасту куда-то зачем-нибудь отлучался из обители, — ничего не доводил до конца. И вся эта бесплодная живость простиалась Вифонию за его доброту и веселость. Впрочем, надо полагать, и за богатый вклад, внесенный за него в монастырскую казну. Самым устойчивым из его тяготений была склонность к сочинительству молитвословий. В юности Григору нравились эти стихи, но только когда Вифоний напевал их своим благозвучным голосом. Когда же он переносил их на пергамент, из них словно бы вытекала живая кровь, и, бесцветные, никлые, они, казалось, молят не о спасении Вифония и возвращении его души к Создателю, а лишь о собственном спасении и возвращении к создавшему их Вифонию. Учась в школе, Вифоний страстно желал, чтобы его гимны были исполнены на богослужении, и Григор показал их Анании. Тот, просмотрев их, заявил, что в них расплывчатое, двоящееся восприятие Господа и в монофизитском храме они прозвучат странновато. Тогда Григор отнес их главе дифизитов Маниаку. Однако и Маниак отверг гимны, сказал, что в них Господь туманен и бесплотен, а стало быть, монофизичен.

В отличие от многих не нашедших себя, не осуществившихся людей (хотя — как знать? — возможно, такими они и задуманы Творцом, и на свой лад осуществляют), Вифоний и теперь, когда ему было за сорок, не озлобился на весь свет и только сетовал иногда на косное неприятие его молитвословий, которым убежденно предрекал великую будущность. Но сочинял он их все реже. Теперь его охватила новая страсть — врачевание. В каком-то трактате он вычитал, что от любой болезни, если она не запущена, исцеляет овечье молоко, если оно от здоровой и молодой кормящей овцы, — вычитал и уже с месяц был овцепасом. Однако кормящие овцы, которых в трактате предписывалось в целях усиления целебности молока выдаивать особым способом — с равномерным пощипыванием и ущемлением сосцов, — никак не соглашались такому способу подвергаться и перестали подпускать к себе Вифония. Он надежды не терял, рассчитывал со временем уломать упрямцев.

Сейчас он ехал на ослике, с мягкой задумчивостью глядя по сторонам, и было в его продолговатом, узкобородом лице и во всем кротком облике удивительное сходство с Иисусом, когда Его изображают кротким.

Он хлопнул пяткой по ослиному боку и съехал к Григору.

— Что, домой возвращаешься?— спросил он, одобрительно блеснув карими глазами. (Сам непоседливый, тормозливый, других он желал видеть на одном месте и при одном занятии.) Не дожидаясь ответа, застрекотал:— Правильно. На кой тебе эта нора в кочке? Садись на осла. Садись, садись, у тебя кожа на ступнях содрана. А я за день седалище натрудил. Пускай на ногах отдыхает...

— Погоди, дай слово сказать. Вон там человек лежит. Это ему в обитель надо.

— Чего кипятиться? Надо — доставлю. А ты, значит, остаешься? Жаль мне тебя. Ну, ладно, ладно. Не тяни время, залезай.

Сев на осла и двинув его вперед, Григор спросил:

— Ты-то зачем здесь?

— Овечки недосчитался. Кормящей. Видать, удрала от меня, дурочка.

Григор улыбнулся:

— Может, та самая — сотая?

— Ага, представь, и я ее вспомнил,— не уловив шутки, обрадованно закивал Вифоний.— Сотую, которая перевешивает девяносто девятерых. Как точно Иисус подметил это! И вообще все, что Он говорит об овцах, всегда в точку. Помнишь овцу, которая в день субботний угодила в яму? Я намерен свести воедино и заново осветить все, сказанное Им об овцах... Да, что за человек? Почему лежит?

— Увечный.

Парень лежал на спине и стонал в бреду:

— Во-ды-ы-ы...

Григор перевернул его на живот. Вифоний принес в кожаной сумке морской воды и слил парню на голову. Тот распахнул пустые глаза, но вмиг пришел в чувство.

— А, монах,— прошипел он,— вернулся, заела совесть!

Григор спросил Вифония:

— Осел смиренный?

— Смирнехенький,— заверил Вифоний и предложил:— Давай-ка боком парнишку усадим, так ему легче будет.

Они ухватили его под локти и под колени и устроили на осле.

— Вот что, паренек,— заговорил Григор, стараясь говорить ласково, но беззастенчиво,— знаю, тебе очень худо. Но для своей же пользы выслушай меня. В обители к тебе отнесутся по-доброму, человечно. Только, пожалуйста, не принимай мягкость за гнилость: себе же навредишь. Понятно говорю? (Парень мрачно кивнул.) Самая большая твоя беда в том, что с целым миром враждуешь. Так невозможно. Пропадешь. Не ты его, а он тебя сильнее, он доказал тебе это сегодня. Поправишься и, если мозги у тебя такие же хваткие, как пальцы, сможешь выучиться у нас грамоте. Дело у тебя в руках окажется. Ну, с Богом.

Над морем паутинились сумерки. Григору захотелось в пещеру, за козий полог, на мусорную подстилку, в свой чуть было не утра-

ченный на эту ночь уют. Шевельнув пальцами, он сунул их под мышки и, не оглядываясь, зашагал к келье.

Господи Боже, за что его?.. Он увидел озверелую толпу, которая из собственного нутра изрыгивает жалкую жертву, себя он различил на августовском, изобильном рынке, в тесноте, гомене, смраде, благоухании, шуме и блеске, а вокруг — разинутые, горящие обесмысленной злобой глаза, разъявленные рты... Люди, зачем вы так?.. Вот его волокут за еще не укороченные руки, вот проворно, с отменной сноровкой умещают, вытягивают на узком прилавке, перехватывают бечевами зад, шею, запястья. Только ноги свободно и неудобно зависли над гладкой, утолоченной землей — пусть мажутся, взбрыкивают для потехи. В чьих-то кулаках соединяется концами гибкий стальной прут. Жжах, жжа-а-ахх... И вот взлетает столлярный молоток-топорик и падает, взлетает и падает... Непонятно, как мальчишка не свихнулся от такого ужаса, как терпит такую боль... Нет, отчего же, очень понятно: жизнь усердно готовила его к нынешнему дню, на славу потрудились. Что светлого повидал этот мальчик?.. Почему так жестока жизнь к самой себе?.. Кого винить? Господа — сострадание на кресте.

— Тыфу на меня!

Думать об Амазаспе как о простом человеке не получалось, и нелукавая, чистая мысль Хосрова, неуловимо для него вильнув, пошла накатанной колеей, правда, без обидных для царя и его подруги наклонов.

Может быть, эти двое безрасчетно любят друг друга? С чего бы ей не любить Амазаспа, которого возвышает не только царский титул? Есть в нем душевная высота, есть, не отнимешь. Окажись он, Хосров, в месте царя, ответил ли бы он так же безбоязненно на жутковатый, что и говорить, взрык католика? Амазасп прекрасный правитель, уйму пользы принес он стране за считанные годы своего правления. Не дворцы понастроил, чтобы красоваться в них, а десятки дорог, сотни каналов провел. Ожили при нем пограничные земли на юге и на востоке, заселились, заколосились, стадами зарябили. По-хозяйски опекает он торговлю: учредил разумные пошлины, умерил неизбежное лихоимство владельцев крепостей — великих поборщиков, которые нынче обируют купцов, можно сказать, совестливо. О ремеслах заботится. Это при нем завезена в царство бумага, и вот-вот в Ване заработает бумагоделательная мастерская. Всего и не вспомнишь, что он успел, предприимчивый, бодрый, жизнерадостный, сетующий лишь на то, что день короток. Женщины любят таких. Захария, конечно, был помоложе и повиднее, но какой-то неживой он был, какой-то загодя омертвелый. Да и не из тех он был, кому дано делать добро. Из грязи-то он девчонку вытаскивал, но, останься она у него, барахталась бы сегодня в том же месиве. С чего бы ей не любить Амазаспа?

— Чай горький, как велели,— тонким, детским голоском произнесла Рипсимэ.

Она бережно, не доверху, разлила по чашкам темно-коричневый, повитый дымом напиток и, теплым взглядом обволокнув не глядящего на нее царя, стройно прошествовала к двери.

Амазасп поднес ко рту чашку, сдунул пар, с видимым наслаждением отхлебнул глоток.

— Вкусно,— сказал он,— пейте.— И повернулся к Хосрову:— Прибыл сегодня и другой гонец — из Нарека, от твоего Анании. Посольство пора отправлять. Никифор утвердился на троне.

— Подробности какие?— живо откликнулся Хосров, целиком углубясь в несущее тревожную радость известие.

— Подробности самые расчудесные. Он вернул Феофано и обвенчался с ней.

Воистину совсем неплохой день! Заждались они этого сообщения из Константинополя, откуда уже полгода извещали о беспорядках. Наследнику умершего в марте императора Романа едва исполнилось пять лет. Высшее священство, чиновные и военные вожаки с расставленными локтями ринулись к власти. Но все они сходились в нежелании уступать власть вдовствующей императрице Феофано, наглой, нахрапистой дочке трактирщика, которая вызывающе откровенно кичится худородством и раздает первейшие придворные должности своим братьям и дядьям — темным, как сама тьма. Дикая баба! (Выразительнейшей особенностью тяжелого лица Хосрова были очень подвижные тонкие и длинные брови и заходящие далеко на виски уголки глаз. Быстро и одновременно двигаясь, они явственно выдавали его настроение. Сейчас они взметнулись и выразили брезгливость.) Однако эта, как ее расписывают, необычайной красоты плебейка обзавелась могущественным союзником. Вскоре после смерти мужа она вызвала в столицу полководца Никифора Фоку, прозванного Непобедимым, и взвихрила ему мозги так же стремительно и лихо, как несколькими годами раньше проделала это с Романом. Никифору, человеку надежному, чуждому вероломства, она сразу доверилась: открыла ему доступ в тайную канцелярию. Он вызнал все, что можно, об их уже общих противниках и, имея за собой сорок тысяч закаленного войска, в середине июля занял трон. Неплохой человек этот Никифор и, главное, неплохо относится к Амазаспу, ходившему с ним в поход на месопотамских арабов. В отправке посольства надобность более чем неотложная. Летом Амазасп на границе с Ани освободил от мусульман крепость, и на нее тут же, по своему завистливому обыкновению, стал притязать Ашот. Несуразные требования, разумеется, были отвергнуты. Тогда Ашот отрядил к границе ораву головорезов, и нынче дня не проходит, чтобы они не учинили какой-нибудь пакости. Отношения с Ашотом так натянулись, что вот-вот лопнут. Давно следовало заручиться поддержкой Непобедимого. Однако под тем покачивался трон, и Феофано настояла, чтобы Никифор в угоду патриарху, с которым она разругалась, на время выслал ее из сто-

лицы. Ну, а теперь, значит, все уладилось. Посольство может трогаться хоть завтра. Подарки для императорской четы заготовлены подходящие, в меру ценные: для Никифора — виссоновая, с жемчужным шитьем мантия, дюжина чистопородных арабских лошадей и снаряжение на пятьсот воинов; для Феофано — золотой венец с изумрудами, образующими греческое начертание ее имени, и уйма тюков с цветастыми шелками — произведениями несравненных ванских шелкоделов. Но вот для патриарха царь расщедрился чересчур: дарит ему отлично сохранившиеся сандалии святого Варфоломея. (Брови пошли вниз, и глаза выразили крайнее сожаление.) Посольство второй месяц мается от скуки в чаше езды отсюда. Впрочем, и поскучать удовольствия в Артемеде, в этом сплошном яблонево-м саду (Хосров предпочитал яблоки всем плодам), благоуханном не только в пору вызревания: артемедские плоды такие, и в нынешнем году уродилось их столько, что они напиваются ароматом весь городок и сейчас, лежа в погребках. Послами царь поставил своего среднего сына Гургена (старший, Ашот, вырос пьянчужой) и андзевацийского епископа Мовсеса, человека дельного (испытанный единомышленник Хосрова, Мовсес сменил его в обширнейшей епархии царства).

Хосров не раз ездил послом в Византию, и всегда повторялось то же. Греки, встречая посольство на границе, заботы о содержании брали на себя. Не желая кормить лишних людей и следить за ними, они оставляли послу не больше десяти воинов из его охраны, затем везли в столицу длиннейшим, кружным путем, чтобы просторы империи казались прибывшим необъятными. По отношению к тем, кто раньше не бывал в Византии, эта хитрость какой-то смысл имеет. Но греки не утруждаются разбирать. В столице Хосрова селили на убогом подворье, обнесенном глухими стенами и, вероятно, потому горделиво именуемом дворцом. Приема при дворе надо было ждать месяц, два, а то и дольше. Пуп земли — столица империи: пускай приезжий потонет и уразумеет, где он, захолустник, оказался. Вот и приходится сыпать деньгами и подарками, ублажая нужных людей, от которых зависит ускорить или отсрочить лицезрение особ вовсе не высочайших, а для начала средне-высоких, ибо и до них васпураканскому послу — как от земли до неба.

Хосров сказал:

— У Никифора послы будут месяца через три. Дома — через четыре. Ашот столько ждать не станет.

— Об Ашоте без нас позаботились, — возразил царь, прибежавший еще одну новость. — Братец его в Карсе взбунтовался. Все княжество поднял.

— Слава Богу! — прогудел Хосров. — Есть время.

— Да, время есть, — кивнул царь. — Но куда быстрее бы все заладилось, если бы посольство вел ты.

— Нет. Стар я. Могу в дороге и помереть некстати. А Мовсес вошел в лучшую пору. Да и Гурген хоть зелен, но смекалист. Справятся.

— Давайте-ка снова все обдумаем,— сказал царь и повернулся к привычно тихому Клавдию.— Так ты считаешь, что послы должны явиться сперва к патриарху?

— К нему, государь, вне всякого сомнения, к нему,— сгибаясь и разгибаясь, как заводной куколенок (похожий был у Хосрова в детстве), отвечал италиец.— Сейчас Полиевкт первый человек в Константинополе и какой-то срок таковым пребудет. Не зря и подарок ты делаешь ему неизмеримо ценнейший, нежели императорской чете. Да и просьба к нему относительно владыки беспримерная.

Царь в раздумье покрутил прядку за ухом.

— А Никифор не обидится, а, Клавдий?

— Не до обид ему ныне. Он зависит от патриарха, который едва ли торопится освятить его женитьбу.

— Дельно,— согласился царь и перевел взгляд на Хосрова. Тот промолчал: это дело касалось и его лично.

Амазасп, с пониманием хмыкнув, спросил:

— Не чересчур ли дороги дары? Не возмнят ли греки лишнего о стоимости услуг?

«Услуга — не то слово,— сказал про себя Хосров,— милостью это зовется».

Вслух он сказал:

— Никифор человек порядочный. Его задобришь, и он тут же не цыкнет, а гаркнет на Ашота. К тому же не в интересах Никифора позволять усиливаться царю, сила которого больше твоей. Но Полиевкт алчен. Его ничем не удовлетворишь. Увидит реликвию — глаза разгорятся. Наверняка чего-нибудь в придачу запросит. Да и жаль отдавать святыню. Я говорил тебе, государь, и снова скажу: она не только твое достояние. Отдав ее, ты обеднишь церковь, которую сам же с высоты собственного величия называешь не иначе, как своей.

Царь надулся, засопел и перевел взгляд на Клавдия.

— Дары соответствуют назначению,— с приглашенной тихим голосом убежденностью сказал тот.— Святыня бесценна. Однако ты, государь, не напрасно расстаешься с ней. Она упрочит положение и обеспечит тебе приятнь византийских армян.

«Хороший человек,— подумал о нем Хосров.— Но не армянин, он другой хороший человек. Не Армении он служит, а приютившему его царю. Что для нас греческие армяне? Отрезанный ломоть. Был ли нам когда-нибудь ощутимый прок от того, что на византийском престоле сидели армяне? Какие в Византии армяне? Греки они или полугреки. Но Амазасп этого понимать не хочет. Он и на них рассчитывает. Так же, как Ашот. Оба тешат себя грезами воссоединить Армению. Вот и петушатся друг перед дружкой. Это — их первейшее монаршее занятие. И ни один не вознесется и не упадет настолько, насколько это необходимо для блага всех армян. Ашот недостаточно силен для этого, Амазасп слаб недостаточно... О, рассопелся недомерок! Сейчас прокричит, что ради меня умасливает

Полиевкта, сейчас он на меня набросится, орел васпураканский!»

Но царь, горестно покачав головой, сказал:

— До чего ты вредный! Я ведь знаю, о чем ты думаешь. Правильно твой Анания говорит, что думаньем ты и глухого оглушишь.— Царь снова заговорил с кем-то невидимым:— Вредный он человек! Анания тоже его знает...

— Анания! — вспылil Хосров.— Больше слушай Ананию! Особенно его рассказы про иудея, который часто бывает в Эчмиадзине. Не с этим ли самым иудеем ты говоришь?

— Не смей перебивать меня! — запрыгав, как в седле, на стуле, закричал царь.— Я все, все про тебя знаю! И чего ждешь — знаю. Ждешь, чтобы я брякнул, что сандалии апостола отдаю Полиевкту ради тебя. Так вот: хоть до второго пришествия жди, не дожدهшься!

Хосров побагровел, набылчлся, но вдруг затрясся в могучем, напоминающем камнепад хохоте. Заразителен был его всегда неожиданный смех, и сразу Хосрову заворили и Амазасп, и Клавдий, очень довольный, что на этот раз обошлось без ссоры. Но царь мгновенно вновь погрузнел.

— Велик Константинополь, — сказал он.— Народу — сколько во всем Васпуракане. Вот и ублажаешь греков то по делу, то на всякий случай. Загребущие они. Чего ни дашь — все мало. А не дашь — сами возьмут. Прожорлива Византия: лопает соседа за соседом.

— Такое отнюдь не на пользу ей, — утешающе заметил Клавдий.— Кормящиеся завоеваниями колоссы неизменно, начиная с Вавилона, заболевают слоновой болезнью. Первый ее признак — нехватка хлеба. Война поедает крестьян. Пустеют житницы. В городах вспыхивают голодные бунты...

— Так-то оно так, — перебил царь.— Но прежде чем лопнуть, прожорливый великан подзаправится сонмами невеличек.

— Стоит ли вглядываться в такую даль? — спросил Хосров.— Нам Ашот страшен, который вдвое объемистей нас и не прочь за наш счет распухнуть вдвое.

— Чем выше смотрящий, тем дальше видит, — горделиво выпрямься, заявил царь.— Ладно, с греками и анийцами на сегодня разобрались. Есть и внутренние неурядицы: после смерти Захарии сыск расшатался. Даже известие о женитьбе императора пришло от Анании. Захариевский помощник — не замена князю. Что скажете?

Оба промолчали: не было у них на примете надежного человека для этой скользкой работы.

Амазасп поднялся, подошел к камину, с хрупаньем доедавшему головешки, и совком загрузил в него белые, без коры, поленья. Вернувшись к столу, спросил:

— Чай почему не пьете?

Царь не чтил вина и возбуждал себя горьким листовым настоем, от которого голова яснела и как бы расширялась, мысль проворно облакалась в подходящие слова, но затем, — на это жаловались многие, угощаемые Амазаспом, — начинался сердечный

колотун. Хосров лишь из приличия потягивал коварное зелье. И вдруг удивленно осознал, что впервые за много дней не ощущает бремени и нытья в затылке. Жарко, натоплено, как в бане, а затылок — ничего. Может быть, зелье обладает целебными свойствами? Китайцы — народ просвещенный. Надо будет не забыть посоветоваться с лекарем-китайцем, у которого нынче весь город толпится, — не зря же, наверно.

Хосров осушил чашку, и царь снова ее наполнил. Налив чаю и Клавдию, он спросил у него:

— Что скажешь о Павле, сыне Захарии?

Тот помедлил и, согнувшись-разогнувшись, ответил:

— Ничего определенного, государь, не могу сказать об этом юноше.

— Так уж ничего! — усмехнулся царь и подмигнул Хосрову. — Сказал же, что юн. А он моему Гургенчику ровесник. Значит, двадцать ему сровнялось.

— Не нравится он мне, — оставив без внимания веселость царя, заговорил Хосров. — Он из тех людей, которые служат не кому-то и не чему-то, но только себе, из людей, до того себя любящих, что ни на что иное любви у них не остается, — так, рассудочная, рассчитанная, корыстная тепловатая видимость... Да, да, хочешь сказать, что и отец был таким же, а проку от него было достаточно. Не согласен. Захария мучился сознанием этого своего изъяна, перебарывал его, как мог: он и умер от того, что его безлюбовь к другим в нелюбовь к себе превратилась. Худо, когда человек ни на йоту не может блюсти заповедь: «Люби ближнего твоего, как самого себя», — не может оттого, что себя непомерно любит, либо оттого, что не любит вовсе. Этот смазливый юнец, дай ему власть, тотчас во всей красе выкажется...

Хосров круто оборвал себя, подумав: «Боже мой, опять проповедую! Что со мной сегодня? Царю рот затыкаю, о деле говорить не даю...»

Но Клавдий, глядя на него, одобрительно кивал.

Царь, также кивками сопровождавший чеканную поступь Хосровой речи, тем не менее возразил:

— Павел смышлен и честолюбив. А значит, как и Захария, не сможет жить лишь для себя и собою. А, Клавдий?

— Позволю себе повторить, государь, что он молод. Не будет ли разумней вернуть князя в Константинополь, чтобы он закончил оставленную после смерти отца военную школу? Отчего бы ему не поехать вместе с посольством и не возглавить охрану? Пусть проявит себя. А намекнуть Павлу о его возможном будущем, по-видимому, целесообразно; есть смысл и свести его в Константинополь с нашими тайными людьми, не открывая ему пока ни имен их, ни местожительства.

— Разумно, — согласился царь. — Будет у нас новый Захария, непременно будет. — Он посмотрел на Хосрова: — Что скажешь, владыка?

— Я не предсказатель,— буркнул Хосров.— Ничего не скажу. Напустословил сегодня и в Божьем доме, и в царском. По гроб жизни достанет.

— Ну и нрав у человека! — с ядовитой ухмылкой воскликнул царь.— Себя не пощадит, только б что-нибудь наперекор бухнуть! Вот что еще хочу обсоветовать. Захарии хватало и на дворцовую охрану. Осту это не по уму. У него в голове уместается полсотни, а тут три. Воин он славный, обижать его неохота, но я снова ставлю его над болгарами, благо что начальником всей охраны не утвердил.

Клавдий, глянув на пасмурно молчащего Хосрова, заговорил первым:

— Ты вполне прав, государь, и в принятом решении, и в нежелании наносить Осту обиду. Можно сказать ему, что возникли настоящие обстоятельство, которые требуют, чтобы он опять всецело занялся твоими телохранителями. Например, что поступили сведения о готовящемся на тебя покушении. Ост бескорыстно предан тебе. Но разве плохо, если он станет охранять тебя бдительней? Заодно, невзирая на его бескорыстную преданность, недурно бы увеличить ему жалованье. Лишняя номисма, верности его не убавя, скрасит понижение в должности.

— Согласен,— кивнул царь и, вновь посмотрев на Хосрова, спросил:— А кого над охранным полком поставить?

— Князя Мушега,— чересчур быстро (он с неудовольствием поймал себя на этом) предложил Хосров.

— А, Медведя Задравшего,— засмеялся царь.— Прекрасного роста человек.

Мушег, владелец расположенной на южной границе крепости Джанк, тридцатилетний силач, весельчак и жизнелюбец, приходился Хосрову двоюродным племянником. Он маялся в захолустье и давно просил дядю подыскать ему службу в столице. Прошлой осенью царь, совершая поездку по стране, посетил Джанк, и там для него, завзятого медвежатника, была устроена охота. Мушеговские слуги загодя обнаружили берлогу и в урочный час выгнали зверя прямо на Амазаспа. Он двинулся навстречу, не заметил под собой бурьянной ложбинки и упал в нее. Мушег кинулся на подмогу, угодил туда же, выронил копье, но, вскочив на ноги, изловчился ухватить медведя сзади, за шею, и задушил его. С тех пор к Мушегу и прилипло прозвище «Медведя Задравший». Амазасп был благодарен ему и за образцовый порядок в крепости, находящейся по соседству с землями беспокойных мосульских эмиров, и во время поездки постоянно ставил Мушега в пример другим владельцам крепостей.

— А что? — произнес царь.— У него голова поемче Остовой. Но ведь Мушег и выпить не дурак, и на женщин беда как падок.

— Без греха кто? — выразительно вскинув глаза, спросил Хосров, который, не будучи обладателем горячей родственной шишки, к Мушегу тем не менее благоволил.

— Ладно, подумаю,— сказал царь.— Однако ж засиделись мы сегодня, а, глядите, и одного кувшина не усидели.— Он приподнял кувшин и взболтнул его содержимое.— Ужинать оставайтесь. Воскресенье. Поедим чего-нибудь лакомого, чаю попьем всласть.

Клавдий, низко поклонясь, ответил:

— С низким поклоном принимаю приглашение.

«Господи Боже,— Хосров свирепо глянул на италийца,— это какая-то машина говорящая, какое-то унылое глумление над живою, кипучей, как весенний паводок, речью!.. Чужой он, чужой, далекий, дальше того болгарина, что у входа подвернулся...»

Хосров вышел из-за стола и, глядя в пол, сказал:

— Прости, государь, что отказываюсь. Не пойму, что со мной сегодня. То во мне радость несусветная, то досада, то в жар, то в холод бросает... Боюсь настроение тебе испортить.

Царь хохотнул:

— Испортить настроение! В этом, мой дорогой, ты так преуспел, что больше некуда! Ладно, понимаю: день у тебя был хлопотный.— Потеребив звоночный шнур, он сказал Варду: — Владыка едет домой. Погоди. Пускай Ост возьмет трех... нет, пятерых воинов.— Насмешливо посмотрел на Хосрова.— Время-то позднее, а твое преосвященство вне закона. Отлученного любой встречный обидеть вправе.

Хосров кисло улыбнулся, ответил:

— Поделом злобному старикашке.

И неловко склонил голову. (Когда они с царем бывали на людях, то, прощаясь, всегда затруднялись сомнением: кто кому должен целовать руку; поэтому расставались неуклюже и как бы недовольные друг другом.) Царь хмуро моргнул в ответ. К Клавдию Хосров подошел с виноватыми за только что кипевшее в нем раздражение глазами и, подав руку, целовать не позволил — потянул к себе его руку и крепко пожал.

Неясная тоска, ни с того ни с сего защемив сердце, остановила Хосрова у двери. Он обернулся и обвел взглядом всю просторную трапезную с расписанными однообразными золотыми завитками потолок и стенами.

— До свидания, надеюсь, скорого,— сказал, выходя на лестничную площадку.

Он всунул руки в подставленный Вардом плащ, накинуд клобук и сошел по лестнице. Перед наружными дверьми опять остановился, обернулся к Варду, размашисто перекрестил его и поцеловал в темя. Тот остолбенел.

— Чего уставился? — строго спросил Хосров.— Дверь открой.

Ост сидел на козлах той же двуколки. Но теперь вокруг нее возвышались болгары на могучих, под стать всадникам, битьях.

«Что-то еще изменилось,— сказал себе Хосров.— А, похолодало, снег идет».

Снег шел плотно, лучился и слепил в темноте и вместе с нею скрадывал громоздкие объемы Большого дворца. К нему приближались четыре крытые повозки, видимо, со званными на воскресный ужин.

Поехали теми же улицами. Народу стало погуще. В церковке с крестом, у основания наискось перечеркнутым дифизитским брусом, завершилась вечерня. Одетые по-зимнему люди медлили расходиться. Слышалась протяжная, долгогласная греческая речь. Рядом, на пустыре, дети с ликующими криками лепили снежного идола. Хосров держался за край сиденья одною левой рукой: правая озябла; он впустил ее поглубже в рукав и зажал пальцами пушистый меховой ворс. Затылок не тревожил, но в ушах с надсадной звонкостью отдавалось цоканье копыт. Передний всадник нес пересмоленный факел, брызгал искрами, и Ост, ругнув его, велел выкинуть «треклятую свечку, которая нас спалит». Факел описал дугу и чуть не угодил в прохожего, едва успевшего увернуться.

Возле дома, прислонясь к привратному столбу, стоял чанобразный Атом в ушастой шапке. Он не двинулся с места: хозяин терпеть не мог непрошеной услужливости. Хосров привстал, но сразу опустился на сиденье: правая нога, наверное, затекла — не слушалась. Он обхватил ее левою рукой, — озябшая правая тоже не слушалась, — и вынес из двуколки. И тут, увидев, как Атом вместе с привратным столбом заваливается влево, понял, что падает.

Очнулся он у себя в комнате. Он полулежал: в изголовье была навалена груда подушек. Затылок, казалось, вот-вот продавит ее. На стуле, впрытык к постели, спала Няня. Хосров закрыл левый глаз, посмотрел на нее правым. Няня помутнела, отдалилась. «Стукнуло, но не очень», — обнадежил себя Хосров и покосился на забинтованную в запястье правую руку. «Молодец, кровь пустил вовремя», — похвалил соседа-лекаря, напрягся и согнул руку в локте. Сильно заныло плечо. «Когда упал, зашиб, это ничего... Так, а сейчас нога». И она задвигалась, подтвердила, что удар не тяжелый.

Повеселев, он крикнул, и Няня открыла глаза. Молча, внимательно, без всякого смятения она глядела на него. «То что надо. Она права: за бесценок досталась мне».

В окне серело рассветное марево.

Значит, не меньше десяти часов она провозилась с ним, а он-то и настоящего имени ее не знает. Трудно, будто ворочая во рту камни, однако вполне разборчиво он выговорил:

— Как твое имя?

— Что, что такое? — всполошилась Няня.

Удовлетворенный своим ртом (правый край скривился книзу), Хосров переспросил:

- Тебя по-настоящему как зовут?
 - Зачем тебе это? — подозрительно спросила Няня.
 - Язык упражнять.
 - А... Хардангервилда, — с легкостью произнесла она гремучее, загрохотавшее у него в затылке звуко сочетание.
 - Кхм, звонкое имя... А теперь пришли Атома и поспи.
-

Ночь выдалась прохладная. Подниматься не хотелось, но надоело дрогнуть, и Григор выбрался из пещеры за козьей шкурой. Крупные предосенние светила высинили небо. Вспомнилось, как в канун 1000 года увеличилась и огненно запылала Полярная звезда. Ученейшие мужи Нарека, и он в том числе, определили, что она падает на Землю. (Тогда чуть ли не все сулило конец света. Перед Рождеством грянула стужа, и как всегда набитый новостями Вифоний сообщил, что один луч солнца уже остыл.) Разрастание Полярной звезды прекратилось на следующие сутки. Ее загроживала комета, и вскоре она скрылась из виду. Но никого в обители это не успокоило: заключительный год только наставал. Когда конца света так и не случилось, нарекские монофизиты заговорили об исключительной верности родного летоисчисления: по нему минувший год был не 1000-м, а отчасти 448-м, отчасти 449-м — ни единым ноликом не округленным.

Он подобрал шкуру и просунул в лаз. Хорошо было бы подоткнуть ее под ноги, но она задубела от старости. Укрываться ею было примерно то же, что укрываться тощей доской, однако, полежав под ней, он убедил себя, что согрелся.

Спать расхотелось. Нежно и умиленно думал он об отце, вспоминал, как удивительно подобрел отец в пору болезни. Прежде чопорный, колючий, он всех отодвигал на установленную им дальность, а заболев, стал беспечно-приветлив с каждым, и эта казалось бы неразборчивая приветливость делала его значительней, чем былая недоступность. Мягкая мощь появилась в нем. Он и внешне переменился: поперечная, через половину лба морщина разгладилась, разжались и неласковые складки на скулах, он посвежел, посветлел. Странно было видеть такое, но болезнь как бы шла ему на пользу, как бы оздоравливала его.

С вчерашним упорством валит снег. Старая яблоня празднично распушилась. Отменная яблоня. По вкусу и величине плоды не уступят артемедским. А созревают раньше — к середине июня. Зимой она, что ли, цветет? «Ни разу не видел ее цветущей», — сказал себе Хосров. И тотчас с обличительным упоением спросил себя: «А видел ли, желал ли видеть что-нибудь, кроме плодов?»

Прошел первый испуг, и, словно ничего более страшного

вчера не стряслось, грызла анафема, заслуженная анафема. Он перебрал в памяти упреки католикоса: гордыня, одержимость собой, суемудрие... Мокаци прав. Все вчера выпятилось в проповеди. Одержимость собой... Дело вечно было его богом. Этому алчному богу чего только не отдано... К терпимости призывал. А встречали хоть кого-то нетерпимей себя?.. Мокаци еще хуже: всегда напролом гонит. Мокаци — как тот бык, что пожрет-попьет и на телку попреет. Но он и призывает к нетерпимости, он, по крайней мере, равен себе. Вот кто будет рад-радешенек, когда услышит о его болезни. Немедля влезет на помост и возвестит о каре Господней. Вещать он умеет. У него и глотка такая, что любую звонницу перегудит. Сонмами бесов одержим, они и гудят в нем. Все же Мокаци человек чрезвычайно набожный. Бесы не лезут к тем, в которых нет Бога. Где нет Бога, там и бесам делать нечего, там их зевота разбирает... Гул, сумятица в голове. С подушками перестарались: голова стоймя стоит на этой горе.

Он попросил Атома убрать верхнюю, самую пышную подушку. Голове стало удобней.

За время его отсутствия или прежде чем его, обморочного, принесли сюда, балконную дверь, как всегда на зиму, заложили двумя тюфяками, а пазы щелистого по углам окна законопатили льняной паклей. Латаный разноцветный валик прикрывал низ окна. В камине бесшумно топился болотный уголь.

«Не сделаться для всех обузой — вот нынче мое дело. Легко сказать... Ну-ка для почина...» Он уперся в постель локтями и еще немножко съехал с подушечной горы. «Пропади-ка ты пропадом!» — велел он анафеме, и она послушно отлетела.

Заслышав мерное сопение хозяина, решил прикорнуть и Атом. Он осмотрительно качнул под собой стул, нашел его непрочным и устроился на ковре, у тахты, привалясь щекой к свисающему одеялу.

В отличие от Няни, которая совсем не сознавала себя невольницей, этот свободный ванец, около тридцати лет назад подрядившийся к Хосрову в привратники, по всей своей сути был рабом. Обжора и выпивоха, он на службе у богатого человека заботился поначалу лишь о собственной утробе и, убажывая ее, стал приворачивать, или, как он сам говорил, когда его удавалось схватить за руку, «стал прост на чужое». Слуги не доносили на него: он и перед ними раболепствовал, готов был выполнять и женскую работу. Однако ежедневная нетрезвость нового привратника бросалась в глаза, и Хосров, конечно, выгнал бы его, если бы не событие, которое преобразило Атома. Хозяйка, долгие годы бездетная, разрешилась сыном Сааком. И так же, как впоследствии Няня полюбила хилого Григора, Атом полюбил налитого здоровьем, горластого маленького двойника Хосрова — нет, и любовью это нельзя было назвать, это было полнейшее, собачье обожание.

Мужчина обычно и своего ребенка воспринимает как милое су-

щество, только когда тот проявляется в каком-нибудь осмысленном действии: возится с приглянувшейся игрушкой, или, раскачивая задком, учится стоять, или помогает, чтобы его взяли на руки. Атом полюбил Саака новорожденным, заобожал его в то самое мгновение, когда увидел этот крепенький комочек естества,— увидел и блаженно заулыбался, и эта блаженная улыбка озаряла его лицо всякий раз, когда он видел своего любимца. Как-то само собой вышло, что Атом в первые же дни Саака начал его обихаживать.

Атом подыскал для младенца кормилицу (молоко у матери было, но она и в ту пору была очень недужливой), пересмотрев для этого нескольких желательниц и самолично испробовав их молоко; он же сладил хорошенькую, гораздо красивей и, что важнее, устойчивей, чем заготовленная, колыбельку, которой все в доме дружно восхитились; он же наловчился кроить и шить распашонки. Через месяц после рождения Саака он с молчаливого хозяйского согласия перестал быть привратником и стал нянькой. Атом следил за кормлением младенца, сам купал его, укачивал, наряжал — все, что мог, старался делать для него сам. Когда годовалому Сааку подарили хитроумную заводную тележку и тот ее сломал, Атом разгадал ее секрет и смастерил другую, с запряженной в нее лошадкой, перебирающей передними ногами. Но в портняжном искусстве дальше распашонок Атом не пошел, не давалось ему и сапожное. Утешался он тем, что необходимое ребенку купал за собственные деньги.

Когда Сааку было три года, у него появился брат (в монашестве Ованес). Этот младенец рождался трудно: из материнского лона шел не головой, а ногами. Вытащенный на свет, младенец не издал и писка, но, как только ему в рот толкнули сосок, ожил и исправно зачмокал. Возможно, именно потому (так, по крайней мере, утверждал его дядя Анания), что он вдоволь насвоевольничался в материнском нутре и, выходя на этот свет, чудом не попал на тот, был он ребенком не просто покладистым, но ангельски кротким. Домочадцы так и звали его: «наш ангелок во плоти».

Мало походил на брата Саак. Своеобразный был мальчик, блажной, диковатый. Он не любил сидеть дома, не хотел возвращаться домой и после затяжных прогулок; поэтому, отправляясь с ним гулять, Атом запасался вместительной плетенкой с едой. Не любил Саак и тесноты — ни городской, ни лесной — и тащил Атома либо на открывающиеся за крепостью ровные поля, где пасся скот, либо к морю.

Атом, чтобы чем-то занять ребенка, научил его рыбачить. Но это занятие не вязалось с его беспокойным, резким нравом. Если рыба подолгу не клевала, он нахватывал камней и зашвыривал поплавок, вопя истошным голосом: «Я утоплю тебя, утоплю!»; если же клев и был, Саак исцарапывался и запутывал снасть.

Скоро он сам подобрал занятие себе по вкусу. Однажды, оглябая крепость, они с Атомом увидели воинские учения. Латники бились на саблях. Мальчик остановился и пристально наблюдал за ними, пока сшибка не прекратилась. По дороге домой Саак потребовал у Атома: «Сделай мне саблю». Тот немедленно срубил в саду буковый сук и к вечеру выстрогал меч с тонкой, по мальчишечей ладони рукоятью. Когда он наждаком наводил на изделие глянец, пришел Саак и сказал: «Саблю я просил, саблю. Саблей рубить ловчей. Себе тоже сделай». Ночью Атом вынес из гостиной кресло с длинными гнутыми подлокотниками, и наутро у него были готовы две сабли, которыми Саак остался доволен. После завтрака они отправились на прогулку, и на первом же пустыре Саак пожелал драться. Он полоснул Атома по искательно подставленному брюху, тот загоготал и, радостно крича: «Ты убил меня!», грохнулся навзничь. Саак глянул на толстяка с угрюмым презрением, отошел и врубился в заросли крапивы.

С той поры (ему было девять лет) он начал избегать раболопного пестуна. Сааку уже разрешалось одному выходить за калитку, и он познакомился с соседскими мальчишками. Он не чванился перед ними знатным происхождением — напротив, явно тяготился этим. С ними он тоже дрался — на саблях, дубинках, кулаках, — осиливая порою и тех, кто был старше его. Хосров, вспоминая себя в этом возрасте, одобрительно поглядывал на его синяки и царапины.

Года через два Саак стал признанным вожакom подростков своей улицы и с ними принялся завоевывать окрестные. Слабых он не только не цеплял, но заступался за них, покровительствовал; при этом не выносил, когда другие ребята ему подражали. Атома, который порывался услужать ему, он как-то раз отогнал грубой бранью, и тот, снова обитавший в привратной сторожке, открыто запил. Удивленный Хосров, вызвав у слуг причину такого поведения сыновней няньки, спросил сына: «Зачем обижаешь верного тебе человека?» — «Человека? Раб он, раб!» Хосров сердито возразил: «Раб, по-твоему, не человек? К тому же хороший раб лучше плохого господина». — «Да, но не я господин хорошего раба». Хосров опять узнал себя в этой находчивой дерзости и снисходительно хмыкнул.

Двенадцати лет Саак поступил в школу при храме святого Фомы. Сообразительный и стремящийся первенствовать, учился он более чем успешно, однако без особого интереса. С преподавателями у него нередко случались споры и столкновения. Словом он владел так же, как саблей и кулаками, и недалекие наставники извергались, испыхтелись, отражая его наскоки. Саак отказывался понимать, для чего существует церковь, почему верующим нельзя напрямую сообщаться с Богом. Отцовские объяснения, сводившиеся к тому, что стадо без хлева и пастуха непременно одичает, тоже не удовлетворяли его. «Люди не скоты», — говорил он. «Отлично сказано, — отвечал отец. — Но тогда почему для тебя не человек

твой Атом?» — «Он твой, а не мой! — огрызнулся Саак. — И он раб, раб! А что сказал апостол Павел? Вот что сказал: вас, людей, задорого Иисус купил, не будьте рабами других людей». Хосров мог бы в ответ привести высказывания самого Иисуса, хвалившего верных рабов, и доказать Сааку, что изречение апостола не надо воспринимать буквально. Но он ценил и берег независимый нрав сына, вернее, ценил и берег в сыне себя. Поэтому, сдерживая его натиск, сам в наступление не шел. «Да, с Атомом, пожалуй, ты прав. Плохо, что Атом не следует апостольскому наказу. Но что плохого в людях, которые сходятся в храме, чтобы там, в торжественной обстановке, сообща творить молитву Господу?» — «Как что плохого? Разве Господь не запрещал собираться в храмах, разве не говорил, что туда ходят одни лицемеры, чтобы бахвалиться набожностью? Говорил. И велел молиться в своем жилье и при закрытых дверях». Хосров с должным, хотя и несколько натужным учительским долготерпением (воспитатель он был неважный) разъяснял: «Христос говорил это, когда не было христианских храмов, когда были синагоги. Как ты не поймешь, что Христос проповедовал в то время и тем людям?» — «Люди ничуть не изменились. Когда я служу в сегодняшнем храме и гляжу на сегодняшних молящихся мирян, то могу по пальцам пересчитать искренних молельщиков. А много ли церковнослужителей, молящихся искреннее этих неискренне молящихся мирян? Вся наша церковь позорно обмирщилась!» Хосров, с удовольствием взглядывая на сына, восклицал мысленно: «Ох, и складно же сыплет молокосос! Проповедник будет что надо!» Вслух он говорил: «В твоих словах есть доля правды. Однако высказывать ее подобает не с ликующей свирепостью, но с печалью. И не каждому встречному-поперечному, а то неприятностей в конце концов мы оба не обещаемся».

Когда Сааку исполнилось пятнадцать лет (кряжистый, оборотевший, он выглядел на двадцать), Хосров решил приохотить его к настоящему делу. Для почина он дал Сааку переписать свое только что завершенное «Толкование таинства литургии». Не отрываясь на еду и сон, Саак просидел над работою сутки и вечером следующего дня вручил отцу. Тот просмотрел листы, исписанные крупноватым, с размашкой почерком, чисто, без ошибок и подтеков от смывальной губки, и сказал: «Работа сделана отменно». — «Не могу сказать того же о твоей работе», — глухо произнес Саак. «Почему?» — «Богослужение свое ты считаешь достойным Бога». — «Покажи, где я это говорю». — «Прямо не говоришь, но сама литургия — не таинство святое, как ты утверждаешь, а заурядное лицедейство. Вот отчего все вы охаиваете уличных лицедеев: они соперники ваши, они у вас зрителей отбивают». — «Так-так, значит, ты и меня зачислил в притворщики», — тоже приглушенно, еще сдерживаясь, вымолвил Хосров. «Тесно мне, отец, с тобой, у, тесно, ууу! — по-бычьему гулко прогудел Саак. — Не могу шагу ступить, чтобы на тебя не наткнуться! Всюду ты, ты, ты!

Тесно мне!» — «Что ж это, почему?» — растерянно взглянув на сына, спросил Хосров. И вдруг для самого себя неожиданно на весь дом раскатил: «Уй-ди-и-и!» Саак повернулся и вышел.

На другое утро завтракали без него. Часа через два мать заглянула к нему в комнату и не нашла его. После полудня Хосров поехал к Захарии. Разыскивали Саака и в городе и в окрестностях, ущелья облазали, леса, перелески — все напрасно. Вслед за ним, на второй день, исчез Атом. Вернулся он спустя полгода тощим обгорышем и сказал, что Саака нет в Васпуракане. Он и мысли не допускал, что того вообще нет в живых.

Саак сгинул накануне Сретения. Стояли облачные, но бесснежные дни, темные, холодные, и этот темный холод въедался в дом. Как нарочно над комнатой Хосрова прохудилась крыша, и кровельщик, залатав отверстие, сообщил, что она вся изрешетилась и весной придется класть новую. Затем рухнула прогнившая часть балкона, унеся с собой и часть стены от комнаты, которую занимала тогдашняя домоправительница, троюродная сестра Хосрова. Это была пожилая девица с безукоризненно правильными чертами лица, безукоризненного сложения и такого же поведения. Ее ничто не выводило из равновесия (Анания прозвал ее Госпожою Совершенной Стужей), и дом она вела ровно и добросовестно, однако, как показали две поломки, не слишком предусмотрительно. Словно бы и не заметив исчезновения Саака, она с той же невозмутимостью отнеслась к прорехе в стене и переселяться в другую комнату отказалась. Прореху заделали, но домоправительница, неотрывно следя за действиями мешкотного плотника, схватила грудную горячку, которая унесла ее. В доме стало вовсе скверно. Дворня, не ощущая пригляда, изленилась. Тосковавшая по Сааку мать, прежде дивная смиренница, возроптала и начала пилить Хосрова из-за домашних неурядиц. Хосров мучился чувством вины (горя не испытывал — только совесть давила) и отмалчивался, спуская жене любые придирки. Молчал и потому, что в ту зиму она вынашивала Григора. В ту зиму в дом и пришла Няня.

Открыв глаза, Хосров различил над тахтой седую макушку Атома и лежал тихо, чтобы не разбудить его. Как и Няня, Атом был нужен всему дому. Выявилось это, когда он отправился разыскивать Саака. Без угодливого толстяка дом точно усох. Его угодливость — не отмеренная, безотказная — была своего рода добротой. А доброта, как бы она ни проявлялась, кому не нужна? «Нам с Сааком», — ответил себе Хосров.

Около трех лет назад по городу заходил слух, что Саака видели в Севастии среди тондракитов. Люди Захарии нашарили кончик многоязыкой веревки — монаха из католикосовой резиденции. Хосров сам допросил его и пришел к выводу, что слух ложный,

очернительский. И снова Атом, ни у кого не спросясь, исчез из дома, и снова дом ощутил неприютность. Щека щеку ест — таким он вернулся, и челядинцы во главе с Няней наперебой принялись его откармливать, словно он был им необходим непременно в своем давешнем виде — жирным, мурластым, с раздутыми сытостью щеками. Атом, казалось, совсем забыл о Сааке. Он опять стал былым Атомом, обжорой и выпивохой, но разительно изменилось его отношение к Хосрову, на которого он раньше и взглянуть боялся. Теперь он ревностно и вместе с тем ненавязчиво услужал господину: убирал его комнату, чистил одежду и обувь.

Снег прекратился. На яблоне, будто огромные почки, виднелись то ли голуби, то ли вороны. Хосров глянул на песочные часы. Верхний ковш опустел. Переворачивать ковши в девять вечера также было собственнвольной обязанностью Атома, но вчера он не уследил за вытекшим в горловину временем. Хосров вспомнил, что вчера, подъехав к воротам, увидел Атома на улице. Обычно его можно было найти на кухне или в сторожке, которую изнутри он обшил сосновыми досками и оборудовал камином. Наверное, вчера тоскливая тревога тянула за душу и Атома, тянула и вытянула на улицу. Сейчас он блаженно посапывал.

«Надо бы,— сказал себе Хосров,— послать кого-нибудь на кафедр, предупредить, чтобы не ждали, надо бы еще... э, еще, еще и еще!» Он улыбнулся самому себе: давно забытая, ребячья, чудесная беззаботность, как сквознячок, вымела из головы все эти «надо» и «еще». Дети, Анания — вот кто надобны, но незачем срывать их с места, узнают и придут.

На лестнице зашуршали Нянины шаги и затюкали чьи-то незнакомые. Бесшумно отворив дверь, Няня пропустила вперед соседа-лекаря. Молодой, щеголеватый, в ярко-синей с черными изображениями каких-то зверьков тунике до икр и узконосых сапогах, расшитых на голенищах пестрыми нитями, он почтиительно поклонился, затем без стеснения, по-хозяйски отвернул одеяло с простыней, уселся на тахту и глазами потребовал левую руку Хосрова. Прослушав пульс, он ободряюще посмотрел на Хосрова и, полуобернувшись, спросил оставшуюся у порога Няню:

— Амюкская айва в доме есть?

— Найдется,— сухо ответила Няня.

— Возьми три таких плода и вскипяти в такой кастрюле (он показал руками размеры плодов и кастрюли) на малом огне. Пусть отвар выкипит на ширину ладони и остынет. Владыка будет пить его понемножку, но к ночи все должно быть выпито. Никакого другого питья и никакой еды сегодня владыке не давай.

Няня подошла к спящему Атому, потеряла за плечо.

— Вставай, боров. Завтракать пора.

Атом с кряхтеньем поднялся и, удрученно взглянув на хозяйку, поплелся за Няней.

Когда дверь затворилась, лекарь вынул из серебряного стакана на столе пишущее перо и протянул Хосрову, сказав:

— Пусть владыка, если может, соизволит взять перо пальцами правой руки и приподнимет руку.

Хосров сжал перо в пальцах: чувствительность их убавилась, и он не держал, а сдавливал перо. Приподнятую руку повело вправо. Он поморщился, вернул ее в прежнее положение.

Лекарь забрал перо, уложил руку Хосрова на одеяло и, глянув на висящий в головах нефритовый с алмазиками крест, проговорил:

— Красивая вещь. Нагрудный, нательный?

Хосров привел в движение губы и язык:

— Сперва нательный, потом нагрудный, а со вчерашнего дня настенный. Ты вчера как догадался, что со мной?

— Ого! — воскликнул лекарь. — Владыка владеет языком и губами куда лучше, чем я ожидал. — И не без самодовольства ответил на вопрос: — Я ни секунды не колебался в своих вчерашних действиях, ибо хворь, зреющую во владыке, распознал заблаговременно.

— Почему не предупредил?

— Зная, что познания владыки чрезвычайно обширны, я полагал, что он сам догадывается о зреющей в нем хвори.

Хосров улыбнулся левой стороной рта:

— Пожалуйста, не говори со мной так, будто меня нет уже на этом свете. Больному человеку такое не на пользу. Не нужно величать меня «он». Что до моих познаний в лечебной науке, то они весьма поверхностны, и я буду послушно выполнять все твои указы.

— Как? — радостно удивился лекарь. — Владыка не обратится... ты, владыка, не обратишься к более опытному врачу-лечу?

— Старческие немощи лучше всего может исцелить молодость, а как раз этого в тебе с лихвой, — глядя на него смеющимися глазами, ответил Хосров.

Лекарь скромно улыбнулся.

— Все-таки упреждающий осмотр я завершу, — с достоинством заявил он.

Достав с пристенного края тахты убранный Атомом подушку и просунув ее Хосрову под затылок и спину, он развязал тесемки на его рубаше, раздвинул ворот и выслушал сердце.

— Великолепное сердце, — сказал он, завязывая тесемки. — Эту подушку из-под себя не убирай: приток крови к голове должен быть замедленным. Да, боль у тебя лобная или височная?

— Затылок болит.

Лекарь смутился:

— По твоим движениям и речи я определил малоочаговый удар. — Потупясь, он оглядел разрисованный диковинными зверьками подол туники и добавил: — Ты делаешь чрезмерные, противо-

показанные тебе усилия. И, конечно, будет надежней, если ты воспользуешься услугами более искушенного врача.

— Очень жаль, что я не подхожу тебе как больной. Ты как врач меня устраиваешь.

— Заполучить тебя больным я и мечтать не мог! — спроста, с понравившейся Хосрову прямокой воскликнул лекарь.

Он сразу, как только закатал угол постельного белья и уселся на тахту, понравился Хосрову непринужденным поведением. Вот почему чуткий и взыскательный слух Хосрова не покорила его выпренная речь с этими прискорбными «владыка владеет языком» и «зная, что познания владыки»; точно так же не раздражила, а развлекала Хосрова и безвкусная пестрина лекарского наряда. «Такой, какой есть, — подумалось, — притом смекалистый».

— Ты ведь аниец? — спросил Хосров.

— Аниец.

— Почему сюда перебрался?

— Я дифизит.

— Вот как? В нас имеется общее. Я, видишь ли, тоже еретик. Вчера стало известно, что Мокаци отлучил меня.

Лекарь предположил:

— Вероятно, это огорчительное для владыки известие, дойдя до его ушей, и явилось причиной созревания болезни.

— Опять?!

— Ради Бога прости, больше не буду.

— Смотри у меня! Ладно, давай знакомиться. Тебя как звать?

— Хайк.

— Ну? И это в нас общее. В миру и я был Хайком.

— Осмелюсь осведомиться: отчего взамен исконно армянского имени ты взял персидское?

— О, это целая история. Расскажу когда-нибудь.

— Да, владыка, ни в коем разе не теперь, — с чрезвычайным воодушевлением заговорил лекарь. — Поскольку мне оказана огромнейшая честь врачевать тебя, а в случае нежелательного исхода болезни и отвечать за тебя, то я, сознавая свою ответственность, спешу уйти, решительнейше воспретив и воспрепятствовав тебе напрягаться.

Переведя дыхание, он обвел взглядом комнату. Хосров спросил:

— Чего ищешь?

— Дергалку от колокольца.

— Нет ее здесь.

— Если ты не желаешь, чтобы рядом с тобой кто-либо безотлучно находился днем, а также и ночью, дабы...

— Не желаю.

— ...тогда колоколец за дверью и дергалка над постелью необходимы. Пойду скажу об этом твоей домоправительнице. Навещу вечером.

— Погоди, а мой глаз, мое ухо тебя не занимают?

— Не такой уж я неопытный, чтобы не составить о них суждения по твоим жестам и разговору с тобой,— обиделся лекарь.

Хосрову захотелось спросить, не следует ли взамен айвового отвара назначить что-то иное, раз поражение не лобное и не височное. «Нет,— остановил он себя,— доверился — доверяй». Все-таки спросил:

— А пиявки, примочки будут?

— Дойдет и до них черед. Сейчас схожу испробую отвар. Лекарь церемонно поклонился и вышел.

Хосров обождал, пока звуки шагов не заглохли, сполз с пышной подушки и плечом снова сдвинул ее к стенке, сказав себе: «Мой организм — тоже не бестолочь. Надо внимать и его настояниям».

История персидского имени была такая.

Хайку Арцруни шел девятый год, когда родители отправили его на лето в Терэв к бабушке, матери отца. Это была властная, сварливая и скучливая старуха. Переезжать к детям они отказывалась. Видимо, боялась, что у них ее самовластия придет конец.

Хайку она вскорости до жути надоела рассказами, какую она была красивой, как дедушка много лет кряду домогался ее, как, даже заимев ее, сох по ней, покуда не преставился; надоела она и своей исключительной чистоплотностью, которая по отношению к нему выражалась в дотошных ежедневных осмотрах и наставлениях, что-де отпрыску столь знатного рода подобает неукоснительно следить за чистотой ушных раковин, ноздрей, межпальцевных углублений на ногах и прочих укромных мест. В придачу ко всему бабушка, ведя разговор, нуждалась в заинтересованном собеседнике, и, о чем бы она ни толковала, Хайку приходилось слушать и своевременно откликаться, чтобы не пробудить ее чутко дремлющую сварливость. Но еще несносней становилась бабушка, когда на нее нападала скука. «Скучно,— говорила она ему,— побудь со мной». Усаживала рядом и молчала.

В середине лета в Терэв прилетела весть о холерном поветрии. Город всполошился, замкнул ворота и силился не пропустить над ними ни единой мухи. Бабушкина чистоплотность возросла во сто крат: все в доме только тем и занималось, что скребли себя особыми, из конского волоса, мочалками. Осенью мор (в Терэв он не пробрался) утих; город возобновил сношения с остальным миром, и Хайк выбегал из дому на каждый стук калитки, уповая, что войдет отец или кто-нибудь из старших братьев. Бабушка, снова заскучав, на сей раз скучала одна и взаперти. Затворничество ее продолжалось трое суток, после чего она вышла в трауре и, объявив, что, кроме нее, близких родных у Хайка нет, по-иному, как

на свое, неотъемное, воззрилась на него. Не скорбь, а жгучую ненависть к старухе испытал Хайк при мысли, что он сирота и поэтому останется в Терэве и вечно будет терпеть ее воркотню и молчание. Однако за трою безмолвных суток бабушкина молчаливость возобладала над ее разговорчивостью, и, что отраднее всего было Хайку, она перестала нуждаться не только в собеседнике, но и в сомолчальнике. Она вообще перестала докучать ему, если не считать, что во время еды, поглядывая на него, восхищенно повторяла: «Какой ты у меня богатенький!»

Весною, едва стаял снег, она отбыла в Ван улаживать наследственные дела Хайка. Перед отъездом она настрого приказала слугам не выпускать его со двора, из-за чего он рассорился с ними со всеми и показал им, что умеет молчать не хуже хозяйки. В ту пору у него и выработалась пожизненная привычка говорить с самим собой, мысленно проговаривая, облекая словами приходящее в голову.

Бабушка отсутствовала до осени. Хайк успел стосковаться по ней и взять в толк, что бабушка, какая она ни есть, родная и что за это кое-что простить можно. Так же, как год назад, он выскакивал из дому на калиточный стук и был счастлив, когда наконец она вошла. Бабушка вернулась чрезвычайно сердитой. Пройдя в калитку, она сообщила Хайку, что в Ване несказанная грязь, и отрывистыми взмахами, словно стряхивая ванский сор, закрестилась и поблагодарила Господа, поселившего ее в сравнительно опрятном Терэве. В ту осень болезненная бабушкина чистоплотность ощутимо возросла. К себе в комнату бабушка допускала лишь Хайка, но сторонилась его и указывала на отодвинутую ото всей мебели табуретку. Вещи она не протирала: толстый слой пыли стал для нее единственным надежным свидетельством их безвредности.

На исходе осени при церкви святого Фаддея, построенной на бабушкины средства, открылась школа, и Хайк пошел в нее. За месяц он выучился бегло читать и писать и, проговаривая начертанные собственноручно слова, с наслаждением проникался их прочной, долговременной силой. С одноклассниками он сперва был заносчив и застенчив разом: считал себя лучше всех, однако не был в этом убежден полностью. Желая в этом удостовериться, он начал участвовать в их играх и потасовках и добился желаемого, превзошел других так же, как в учебе. Утонченнейшую приятность он находил в службах. Особенно ему нравилось кадить. Взбрасывая и тотчас отбрасывая дымный горшочек на длину руки и упруго напрягающей цепи, он расцветал под умиленными взглядами прихожан, полагая, что они любят искусственным кадильщиком (уже тогда он испытывал потребность вызывать восторженный интерес толпы), а не самым знатным и богатым терэвским мальчиком.

Терэв, средней величины город, был городом примечательным. Глубокая лощина, в которой он находился, была обращена

острием своим на запад, а к востоку расширялась и завершалась двумя правильной формы полукружностями — так что действительно, если глядеть на нее сверху, походила на лист¹. Голые отвесные скалы заслоняли Терэв с боков. Западные и восточные ворота густо зияли проемами бойниц, щерились стальными желобами для слива смолы и кипятка и вплотную примыкали к скалам. На востоке лощины была плодородная земля, владельцам которой вменялось в обязанность крестьянствовать, чтобы Терэв мог выдерживать и затяжную осаду. Уже при Хайке к городу подступили германцы. Проверив катапультами добротность ворот и без успеха попытавшись проделать подкоп в каменистой почве, воинство чинно отступило. Терэв был примечателен и тем, что, находясь на оживленном торговом пути, обеспечивал купцов по очень дорогой цене безопасностью и благоденствовал. Купцы звали его Жирным Терэвом. Бедняки в нем были наперечет: за любую каморку выручались хорошие деньги, и оставаться без денег удавалось лишь истым бессребреникам или таким же истым ротозеям. Не гнушалась подобных доходов и бабушка Хайка, держа неподалеку от дома постоялый двор с харчевней.

Хайку было тринадцать лет, когда на постоялом дворе, который он посещал как полномочный бабушкин представитель, — для нее подворье являлось средоточием мерзости, — поселился пожилой перс Хосров. Это был рослый человек с узкими для его роста, словно бы втиснутыми в грудь плечами. На его безбородом лице (при ближайшем знакомстве он разъяснил Хайку, что бреется из-за своего отпугивающего людей многоцветия — черно-красно-седого) круглился, напоминая готовую сорваться каплю, большой нос. Самым же примечательным в наружности Хосрова была его постоянная улыбка — грустная, словно притушенная, но при этом неизъяснимо светлая.

Молодость и зрелые годы он провел в скитаниях: его, зороастрийца, погнало с родины магометанство. Повсюду он чувствовал себя неуютным (вероятно, порой внушая себе такое) и потому нигде не задерживался. Но вот пришла старость, и ему захотелось хотя бы видимости дома. Терэв привлек его защищенностью и тем, что здесь, в полном кочевого люда месте, ему было к чему приложить руки. Потомственный шорник, он у иноземных умельцев научился мастерить хомуты, шлеи, седла, уздечки на любой вкус. В Китае у него была собственная мастерская, и, продав ее, он прибыл в Терэв с серьезным достатком.

На постоялом дворе Хосров обратил на себя внимание благодаря удивительному песику, тоже вывезенному из Китая. Маленькое, угловатое, хилое с виду созданище, глядящее на мир такими же печальными, как у хозяина, глазами, но с квадратною бородкой, обладало замечательными бойцовскими качествами, которые сразу ощутили и оценили местные собаки. Песик отнюдь не был хилым:

¹ Терэв — по-армянски лист.

ловкий, прыгучий, с изрядными клыками, с широченной, от уха до уха пастью, он вцеплялся в загривок и уже не выпускал противника, покуда тот не поднимал скулеж и не принимал телоположения покорности. Ухватить же его самому никому из врагов не удавалось: клыки скользили по его толстой, проволочной шерсти, не прокусывая ее. Через неделю после того как песик объявился в Терэве, огромные псы, завидев его, стремглав улепетывали. Не был он обходителен и с сучками — норовил без задержки покрыть даже нетечных. Две страсти — война и любовь — неумно владели кобельком. За это Хосров и дал ему кличку Хондя, что по-китайски означает разбойник. А к людям Хондя относился ласково, и отвечали ему обычно тем же. Впрочем, если чуял в ком-то недоброе для хозяина, мог тяпнуть.

В расчетный день Хайк вышел от управляющего подворьем с кульком монет и слитков. Выходя, он представлял, как сейчас в присутствии бабушки будет обдавать содержимое кулька кипятком и тереть кабаньей щетью, выслушивая, что все это не гладить надо, а драить, и что его неряшество убивает ее, и что она из кожи вон лезет не ради себя, а ради него, и что подворье — рассадник всякой скверны, и что, и что, и что... Он услышал громкий, с взвизгами, спорящий голос. Стоял июльский полдень, бессолнечный, мутно-стеклянистый, душный, но спорщики устроились под двускатным навесом, который краями достигал земли и под которым не то что спорить, но и просто дышать было тяжело.

— Нет, я гугаркский! — донеслось из-под навеса горделивое восклицание.

— А, с севера... Бывал там, монофизитов там много.

Голос был негромок, выговор не армянский.

— Мы сплошь монофизиты! — проверещал первый голос.

Хайк подошел к навесу. На овальной лавке сидело десятка полтора человек. Перс,— Хайк его заприметил в свой предыдущий приход и прозвал для себя человеком без плеч,— сидел отдельно, будто оттесненный другими.

— Сплошь так сплошь,— сказал он.

Лицо его светилось грустной улыбкой. Он явно не хотел спора, грозящего перейти в ругань.

— Да, сплошь, от мала до велика! — раздалось в ответ.

Отвечавший персу светлородый детина в бархатной рубахе с накладными золотыми пластинами и при сабле выглядел (Хайк задержал на нем взгляд), нет, желал выглядеть вельможей. Он облизывал потом в своей пышно-ворсистой, утяжеленной золотом, не по будничному дню нарядной рубахе, но, видно, еще сильней допекала его сабля, которая рукоятью упиралась ему то в ребра, то в запотелый дочерна подмышник. Больше же всего выдавали его худородство те, что сидели рядом,— судя по виду, купцы и погонщики. Никогда бы они не подсели к вельможе с таким спесивым обличем. Вероятно, это был купец или купеческий сынок.

— Да, монофизиты! — снова заверещал он. — И правильно говорят гугарские священники: рассекающих Бога надвое самих надвое рассекайте!

И он воинственно глянул на егозливую саблю.

Вокруг загалдели:

— Метко пущено! Не в бровь, а в глаз.

— Верно, верно, нечего смешивать прах земной с горными небесами.

— Да ну, чего с ним спорить, с персом! Мало, что ли, глумились над святынями нашими эти огнепоклонники проклятые? Огнища — вот их божки!

Последнее задело перса. Встрепенувшись, но все так же улыбаясь, он сказал:

— Если мы огнепоклонники, то вы дымопоклонники. Мы зажигаем в храмах огонь, а вы дымите.

— «Мы, вы», — передразнил светлородый. — Сравнил! Кто такой твой Зарастра? Сам твердишь: человек, и только. А наш Христос — Бог.

Перс сказал:

— Христос перед кончиной молит Создателя о славе. Может ли молить о славе Бог, имеющий ее?

— Сатанинское богохульство! — вспыхнул светлородый.

— Богохульство? — спокойно удивился перс. — В Новом Завете так написано.

— Вранье! — завопил светлородый, потрясая здоровенным кулаком. — Нету такого в Новом Завете, нету! Чего вылупил на меня зенки бесстыжие, а?

Хайк вступил под навес.

— Мой постоялец смотрит на тебя, потому что ты с ним разговариваешь, — произнес он, сохраняя внешнюю невозмутимость. — Я же могу подтвердить, что сказанное им есть в Святом Писании.

— Это еще что за паршивец с котомкой? — взвился светлородый.

Бешенство заколотило Хайка.

— Это, — он перебросил кулек в левую руку и ногтем большого пальца правой чиркнул себя от пупка до шеи, — князь Хайк Арцруни! А это, — он притопнул ногой, — просвещенный Васпуракан, где Святое Писание не понаслышке знают, не так, как ты, невежда и мужлан!

Один из сочувственников светлородого нагнулся к нему и звучно зашептал: «Он князь, князь, не брешет». Тот, опасливо поглядев на Хайка, поднялся, перешагнул через лавку и направился к противоположному выходу. За ним гуськом последовали остальные. Перс, тоже поднявшись, сказал Хайку:

— Спасибо. Если бы не твое заступничество, они бы, пожалуй, намяли мне бока.

Хайка еще трясло.

— Я их вышвырну отсюда! — крикнул он в спины.

— Не сердись, — мягко проговорил перс. — Будет несправедливо, если они поплатятся из-за глупого спора, который я сам завел с ними.

— Зачем?

Перс пожал подобиями плеч.

— Как объяснить тебе?.. Одинокого человека иногда разбирает неодолимая охота поболтать. А они люди как люди, не хуже нас с тобой, ты уж не обижайся, князь.

Хайк повернулся и, загребая и разметывая сандалиями пыль, пошагал к воротам. «Да, да, Христос молит о славе. Что же получается? Получается, что перс прав: Христос — человек... Быть этого не может, не может быть!» Столкнувшись с кем-то, он выбежал на улицу, в минуту домчался до дома, взлетел на крыльцо и, едва не коснувшись шарахнувшейся, спасающей свою чистоту бабушки («Умойся, переоденься, неряха!» — проскрипело в ушах), оказался у себя в комнате, схватил и залистал Библию. «Прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя...» Так, дальше... «Прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира».

Хайк облегченно вздохнул: все в порядке... Э, нет, не все. Купчина-то не обмишурился, завопив: «Сатанинское богохульство». Перс и выглядит не по-людски, и кобель у него чудной, страховитый — не кобель, а бегающий кирпич, не зря всех собак в городе распугал... Так-так... Вот оно что, оказывается...

Бабушка стояла в дверях.

— Что с тобой? — испуганно проговорила она. — На тебе лица нет.

— Послушай, не задерживай, посторонись. У меня неотложное дело.

Снова бегом он вернулся на подворье, нашел управляющего и велел прислать перса.

Во дворе, обычно людном, как нарочно не было ни души. А дело ведь рискованное... Перс не шел... Вдруг напротив в заборе, там, где не доставало доски, вырисовалась собачья квадратная морда. Жуткий кобель впрыгнул в пролом и кинулся к Хайку. Подрагивая коленками, Хайк привстал и перекрестил мельтешащего беса. Тот завилал куцым хвостом, сиганул вверх, и Хайк невольно отдернул руку. «Надо снова, и не робея. Вот тебе, вот!» Но чертов пес радостно затыкал и опять сиганул вверх.

— Катись отсюда, — разочарованно сказал Хайк.

В это время из дома, вытирая платком рот, вышел перс. Хайк решительно двинулся навстречу, подошел вплотную и принял его осенять. Тот изумленно уставился на Хайка, потом захохотал.

— Значит, и по-твоему я сатанинский приспешник? — на-

силу переборов смех и отрясая платком искристые слезинки, спросил он.

Хайк оглядел свое нелепо зависшее над головой троеперстие, опустил руку и тоже засмеялся ломким голосом, в котором басовитые «ха» перемежались писклявыми. Пес завертелся перед ним, деланно-злобно лязгая, припадая к земле и возносясь с вывертами и перевертами.

Хосров, глядя на обоих, вновь схватился за бока.

— Уймись, Хондя,— сказал он наконец псу и повернулся к Хайку.— Мы с ним дуры головы. А дураков, как известно, вразумляют не крестом, а пестом.

— Извини,— досадливо сказал Хайк,— но ты сам виноват. В Евангелии от Иоанна написано, что слава Христа извечна. Он молит о ее возвращении.

Хосров посерьезнел.

— Ты переволновался по моей вине,— сказал он.— Прости. Читаю я только по-персидски, а на нем Нового Завета нет. Видимо, когда мне его читали, я услышал то, что наперед загадал услышать. И все равно мои соображения о Христе не беспричинны. Если хочешь, могу поделиться ими.

— Хочу.

— Тогда зайдем ко мне.

Вместе с Хондей они вошли в дом. Хосров занимал две комнаты. Первую, проходную, до потолка загромождали сундуки. В следующей были стол, стул, шкаф и кровать, у изножья которой лежала опрятная стеганая подстилка.

Хосров указал на стул:

— Садись.

— Спасибо, я здесь.— Хайк сел на подоконник и озабоченно покрутил головой.— Что такое? Один стул на две комнаты.

— Не беспокойся. Ко мне лишь убираться заходят.

— На две комнаты положено два стула,— увесисто заявил Хайк.— Не взыщи за упущение. Будет у тебя второй. А вообще — только честно — жильем доволен?

— Обходится дороговато.

— Меньше брать не могу: другие сдавальщики забрюзжат. С жильем тебе повезло. Взгляни на окошко. У меня в окнах — стекло, а у других — слюда. Так что не жалуйся. Ну, а город наш как тебе?

— Интересный город,— сдержанно ответил Хосров.

Хайка этот холодок задел.

— Что же ты имеешь сообщить мне? — спросил он вовсе холодно.

— Подожди немного. Пес сегодня не ел. Эй, разбойник, есть будешь?

Хондя, все это время неотрывно глазевший на хозяина, мгновенно отвернул морду и выбежал из комнаты.

— Не будет,— сказал Хайк.

— Будет, обязательно будет.

— Почему же убежал?

— Чтобы добычу не спугнуть,— объяснил Хосров, снимая со стола тарелку с остатками баранины и риса. Из-под стола он достал миску, вывалил еду в нее и принялся мелко нащипывать мясо.

— Зачем так делаешь? — полюбопытствовал Хайк.

— Нужно все перемешать. Иначе мясо он слопает, а рис оставит. Пес у меня привередливый.

Хосров отер платком палыцы, пощелкал ногтем по краю миски и задвинул ее под стол. Хондя степенно подошел к ней, обнюхал, попытался выковырнуть кусочки мяса, затем с неудовольствием зыркнул на хозяина и начал есть, захватывая и заглатывая еду изрядными комками. Он подчистил миску языком, постоял над нею в задумчивости, фыркнул и на прямых лапах протанцевал к закрытой двери. Хосров пошел за ним и выпустил. Вернувшись, он вынул из ящика стола книгу в серебряном переплете и распахнул на месте, заложившем лоскутком кожи. Листы были тончайшие, с почти незаметной желтизной, явно не пергаментные.

— Папирус? — спросил Хайк.

— Бумага. Китайское изделие. Слушай. «Знающий людей благоразумен. Знающий себя просвещен. Побеждающий людей силен. Побеждающий самого себя могуществен».— Хосров бережно перевернул несколько листов.— «О счастье! В нем заключено несчастье. Кто знает их границы? Они не имеют постоянства. Справедливость снова превращается в кривду, добро — в зло. Человек уже давно находится в заблуждении. Поэтому совершенномудрый справедлив и не отнимает ничего у другого. Он бескорыстен и не вредит другим. Он правдив и не делает ничего плохого. Он светел, но не желает блеснуть».

Хосров отложил книгу.

— Знакомо тебе это? — спросил он.

— Ветхий Завет. Похоже, из Соломоновых книг.— Мысленно воспроизведя услышанное, Хайк добавил: — Что-то здесь не так. Видимо, ты перевел это с армянского на персидский, а теперь проделал обратный перевод.

— Слушай дальше. «На ненависть нужно отвечать добром...» «Слабые побеждают сильных...»

— Это, конечно, Новый Завет,— перебил Хайк.

— Ошибаешься. Это изречения Лао-цзы, древнего китайского мудреца.

— Вздор! — негодуяще вперясь в улыбочные глаза Хосрова («Смеется? Нет?»), воскликнул Хайк.— Твой китаец присваивает и вдобавок перевирает слова Христа!

— Он жил за пять веков до Христова пришествия.

— Ну да! Ты что, уверен?

— Знаю. И знаю похожие изречения индуса Будды и перса Зороастра, также проповедовавших до Христа.

Сказанные имена были знакомы Хайку как имена Лжебогов. С напускным безразличием, стыдась и этого напуска, и своего любопытства, он спросил:

— Кто же они, по-твоему?

— Люди и посредники между людьми и Богом — вот кто Они.— Хосров поднятыми глазами выделил заглавное «Они». И нехотя, со вздохом, уточнил: — Так считалось, пока священники не принялись обожествлять Их.

— Для чего?

С той же неохотой Хосров ответил:

— Возвеличивая Их, священники и себя возвеличивают.

Хайк в раздумье потер лоб.

— Постой-ка, постой, а почему иудейские священники не обожествили Моисея? — нашелся он.— И Моисей — посредник, а?

— Конечно. Но Будда и Зороастр — люди родовитые. Что до Моисея, то Он, прежде чем стать вожатаем народа, был простым, грубоватым человеком, пас овец у тестя. Попробуй обожестви черную кость.

— Отчего же Бог избрал вожатаем именно Моисея?

— А вот именно из-за черной кости.— Хосров глянул на вздернувшего головой Хайка и мягко спросил: — Вождь и вожакий — разное, так?

— Так.

— Тогда сейчас ты меня поймешь. Вождями обычно называют тех, кто водит войска. Тут же надо было вести из египетского плена не воинов закаленных, а весь народ с дряхлыми стариками и малыми детишками. Вот и понадобился человек из самой-самой гущины, хорошо знающий, что эта гущина способна выдержать, а чего — нет. К тому же Моисей был человеком сильным, решительным. Вспомни, как Моисей, еще пастухом будучи, вступился за иудея, которого избивал египтянин, вступился и расправился с обидчиком.

— А может, иудеям просто не пришло на ум обожествить Моисея? — стукнув себя костяшками пальцев по лбу, спросил Хайк.

Хосров грустно усмехнулся:

— Похвальное недомыслие.

«Заблудший человек, но к свету тянется. С ним стоит поговорить», — подумал Хайк. И спросил:

— Стало быть, ты полагаешь, что Создатель один?

— Один.

— А сколько, по-твоему, посредников?

— Мне известно около десяти.

— Говоришь: «мне известно». Значит, по-твоему, их больше?

— Больше, гораздо больше.

— Почему же Создатель нуждается в целой толпе посредников?

— Люди нуждаются. Народов на земле множество, и чаще они

враждуют друг с другом, чем живут в мире. А враждуя между собой да и внутри себя, они и с Создателем враждуют, навлекая Его гнев и кару.

— Ясно, ясно. А вот скажи-ка: Будда с Зороастром образумили индусов и персов?

— Увы, не очень. И все же каждый из Них близок Своему народу, близок и понятен. К тому, что Они говорят, люди прислушиваются.

— Вот те на! Прислушиваются, но не слушаются. Отчего бы всем не принять посредничество Христа? Что бы ты ни толковал, лишь Христос — Сын, единственный Сын Создателя.

— Допустим, что это так. Однако, хотя и армяне, и греки, и латиняне приняли посредничество Христа, враждовать-то между собой продолжают. Да и мусульмане чтят Христа как великого пророка. Все вы различны, и потому у всех — свой Христос, и дробится Он вами все пуще и пуще, тем самым все пуще вас разобщая. А всякие властолюбцы, творя безобразия, самодурствуя, ссылаются на Него, приводят Его слова, что не мир Он принес на землю, но меч, что пришел разъединить сына с отцом и дочь с матерью.

У Хайка голова пошла кругом.

— Христос имел в виду нечто иное, — потеряв лоб и сощурившись так, что кончики бровей и глазные уголки сомкнулись, пробормотал он. И сразу повысил голос: — Да, да! Чего верхоглядничаешь? Нет, не возражай, хватит, я должен обдумать все это наедине. — Он посмотрел на светящегося благодушием Хосрова и желчно присовокупил: — До чего ты кроток! Ты и с этой безмозглой шушерой, оскорблявшей тебя, миндальничал.

Хосров превратился в сплошное сияние.

— А что завещал Христос? — спросил он.

— Христос, сталкиваясь с дурачем, досадовал, и возмущался, и угрожал. Не ты ли упомянул о Его мече?

— Ага: и у нас двоих — свой Христос. Каждый находит в Нем то, что ищет.

— Прощай, я ухожу, — сердито сказал Хайк, не слезая с подоконника. И вдруг доверительным полупшепотом произнес: — Слушай-ка, ты в существование дьявола веришь?

— Верю.

— А он Зороастра прельщал?

— Прельщал.

— Чем?

— Тем же, чем и Христа: обещанием власти.

— И тоже не выгорело?

— Нет, конечно. Иначе Зороастр не стал бы посредником.

— Хмм... А сам ты бесов видал?

— Я их в себе чувствовал. Ты не очень-то ошибся с этим. — Хосров сотворил над собой крест. — Они и сейчас во мне.

— Они какие? — вздрогнув и отведя глаза, спросил Хайк.

— Разные. Вот ты сказал, что я кроток. Если бы так! Знаешь поговорку о якобы кротком игумене, который на мизинце весь монастырь держит? Я бываю таким же, хотя нрав у меня и правда овечий. Кротость с яростью нередко уживаются в одной душе. Так же, как прямота и лукавство или добросердечность и зависть. Если в человеке нет душевного равновесия, — а во мне нет его, — то человек, точно нагруженная с одного бока повозка, кренится и либо опрокидывается, либо выравнивает себя с помощью нечистой силы... Бог-то далеко, а она — вот она... Как бы поясней это выразить? — Он огорченно прищелкнул языком и покачал головой. — Заумно говорю.

— Нет, нет, нисколько! Продолжай.

— Ну, скажем, ты кроток. Быть кротким непросто. Ты кроток, и на тебе принимаются ездить верхом, гнут тебя в дугу. Об этом бес и начинает тебе нашептывать. Прислушиваешься — правду шепчет. Слушаешь и свирепеешь. И вообще, трудно быть хорошим, чистым, как бы этого ни хотелось. Хочется чистоты, а в то же время и замараться ой как приятно! И легко, легко — вот что еще бес нашептывает. Лишь после, если он твою совесть не совсем задавил, маешься этою мерзкой приятностью. Кому нравится жить в грязи? Только свиньям. — Он опечаленно, словно жалея свиней, помотал головой. — Знаешь, мне кажется, и нечистая сила алчет для себя чистоты. Различает ее крупички в человеке и ловчится выманить. Мне иногда удавалось отскрести свою грязь, но устоять потом перед бесовскими приманками никогда не удавалось.

Он замолчал и с хорошо знакомой Хайку гадливостью встряхнул руками. «На бабушку похож», — подумал Хайк и невольно ощутил сродство с этим чужаком, с этим пришлым иноверцем. Хосров заговорил снова:

— А как быть тому, кто вовсе утратил способность противиться бесам? Как ему жить? Оказывается, есть выход и для него. Он начинает различать грязь в других и утешается этим. А кто-то идет дальше: поносит других за то самое, чего полным-полно в нем. И находит в этом оправдание: не может совладать с собственной бесовщиной, зато борется с чужой.

«Вот почему я примчался сюда, — вдруг сообразил Хайк. — И он понимает это, понимает. Только говорить не хочет, щадит. Меня, Хайка Арцруни, щадит!»

— Пожалуйста, забудь мою нелепую выходку во дворе, — заговорил Хайк, устрожая голос, будто не извиняясь, а требуя извинения. — Надо же такому бреду накатить! От жары — не иначе. Но все же ты человек заблудший. Я пойду.

— погоди. У меня есть для тебя подарок.

Хосров вышел в заставленную сундуками комнату и вернулся с железным куклёнком, в спине которого торчал ключ. Повертев ключом, Хосров опустил куклёнка на кровать, и тот стал отвешивать поясные поклоны на все четыре стороны.

— Ай, сговорчивый малый! — осуждающе воскликнул Хосров. — Ай-я-й! Он и с тобой, и со мной, и с прочими согласен. К этому я тебя не призываю.

Хайк ухмыльнулся:

— Чье изделие?

— Мое.

— Беру. Отдарок за мной. До свидания. — Он остановился в дверях. — Надеюсь быть полезным тебе.

Хайк посодействовал Хосрову обосноваться в Терэве. На восточной, зеленой окраине продавался дом, запущенный, с проломами в стенах, зато трехкомнатный, и просили за него недорого. Хосрову он подошел. Были и другие охотники, но, когда узнали, что в купле заинтересован Арцруни, отступились.

Для починки дома Хайк подрядил искусного плотника Хамо, с которым познакомился, когда тот достраивал подсобные школьные помещения. Хамо был долговязый бобыль с глубоко запавшими, словно откуда-то издалека мерцающими глазами, какие бывают у очень старых людей (ему и тридцати не сровнялось), щуплый и однорукий. Замечательной физической особенностью Хамо была невероятная гибкость ног, видимо, врожденная и дополнительно развитая однорукостью. Школьники не уставали смотреть, как он, заколачивая гвозди на уровне лица, придерживает их пальцами ноги.

Говорят, что уважающему себя городу положено иметь городского сумасшедшего. Таким многие терэвцы считали Хамо. Сумасшедшим он не был, однако странностями отличался. Наиболее приметной была его суеверная привычка после каждой дюжины шагов отпрыгивать в сторону, замирать на минуту и лишь затем проходить очередные двенадцать шагов, — как бы постоянно пропуская тринадцатый. Школьники потешались над Хамо, дразнили его Чертовой Дюжиной, но он все равно тянулся к ним.

Однажды он придумал для них чрезвычайно занятную игру. Из овечьей шерсти Хамо сваял шар размером с доброе артемедское яблоко и обшил суконной тряпичей, а сверху кожей. Потом принес на поляну за школой две арки от обвалившегося при недавнем землетрясении портика и укрепил в песке на значительном расстоянии друг против дружки. Созвав ребят, Хамо объяснил цель и правила игры. Участникам предлагалось разделиться поровну и, ударяя по шару ногами (коснувшийся рукой удаляется из игры), загонять в арку противников. Шар не обязательно следовало гнать к противничьей арке в одиночку — не возбранялось передавать его союзникам. По замыслу Хамо, это разрешение должно было накрепко сплотить каждый из союзов. Таким же важным был запрет драться, за нарушение которого Хамо назначил ту же кару, что и за подыгрыш руками. От зрелища потасовки Хамо в прямом смысле слова тошнило. Поэтому он и придумал сугубо мирную забаву. Его

собственное участие в ней, несмотря на изумительную ловкость ног, которая, видимо, и подсказала ему эту игру, затруднялось необходимостью тринадцатых шагов, и он взял на себя обязанности судьи.

Хайк и сильнейший после него мальчишка набрали себе союзников, и игра пошла. Она так их захватила, что играли до полного изнеможения. Мирный уговор строго соблюдался. Победенные, по знаку Хамо, мрачным хором поздравляли победителей. Драка вспыхнула на пятый день. Сильнейший после Хайка мальчишка, когда шар пролетал над ним, ладонью подправил его на ногу. Все это видели. Противники нарушителя истошно загалдели. Обстановка на поляне накалилась. Хамо не скоро, пропуская тринадцатые шаги, подбежал к нарушителю и предложил удалиться. Тот, успев загнать шар в неприятельскую арку, обозвал изобретателя игры Чертовой Дюжиной, у которой не все дома. Возмущенный Хайк, чей союз и без только что загнанного шара терпел поражение, не долго думая, съездил ругателю по уху, и миг спустя оба союза дрались. Хамо всю — и единственной рукой, и ногами — разнимал их, но безуспешно. Когда драка затихла, он сокрушенно оглядел ребят, утиравших разбитые носы и губы, и, сказав: «Я огорчен», вынул из кармана ножик и разрезал шар. Игроки, замирившись, сделали свой шар, но получился он не круглым и бугорчатым. Игра с ним была уже не та.

Спустя какое-то время земля снова дрогнула, арки вторично обвалились и сломались. Игры не стало.

Удивительно было, что такие разные Хосров и Хамо, побившись друг другу, тут же сдружились. Дело заладилось. Через месяц дом выглядел ново и весело. К уличной стене Хамо надумал пристроить выступ, застеклил его и на стеклянной же подставке разместил красивейшие работы Хосрова. Хайк заметил, что с исключительным изыском, пользуясь узорчатым серебряным шитьем, Хосров мастерит наглазники, и съязвил, что любовно изготовленные шоры плохо вяжутся с широтой воззрений шорника. Тот, светясь неизменной улыбкой, ответил, что на ездовых животных давно махнул рукой и нынче уповаает на ездоков. Впрочем, и насмешничая, Хайк любовался искусством Хосрова и радовался ему.

В Терэве это искусство кое-кого и удручало, ибо покупатели сбруи большей частью толклись теперь у Хосрова. В особенности обозлила терэвских мастеров стеклянная выделка Хамо, и однажды ночью кто-то, надо полагать, из них или натравленный ими, запустил в стекло булыжником. Хамо соорудил новую стекольную и навесил на нее дубовые ставни. Узнав о происшествии, Хайк вызвался разыскать и проучить виновного. Но Хосров воспротивился. После этого события он ощутимо изменился. Его и раньше грустная улыбка стала почти жалкой. Изменилось и его отношение к Хайку. Шорник встречал его вежливо, и только. «Я рассказал тебе все, что

знал»,— говорил Хосров, когда тот заводил разговор о предшественниках Христа. А с Хамо шорник сдружился еще теснее. Оба много работали (Хамо — продавцом), уставали. Что-то они, похоже, затеяли втайне от него. Когда он переступал порог,— делал он это все реже и реже,— лишь Хондя оживленно его приветствовал.

Осенью в городе заговорили, что перс сбивает цену на шорный товар, желая враз озолотеть, а терэвских умельцев в одной рубашке оставить.

Хайк понял, что Хосров собирается уезжать, и не опечалился догадкой. Их поначалу теплые отношения остыли, исчерпались. К тому же и он готовился к отъезду — в Константинополь, в прославленную Студийскую обитель, где ему предстояло получить высшее образование, самое высокое, какое только мыслимо получить. До отъезда оставались считанные дни. Ночи он также считал. Однако с Хосровом, говорил он себе, непременно следует попроситься.

Стояло осеннее, ясное, просушенное морозцем утро, когда он направился к Хосрову. На половине дороги он вспомнил, что так и не отдался за кукленка. Нехорошо это, неучтиво. Он уже хотел повернуть обратно, захватить дома какую-нибудь вещь, как ненароком нашарил под рубахой крест, несколько дней назад, на именины, подаренный бабушкой. Крест был что надо: нефритовый, вдоль и поперек прочерченный алмазиками. Такой крест не то что священнику, но и епископу не зазорно поверх рясы носить. Ладно, знай наших! Чудесный отдарок, и не без смысла, не без намека. Он живо вообразил, как расстегивает рубаху, как двумя руками поднимает над головой цепочку с крестом и протягивает растроганно светящемуся Хосрову. А бабушке надо будет сказать все как есть: так надо было, и все. Поворчит и замолчит.

Он обогнал потешно, вприпрыжку семяющую старуху. Обернувшись, спросил:

— Куда летишь спозаранок?

— Перша, говорят, шаршали,— блаженно осклабясь беззубым ртом, прошамкала она.

Перед домом кучилась толпа. Ставни с выступа были сорваны, стекло выбито. Толпа стояла — словно одно существо. Никто не заходил в дом, никто не выходил из него.

Хайк переступил порог, зашел в одну комнату, в другую. На залитом кровью полу, раскинув руки, ноги и лапы, валялись они трое с одинаково выпученными глазами. Вот это и было в них самое страшное: будто всем троим одинаковые глаза вделали.

Он вышел из дома и пошел на толпу. Он понимал, что в ней нет убийц, но шел на нее, готовый убить любого, кто не сойдет с его пути.

Толпа расступилась.

Он остановился перед кем-то, заглянул в глаза, сказал:

— Битое стекло у тебя в глазах, больше ничего.

Он шел, и плакал, и с невероятной ясностью сознавал, как милы, любы они ему, а их нет, нет, и бормотал сквозь слезы: «Пусть сгинет проклятое место, пусть в прах рассыплется все, все, все...»

И его чудовищное желание сбылось. Год спустя скалы, которые столько раз спасали Терэв, сами же погубили его. Немногие уцелевшие горожане навсегда покинули заваленную камнями долину. Среди погибших была и бабушка Хайка.

Этот разговор с отцом состоялся, когда Григор в третий раз навестил его, больного.

Домой он приехал за полночь. Накануне была оттепель, дождело, а с утра, когда он был в пути, стужа начала возвращаться и затягивать комковатое месиво льдом. Кобыла то и дело оскальзывалась и в конце концов вывихнула ногу. Уже виднелись крыши Востана, но, таща за собой хромую лошадь, он больше часа добирался до города. Там он нанял на всякий случай двух лошадей и поехал медленно, держась обочины, где почва была ровнее. В ночном Ване он плутал по Новому Месту, пока не встретил дозорных, которые, дознавшись, кто он, вызвались проводить.

Калитку открыла Няня (Атом ночевал в смежной с отцовской комнате), поднесла лампаду к его лицу, заворчала:

— Бородища точно у взрослого. Блошиный лес.

Григор отвел в сторону слепящий сосудец, спросил:

— Как он?

— Ходит, — так же недовольно сказала Няня.

— Ну да?!

— Ходить-то ходит. Только не нравится он мне.

— Чем не нравится?

— Тем не нравится, что болеть ему нравится. Другой он, будто подмененный. Размягчился, как курага в кипятке. Не нравится мне это.

Григор отмахнулся, повел устраивать лошадей.

— Хайк что говорит? — войдя на кухню, спросил он о лекаре.

— Этот во все колокола благовестит. Еще бы: знаменитость теперь, первейший врачеватель.

На кухне, собирая поесть, вертелась между плитой и столом румяная Айлана, молочная сестра Григора и его детская влюбленность. Вертелась и покалывала его беспокойными косыми взглядами. Он поморщился, похватал со стола того-сего и спросил Няню:

— Куда мне?

— Комната нагреется — подождешь?

— Спать хочу, — сказал он честно и жалобно.

— Тогда ко мне.

— А ты?

— Найду лежак.

Няня сменила белье, взбила подушку, отвернула угол одеяла. Убаюкивающе раскачивалась на потолке ее тень.

— Раздеться не забудь,— услышал он. «Не забуду»,— подумал в ответ и, понимая, что спит уже, разделся.

Нянина комната примыкала к кухне, и утро началось для него шелестом шагов и голосов. На стене, слева от окна, крошились солнечные блески. Он поднялся, снял рубаху, подошел к умывальному столику и, набирая в ладони воды, растер лицо, грудь, спину.

В коридоре он встретил Тощего Атома — домашнего плотника, того, что когда-то застудил предшественницу Няни,— обыкновенного сложения мужчину, прозванного так, чтобы отличать от тетки. Григор поздоровался с ним, спросил, проснулся ли отец.

— Зав-тра-ка-ет,— с расстановкой, как о чем-то чрезвычайном, сообщил тот.— Тебе поесть принести в комнату?

— Да, только не в эту, в мою.— И Григор направился в конец коридора.

Комната была протоплена, но отсутствие запахов холодило ее. В комнате словно бы поселилось безразличие к нему. Григор придвинул к очагу стул и сел ждать. Еду принесла Айлана. Он вдохнул запах жаренной с кабачками яичницы, запахи чесночных головок и парного молока. В комнате потеплело. Благодарно взглянув на румяное Айланино лицо, Григор сказал:

— Стукни мне в дверь, когда отец позавтракает.

— Он уже,— проговорила она и мелкими шажками пошла к двери.

Григор, выдувая струйки пара, съел пол-яичницы, запил глотком молока.

В пустоту коридора просачивались отзвуки нешумных голосов из кухни. Григор поднялся по лестнице, невольно прислушиваясь к особенному, узнаваемому поскрипыванью каждой ступеньки, посту-чал, как всегда, в наличник.

— Здесь я, входи,— откликнулся отец.

Толкая перед собой катящийся на колесах стул, он двигался навстречу. Улыбчиво оглядел Григора и через стул правой рукой, две недели назад беспомощной, цепко ухватил и подергал его волосы.

— О, прямо терновник, всю ладонь исколол. Не то что мои перья недощипанные.— Голос дребезжал, но слова не запинаясь, не медлили.

Григор кивнул на колесчатый стул:

— Кто придумал?

— Хайк. И смастерил сам же. А? Толковый малый. Сперва колесница меня возила, а сейчас — я ее.

— Дело на поправку идет?

— Толковый, толковый малый,— с нажимом повторил отец

(«Напоминает о моих отговорах»,— понял Григор) и переспросил: — Дело? — Покачал головой: — Безделье идет. И знаешь, что поразительно? Не поверишь. Чудесно идет.— Он развернул стул к окну.— Гляди,— показал на свою яблоню,— до чего красива даже без плодов, без листьев. Раньше я ее не видел. Плоды грыз, смаковал, а ее, представь, только месяц назад увидел. Теперь каждый день вижу. Хочу увидеть, как она цветет, понюхать ее хочу. Ты-то небось нюхал.

Григор недоуменно пожал плечами:

— Да, а что?

— Какие у нее цветы?

— Очень душистые. Пчелы их любят, садятся и на опаль.

— Присмотрись,— серьезно похвалил отец.— Очень душистые... Вот и мне охота понюхать. Как думаешь, если распахнуть окно, запах войдет в комнату?

Григор ощутил частое постукивание сердца — так набрякший нарыв стучит.

— О чем ты говоришь? — повысил он голос.— Ты на ногах уже. Весной сам подойдешь к этой старой коряге и всласть нанюхаешься.

Отец беззаботно взмахнул правой рукой. Уверенно, как здоровой, взмахнул.

— Конечно, конечно. Просто до весны уйма времени. А мне не терпится.

«Няня права,— подумал Григор,— совсем другой, будто и не он. Надо его встряхнуть». Сказал едко:

— Киснешь, отец. А причин — никаких.

— Да,— так же безмятежно согласился отец,— никаких. Прости, если огорчил. Ладно, обо мне наговорились. У тебя что?

— Погоди. На прошлой неделе царь провел с тобой полдня. Дядя просил узнать, о чем разговор был.

— А, так... Обо всем и ни о чем. Молодость вспоминали. Утешал меня. После него от участливых посетителей отбою нет. Мне утешать их приходится... Да, слушай-ка, ты что опять натворил?

Григор покраснел:

— Участливые донесли?

— Они.

— Если знаешь, зачем спрашиваешь?

— Хочу и спрашиваю,— вдруг по-былому прогудел отец.— А ты, будь добр, отвечай.

«Это неплохо,— решил Григор,— встряхнулся».

— С сыном серебряника повздорили,— послушно заговорил он.— Чепуховая история. Этот малый напротив меня в трапезной сидит. Молчит всегда. Важный очень. А мне с ним потолковать захотелось. Я и говорю: «Ты куда вчера на целый день уходил?» Он молчит. «Что,— говорю,— не слышишь?» Молчит. Тогда я говорю:

«Известно ли тебе, почему ты так важничаешь?» Тут он, дурак, говорит: «Неизвестно». Я и говорю: «Потому что ты неважный». Он задумался. Думал-думал, думал-думал, а потом выпалил: «Задавака».

Отец расхохотался:

— Ловко он тебя!

— Чего ловкого? Как раз неуклюже. Да и то же самое, что я ему.

— Нет, он метче. Ты — с выкрутасами, а он напрямик. И по делу. Не задаешься разве?

— Я задаюсь? — изумился Григор.— Я с последним служкой на равных.

— С последним... Ну, а дальше что было?

— Ну, разгорячился я сдуру,— проямил Григор, покраснев снова.

— Дальше.

— Ох, отец, знаешь же!.. Схватил с блюда гранат и залепил ему в нос.

— А он что?

— Ничего. Встал и ушел.

Отец покачал головою.

— В который раз это с тобой? Из-за пустяка на людей кидаешься. И ведь понимаешь, что никто в обители тебя не тронет. Как, по-твоему, похвально это, если вооруженный до зубов воин ни с того ни с сего набрасывается на кого-нибудь мирного и безоружного? — Отец обошел стул, опустился на сиденье и, перебирая ногами, проехался от окна к двери и обратно.— Обожания, аллилуйи тебе хочется,— хмуро сказал.

— Какой аллилуйи, что ты выдумываешь? — вскинулся Григор, как обычно, когда отец говорил слишком резкую, слишком правдивую правду. И, как обычно, подставился под следующий удар: — Кто он такой, этот Акоп? Лепешка навозная!

— О, Акоп — лепешка навозная, а Григор — перл творения. Значит, если Акопу охота помолчать, нельзя ему, ни-ни, потому что Григору охота с ним говорить. А тебе, венец творения, не кажется, что Творцу всякая тварь дорога?

— Ну, это прописная истина.

— Да, прописная. Но ты внимни в нее. Ведь сколько людей на земле, а все разные. Кто-то похож на кого-то, но все равно другой. Постоянно творить и никогда не повторяться — какой невообразимый, страшный труд!.. Вот отчего Ему так дорого все, что Он сотворил. Вздор, что две капли воды похожи друг на дружку. И они в чем-то, да различны. Таким изобрести мир, так разнообразить... А?.. Прав был Анания, когда я ему ткнул в глаза его иудея, прав был, очень-очень прав, когда ответил, что ничего придумать невозможно, все уже придумано. Помнишь?

Это случилось за год до болезни отца. В Нареке, в дифизитской общине, жил на послушании грек Платон, повадками напоминавший

Атома, такой же любитель выпить и прихватить, что плохо лежит. Оба его изъяна были безобидными. Крал он почти открыто и хранил добычу у себя под кроватью, так что пострадавшие мигом находили свое достояние. До безобразия он не напивался. Но навеселе бывал и на всенощных. Получалось, что круглосуточно. Аняния, пытливый до всего, связал оба порока воедино: предположил, что какие-то из похищенных вещей Платон сбывает паломникам в обмен на вино. Но сколько за ним ни подглядывали, ничего не углядели. Тогда Аняния предположил, что Платон подобрал ключ к винному погребу и потихоньку прикладывает к кувшинам. Однако это допущение опроверг виночерпий: к погребу Платон не приближался. Аняния, вовсе изведаясь от безвестности, вызвал его и взмолился: «Скажи, как ты утоляешь свою пьянственную страсть? Клянусь, не накажу». Платон пошел к себе и вернулся с мешочком, на треть наполненным бесцветным порошком. «Вот это,— сказал он,— я развожу и пью».— «Что это?» — «Египетское вино, на солнце высушенное».— «Как так? — усомнился Аняния.— Крепость испаряется раньше влаги».— «А ты попробуй, лизни»,— радушно предложил Платон. Аняния взял порошка на палец, лизнул и поразился: «Бог ты мой, чего на свете нет!» Для порядка он пожурил Платона, предупредил, что воровства не потерпит, но мешочек ему оставил. Вскоре Платон стащил из ризницы водосвятную чашу. Ее нашли тут же, как хватились, но дело вышло шумное и дошло до отца. Он велел выгнать Платона. Аняния, вступаясь, сказал, что, конечно, Платон сукодей, но безвредный. Отец подтвердил распоряжение. Бывший при этом Григор спросил: «Почему Атому можно красть, а Платону нельзя?» — «Атом меня обкрадывает, а Платон — Господа»,— ответил отец. Тогда Аняния и заговорил об иудее, который часто бывает в Эчмиадзине и который также был подвержен пьянственной страсти, но сумел перебороть ее. «Ты этого иудея знаешь, а он тебя — нет»,— оборвал отец. Аняния побагровел до ушей. «Откуда в тебе такая уверенность?» — спросил он. «Ты его придумал». Вот тут Аняния и сказал, убежденно, горячо сказал: «Ничего невозможно придумать. Все, что было, есть и будет, уже придумано». На отца ответ произвел впечатление, и Платон остался в обители.

— Послушай, но ведь иудей — все-таки детище Анянии? — спросил Григор.

Отец улыбнулся:

— Примерно — как ты мое. И да и нет.

— Что же, по-твоему, иудей существует?

Отец пожал плечами:

— Сложный вопрос. Не берусь ответить.

— А для чего Анянии понадобился этот иудей?

— А вот это для человека, занимающегося таким делом, как ты, не должно быть вопросом. Сам смекнешь, сынок.

Внезапное ласковое «сынок» (прежде отец не называл его так) ожгло Григора куда сильнее, чем отцовская резкость. Он

пристально взглянул на отца, заметил, что во время болезни лицо его разгладилось, посветлело. «Изменился, но, кажется, к лучшему». И сказал неуверенно:

— Болезнь вроде бы на пользу тебе пошла. Ты посветлел.

— Посветлел? — живо переспросил отец.

— Ага.

— Значит, и на лицо это вышло.

— Что «это»?

— Свет. Я его дважды видел. — Он сощурился, точно вглядываясь в нечто далекое и зыбкое, и поправился: — Нет, не видел, был в нем. Что-то такое — как если бы в ненастный день над оком вдруг разом приподнялись все тучи... Или — как если бы ночью по всему ее кругу занялось утро. — Он досадливо теркнул перед собой пальцем, перечеркнул сказанное. — Неточно. Вот ты представь себе: лежишь с закрытыми глазами, а в голове, на уровне глаз, по краешку все светлеет. И от этого так ясно, так приятно становится, что вот так бы и жить — ничего не надо...

— А потом что?

— А потом спишь. Но и сон другой. Светлый, легкий. Просыпаешься — самого света нет, но глаза открываешь, и все видишь иначе. Все нарядное, радужное... Обыденности не различаешь. Лежишь и улыбаешься — точь-в-точь блаженненький...

— Ну и ну! Что же это? Может, бла... — Григор осекся — как бы отец за насмешку не принял. Но отец глядел на него доверчиво улыбающимися глазами.

— Может, и благодать, — сказал он. — Не знаю только, за что она мне.

— Ты многое для людей сделал. А значит, и для Бога.

— Что многое?

— Нарек.

— Э, Нарек! Нарек и без меня бы появился. О таком монастыре еще при Гагике поговаривали. Другого, своего дела не сделал. Молитв не написал, чтобы понятны были не одним нам, академикам, чтобы до всех доходили.

— Напишешь. Ясность в тебе — это главное.

— Одной ясности мало. Ясность бывает и после долгого пощения. А сил после него нет. Из Нарека к людям придется тебе идти.

— Хм, почему мне?

Отец озорно, задиристо подмигнул:

— Когда так пятки свербят, стоять на месте невозможно. Уж кто-кто, а я это знаю.

Григор не вытерпел, рассмеялся. Одновременно зауהל отец. Оба смеялись друг над другом, но смех был хороший, необидный, потому, что они доверились наконец друг другу, и потому, что, смеясь над другим, каждый смеялся и над собой.

Хосров умер 17 марта. Накануне он прекрасно чувствовал себя, ходил по комнате с палкой, слегка приволакивал ногу. Утром плотно позавтракал и сказал, что хочет вздремнуть. В обеденный час к нему вошла Няня. Он лежал с закрытыми глазами, губы улыбались. Няня постояла в нерешительности, потом тронула его за рукав. Поняла, закричала. Все были дома. Прибежал и Атом, и Тоший Атом, и повар Егише, и его жена Варсик, и семеро их детей-погодков, и пекарь Геворк, и его жена Гаянэ, и их дочь Айлана, и дряхлый коновал Газарос, и его жена Маро, и их сын Овсеп, и его жена и дети. Все оказались дома, кроме родных.

Нарек спал, когда в ворота заколотил гонец. К рассвету Анания, Ованес и Григор добрались до Вана, проскакали по безлюдным улицам и вошли в заполненный людьми двор. Поднялись в комнату Хосрова. Лицо его было перевязано полотенцем, но мертвым он не выглядел: улыбался, как во сне. Они постояли, потом Анания сел на колесчатый стул, а Ованес и Григор сели на тахту, в изножье.

Взошло солнце. Розовый луч пролег по лицу Хосрова, и лицо порозовело. Окно забыли закрыть. Пышно цветущая яблоня благоухала. Был вторник, базарный день. С улицы, за садом, донеслись ослиные вопли, ржание лошадей. Шум уличного движения нарастал и свободно плескался в комнате. На яблоне сердито зачирикали воробьи.

— Он не причастился,— проговорил Ованес.— Не чувствовал, что уходит.

— Кто знает? — откликнулся Анания.— Он мало какие обряды считал важными. Когда Клавдий-италиец перешел в монофизитство, отцу донесли, что тот по-прежнему шепотью крестится.

— По забывчивости, наверное,— вставил Григор. И его тяготило молчание.

— Да, конечно.

— И что отец?

— Ответил, пускай хоть локтем крестится, если так ему удобней.

Анания встал. Движением руки поднял и их.

— Завещание надо прочесть,— сказал он.

Завещания не нашли.

День прошел в хлопотах. Заказывали гроб, погребальные дроги, облачение. Принимали соболезнующих.

На следующий день вернулся из Константинополя епископ Мовсес, привез подпись патриарха на свитке о назначении Хосрова архиепископом. Мовсес и они трое решили похоронить его во дворе кафедрального собора. Но царь припомнил, что как-то Хосров обмолвился пожеланием лежать на полпути между Нареком и Нарек-селением. Царь велел точно вымерить расстояние. На полпути оказался пригорок с двустольным каштаном.

Гроб к пригорку доставили на закате. Еще багровело солнце,

и уже пламенели факелы над шлемами латников. Колесница остановилась у пригорка. Воины, словно многоядная изгородь, окружили ее.

Прощальную речь говорил Мовсес. Вслед за Хосровом он стал придворным священником. Затем — епископом Андзеваца. Право говорить на похоронах само по себе утверждало его на Ванской кафедре. Мовсес и внешне походил на Хосрова.

Кроме Мовсеса и царя, на пригорке стояли трое — Анания, Ованес, Григор. Ощущение молодой силы и единства подымало их над толпою. И не было в них скорби, а была торжественная печаль, как то и подобает в такой час истинным христианам.





КНИГА ВТОРАЯ





СОПРАВИТЕЛЬ

1 января 970 года князь Павел Амуни пробудился в спальне в южном крыле Большого дворца. За князем были закреплены во дворце рабочая комната, гостиная и эта спальня, которой он воспользовался впервые. Павел не был домоседом, однако по возможности ночевал дома. Где еще так отоспишься? Но застолье затянулось, и он, пожалев телохранителей, уместно пошутил, что по случаю Нового года обновит спальню. Павел потянулся под невесомым пуховиком. В открытую фрамугу втекал морозный воздух и шевелил волосы. Черным костром называла их гречанка Агния. Славная женщина. Жаль, что она не здесь. Вернее, жаль, что он не там. Там настоящая жизнь. Там настоящий Большой дворец...

Тишина. После буйного гульбища дворец как вымер. А время не раннее. В походах у Павла выработалось умение определять время даже в ненастную ночь. Определить его сейчас было несложно: в окне за лиловой дымкой маячило солнце. На час с четвертью, установил Павел, диск отошел от своего нынешнего зенита. Но сегодня спешить некуда. Павел вглотнул сколько мог студеного воздуха, откинул пуховик и, приподнявшись на темени и пятках, выгнулся мостиком. В таком положении он пробыл минуту, опустил-ся и снова глубоко вздохнул. Ему нравилось проверять свое тело — надежное, закаленное. Спать поэтому он любил голым. Он огладил ладонями впалый живот с подобающими мышечными всхолмлениями, вытянул руки по бокам и расслабился.

С потолка на цепях низко свисало зеркало. Павел осмотрел

себя, удлинённого (он среднего роста) близостью медной глади. Хорошее сложение. Не избыточный Аполлон, а скорее Адонис. Шевелюра слишком густая, вечно дыбится, а бороды нет — выдавать, на голову перебежала. Знобко все-таки. Ладно, сегодня не грех понежиться. Павел набросил на себя пуховик.

Царство игрушечное, а дела хватает. Дело здесь — как та заколдованная курица: чем дольше варишь, тем больше твердеет. А отойдешь от котла — сразу сыщется другой повар. Но кое-что и ему сварить удастся. Так, не без его участия, после смерти Мокаци католиком удалось поставить умного, умеренного монофизита Ваагна. Он чуял, что настоящий ветер с Мраморного моря дует. За это чутье его и низложил анийский Ашот. Ваагн успел бежать сюда, а католиком стал ярый монофизит Степанос. Он послал вдогон Ваагну отлучение, а тот в ответ Степаноса отлучил. Занятная получилась картина. У нас — католикос, у вас — католикос. Оба отлученные. Ну и что? Живем помаленьку, не жалуемся. И вдруг взбесившийся Степанос повел сюда двухтысячную толпу монахов Ваагна брать. Попробуй останови. Они вооруженные, драться будут. Христово воинство драться умеет. Крови не миновать. Идут с молитвенным пением, отцы благочинные. По ночам дозор выставляют. И вдруг, очень несвоевременно, умер Амазасп. Хороший был царь, дельный. Наследники — тоже ребята неплохие, но разругались. Пришлось ему, Павлу, мирить их. Он со всеми ладит. Для старшего, Ашота, выговорил царскую корону, а младшим отдал в княжение Андзевац и Рштуник. За эту услугу Ашот назначил его соправителем. А как быть с анийскими монахами? Идут, приближаются. Не выдавать же им Ваагна. Не по-людски это и не по-государственному. И тут италиец Клавдий — право, бесценный человек! — нашел выход: подсыпать в попутный колодец медленно действующий опий. Они ведь осторожные: сначала какой-нибудь служка попьет, а уж после него остальные. Потеха была смотреть на них, задуревших! Степанос мычал, как корова. Всех связали, погрузили на телеги и развезли по разным монастырям. Потом по десять — пятнадцать душ стали отпускать домой. Степанос не перенес такого срама, опочил. Жалко, но что поделаешь? И для него, Павла, минувший год мог оказаться последним. И на него замахнулись. (Павел оглядел в зеркале багровую припухлость на левом плече, возле шеи.) Двое забрались ночью в окно. Спасибо половице, что запела. Отец такие завел, отец... Один тут же удрал. А второго, который и пырнул его, он пришиб, но, к счастью, не до смерти. Хотя и без допроса ясно было, кто их подослал. Ашот, двоюродный дядя царя. Куда ни глянь — всюду Ашоты. Впрочем, и этого Ашота понять можно: сам хочет соправительствовать. Но он, Павел, милосерден. Отпустил наемника. А сегодня, на заре, когда все захорошело, подошел к Ашоту-дяде, весело заглянул в его мутные глазки и прошептал: «Поздравляю тебя с моим выздоровлением». Только так и надо. Правильно говорил отец: «За одно око не бери два и за один зуб — обе челюсти». Говорить-то он говорил, а час-

тенько бывал крут. Он и с собой обошелся безжалостно... «Ай, отец, отец, себя-то зачем так наказал и нас с мамой и бабушкой?..»

— Гмыых!.. — Павел отвернулся от зеркала, лег на правый бок, лицом к стене.

Великоват был отец для этого царства. Тесно ему было тут. Вот и наваливалась на него тоска. А хныкать не умел, мужчиной был, молчал. Молчание и сожрало его. Хныкать незачем, но кому-то душу открывать следует. Верному человеку, конечно. У него, Павла, есть такой — Анания Нарекаци. Вместе поработать довелось. Анании цены нет. Хорошо бы иметь его рядом. Но сюда его не перетащишь, отказывается, свой Нарек любит. Что Нарек? Что Вазпуракан? Будущее за греками. Третий год пошел, как они западную границу обложили. Туда, к ним надо. Там Большой дворец. Но там старик Никифор сходит с ума, всех в измене подозревает, армян почему-то особенно...

В дверь постучали. Павел, не отворачиваясь от стены, крикнул:

— Чего?

Донесся голос Овсеп:

— Гонец прибыл.

— Откуда?

— Из Константинополя.

Павел сел, взглянул в зеркало, рукой зачесал на затылок волосы.

— Пусть ждет у двери, — крикнул и начал одеваться.

Одевшись, снова пригладил волосы, пошел к двери, распахнул. За порогом стоял незнакомый заморенный человек. Павел спросил:

— От кого?

— От Васака.

— Ну? — Павел протянул руку за донесением.

— Велел на словах передать.

Павел отступил от порога, сказал:

— Войди и закрой дверь.

Тот шаткой походкой вошел. Дверь затворил спиной.

— Ближе подойди. Говори.

— Никифор убит. Император — Иоанн.

— Какой Иоанн?

— Цимисхий.

Павел отошел к окну. Удача! Такая и не приснится. С Иоанном он дружен, командовал у него легкой конницей, Кипр завоевывали вместе. Иоанн — армянин, верит ему, ценит его. Павел повернулся к гонцу.

— Когда убит Никифор?

— В ночь на 11 декабря.

— Иоанн участвовал в этом?

— Да.

— Кто еще? Проснись-ка, слышишь! Сообщники кто?

— Его воины и Феофано.
— Иоанн когда коронован?
— 13-го.
— Когда ты выехал?
— 13-го.
— Один ехал?
— Доехал один.
— Где другие?
— На Бингельском перевале остались. Лавина сошла.
— Ступай за мной. Тебя покормят.
— Пospать бы.
— Тут ложись,— кивнул Павел на постель, уже шагая к двери.— О тебе позаботится князь Мушег. Слышишь?

Гонец молча завалился на постель.

Напротив двери, в стенной нише, как изваянный в ней, сидел на лавке Овсеп. Павел сказал:

— Подними всех четверых. Едем в Константинополь. Лишнего не брать. Хлеб, водку, солонину. Шубы.— «Лед в горах»,— подумал.— Дюжину лошадей. Навьючить десяток топоров, ломов и сколько можно песку. Ждать меня у конюшни. На сборы два часа. Через четверть часа оседлать для меня лошадь, опустить мост.

Овсеп, угловатый, рукастый, встал на пути, спросил:

— Ты куда?
— К царю и домой.
— Домой одного не пущу.

Павел усмехнулся:

— Ладно. Растолкай их и приходи к царской спальне.
— Знаю я тебя. Вместе пойдем.
— Нянька на мою голову! Айда.

Четверо спали в соседней комнате, заваленной доспехами. Овсеп разбудил телохранителей, повторил распоряжения. Выйдя впереди Павла, сказал:

— Одейся.

Павел зашел в рабочую комнату, надел латы, шлем, подпоясаясь ремнем с саблей. Они поднялись на второй этаж. У дверей царской спальни стоял коренастый, почти квадратный Вард. Павел, ярко улыбнувшись, произнес:

— Еще раз с Новым годом, Вард! Пора бы тебе соснуть, а государю проснуться.

Вард замедленным взглядом обвел сверкающий наряд Павла и так же, не торопясь, проговорил:

— Что случилось?

Павел ухмыльнулся:

— А вот этого, не обижайся, пожалуйста, я тебе не скажу. Разбуди государя или позволь мне самому разбудить его.

Вард обеими руками подбоченился, отчего в ширину растянулся больше, чем в длину, и грустно помотал головой:

— К нему нельзя.

«Опять судомойку заташил. Ох уж эти Арцруни!» — подумал Павел. Сказал без улыбки:

— Задерживаешь меня.

Вард укоризненно взглянул на него, приоткрыл дверь ровно настолько, чтобы протиснуться, и закрыл за собой. Павел сказал Овсепу:

— Вот так и живем. Со спокойной душой живем, беды-горя не знаем.

Вернувшись, Вард указал на соседнюю дверь:

— Туда придет.

Павел пошел в комнату. Остановился у окна. Соображения, догадки перебивали друг дружку. Три недели, как Иоанн хозяйничает. Две недели на дорогу. Бингельская тропа завалена. Гонцу врать незачем. День на обход. А если опять завалы? Иоанн щедр, все раздаст. Нет, надо сразу на юг. Но там подставы только до границы, а дальше и места неизвестные. Эх, не воевал там! Овсеп воевал. Он и арабский знает. Нет цены Овсепу. Что-то будет, что-то будет!

Уже звенела в нем веселая смелость, которая взвивала его на Кипре во время кровавой высадки на мысе Гата, и у подножия Троодоса, и у стен Никозии, взвивала вместе с легкой пестроликой конницей — басками, франками, белгами, итальяцами. В нем уже было то самое, что бушевало и убивало не из вражды, а ликующе-любовно, от безмерного, переполнявшего все его существо жизнелюбия.

Вошел Ашот, низенький, отечный, похмельный.

— Извини, государь, что потревожил, — искренне винясь, заговорил он. Вот какое дело. Иоанн Цимисхий сошелся с Феофаном, и они убили Никифора.

— Да? — заморгав, спросил царь.

— Да. Иоанн на троне. Мне нужно разузнать, что к чему. Ехать нужно.

— Погоди, погоди!

Царь взмахнул руками и задумался. Павел выждал минуту.

— Ну что? — спросил он.

— Как что? Тебе-то зачем ехать? Дядю Ашота нужно послать. Он же ведает сыском.

— Дяде Ашоту цены нет, — уже не так искренне сказал Павел. — Но он еще не освоился.

— Так... — задумчиво проговорил царь. — Так-так...

— Что «так»?

— Что ты хочешь разузнать?

— Какие перемены. Греки у ворот. Иоанн — армянин. На нас не полезет. Но восточным войском командует племянник Никифора. Или командовал. Не знаю об этом. И вообще ни о чем не знаю. К Иоанну надо. Он мне верит. Могу повлиять на него.

— Когда ты хочешь выехать?

— Сейчас. Прощусь с мамой и бабушкой и поеду.

— Погоди. Тебе ж нужна грамота.

— Государь, зачем? Чтобы они меня сто лет вокруг Константинополя катали? Доберусь. Пластина с орлом при мне. А после границы как-нибудь. Не впервинку.

— Опасно это.— Царь тоскливо захлопал доверчивыми глазами.— Вернешься?

— А как же! Хе, что меня возьмет!

— Ладно. Ты береги себя.

Павел снял перчатку и поцеловал пухлую руку Ашота. Бодро, открыто взглянул на него, но что-то вроде вины скульнуло в сердце.

— Да, государь...— Подумал: «Как бы это помягче?» — Дядя Ашот, конечно, редкой души человек... Но опытней — понимаешь меня?— опытней, а значит, и надежней твой дальний родич Мушег. Он, даром что не очень современный, чересчур уважает всякое там стародедовское, но на него положиться можно. Понимаешь?

— Ты не договариваешь,— робко взглядывая на Павла, ответил Ашот.

Павел, очень довольный, лучезарно улыбнулся:

— Я сказал все.

Возле крыльца стоял Зор с лошадьми. Павел спросил:

— Песок роют?

— Ага, за конюшней.

«Десять минут до дому, там полчаса, отправимся до сумерек»,— подумал Павел. Лишнее возбуждение схлынуло с него.

Из конюшни на могучем гнедом выехал Мушег — необъятный, из себя выпирающий. Увидел Павла, подъехал.

— Привет Медведя Задравшему!— воскликнул Павел.— Легок на помине. Только что с царем добрые слова о тебе говорили.

— Привет, Погос,— как всегда нарочито по-армянски назвал его Мушег.

«Черт с тобой!— подумал Павел.— Ты мне все равно нравишься».

— Куда, если не секрет, собрался?— спросил Мушег.

— От тебя, дорогой, какие секреты? В Семирамидский квартал к девушкам прекрасным.

— Что тебе наши неумехи после греческих потаскух?

— Наши лучше,— богато одарив его улыбкой, возразил Павел.— С теми канительно. Тысяча юбок на них. Покуда каждой не покажут, догола не разденутся. А ты куда? Небось за анийскими монахами убирать?

— Все леса засрали, сволочи,— заулыбался Мушег, невольно заражаясь доброжелательной веселостью Павла.

— Ничего, гуще будут. Любой дубок в твой обхват станет. Так куда?

— Крепость хочу объехать. Чуть свет — к тебе гонец. Теперь ты велел снова мост опустить. А стража после этих заграничных вин еле ходит. У меня после них тоже кошки в голове скребутся.— Мушег высвободил из стремян сапоги, уселся с развалыцем, на-

строился на обстоятельный разговор.— Сделал вместе с конюхами опохмел. Тутовую только в конюшне и достанешь...

Павел перебил:

— Кстати, насчет гонца. Позаботься о нем, пожалуйста. Хороший человек.

— У тебя все хорошие,— буркнул Мушег, обиженный, что его прервали.

— А у тебя нет?— удивился Павел.

— У меня похуже.

— Так ты о нем не забудь, ладно?

— Угу.

Павел впереди, Овсеп чуть сбоку и сзади выехали в ворота и поскакали к Городу Садов.

— Не гони так,— крикнул Овсеп.— Скользко.

— Догоняй, если можешь, мою толстушку,— не оглядываясь, крикнул Павел.

Озорливый хмелек пошумливал в нем. Он покосился на Овсеп, перегнулся и боднул его шлемом.

— Ха-ха-ха, Овсепчик!

— Хааа,— невидимым в бороде ртом, с не повеселевшими, а обесмыслившимися глазами важно пробасил Овсеп.

— Ха-ха-ха! Ну и весельчак ты, Овсепчик! Второго такого хрен найдешь! Ха-ха-ха!

— Да ну тебя...

Во дворе загремел цепью и залаял волкодав. Узнал их, угомонился. Павел въехал в конюшню, сказал конюху:

— С Новым годом! Как там Чанк? Здоров?

— С Новым годом, хозяин! Чанк — как огурчик.

— Задай ему охапку клевера и собери в дорогу. Едем на-долго.

Мать была у себя. Он заново любовался ее черно-синими, дремучими, вздымающимися над чистым лбом, несмотря на тяжесть косы, волосами, ее девическим лицом.

— Бабушка как?— спросил он, садясь рядом с ней на тахту.

— Не очень. Сейчас заснула.

— Вот что, мама. Я в Константинополь еду. Никифора не стало. На троне — Иоанн Цимисхий с Феофано. Жди от меня радостного известия.

Она поняла.

— А что будет с нами после этого радостного известия?— спросила безразлично.

— А ничего. Вас не тронут. Ашот благороден. А дядя побоится. Да и крылышки я ему только что укоротил. Не те у него крылышки.

Павел сказал это, зная, что крылья Ашота-дяди отрастут одновременно с приходом радостного и для него известия. Мать все так же безучастно произнесла:

— Значит, больше не увидимся.

— Почему? Я заберу вас.

— Нет. Здесь мой дом. И бабушка больна.

— Бабушка поправится. Все кончается когда-нибудь.— Спohватившись, ругнул себя: «Ох, не то брякнул, растыпа!»

— Верно,— ответила мать.— Все кончается. Кончится и ее сухотка. Поезжай. Отец бы так не поступил.

— Я не он. А он зря так бы не поступил. Он поступил в тысячу раз хуже. Ты от меня того же хочешь?

Мать встала. Беспомощная извинка вжалась в ее переносицу.

— Жестоко то, что ты говоришь. Поезжай, сынок.

Ненавидя себя за эту жалкую извинку, он отчеканил:

— Ос-та-юсь.

Она подошла к нему, погрузила руки в его волосы, добралась пальцами до кожи.

— Нет. Ты мужчина. Ты должен добиваться своего. А мы с бабушкой подумаем, посоветуемся.

Он встал, поцеловал ее ладони, сказал:

— Меня ждут.

— Пстой, а деньги тебе не нужны?

— Ах, да! Еще как нужны!

Павел подошел к шкафу, выдвинул ящик, заполненный одинакового размера кожаными мешочками. Развязав один, вытащил номисму с лицом Феофано, выбитым по распоряжению ее первого мужа.

— Неумная вдовица,— снова весело сказал Павел.— Вдовеет и вдовеет. А ты говоришь: все кончается. Как бы не так!

— Шут ты у меня,— засмеялась мать.

— В них по сотне?

— Да.

В другом ящике он нашел уемистую сумку и, отсчитывая мешочки, принялся загружать ее. Пятнадцать отсчитал.

— Зачем так много?— удивилась мать.

— Золото есть золото.— Он приподнял сумку с пола и крякнул.— Не в небеса возносит, а в землю тащит, окаянное,— сообщил матери.— Золото есть золото.

Выйдя на крыльцо, он крикнул Овсепу:

— Лови!

Раскачал за ремень сумку и бросил. Овсеп подхватил ее. Павел прыгнул с крыльца, зашагал к конюшне. Там в отдаленном просторном стойле находился одиннадцатилетний вороной иноходец Чанк, прозванный так за узкую горбоносую морду¹. Князь Захария выезжал его и только на нем ездил. В одиннадцать лет конь почти не утратил своей сверхъестественной резвости. Злобен был. Подпускал лишь конюха и Павла. Однако и злобному немолодому жеребцу кого-то любить надо. Чанк любил Павла. Издали заметив его, конь

¹ Ч а н к — по-армянски коготь.

забеспокоился, выставил морду над загородкой. Павел вошел к нему, охлопал шею, бок, умильно заговорил:

— Ну, Чанчик, давненько нас там не было. Кое-кто соскучился, глядишь, и зачахнет с тоски. Грех нам будет. Поехали.— Он повернулся к конюху.— Не простудится? Застоялся небось?

Тот обиделся:

— Я его каждый день выгуливал. Что я, чурбан?

Павел вспрыгнул в седло, подъехал к крыльцу, помахал матери, кивнул Овсепу.

— Ты ведь в Месопотамии воевал,— сказал он ему, когда выехали из ворот.— Проводником быть сможешь?

— Нет. Я там только на севере был.

— Арабский знаешь?

— Так, с пятого на десятое.

Павел прикусил губу, задумался.

— Можно через Нарек поехать, заночевать там,— предложил Овсеп.— За ночь Аняния Нарекаци найдет проводника.

— Правильно. Цены тебе нет, Овсепчик.

Крепостной двор оживился. С Павлом здоровались, заговаривали. Он, благосклонно кивая и никого не видя, проехал к конюшне. Там ждали его они четверо. Павел верил телохранителям, как себе. Главного, двадцатисемилетнего Овсепу, он с пеленок знал. Друг дружке носы разбивали. Двадцатитрехлетний Зор, поджарый, юркий македонянин, служил у него на Кипре. В горах будет незаменим. На год старше Зора круглоплечий, мешковатый с виду, но очень ловкий еврей Урия. В незадачливом венгерском походе он спас Павла, когда его уже волокли на удавке. Местные двадцатилетние крепыши-близнецы Саргис и Лошт — прирожденные конники. Показали себя при наездах в Анийское царство. Все они боготворили Павла за избыток жизненной энергии, которая осязаемо от него истекала и празднично намагничивала их. Ездовые лошади под стать всадникам — выносливые, верткие, подбористые. Тюки на вьючных лошадях, прочно пригнанные, не скоро утомят их. «Веревки», — вспомнил Павел.

— Веревки захватили?— спросил.

— Сделали,— откликнулся Зор, самый быстрый из них.

— Едем.

Он повернул Чанка, забрал повод у холки, и Чанк неспешной, укороченной иноходью понес Павла к воротам.

— Куда, Павел?

— Далеко ли, светлейший князь?

Он, по-прежнему невидяще, с приветливым безразличием кивая по сторонам, отвечал:

— А на прогулочку. Ездить разучились. Чего не умели, тому разучились.

За воротами осмотрелся. Солнце садилось в море, а напротив сияла новехонькая лунная лодчонка. «Значит, погода установилась», — думал Павел.— Сможем ехать и по ночам. До Нарека часам

к десяти доберемся. Ананию заставить бы... Хотя в новогодний вечер куда он, домовник, денется?..» Ни о ком и ни о чем, оставляемом здесь, Павел уже не помнил.

В Востане их остановил дозор. Павел начал доставать из-под кольчуги пластину с державным орлом, но старший дозорщик узнал его. Узнал дозорщика и Павел. Подумал: «Эх, царствушко-государствушко! Все друг друга в лицо знаем...»

После поворота на Нарек дорога круто скользнула под уклон, и в двух местах пришлось вырубать ступени. Павел орудовал топором наравне с прочими, старательно выполняя указания Зора. Отсутствие ступеней успокоило Павла, убедило, что Анания дома. Проехали пригорок с двустольным каштаном, под которым покоился Хосров. «Старик недолюбливал меня,— беззлочно подумал Павел.— А с отцом ладил. Толковый был старик».

На южной башне ходко семенил вокруг маячного огня монах в длинном, ниже икр тулупе, но, видать, всерьез прозябший. Павел крикнул:

— Эй, милый человек, сбегай к воротам, вели опустить мостик!

— Кто такие?

— Соправитель Павел Амуни с охраной.

Монах зажег от огня лампаду и забренчал посохом на лестнице. Мост вылез на цепях и лег над рвом. Павел проехал к воротам, в которых распахнулось решетчатое окошко, густо оплетенное проволокой.

— Хе, Анания-то памятный!— воскликнул Павел, обернувшись к Овсепу.— Это я ему посоветовал прутья замотать. А то глянешь на гостя, а он тебе глаз прострелит.

Из окошка донеслось:

— Покажись.

— Вот он я.

Ворота без скрежета поползли от правой стены в левую по намасленному стальному полозу. Павел и охрана спешили, повели лошадей в поводу. Под воротной аркой все, кроме Урии, перекрестились. Монах-дозорщик, приседая и пятась перед Павлом, спросил:

— Прикажешь доложить о себе преподобному?

— Нет, милый человек, спасибо. Конюху доложи.

Верхнее окно двухэтажного домика Анании светилось. Дозорщик, извинясь, зашел в будку к привратнику и вместе с ним заворочал рукоятку вала. Ворота задвинулись.

В конюшне Павел сам выбрал стойло для Чанка, снял с него сбрую, задал овса. Сказал конюху:

— Не входи к нему, куснет. Пить сразу не давай.

За спиной кто-то приветливо произнес:

— Добро пожаловать, светлейший!

Павел обернулся, увидел ризничего Месропа в куньей шубе, напахнутой на подрясник. Ответил:

— Здорово, тишайший! Опасный ты человек. Совсем не производишь шума. Что новенького?

— Что для тебя может быть новенького?— весело, в лад Павлу, сказал Месроп.— Все про всех знаешь.

— Ошибаешься, дорогой. От сопровителя все утаивают. Вот когда я ведал сыском, тогда и правда кое-что знал. Анания как?

— Просит прощенья, что не сошел к тебе. Горячку перед Рождеством схватил. Сегодня — первый день без жара.

— Ай, вечно он раздетый бегае!— болезненно морщась, воскликнул Павел.

Звонница отбила время: пророкотала десять и проквкала три четверти. «Любит Ананик часы,— подумал Павел.— Обе комнаты загромоздил. Шевельнуться страшно».

Месроп предложил:

— Я провожу тебя.

— Спасибо, дорогой. Ты лучше моими людьми озаботься. Им с утра в дорогу.— Он повернулся к конюху.— Дай коню поостынуть. Подожди с питьем.

Овсеп, Урия и Зор, уже незанятые, топтались посреди конюшни. Саргис и Лошт укладывали в дальнем углу тюки. Павел вышел из конюшни и направился к домику Анании. Перед распахнутой дверью стоял служака. В прихожей и над лестницей радушно теплились тряпичные фитили в сальниках. На потолке дымились их тени. У двери в хозяйскую комнату Павел подпрыгнул и качнул высоко подвешенный колоколец. Услышал:

— Входи, попрыгун.

Анания полулежал на постели, закутанный до подбородка шерстяной бахромчатой тканью, обложенный подушками.

— Воплощенная немочь,— определил его Павел, сгреб, расцеловал.

— Заразишься, дурень!— отворачиваясь и откидываясь, просипел Анания.

— Хе, меня и чума не возьмет!

— Заночуешь?

— Ага.

— Разденься.

Павел снял доспехи, придвинул к постели кресло, сел, окунул в мохнатый ковер вытянутые ступни.

— Я сразу к делу,— сказал он.— В твоей округе арабов много ведь?

— К сожалению,— загадочно ответил Анания.

Павел удивился:

— С каких пор ты не любишь иноземцев?

— Об этом после. Говори.

— Проводник нужен через Месопотамию. За ночь найдешь?

— Его и искать не надо. Здесь живет. Был Магометом, стал Карапетом.

— Самое арабское имя,— усмехнулся Павел.— Кем был в миру?

— Кочевал.

- Здоровый? Обузой в пути не будет?
- Не должен. Лет сорока. Послать за ним?
- Пожалуйста.

Анания подергал шнур, велел службе привести Карапета-араба. Следом вошел другой служка с широким, уставленным кушаньями подносом и покаянно признался:

— Гусь вчерашний, разогретый.

— Сойдет,— утешил его Павел, отломил янтарную гусиную лапу, прошелся по ней зубами и вмиг оголил. Служки, улыбочиво переглянувшись, вышли.

— Куда едешь?— спросил Анания.

— В пуп земли,— принимаясь за грудинку, отвечал Павел.— Иоанн Цимисхий с Феофано, видать, от любви друг к дружке Никифора порешили.

— Вот это новость!— Анания сбросил с себя покрывало и сел на постели.— Чудесная новость! Из Тарона греки не уйдут, но дальше не двинутся.

— Ты лежи, лежи, болезненный. Не двинутся. Лежи спокойно.

— Ну и ну!— Анания отжался на ладонях и скрестил под собой ноги. Откровенно лукавые глаза его залучились мальчишеским озорством.— Слава Иоанну!— почти закричал он.— Видный мужчина. Колонна с двумя сапфирами в капители. Подмял, значит, прокудливую бабенку? Молодец! Уж он-то ее вмурует в ложе, а?— Опомнившись, вымолвил:— Прости меня, Боже. Прости мой вонючий язык.

Павел с набитым ртом хохотал.

Всегда после беседы с ним Анания оставался недоволен собой. Разговаривая с Павлом, он перенимал его удивительную легкость и вдруг слышал идущую из себя его речь — ничем не стесненную, излишне вольную. Сходная легкость была и в Анании, но у него это было больше оболочкой. Павел же весь состоял из этого. И при такой мотыльковой невесомости для него не существовало ничего невозможного. За три года, которые он провел на родине, его удачливость вошла в поговорку: «Павел возьмется — дело будет!» Впервые это присловье, не без зависти произнесенное, Анания услышал от человека на редкость деятельного — от Амазаспа. То, ради чего Амазаспу пришлось бы с макушки до пят напрячься, Павел совершал играючи. И хотя в самых разных сферах сделал он очень много, сделанным не дорожил нисколько. Не дорожил он и людьми, даже теми, с кем, казалось, его водой не разлить. «Тебе, Ананик, цены нет»,— постоянно говорил Павел, вроде бы искренне говорил, от души, но Анания знал, что это не так. Почему не так?— спрашивал Анания и не находил ответа. И вот сейчас ответилось: ничто и никто не остается, не задерживается в этом поразительном человеке. Не остается... Не остается...

Анания пытливо взглянул на него:

— Насовсем уезжаешь?

Павел обглодал вторую лапу, взял с тарелки крылья, подержал и кинул обратно. Сказал:

— Отменный был гусь. Представляю, каким он был вчера. Да, насовсем. Что мне тут делать? Глянь-ка.— Он округлил ладонь и поднес к глазу.— Вон там Анийское царство. Насквозь просматривается. За ним Ташир-Дзорагетское царство. Я на Чанке без разгона через него перепрыгну и опускаюсь в Тифлисе, где все дома повалю.— Он повернулся вправо.— А вон там что мельтешит? Ах, да! Как же я сразу не разглядел Сюникского царства? Слаб глазами. А где же великое княжество Карсское? За каким камушком спряталось? А Тайкское княжество с геройским Давидом на троне? Ай-я-яй! Давид уже обнародовал завешание, где отписывает свой Тайк грекам. А он чуть старше меня, ему и тридцати нет. Что это Давид так рано о смерти помышляет?.. А прочие?..— Он повернулся к напряженно глядящему на него Ананию.— Не сердись. Я ведь кое-что сделал для Васпуракана. Больше не могу. Ты тоже отошел от этих державных дел. Нареком занимаешься. А у меня нет Нарека. И простор мне нужен, простор! Вот так, позарез нужен! Понимаешь?

Анания вздохнул:

— Я не судья тебе. Уезжай. Но ты и там набьешь оскомину, и там тебе все примелькается. Женился бы, что ли... Детишки бы пошли. Полюбил бы их, для них поусердствовал...

Павел обвел взглядом заполненную часами комнату. Суточные ковши на чугунных и бронзовых подставках чуть слышно, с деловитым спокойствием струили песок. На столе ровным пламенем, без нагара, сияла высокая и толстая разлинованная на шесть часовых делений свеча. Бездействовали настенные, минутные ковшики, заключенные в затейливые золотые плетения. Павел указал на них:

— Не хочу таким же быть. Не пойму, как человек может жить настоящей жизнью лишь от случая к случаю. Все меня считают грекофилом. Сегодня, перед отъездом, Медведя Задравший винил меня, как думаешь, в чем? В том, что я греческих потаскух предпочитаю местным. Ну? Кругом виноват. Да, я не из тех армян, которые только свое любят. Свое!— Павел раскинул руки, словно обхватывая нечто обширное, и изо всей силы обхватил себя за плечи.— Вот оно, свое!— Потер отдавленные плечи.— Где, скажи, время на твоих красивых часах? Почему не сыплют песочек? Видел я в Константинополе механические часы со стрелками. Такие часы не зачем туда-сюда перевертывать. Потянешь за гирьку, и стрелки целый месяц ходят. А ты все эти собираешь. И до чего они у тебя новые, свежие. Так и со мной здесь будет. Состариться не успею, а уже устарею. Ох, Ананик, дорогой ты мой! Ты своим умом рассуди, ты это умеешь, как мало кто. Разве там я не буду полезней для всех вас?

— Там?— Анания резко, так что щеки и подбородок затряслись, помотал головой.— Ты хотя бы себя не обманывай. Там ты и думать про нас забудешь. И насчет часов отвечу. Вон, у окна, висят

недурные с виду. Они на десять минут рассчитаны. Но у них перемычка треснула, и песок в нее выбегает сразу. Ты очень похож на них. Жить спешишь, ой, спешишь! Не к добру это. Сам чувствуешь.

— Ничего я не чувствую! Отвяжись от меня с этими чувствами! Я человек холодный, слышишь, холодный! Где твой аравийский Карапет?

Анания поморщился:

— Не ори. Будет тебе Карапет. Он набожный. Молится, когда положено и сколько положено. Домолится — придет.

Павел схватил с подноса пригоршню миндаля, кинул в рот и ожесточенно захрустел. Проглотив, взглянул на Ананию:

— Прости меня, дорогой, а?

Тот улыбнулся:

— За что, душа моя? За то, что ты такой, какой есть?

В дверь тихо поскреблись.

— Это он, — сказал Анания. — Входи, Карапет.

Павел оценивающе оглядел араба в рясе. Подумал: «На Чанка похож. Шея с похожим выгибом. И, видать, тоже резвый».

— Здравствуй, Карапет, — мягко вымолвил Анания. — Узнаешь нашего гостя?

— Как не узнать светлейшего сопровителя? — с поклоном отозвался тот на неожиданно чистом — армянском.

— Ты что, здешний? — спросил Павел.

— Нет. Мосулец.

— У нас Карапет стал здешним, — пояснил Анания. — Уже и читает, и пишет по-нашему. Да как пишет! Первейший наш каллиграф. Карапет любит все наше. Так ведь, Карапет?

Тот, потупившись, глядел на свои шерстистые, сжатые в комок руки.

— Вот что, сын мой, — продолжал Анания, — сходи-ка к отцу эконому. Он тебе даст оружие и воинскую одежду. Ну и коня себе выбери. Нашего светлейшего гостя нужно проводить через Месопотамию до Евфрата.

— Когда выезжаем? — спросил Карапет у Павла.

— Как светать начнет.

— Значит, до утрени?

— Да. В седле помолишься. Я сам в таких случаях в седле молюсь.

Карапет взглянул на Ананию. Тот сказал:

— Дело богоугодное и срочное. Подойди под благословение, сын мой.

Когда араб вышел, Анания, кисло улыбнувшись, бормотнул:

— Недаром франки говорят: в людях Ананья¹, дома каналья.

— Подходящий араб, толковый, шустрый, — похвалил Павел. — Спасибо тебе за него. Да, — вспомнил, — почему ты досадуешь, что в окрестности много арабов?

¹ А н а н и я — по-гречески богоданный.

Анания, огорченно махнув рукой, не ответил. «Ладно, нечего к нему приставать,— подумал Павел,— и без того лишнего напозволял».

— Племянники спят?— спросил он.

— Овик наверняка спит. Он поспать любит.

— А Мигалка?

— Его сейчас нет в обители.— Помолчав, Анания добавил:— Вот это как раз и связано с моей неприязнью к арабскому племени.

— Что такое? Неужто он вместо Карапета в мусульмане подался?

— Тебе все смешки, душа моя...

— Ну, расскажи, расскажи! Он постригся наконец?

— Постригся... Защилил магистерскую, а потом сразу, как и хотел, постригся. Диссертацию он с блеском защитил. Написал, по сути, новое толкование Песни Песней. Тебе известно, как ее толкуют?

Павел сосредоточенно потер переносицу.

— Мне и сама Песня помнится смутно,— признался он.— Там какой-то древний царь какую-то девицу совращает... Так?

Анания рассмеялся:

— Не совсем. Это книга царя Соломона о любви к простой девушке Суламите. Маленькая, прекрасная и одна из самых спорных книг Святого Писания.

— Что же в ней спорного, если она прекрасна?

— А то, что в ней ни слова нет о Боге.

— Ну?— равнодушно удивился Павел.— С какой же стати она в Библии? Под каким видом?

— Правильно спрашиваешь. Иудеи толкуют ее как изъяснение Израиля в любви к Творцу. Христиане — по-разному. Одни считают, что это книга о любви Христа к церкви...

— Постой-ка. Ведь нашей церкви в те времена не было.

— Книга считается пророческой.

— Вот всегда вы так! Чего и в помине нет, то за уши притянете! Сам ты как считаешь? Почему в этой Песне ни слова о Боге? Давай-ка начистоту.

— Тебя действительно это занимает?

— С чего мне перед тобой притворяться?— возмутился Павел.— Ты мне что, с сегодняшнего дня верить перестал?

Оба не зря задали свои вопросы. После разговора с арабом отъезд Павла и для Анании стал окончательной явью, и отношения их круто и необратимо изменились. Да, они продолжали говорить друг другу правду, но это была не вполне живая правда. Однако оба не хотели с этим мириться, оба, как могли, силились оживить эту костенеющую правду.

— Ладно, давай начистоту,— согласился Анания.

Он отсел в дальний угол постели и закутался в покрывало. Павел сказал:

— Ты озяб. Я камин растоплю.

— Нет, душа моя, это я так, на всякий случай. Я почти и не кашляю. Ну, слушай. Может быть, Песнь Песней и гораздо богаче моего понимания, может быть... Но тебе бы перечитать Песнь Песней... Это какое-то всесветное любовное облако. Конечно, они действуют, но это уже и грехом не назовешь. Каждое их движение, каждая услада — сама любовь. Все в ней растворяется. И они, и мир, и... — Анания умиленно посмотрел в потолок, — и Творец. И ведь какое дивное чудо — так раствориться в творениях, а?

— Не могу судить, — прикрывая ладонью зевок, ответил Павел. — Тебе лучше знать. — Он отбросил лезущие на глаза волосы и откинулся, прижав их к затылку спинкою кресла. — Ясно: полюбили. Ну и что?

Анания удрученно покачал головой.

— Тебе, душа моя, случалось любить женщину безоглядно, беспамятно?

— Нет. — Павел рукой отстранил вопрос. — Женщины не слишком волнуют меня. Я, знаешь ли, сам себя волную.

— Знаю. В этом твоя беда.

— Ну, беда или счастье... Так-так. Выходит, книжица всего лишь о любви к женщине?

— Всего лишь? Ай, как ты непонятлив!

— Ладно, ладно. Не волнуйся, золотой. Про любовь понял. Но зачем было вставлять книжку в Святое Писание?

— А затем, что она учит любить.

— Ага. Она учит, а вы ее учение замутняете. Интересно получается.

Анания улыбнулся и снова невольно перешел на язык Павла:

— А что делать? Святое Писание есть Святое Писание. Оно должно быть беспорочным.

Павел не принял шутки:

— Опять у нас концы с концами не сходятся. Для того, чтобы Святое Писание оставалось Святым Писанием, приходится кривить душой. Да брось ты! — Он обеими руками отшвырнул еще не прозвучавшее возражение. — Сейчас изречешь: «Нет у вас, мирян, духовного опыта». Ох, бесценный ты мой Ананик! Что вы называете духовным опытом? Других громогласно призывать к раскаянию, а самим потихоньку грешить? Нет, по мне, уж лучше тондракиты. Они честные. Живут одной семьей. Все делят поровну. Мужики спят с кем хотят. Бабы — тоже. Открыто грешат и открыто каются.

— Тондракиты! Тебе неизвестно, во что они за сто лет без церкви выродились? Почти все они — бродяги, побирушки или отъявленное ворье.

— Во что выродились — предмет особый. Вы тоже краше со временем не становитесь. Сами признаёте... Ладно, про Песню я понял... Ну, а что с нашим Мигалкой? Да, как его зовут теперь, после пострижки?

— Остался Григором. Уговорил меня. Он очень чтит Григора Просветителя и Григора Богослова. И само имя ему нравится. Оно ведь означает — бодрый.

— Греческий я знаю. Это хорошо, что он остался Григором. А то вечная у меня путаница с этой переменной имен. Докладывают мне об одном проходимце, а я другого подразумеваю. Ну и что же наш Григорик? Что новенького добавил он ко всем этим премудростям насчет Соломона? Неужто позволил себе объяснить книжку прямо?

— Нет. Такое бы даже у нас не прошло. Он вскользь и весьма к месту высказал великолепную, изумительно точную мысль.— Аняния, словно проглотив нечто лакомое, облизнулся и причмокнул.— Он поставил вопрос: может ли быть неуютна Творцу любовь Его же творений?

— Разумная мысль,— равнодушно согласился Павел.— Не ожидал от Мигалки. А он уточнил, что творения друг дружку любят?

— Ишь чего захотел! Нет, конечно. Но любому мало-мальски просвещенному человеку и так все ясно. А ты-то, неужели ты не понимаешь, что это — новое слово в богосведении?

— Ой... Понимаю. Ну и где же теперь наш обновитель? Давай наконец к делу. Что с ним стряслось и при чем здесь арабы?

— Я бы тебе давно рассказал, но ты, темный ты человек, все время меня перебиваешь. Простейшие истины приходится для тебя разжевывать.

— Ладно, ладно, молчу.

Аняния облокотился на подушку и вздохнул.

— Начну с арабов. Лет восемь назад в Нареке — не у нас, а в селении — обосновалась семья. Муж с женой и дочкой. Крестьяне были недовольны, но я разрешил. Построили они на выселках саманную хижинку. Люди смиренные. Живут себе. Муж вскоре умер. Мать с дочкой стали кормиться огородом, а с него сыт не будешь. Но дочка подросла и научилась лепить из глины разные безделушки. Это их и поддерживало. В праздничные дни паломников у нас достаточно. Кому-то что-то понравится, глядишь, и купит. А Григорику она сама понравилась. Я-то, дурень, поначалу этого не понял, решил, что он жалеет ее. Просит для нее денег, я и даю. Ох, посмотрел бы ты на нее! Худущая! Пучок соломы! Гидра соломенная! А зовут — Лейли. Почему, скажи, не Шахразада?

Павел, без интереса слушая, разглядывал у себя на правой руке мышечный желвачок между продолжениями суставов большого и указательного пальцев. При движении рубищем, с неперенной локтевой оттяжкой, желвачок опадал и широко расплывался. А если пыряешь? У, как вздулся, чертяка!

— Вот именно, почему не Шахразада?— повторил он.— Почему? Начитался любовной дребедени и вообразил себя Соломоном, а эту арабочку — той евреечкой.

— Вот-вот!— обрадовался Аняния.— Я ему то же самое тол-

кую. «Ты не царь великий и пресвятой,— говорю.— Что ты себе позволяешь?»

— Ну, тут ты не совсем прав,— продолжая напрягать и ослаблять желвачок, возразил Павел.— Соломону можно, а Мигалке нельзя?— И с шутейно-торжественной назидательностью звонко возгласил:— Перед Богом все равны!

— Да перестань ты острий наконец!— закричал Анания.— У меня горе, а он зубоскалит!

— Не сердись, дорогой, не сердись, не буду.— Павел успокаивающе огладил перед собой в воздухе очертания его лица.— Я же люблю Мигалку. Дальше-то что?

— Куча неприятностей.— Анания, загибая пальцы, начал перечислять:— Во-первых, он у этой Лейли днюет и ночует. Во-вторых,— а ведь это одновременно тоже во-первых,— он перестал ходить на исповедь...

— Ой-ё-ёй-ёй!— с натужным огорчением воскликнул Павел.— Вот это и вправду никуда не годится. Дальше?

— В-третьих, мои исповедники и другие жалуются, что он смущает их, называют его любодеем и двоевером.

— Совсем скверно. Дальше?

— Мало тебе? В-четвертых, я боюсь, как бы он не бросил обитель. Он сказал, что весною купит пару быков и вспашет участок своей милушки.

— Ха-ха-ха! Извини меня, дорогой, но это уже черт-те что! Мигалка будет пахать!

Анания свирепо глянул на него и кивнул:

— Будет. Ты его не знаешь.

— Он умеет?— осторожно полюбопытствовал Павел.

— Научится. Он чего захочет, того добьется.

Павел с усилием наморщил на чистом лбу складку, подумал и предложил:

— Наложить на него епитимью. Почему ты столько с ним цацкаешься? Запри его на месяц в келью, и дело с концом. Тоже мне важная птица!

— Важная. Ты Хосрова помнишь? Помнишь, как у него слово гудело?

— Ну сравнил! Такие, как Хосров, раз в сто лет рождаются. Хосров был великий проповедник.— Павел вскинул над собой руки и даже привстал.— Я на его последней проповеди был. Он и об отце говорил тогда. Не во всем я с ним согласился, но он же в самом деле гудел. Так море гудит. А когда оно так гудит, соглашайся не соглашайся, его не заглушишь. Гудит!

— Понимаешь, значит,— удовлетворенно сказал Анания.— Так вот: Григорик тоже гудит. Он гимнограф, каких у нас не было. Я все его стихи наизусть помню. Хочешь, прочту тебе приложение к толкованию Песни Песней?

— Давай,— вяло согласился Павел.

Анания выпрямился и протяжно, нараспев зачитал:

Красива, хоть черна,
Я — дочь Ерусалима.
Желанна и любима
Для друга я одна!

Мой друг — в горах олень,
Чьё тело так упруго.
Далёкий голос друга
Я слышу в этот день:

«Любимая моя,
Ты мне одна желанна,
Ты из лесов Ливана
Приди в мои края.

Глаза твои горят,
От плеч и от ладоней
Исходит благовоний
Счастливый аромат»¹.

Замолкнув, Анания требовательно уставился на Павла.

— Да, складно,— проронил тот.— Но это не гудит, это звенит.

— Хочешь, я его гимны прочту?— обиженно насупясь, предложил Анания.

— Нет-нет, уволь, дорогой,— заторопился Павел.— Я простой воин, что я смыслю в ваших писаниях?— Он призадумался и вновь нагнал на лоб складку.— Знаешь, кого мне Григорик напоминает? Служил у меня на Кипре один юнец. Симеоном его зовут. Прежде он подвизался в какой-то константинопольской обители. Не поладил с начальством. Потом, кажется, вернулся. Он из пафлагонской ветви Куркуасов. Может себе позволить такие уходы-приходы. Мне пришлось назначить его сотником, хотя в военном деле он мало соображает. Так, сабелькой потряхивает. Да и нрав у него не воина. Добрый — не приведи Господь! Наш Григорик пожестче. Ну так вот: подступились мы к Никозии. Стены до неба. Хорошо, если из сотни ядер одно перелетит. Иоанн правильно рассудил: спешил нас всех и велел строить вал. Натаскали земли, камней, соорудили. Теперь город как на ладошке. Обстреливаем его в свое удовольствие. Но и никозийцы не бездельничают: лупят по нашему валу и вылазки учиняют. Ничего, отбиваемся. Все уже на лад идет. И вот однажды, когда они полезли на нас, вижу я, что мой Симеон стоит у бойницы и льет без остановки смолу. Ведро за ведром. Те, конечно, не лезут. Отошли от лестницы и ждут, когда у него смола кончится. «Слушай,— кричу ему,— ты что делаешь? На тебя смолы не напасешься! Не так надо». Взял у него ведерко, жду, когда снова полезут. Полезли. Добрались до середины. Я первому плеснул на головку. Он скатился. Второму. Тот — следом. Остальные прыгнули, разбежались. «Вот так,— говорю,— ясно тебе?» Он кивнул. Прошло минут десять. Гляжу на него: снова смолу переводит. Тут я и догадался. «Жалко

¹ Отрывок из «Песни сладостной» Григора Нарекаци в переводе Н. Гребнева.

тебе их?» — спрашиваю. Молчит. «А нас тебе не жалко? На чужом горбу в рай въехать хочешь? Пшел вон!»

Павел, разгоряченный, красный, шумно дышал. Анания, длительно посмотрев на него, проговорил:

— Ты уже далеко, а я здесь. Я о своем твержу, ты — о своем.

— Извини,— спохватился Павел.— Я увлекся, но вот что я думаю о Григорики. Не худо бы ему мир повидать. Варится он тут в собственном соку. Ты его в Константинополь отправь, а? Этот Симеон тоже стихи сочиняет. Там таких без счету. Пусть Григорик на них поглядит и себя покажет, а?

Анания возражающе помахал рукой:

— Его и тянет туда, и не хочет он ехать. Тут штука не простая. Его дарование умней его самого. Конечно, у тамошних гимнографов есть чему поучиться. Но они могут подмять его, на свой образец переиначить. Он окрепнуть должен.

— Чего же ты так волнуешься, если его дарование такое мозговитое?— недоуменно спросил Павел.— Пускай его дарование балуется себе на здоровье с этой арабочкой и крепнет. Подумаешь: в обители шепчутся! Пошепчутся и перестанут. У него кровь кипит. Что делать? Вот мой Чанк каждую весну с ума сходит. Конюха не подпускает. А на меня так грустно, так жалобно глядит — сил нет! Приведешь ему кобылку — и все дела.

Анания безнадежно посмотрел на него, махнул рукой.

— Ступай-ка ты спать,— сказал он.— Внизу тебе постелено. Видеть тебя больше не хочу и не увижу.

— Бог весть,— беспечно ответил Павел, целуя его.— Не болей, дорогой. Спасибо тебе.

Он переложил доспехи на поднос, взвалил его на голову, подмигнул Анании, вышел, бесшумно прошел мимо спящего на лавке служки и, гася пальцами надлестничные жирники, вошел в нижнюю комнату. На ощупь отыскал постель и тут же, не раздеваясь, уснул.

Сон у него был как у сторожевой собаки, но звонницы он не слышал, пока не отбила пяти с тремя четвертями. Павел мигом встал, разделся до подштанников и вышел во двор. Босые ступни бодряще морозил снежок. Богато искрились звезды и месяц. Павел увидел сметенную к стыку крепостных стен снежную горку, подбежал к ней, вытянул руки и нырнул. Побарахтался и, уминая снег, взобрался на самый верх. Сел. За стеною белели прибойные волны. Пенилась речка. Казалось, что не она бежит и впадает в море, а море бежит к ней и впадает в нее. Павел, полюбовавшись, прыгнул. Звонница отбила шесть. В сумерках, как сукастая коряга, вырос Овсеп.

— Здорово, Овсепчик! Остальные встали?

— Встают.

— На кухню не заглядывал?

— Стряпают.

Через полчаса все были верхом.

— Что такое?— спросил Павел араба, увидев, что он без оружия.— Где твоя сабля?

Тот потупился:

— Крови много пролил. Не могу больше убивать.

— Значит, убьют тебя.

— До Евфрата доведу, — хмуро ответил Карапет, трогаясь с места.

Артос перевалили благополучно. Песок израсходовали. Дальше была подстава, где им поменяли вьючных лошадей и нарыли песка. Труднее дались Кордукские горы. В них потеряли двух вьючных лошадей и едва не лишились Урии. Оборвалась веревка, и он, вывихнув в плече левую руку, непонятно как удержался на покато-м выступе под тропой. Зор слазил туда, обмотался с ним, и их вытащили. Это случилось на третий день пути. Через час спустились в пустыню — в вечное месопотамское лето. Стояло утро, но воздух успел напиться зноем. В углублении между высокими барханами поставили из копий и медвежьих шуб навес. Дозорить вызвался Карапет. Павел с Овсепом вправили руку Урии, привязали предплечье к телу.

— Не воин, — пробурчал Овсеп. — Эх ты, Урия-мумия.

— Ничего, — сказал Павел. — Араб сражаться не желает. Проведет нас через Междуречье втихую.

Урия, повертев левой кистью, прокартавил:

— Потгапезничать хогошо бы. Тгапеза — лекагство.

— Каг-каг, вогона пгожогливая! — засмеялся Павел.

Саргис, Лошт и Зор, напоив лошадей, подсели. После тяжелого перевала все проголодались и, несмотря на жару, солонину уплетали, как лакомство. Наконец отвалились. Урия спросил Павла:

— Лев был очень жигный, да?

— Какой лев?

— Импегатог. Ты не знал?

— Откуда мне знать? Меня при нем на свете не было.

— Жигный, жигный. Это и спасло его от вегной гибели. Мне дедушка га-с-с-казывал.

Урия слегка заикался и, подобно многим людям с таким речевым изъяном, любил поговорить.

— Что же он тебе рассказывал? — спросил быстрый и чрезвычайно любознательный Зор.

— Га-а-с-с-казывал пго то, что Лев был очень-очень жигный.

— Об этом мы уже слышали, — сказал Зор. — Но как жир может спасти от гибели?

— Тебе понять тгудно. Ты худой. Тощий-пгетощий. Пгямо глиста ка-а-кая-то.

— Чего ты ко мне прицепился? — обиделся Зор.

— Для твоей же пользы, дугачок. Чтобы ты понял, ка-а-кое благо — жигность.

Павел и Овсеп посмеивались. Повадка Урии накручивать Зора была известна всем. Но Саргис и Лошт внимали молча и почтитель-

но, как и полагается людям молодым внимать разговору видавших виды людей. Урия, чуть морщась от боли, нагреб здоровой рукой песчаную кучку и прилег на нее.

— Ты ведь в Константинополе не бывал?— спросил он Зора.

— Нет.

— Значит, не бывал и в тгонном зале,— с полным основанием вывел Урия.

— Господи,— завизжал Зор,— он же все кишки из меня вытянет!

— Не гкичи. Чтобы ты что-то понял, мне пгидется га-а-с-с-казать пго тгонный зал и пго то, как оказался в нем мой пгадедушка. А уж после — пго то, что мой пгадедушка га-а-с-с-казал моему дедушке, а тот — мне. Пго то, как жигность спасла импегагога Льва от вегной гибели.

Зор с остервенением сплюнул. Как бы не замечая этого, Урия продолжал:

— Тгонный зал очень большой и гкасивый. Таких, как ты, туда не пускают. А мой пгадедушка был главный человек в евгейской общине. Его пустили. Он пгинес Льву богатый подажок в обмен на ка-а-кое-то дозволение. На ка-а-кое — мой дедушка забыл. А он-то мне и га-а-с-с-казывал. Дедушка, а не пгадедушка. Тот уже умег. Миг пгаху его. Ну так вот. Стоит мой пгадедушка возле тгона. А тгон подвесной. Он поднимается, когда надо. Золотой, конечно. Гядом дегево. То ли золотое, то ли золоченое. Дедушка забыл. Но га-а-с-с-казывал со слов пгадедушки, что дегево ветвистое. На нем пташки поют. Неживые, конечно. Золотые или золоченые. Пгадедушка стоит на коленях, лбом утыкается в пол. А тгон с этим Львом пошел к потолку. Та-а-кое поднимание тгона у них заведено для устга-ашения дугачков — вгоде тебя. И вдруг гядом с пгадедушкой что-то — шмяк!— и пгямо в ухо шипит ему: «Ну, сволочь, с живого кожу сдегу!» Пгадедушка головы не поднимает. Только один глаз пгиоткгыл и видит: ба-а-гахтается возде него толстячок. Запутался в мантии, встать не может. Пгадедушка другим глазом на потолок посмотгел. Тгон пустой и га-а-с-с-качивается сиденьем книзу. Ага, собга-а-жает пгадедушка, канат пегетегся. Пегетегся, как у меня вегка сегодня.— Урия тепло глянул на бормочущего проклятия Зора.— А гугает Лев не пгадедушку, а своего механика. Или гаспогядителя. Лев-то цел, потому что жигный и на задницу шмякнулся. А ты, будь ты импегагог, га-а-сшибся бы, потому что где у тебя задница? Нет у тебя задницы.

Все гоготали, кроме Зора. Он злобно зыркнул на Урию и быстро заговорил:

— Тьфу на тебя, трепло! Будь я император, канат не перетерся бы, потому что я легкий. Смотри!— И он, присев на корточки, сиганул через Урию.— Да и кто бы твоего прадедушку выпустил живым, если бы он такое видел? Все-то он наврал. Это же Константинополь, а не какой-то ваш Ерусалим.

Урия снисходительно улыбнулся:

— Вэй, дугья ты голова... Что ты знаешь про наш Егушалаим? Овсеп сказал Лошту:

— Отнеси арабу поесть.

— Сядь, — одернул Павел вскочившего Лошта. — Не слишком-то он нас жалует. Попросит — дадим.

Проводник раздражал Павла. Дорогу Карапет знал, в этом сомневаться не приходилось. Но держался он в самом деле отчужденно. Павел к такому отношению не привык. Впрочем, если бы суть заключалась лишь в отчужденности. Суть была глубже. Карапет не просто не желал сражаться, он своей безоружностью, всем своим видом как бы призывал *не сражаться*. Нет, сильный организм отряда это никак не расшатывало, а Павла тем не менее ожесточало.

На четвертые сутки (ехали теперь только после заката и ночью) переправились через Тигр. Не питаемый снегом, он обмелел. Переправились, не замочив ног: водяные струйки бежали чуть выше лошадиных бабок. Началось плодородное густонаселенное Междуречье. Зной спал, но ехать теперь приходилось по ночам из осторожности. Невдалеке от Евфрата (шли уже шестые сутки) Павел не вытерпел, велел ехать и днем. Карапет пробовал возражать, но Павел настоял.

На шестые сутки, вскоре после полудня, это и случилось. Из кипарисовой рощи выехали конники.

— Арабы, — определил Павел.

Они и были арабами. Но на копье у переднего развевалась тесьма с двуглавым орлом. Это был византийский пограничный разъезд. Покуда Павел жил на своей тесной родине, Византия и здесь, на юге Месопотамии, перешагнула через Евфрат. «Шестеро, — сосчитал их Павел. — А наш араб не в счет. Урия — тоже. Нас пятеро. Хе, велика беда! С парочкой я управлюсь». О последствиях, о неминуемой погоне он не думал. Уже звенела в нем его веселая смелость. Однако спиной он ощутил напряженность спутников.

— Вот что, ребята, — не оглядываясь, заговорил он. — Урия — ни с места. Остальные — за мной. У них стрелы легонькие, но сблизка кольчугу пробьют. Лошадей не берегите. Араб в лошадь не выстрелит. Берегите себя, мерзавчики вы мои бесценные! Я поеду, а вы — чуть погода и врасстяжку. Делим их так: мне — двое, вам — по одному. Кто даст себя прикончить, того и в раю достану и прикончу на веки веков. А?!

Сзади раздался дружный смех. «Вот и славно, — подумал Павел. — Обеззаботились. А те нас за своих приняли».

Действительно: встречный отряд приближался спокойно. Шагах в тридцати Павел отвернул Чанка влево и пустил в бег. Как он и полагал, за ним кинулись двое. Он проскакал между кипарисами и на лужайке развернул Чанка и обнажил саблю. Передний араб умело, свободно пошевеливал копьем. Он приблизился на расстояние лошадиного туловища, Павел надавил на стремяна, и Чанк мигом

присел. Когда копье пронеслось над головою Павла, он, любуясь одновременно и своим межпальцевым желвачком, и дивно прямой спиной араба, снизу, кистевым выкрутом стряхнул с этой спины голову. Но вслед за головой полетела сабля. Второй араб в нескольких шагах от Павла натягивал тетиву. «Араб в лошадь не выстрелит», — выдирая ноги из стремян, успел подумать Павел и, уловив в глазах араба острый предвыстрельный взблеск, взвил Чанка на дыбы. Он ощутил животом удар стрелы, входящей в грудь Чанку, прыгнул с него, падающего, вперед, взметнулся к арабу, схватил за шею и, вывернув его из седла, еще в воздухе задушил. Встал, подошел к Чанку. Тот и не вздрагивал.

— Гмыых!.. — сухо вырыдал Павел и побрел из роши.

С пограничниками все было кончено: валялись кто как. Но лежа лежал и Урия с торчащей изо рта чернохвостой стрелой. Павел направился к Карапету. Тот беззвучно шевелил губами.

— Молитву читаешь? — спросил Павел.

Карапет кивнул. Павел без замаха локтем ударил его в рот. Карапет рухнул навзничь и задвигал языком, выталкивая зубы.

— Вставай, мразь, — сказал Павел. — В седле домолишься.

Саргис подвел ему лошадь. У Саргиса кровоточила щека, белела скуловая кость.

— Кто еще ранен? — спросил Павел.

— Никто.

— Обмой щеку и перевяжи. — Павел увидел, что один из пограничников крутится. — Сперва добей вон того.

Подъехал Овсеп, сказал:

— Погоня будет.

— Едем, — ответил Павел.

Ночью возле Евфрата заметили костер. Павел с Овсепом спешили и, обрезааясь в зарослях остролиста, прокрались к нему. У костра дремали два дозорных в намотанных почти на глаза пышных повоях. С виду турки. Рядом стоял небольшой шатер, из которого доносился храп нескольких глоток. По другую сторону костра была свалена поклажа и паслись стреноженные лошади. Павел насчитал шестнадцать лошадей. Подумал: «Половина — вьючные». Непонятно было, почему маленький караван не побоялся отстать от какого-то общего движения, с которым, должно быть, и дошел сюда. Павел решился.

— Ты — этого, я — того, — зашептал Овсепу. — В шатре товар и разрешение на торговлю.

Овсеп покрутил головой:

— Грех возьмем на душу.

— Я возьму.

В шатре, за пазухой рыхлого человека, провонявшего горячечной закисью (вот почему отстали, понял Павел), он нашарил свиток. При свете костра прочитал и убедился: то, что требовалось.

Сунул свиток за ворот кольчуги и ушиб межпалечный желвачок пластиною с васпураканским орлом. Ругнулся, разорвал нашейную цепочку и швырнул пластину в Евфрат.

Вернувшись к своим, велел:

— Айда переодеваться.

— Всех поубивал?— спросил Карапет.

Павел едко усмехнулся:

— Ты мне Чанка оживи, и я оживлю этих.

Карапет повернул коня и медленно поехал к бледному краю зари.

— Ссадить его?— спросил Лошт.

— Пускай живет,— все так же усмехаясь, сказал Павел.— Вреда от него не будет.

В тюках нашли бирюзу.

В полдень их догнал пограничный отряд. Павел, часто и низко кланяясь, протянул старшему свиток. Пограничник развернул его, свернул и, не отдавая, выжидательно смотрел на Павла. Тот понятиливо заулыбался, запустил руку в тюк и всыпал в подставленную ладонь десяток голубовато-зеленых камней.

Вечером пристали к большому каравану. С ним добрались до Мелитены и расположились на постоялом дворе. Все они молчали. Павел целые сутки не ел и не пил, открывал рот лишь для того, чтобы облизать губы и отдать необходимые распоряжения. Овсеп не спускал с него глаз. Он знал Павла с тех пор, как знал себя. Всяким его видел: участливым и равнодушным, добрым товарищем и безжалостным военачальником. Овсеп сблизился с ним, как только может сблизиться верный слуга с ценящим его господином. То, что они вместе сделали на берегу Евфрата, еще больше приблизило Овсепу к Павлу. Однако это было совсем иное приближение. И раньше случалось Овсепу убивать мирных людей. Но он убивал их на войне, убивал из соображений безопасности, уверенный, что убивает дозволенно и законно. Порой он раскаивался в этом, однако и раскаиваясь, говорил себе: война есть война. Война была делом его жизни, и он в общем-то беззлобно делал свое дело. Но сделанное сутки назад не было его делом. Овсеп сознавал, что осквернился и не отмоеся. И теперь, оберегая Павла, он оберегал не столько его, сколько себя. Он трясся при мысли, что один понесет на себе все грязное бремя содеянного. Напряженно молчал всегда словоохотливый Зор. Он был рядом с Урией, когда тот, несмотря на запрет Павла, кинулся в схватку. Погиб он нелепо. Урия держал узду вывихнутой рукой. Видимо, от боли сильно качнулся, а стрела ведь мимо летела! Зор и Урия были чужаками в Ване, и чужачество как бы превратило их в земляков. Урия нередко посмеивался над Зором. Тот лопался от злости, но теперь и этих насмешек ему не хватало. А еще обидно было ему, что Урию даже не зарыли, за что он молча хулил себя. Разбойное дело заставило его по-иному взглянуть на Павла, и он твердо решил уйти от него в Константинополе. Саргис и Лошт молчали потому, что с ними не заговаривали. Они-то были

на седьмом небе от путешествия. Необозримые пространства, стремительная езда, удачливость Павла, переодевание на берегу Евфрата — все восхищало их. А главное, они почувствовали себя заправскими воинами: оба сноровисто уложили по врагу. Саргиса, правда, ранило, но он втер в щеку целебную смолку, и рана уже не беспокоила. Они печалились об Урии, жалко им было и Павла, потерявшего такого чудесного коня, но, в конце концов, говорили они себе, битва есть битва. Разбоя они словно и не заметили. Павел, который вел их к неведомой им, но несомненно благой цели, по-прежнему оставался их богом.

Павел силен был забыть Чанка, однако трясущая лошадь напоминала о плавном, как скольжение ладьи, беге Чанка. Смердел халат. Впрочем, и эта лошадь, и эта вонь рассеивали Павла, отвлекая его от другой печали. На пути все чаще попадались панцирные, сплошь одетые сталью всадники. Попробуй попади, думал Павел, в щелочки для глаз или для ноздрей: ведь эта махина своим котлом ворочает. Конь под таким тоже панцирный, и поразить его можно лишь в открытый живот, и то лишь снизу: стальная попона чуть не по земле влечется. Да, и конники, и кони не очень подвижны, да, в бой они идут не скорой рысцой, но как совладать с ними легким конником? Полезешь на такого в обычных латах — на верную смерть полезешь. Это новшество начал вводить Никифор, переняв его у европейцев. Павел однажды примерил непробиваемый наряд и почувствовал себя в нем черепахой.

Однако верзиле Иоанну новшество понравилось. Он резвился в этой смиренной рубашке и всех в войске вызывал на поединок. Павел убеждал его, что новинка не привьется: сталь холодит в холод и жарит в жару. Да и много ли людей и лошадей, могущих таскать такую тяжесть? Но минуло три года, и панцирные всадники не только не перевелись, а явно умножились. Вот почему молчал Павел.

Так, почти молча, добрались они на исходе девятого дня до Севастии. Город был битком набит тондракитами. Их огромные, из ста и больше человек, семейства с голодными глазами, в отрепках неприкаянно слонялись по улицам. Если шестую часть семьи составляли боеспособные мужчины, то отсюда греки отправляли их к неспокойной болгарской границе, наделяя землей и жильем. Ради этого честные фанатики шли на обман: семейства одалживали мужчин друг у друга или подряжали на время бродяг любой веры.

Постоялые дворы были переполнены, и заночевать Павел решил на главной площади, где горели тондракские костры. Тондракитами распоряжался кряжистый лысоватый воин. Его низкий голос и свободно-властные жесты показались Павлу знакомыми. Воин, поужинав, присел в сторонке. Павел с неотступным Овсепом подошли к нему. Тот недоуменно вздернул длинные брови и глаза, и Павел тут же понял, кто это.

— Ты Саак Арцруни,— сказал он.— Здравствуй.

Воин, не поднимаясь, вздернул еще выше брови и глазные уголки и посмотрел на Павла так, как смотрят сверху.

— Голодный, что ли? — прогудел он.

— Я поздоровался с тобой, — мягко проговорил Павел. — Ты мог бы и ответить.

Тот усмехнулся неласковыми глазами.

— Так и быть, отвечу. Проваливай.

И он беспечно отвернулся.

Овсеп потянул саблю, но Павел перехватил его руку. Не осторожность сдержала Павла — грубостей он не прощал, — а именно родственная ему, ничем не стесненная, уверенная в своей безнаказанности замашка.

— Это сын епископа Хосрова, — сказал он Овсепу, когда отошли. И, сам не зная почему, прибавил: — Запомни его хорошенько.

На закате шестнадцатого дня они переправились через Золотой Рог, ночь провели возле Харисийских ворот и на заре въехали в столицу. Лошади, верблюды, повозки загрохотали по плитняку Серединой улицы, запрудили ее, и в этой скученности взгляды людей невольно устремлялись ввысь, где над многоэтажными домами синела небесная улица. Павел не видел ничего и никого, кроме панцирных всадников. Все сторонились их. Они создавали вокруг себя свободное пространство и ехали совершенно беспрепятственно. Павел, кивнув спутникам, свернул в кривой булыжный переулок, к дому придворного ювелира Васака. Овсепу пришлось долго колотить в калитку. Заспанный сторож, узнав Павла, согнулся до земли.

— Дома хозяин? — спросил Павел.

— Сей миг разбужу, светлейший князь.

Васак, за три года чрезвычайно потучневший, увидев Павла в грязной стеганине, расхохотался, заколыхал обильным чревом, ожидая от Павла привычной встречной веселости. Павел опустился на постель, оглядел ковровую комнату и, заметив на подоконнике стеклянный кувшин с чем-то белым, глухо осведомился:

— Кислое молоко?

— Оно, — с бояливой поспешностью подтвердил Васак.

— Дай-ка.

Осушив кувшин, спросил:

— Кем и как убит Никифор?

— Сейчас, сейчас все расскажу, — будто дождевой поток в сточной канавке, зажурчал Васак. — Иоанн был с командующим пехотой Аввакумом и двумя телохранителями. К спальне Никифора их провела Феофано. Говорят, что телохранители держали Никифора, а убивал Аввакум. Иоанн вроде бы не хотел этого, побеседовать хотел, но его ослушались. После убийства, на третье утро, Аввакума и телохранителей нашли заколотыми возле ипподрома.

«Правильно, — подумал Павел. — Убийцы порфириноса должны понести кару, дабы впредь никому не было повадно».

— Как хоронили Никифора? — спросил он.

— С великими почестями. Иоанн шел за гробом в рубище. Павел ухмыльнулся:

— А в чем была Феофано?

— Ее на похоронах не было. Иоанн выслал ее в Никею.

— По стопам Никифора пошел,— продлив ухмылку, предположил Павел.

— Нет. Он уже высватал Феодору.

— Какую Феодору?

— Сестру покойного императора Романа.

«И тут Иоанн прав,— подумал Павел.— Он человек новый. Зачем ему дочка трактирщика?»

Павел с зевком откинулся к стене, потянулся.

— Скажи-ка мне, мой добрый Васак, прием в тронном зале сегодня будет?

— Да, в полдень.

— Вот и славно. Проведешь меня.

Васак робко и виновато съехался.

— Большие деньги нужны,— сказал он.— У меня дома нет таких.

— Я бирюзу привез. Сотен на пять.

Васак молчал.

— Овсеп!— крикнул Павел.— Сумку с деньгами!

Развязал сумку, достал три мешочка.

— В каждом по сотне,— сообщил он и, поймав блеснувший взгляд Васака, вынул еще один.

В полдень он, нарядный и душистый, стоял около трона под золотым деревом, о котором так подробно распространялся Урия. Место было бы весьма почетное, если бы Павел в своем ряду стоял впереди. Но впереди был рослый старик, который вытаращился на дверь и то и дело привставал на цыпочки. Через полчаса дверь распахнулась, и все в зале единым, неуловимо коротким движением подались к зияющему дверному проему и оцепенели. И все неживое в зале — его стены, пол, потолок и обстановка,— казалось, качнулось туда же. Вошел Иоанн, синеглазый, свежий, улыбчивый. Нет, это не был полководец Иоанн Цимисхий, достаточно умный, чтобы держаться на равных с ближайшими подчиненными, чтобы делить с простыми воинами лишения ратной жизни,— заботливый, чуткий, любимый всеми в войске Иоанн. Владыка полумира, с нездешней, неземною щедростью рассыпая по сторонам милостивые кивки, шествовал к Павлу. Павел выдохнул из себя весь воздух, ухватил за плечо старика, оттиснул и вышагнул вперед. Иоанн чуть попятился, но, узнав его и разом все поняв, благодушно хохотнул.

— А, летун!— проронил он.— Ты мне там нужен. Возвращайся.

Рыхлая мгла клубится над шипящим и шикающим костром. К утру так затуманило, что оно словно не настало. Григор подбавил огню хворостинок, поворошил их ножом, отер ладонью сажу с шер-

батого лезвия и вкинул нож в пещеру. Присев на корточки, начал обсушивать склеенную сыростью бороду. Озноб стекся к ноющей пояснице, сдавил ее и заставил вспомнить увечного паренька. Господи, до наставлений ли и внушений было ему! Да и какой он теперь вор? Страдалец он. Почему сам не проводил его в обитель, сам не позаботился?... Э, на поздние сожаления горазд: как железные костыли в мягкую доску вгоняет... И ведь сокрушается радостно, жадно-радостно. Оттого-то кается и грешит чуть ли не одновременно. Успел уже и про эту одновременность настроичить... Овик говорит, что покаяния очищают его. Нет, основательно очищает лишь молитва. А она тщедушная: насилу приподнимется и опять понизу стелется. Не дано ему всюю душою припасть к небу... Бывало, утешался прописью, что сейчас-де это невозможно. Утешался, пока не привезли гимны студита Симеона¹. Распахнул книгу наугад и прочел: «Не вещайте, что не видят люди божественного света, что невозможно это в наши дни! Это никогда не бывает невозможным!» Как верно, как просто и высоко... Овик говорит, что Симеон многословен. Неправда. Не многословие у него, а многоголосие. Вроде бы перенагнетенные повторы звучат, как голоса в хоре. Голоса эти сопровождают ведущий голос, и все вместе беспреградно уходит ввысь...

Борода обсохла, и он повернулся к огню спиной. Прогревшись, забрался в пещеру, подгрреб под голову мешанку из щебня, веток, листья и лег. Глаза слипаются. Две ночи почти без сна. Спать, спать... Проклятая поясница! Ноет, с боку на бок ворочает, о-ох... Иногда помогает уснуть дозревающий набросок...

Вот он я:

Заглохший рожок, краснобайство беззвучное, глотка пустая,
Запертые уста, язык запечатанный, бессловесная статуя,
Невидящие зрачки, суставы недвижные, застывшее чрево,
Рыхлое корневище, трухлявое дерево,
Лесина истлевшая, бревно исчервленное,
Печальный пример, жалкая тень, подобье плачевное,
Выхоленное сердце, плоть изношенная,
Снесённая скиния, поляна скошенная,
Пересохший родник, стремнина вставшая,
Зелень жухлая, цвет облетевший, краса истаявшая,
Погасшая площадка, ненужный запас, очаг заброшенный,
Забятая дружба, хилая злость...²

«Не то...» И в полудреме забормотал: «Чахлая... Нет... Бессильная злость... Бессильная злость, удар отраженный...» Потянувшаяся к письменному столику рука нащупала шишковатый холодный камень. И сразу выбормоталось: «Покинутая обитель, приют холодный...»

¹ Симеон Новый Богослов (949—1022) — воспитанник Студийского монастыря в Константинополе, поэт и философ.

² Стихи без ссылок на переводчика даны в переводе автора.

Он познакомился с Лейли накануне Рождества Богоматери, спустя неделю как стал магистром, иеромонахом и обладателем почетного креста с украшениями.

Епископ Мовсес рукоположил его в иеромонахи, хотя был он только послушником и до двадцати двух лет ему почти год оставался. Перед рукоположением Мовсес прогудел совершенно отцовым голосом, что произошло событие, которое позволяет, нет (гнетущее молчание), побуждает и понуждает перешагнуть через возрастную и священноначальные ступени. Мовсес все больше походил на отца, и сходство делалось все более комичным. Он внезапно, будто усилением воли, полысел, и жесткая остаточная растительность вокруг ушей топорчилась, точь-в-точь как у отца. Аняния, увидев Мовсеса лысым, сначала прозвал его Хосровом Вторым, но, приглядевшись, решил, что тот похож на отца гораздо больше, чем отец походил на себя, и потому Мовсеса надо величать Хосровом Первым.

Защитить диссертацию пора было. («Как так: сын Хосрова — и даже не лицензиат?» — «Десятый год в послушниках ходит». — «Говорит, такой обет дал». — «Неспроста». — «Что-то хочет доказать». — «Самомнителен». — «Не без того».) Диссертация требовалась и монастырю. На дикое нашествие анийских монахов Нареку подбало ответить подтверждением своей просвещенной широты. Аняния понукал непрерывно: «Дописывай, копотун. Все обговорено. Все ждут». Защита ожидалась не рядовая. Она должна была удивить всех. Удивление заранее носилось в воздухе. И он трудился в поте лица, выуживая из себя в меру смелые мысли и укладывая их в темноватые на всякий случай фразы. Делал именно то, чего от него ждали настроенные удивиться. И они так готовы были удивиться, что действительно удивились. Но удивлялись недолго — до ужина, когда настоятель Ахтамара, престарелый епископ Бабкен весьма своеобразно поздравил его с успехом. Бабкен сказал: «Вот, Григорик, ты и стал магистром. Я давно этого жду. Может, еще доктором тебя увижу, как отца твоего и дядю. Они тебе ровную дорожку проторили. Шагай смелей — не споткнешься!» Сказано ли это было по старческому малоумию или, напротив, остро — никто не понял, но все, в том числе и он, поздравленный, развеселились.

Усыпанный радужными опалами крест Григор засунул в комодный ящик, где лежали не самые необходимые вещи. Иеромонашьей мантии тоже носить не захотел, хотя была в ней скупая, обязательная нарядность. Всех удивил, распотешил, и будет. К тому же после защиты он постоянно перехватывал завистливые взгляды. Зависть в Нареке, как, наверное, в любом монастыре, вспыхивала и распространялась, словно заразная болезнь. Завидовали по-всякому: шумно и втихомолку, посмеиваясь и печалясь, гуртом и врозь. Сам он зависти никогда не испытывал, но догадывался, что это, пусть и дрянное, чувство мучительно. Что его смирение только распаляет завистников, он не сознавал, пока Овик, увидев его на службе в за-

трапезной рясе, не выговорил ему сердито: «Еще раз явишься в храм без мантии — прогоню. Да и никого ты не ублажишь. Твое смирение паче гордости».

Овик, ставший уже архимандритом, зависти ни в ком не возбуждал. Свойский он был. Вот почему и его начальственная гневливость, — а под запал он пушил меньших страшно, — всерьез не задевала. Так, не чересчур болезненно, переносится младшими в семье ругань старшего. Три года назад он сменил умершего эконома, и вскоре доходы с хозяйства, изрядные и раньше, круто пошли в гору. Среди крестьян были и такие, что впрягались в плуг (плуги у всех имелись), а чтобы боронить, корчевали деревья. Позапрошлой весной Овик подрядил таких строить в Нареке большую маслобойню и расплатился отборным зерном и быками. Кое-кто в обители брюзжал, но следующий же год с лихвой окупил затраты. Стал бы рассудительный Овик что-то наобум затевать!

Хозяйственной деятельностью он не ограничился. Глубокий знаток богословия, сам он не писал и всего раз в неделю проводил в академии занятие по святоотеческой литературе. Зато пишущим — Анании, Григору и главе дифизитов Маниаку — помогал в их работе. Он обнаруживал у них и фактические ошибки, и вкусовые погрешности. Не избирательным вкусом был он наделен, а емким и беспристрастным, и, как правило, замечания Овика вызывались нуждами рукописи. Он ценил в пишущих людях Божью искру, даже если она вспыхивала неярко. Овик, единственный в обители, безотказно прочитывал хлипкие и спотыкливые гимны Вифония. Его он попытался обучить основам стихосложения, однако неусидчивый Вифоний вдруг увлекся астрологией, и до того пылко, что лишь Анания сумел остудить его, сказав, что для составления точного гороскопа следует, кроме дня рождения, учитывать и день зачатия, который, за редким исключением, установить тяжко.

Овику не завидовали и потому, что была в нем забавная слабинка: любил вкусно и сытно поесть. При своем истинном благочестии он не выдерживал Великого поста и, случалось, на другие же сутки говения съедал зараз целую индюшку. К тридцати годам он раздался неимоверно, но очень ладно расположились тела на его огромном костяке. Да и носил он их с легкостью: могуч был настолько, что, тягаясь с Медведя Задравшим, всегда валил его руку. И поэтому не завидовали Овику. Для большинства людей все, что принадлежит здоровиле, принадлежит ему по праву. Как и во многих здоровяках, настоящей злости в нем не было. Накричать мог, а поколотить — нет. Но, конечно, самым привлекательным в нем для нарекцев была его свойскость. Любой служка, обращаясь к нему, называл его не отцом Ованесом, а отцом Овиком. Когда кто-нибудь из чужих называл его полным именем, он озирался, не сразу понимая, что обращаются к нему.

Все, что касалось Григора, Овик воспринимал более чем близко, кожей и нутром чувствовал. И теперь он разделял с братом опустошенность, которая наступила после напряженного труда, разделял

молча, потому что утешений и подбадриваний тот не терпел. Овик чаще обычного заходил к нему — вот и все.

Накануне праздника Анания привез из Востана образ Богоматери с Младенцем. Младенца художник написал узнаваемого, бесплотного. Но Богоматерь изобразил как живую, изможденную, по видимости, родами женщину, с запавшими пепельными щеками. Она смотрела на Младенца тускло, безрадостно. Мало кто в Нареке одобрил икону. Не был от нее в восторге и Анания. Однако обнова к празднику требовалась. Икону повесили в привратной арке, подсветив по бокам крошечными лампадками.

Несмотря на то, что в последние дни почти непрерывно сеялась густая морось, паломники прибывали и прибывали. Тех, кто поважнее, селили в гостинице, прочие ютились в шатрах и повозках. В перерывах между службами они встречными потоками перетекали из одной церкви в другую (паломники-дифизиты с удовольствием подмечали, что убранство их церкви пышнее), теснились под навесами, выстаивались у отхожих мест.

Около пяти вечера Григору захотелось снова поглядеть на икону. Он встал под ней среди снующих туда-сюда паломников. В глазах Богоматери словно бы мерцало горькое предвидение. Подумалось, что такое впечатление усугубляется бесплотностью Младенца. Да, точно. Непростой образ.

Он услышал, что у кого-то рядом бурчит в животе. Сперва ему показалось, что бурчит у него: после рукоположения он держал овощной пост, и живот нет-нет да и канючил о хлебе. Но сейчас его внутренности помалкивали. Вместе с ним разглядывала икону арабка с нарекских выселок. Взбуркивало у нее. По праздникам арабка сбывала паломникам глиняные поделки. Иногда он видел ее беседующей с Карапетом-арабом, лучшим в обители каллиграфом, которого уважал не только за его искусство, но и за неприятзательное, скромное достоинство. Григор покосился на нее. Вот она тоже бесплотна. В обширных, видимо, мужских ветхих шароварах и такой же обширной и ветхой чадре — мошка в паутинной кутанке. Григор спросил:

— Что-нибудь продала?

Она повернула к нему голову. В прорезях чадры яркой рыжиной сверкнули глаза.

— Нет,— тихо ответила.— Отмахиваются. В плохую погоду всегда так.

— Что у тебя?— Он кивнул на котомку.

— Сегодня одни собаки.

— Покажи.

Костлявые пальцы затеребили узел. В котомке было десятка два пятнистых, подмазанных белилами собачек.

— Я люблю собак, я их возьму,— заявил он решительно.— Жди меня здесь.

В келье он достал из ящика крест с опалами, затолкнул в карман и пошагал назад. Арабка стояла в простенке под иконой.

— Держи,— сказал он, отдавая крест.
Она проворно цапнула его, повертела и протянула обратно.
— Как я сбуду такой? Скажут — украла.
— Почему?
— Ты погляди на него и на меня.
— Гм... Мне продавать его неловко... Вот что: цепочку от него продай.

Она еле слышно рассмеялась.

— Разве это цепочка? Это цепь. Спросят: откуда у тебя столько золота?

— Можно и по звеньям продавать,— сказал он уже раздраженно.

По-прежнему тихонько смеясь, она проговорила:

— Мама отдавала в Востане за козу кусочек золота. Так его отняли. Если мои изделия тебе по нраву, заплати серебром.

Он отметил это «если мои изделия тебе по нраву».

— Ладно. Стой тут, пока я не вернусь.— И пошел искать дядю.

Анания оказался у себя, беседовал с Маниаком. Встречая главу дифизитов, Григор, когда не услеживал за собой, морщился. Тот ни на миг не забывал, что происходит из Мамиконянов¹. Почтительная любовь к себе, знатному, умному и красивому, накладывала отпечаток и на его работы. Писал он очень изящно, но его искрометный слог обычно не выявлял, а затемнял суть. «А сам я не красуюсь? Овик прав: скромничаю, как павлин». Извинясь, что отрыва-ет, Григор попросил дядю:

— Серебряных динаров дай, пожалуйста.

— Зачем тебе?

— Арабка с выселок принесла поделки. Никто их не берет, а она голодная.

— Ей давать серебро не безопасно,— блеснув зубами, сказал Маниак.— Она, не приведи Господь, и от медяшки ослепнуть может.

Григор вприщур, словно впервые видя его, глянул и процедил:

— Твоему преподобию, похоже, лучше всякого известно, что и сколько чего этому всякому надо.

— Ну-ну, сын отца своего,— с мироносной улыбкой вмешался Анания,— выдвинь нижний ящик.

Из бледной чешуйчатой груды Григор вынул три монеты.

Арабка неподвижно стояла в простенке. Огибая паломников, он быстро пошагал к ней и, подойдя, раскрыл ладонь с динарами. Их она не схватила, как крест, а взяла спокойно, даже с некоторой важностью. Вложила монеты в складку головной повязки, попрощалась и направилась к воротам.

Вернувшись к себе, Григор расставил собачек на полу. В пяти-шести фигурках было движение, своя жизнь была. Все они бежали, но каждая по-особому подгибала лапы, поджимала или задира-ла

¹ Княжеский род, оставивший заметный след в истории Армении.

хвост, держала морду. Григор вспомнил: «если мои изделия тебе по нраву». Знает им цену. Он бережно переставил собачек в книжный шкаф и решил сходить к Карапету-арабу — расспросить о ней. Вообще к Карапету нужно было сходить: тот переписал его диссертацию, а теперь переписывает гимны. За это благодарят не мимоходом. О, вот кто обрадуется кресту.

Встретив Карапета выходящим из храма, сказал:

— Я к тебе собрался. Не помешаю?

— Пожалуйста,— ответил тот, по обыкновению глядя на сложенные комком волосатые руки.

У Карапета в келье стояли, как у всех копиистов, два письменных столика. Чисто было у него, проветрено.

— Знаешь, что я подумал?— начал Григор и замялся от внезапно осознанной грубоватости того, что вертелось на языке. Все-таки выговорил вертевшееся:— За такую работу, как твоя, одного «спасибо» мало. Ты возьми, а?— И он неуверенно положил на столик крест.

Карапет поглядел на крест, на Григора и тоже смущенно сказал:

— Не возьму. Он ведь наградной.

Григор совсем смутился.

— Вот незадача с ним! Второй раз сегодня отдаю, и второй раз не берут. Девушке с выселок за ее поделки отдавал, а она сказала, что крест слишком роскошный, продать не сумеет.

Карапет вскинул на него потеплевшие глаза:

— Когда-то они с матерью купались в роскоши. Мать когда-то замужем была за братом старейшины нашего племени.

— Почему когда-то? Ее муж не так давно умер.

— Нет, это другой человек. Того убили. Правильно убили. Бешеным псом был.

Григор счел нужным упрекнуть:

— Зачем о покойнике?

— Знаешь, скольких он покойниками сделал? Он, случалось, и просто так убивал, от скуки... А тут вот что вышло. Соседи раньше нас заняли хороший выгон.— Помолчав, уточнил:— Средне-хороший. Ну, а он велел пастухам убираться. Те не послушались. Мы их зарубили. Я у него оруженосцем был. Такой же зверь был...

У Карапета задрожали руки, он переложил правую кисть в левую и снова стиснул. Григор знал от дяди эту историю, но молчал, видя, что Карапету необходимо выговориться.

— Дальше было так. Мы понимали, что пастухов нам не простят, и в тот же день скопом повалили на их стойбища. Поначалу мы их били. А потом они оправились. Всю весну резня шла. Я лютым стал, когда у меня семью вырезали. Вконец озверел... А мы тоже никого не щадили. Напали на одну стоянку. Там воинов не было. И вот старая бабка запустила в меня вязальным крючком — и наутек. А я на коне за ней еду. Она семенит, а я на коне за ней еду... Подъехал и снес голову. А туловище семенит, ногами перебирает и семенит...

Григор не вытерпел:

— Слушай, такого не бывает. Тебе померещилось.

— Нет, это и другие видели. Шажков пять она без головы пробежала. Тут я и сообразил, каким стал. Какой же я страшный, подумал, если меня даже труп боится.— Он еще сильнее сдвинул затрясшиеся руки.— Хватит об этом, а?

— Хватит, конечно, хватит,— закивал Григор.

— У тебя дядя очень умный человек. Он мне вот что сказал. Если, говорит, ты губил себя с именем Магомета, тебе с именем Магомета жить нельзя. Говорит: я не против Магомета, я против такого Магомета, какого ты в себе носишь. Говорит: нет в тебе настоящего Магомета, оставил тебя настоящий Магомет...— Помолчав, спросил:— Не обидишься?

— А что?

— Все хочу понять, откуда в тебе такое?

Карапет подошел к столику, уперся ладонями в края и сипло, невыразительно начал читать:

Я не кто иной, как конь говорящий,
Скачущий без тропы, со смертью играющий,
Я вечный телок, так и не выросший, не повзрослевший,
Под ярмом не ходивший, упрямейший, злейший,
Я человек самоугодливый, праздный
И ко всему ещё звероподобный, дикий, опасный...

Карапет отступил от столика, облегченно вздохнул и повторил:

— Откуда в тебе такое?— Покачал головой.— Не может такого в тебе быть.

— Значит, есть,— нехотя сказал Григор.

— Ну да!— усмехнулся Карапет.— Ты кого-нибудь убил? Покалечил? Это ведь тоже уметь надо.

— Нет, этого я не умею. Но бешенство во мне — как чертополох, который всходит и всходит. А я его ростки выпалываю, когда пишу. Потому и пишу.

Карапет густо наморщил лоб.

— Ага, понял. То-то я думал: отчего мне легче, когда я читаю твои писания? Оттого, значит, что и ты такой. Вот, значит, отчего. Когда не один — легче. Утешение это, понимаешь?

— Чего ж тут не понять!— досадливо вскрикнул Григор.— Но ты не очень-то утешайся. Я уже полгода такого не пишу. Видно, больше не буду писать. Пустота во мне. Никаких ростков.— И вдруг пожаловался:— От этого мне еще хуже.

— Не огорчайся,— с ласковой сипотцей произнес Карапет.— У тебя это от усталости. Я быстро устаю, когда переписываю твои признания. А ты ведь их пишешь. В тебе эти ростки опять взойдут, не сомневайся.

— Нет уж, спасибо, не надо,— засмеялся Григор.— Ну я пошел, ладно?

— Постой-ка. Лейли, девушке с выселок, ты что-нибудь дал?

— Серебра немного.
— Дело,— похвалил Карапет.— У них с матерью и на соль не хватает.

Унижение было жуткое и не меньше двух часов тянулось. Рослый старик (чуть позже выяснилось, что он германский посол) прошипел какую-то гадость, потеснил Павла и снова вылез вперед. Павел рванулся уйти, но вовремя опомнился. Съежившись за спиной старика, он думал: «Ай, Иоанн, ай, тварь неблагодарная! Ничего-ничего, Никифор казался вечным, а на троне не задержался. Свалишься и ты. Тебя сковырнуть проще...» Трон пошел вверх, на золотом дереве зацвилькали золотые птицы, и первым, кого Иоанн поманил шевелением пальцев, был старик. Павел укрылся за другой спиной...

Выйдя из дворца, он взял себя в руки. По виду прежним вернулся к Васаку, который сам распахнул калитку, радостно возвестив:

— Еда на столе!

Справа от крыльца мертвенно-синелищый детина, рукастый, как Овсеп, увлеченно, не обращая внимания на гостей, колот дрова. Павел невольно залюбовался его работой. Толстые чурки он делил так ровно, будто шматки сала резал. Похоже, что армянин. На голове — войлочный колпак, какие носят в Мокке¹.

— Ты армянин?— спросил Павел.

Детина распрямился над колодой и оглядел Павла, телохранителей и угодливо выгнувшегося хозяина.

— Армянин. А что?

— А ничего. Красиво работаешь... Смотреть приятно. Тебя как звать?

— Сукиас. А ты, видно, вельможный князь, что утром приехал.

— Он самый. Ну-ка, Сукиас, развали еще чурочку.

Сукиас выбрал чурку потолще и водрузил на колоду. Занес топор не выше лба, скинул, и пара совершенно одинаковых поленьев подпрыгнула и встала на колоде.

— Прекрасно сработано!— воскликнул Павел, обернувшись к Овсепу.— А?

Тот подтверждаяще выпятил губы. Сукиас откровенно-самодовольно сказал:

— Я все хорошо делаю. Делаю хорошо, потому что только на себя надеюсь. Больше надеяться не на кого.

— Как так?— удивился Павел.— А на Бога что, не надеешься?

Сукиас небрежно отмахнулся.

— Бога нет. Мне это один тондракит доказал.

— Вот так новость!— еще пуще удивился Павел.— В первый раз слышу, что тондракиты и в Боге разуверились.

¹ Область в Васпуракане.

— Этот разуверился,— почтительно глянув куда-то вдаль, произнес Сукиас.

— И чем он тебе доказал, что Бога нет?

Сукиас вздохнул, огорченно развел руками.

— Не могу вспомнить. Пока он доказывал, все ясно было. А теперь никак не вспомню его доказательство. Помню только, что оно ясное.

Телохранители посмеивались. Усмехнулся и Павел.

— Ясное как Божий день,— сказал.— Ладно, допустим, что твой тондракит прав. Но в кого-то же верить надо. В кого он научил тебя верить?

— Не в кого, а во что,— снисходительно поправил Сукиас.— Верить надо в чудеса.

— Предположим. Но кто их творит?

— Силы природы.

Дружный — будто из одной глотки — хохот огласил двор.

— Кому ни скажешь, все смеются,— опечалился и сник Сукиас.— Эх, вспомнить бы доказательство, тогда...

— Погоди,— перебил Павел, успокаивая ладонями трепещущий живот,— а силы природы кто сотворил? Об этом ты его спрашивал?

— Спросил. Они сами сотворились.

— Да ну тебя, чурка безмозглая!— не выдержал Зор.— Раз-ве может что-нибудь сотвориться само?

— Может,— твердо сказал Сукиас.— Он это доказал. А ты не обзывайся.

«Пожалуй, подойдет мне,— подумал о нем Павел.— Глаз и рука — что надо».

— Слушай-ка,— спросил,— а человека развалить сумеешь?

Сукиас степенно кивнул:

— Доводилось.

— Верхом хорошо ездешь?

— Я уже говорил, что все хорошо делаю.

Павел обернулся к Васаку:

— Давно он у тебя?

— Около года.

— Охранником?

— Всем понемногу.

Павел подошел к Сукиасу, хлопнул его по плечу и щедро одарил своей доброжелательной улыбкой, которая, как правило, вызывала ответную доброжелательность. Сукиас тут же расцвел в блаженном оскале — странном и пугающем на мертвенно-синем лице.

— Беру тебя на службу,— объявил Павел.— Беру, но с условием. Пока не вспомнишь доказательство, держи язык за зубами. А то пойдут сплетни, что у меня пустозвон служит.

— Я вспомню,— посулил Сукиас.

— Когда вспомнишь — скажешь сначала мне. Договорились? Тот чинно наклонил голову.

Павел спросил Васака:

— Где поселил меня?

— В персидской комнате, в той, где всегда останавливаешься,— зажурчал Васак.— Но сперва — к столу. Покорно прошу, сделай одолже...

— Я сыт. Нет, не провожай. Распорядись, чтобы людей накормили и устроили. А после приходи ко мне.— Перевел взгляд на Овсеп.— Завтра выезжаем. Ешьте, отсыпайтесь.— И пошагал в дом.

В сплошь обитой персидскими коврами комнате он прилег на тахту. У изголовья возвышалась вместительная чаша с жареными фисташками — любимым лакомством Павла. «Этот прохвост памятливый,— подумал он о Васак.— Не то что чурка Сукиас».

— Можно?— послышался за дверью голос Васака.

— Входи-входи, мой бесценный.— Павел подвинулся к стене.— Присаживайся. Ну так вот, доложу тебе по правде: Иоанн встретил меня без всякой радости. Поэтому охоты навещать его снова у меня нет.

Васак, завесив глаза пухлыми веками и не глядя на Павла, сочувственно запричитал:

— Увы, увы и увы! Не жалуется он своих бывших соратников, не ценит их по заслугам. Да ведь и у меня неприятности. Старые заказчики не у дел. Сведения ох как трудно добываю!

— Напрасно ты думаешь таким способом утешить меня, мой добрый Васак. Я, как говорят греки, гуманен, и твои неприятности только пуще меня омрачают.— Павел сел прямо.— Выкладывай, что разнюхал.

Васак суматошно забросал его именами назначенных на высокие должности.

«Все из земельной знати,— запоминая, думал Павел.— Возвышает тех, кто даст ему воинов». Спросил:

— Что говорят о войне?

— Говорят, только о ней и говорят. Иоанн сместил племянника Никифора, Фоку-младшего, который сжег наш Маназкерт, а Фока-младший объявил Иоанна узурпатором, а Иоанн объявил Фоку...

— Остановись. Войско Фоки поддержало его?

— Поддержало.

— Все войско?

— Все.

— От кого сведения?

— От главного конюшего.

«Двадцать тысяч для Иоанна немного значат,— подумал Павел.— Но мы с анийским Ашотом запросто выставим столько же, а это уже не безделица».

Васак испуганно косился на его шевелящиеся губы.

— Скажи-ка, мой драгоценный: прочно сидит Иоанн в столице?

— Прочно,— со вздохом ответил Васак.

— Что еще?
— Особенного — ничего. Четыре раздачи хлеба. Частичная амнистия.

— Знаешь, Васак, я не вполне доволен тобой. Боязливый ты. Последнее донесение опять было устным.

— Торопился.

— А я тебя мешкать не призываю. И за нос меня водить не-зачем. Боишься, что схватят гонца с донесением и докопаются до тебя.

— На словах передавать лучше, гораздо лучше, значительно надежнее...

— Не тарахти. Знаю, что скажешь. Конечно, без письменного донесения гонец — всего лишь путник, едущий по своим надобностям. Обшарят и могут выпустить. Но люди у тебя почему-то все беспамятные. Вроде заблудшего Сукиаса, которого пора наставить на путь истинный. Так же, как и моего боязливого Васака. Ты раскинь умишком: кого тебе следует бояться больше — Иоанна или меня?

— Тебя, — пролепетал Васак. — Ты обо мне все знаешь.

— Видишь, какой ты смысленный! Можешь посылать забывчивых. Пожалуйста. Но с письменным донесением. Недосуг мне по капельке выдаивать их, а после тревожиться, что не до конца выдоил. Буду ждать от тебя вестей в середине марта. — Павел зевнул, закинул руки за голову и лег. — Вот что еще, мой бесценный. Если ты уж так гостеприимен и заботлив, вели выколачивать ковры. Человек я непривередливый, но в этих царских шерстянках столько пыли, что мне весь рот обметало. Нет-нет, останусь здесь. Спать хочу.

Спать он не хотел. Мог и сейчас ехать. Не хотел задерживаться в городе, который захватил панцирный всадник. Однако охране надо дать отдохнуть, иначе это будет не охрана — ее охранять придется.

Ладно, главарь панцирной своры, увидим — кто кого... Таких, как ты, можно сшибить копьем, пущенным из баллисты. Нет, и баллиста ни к чему. Тяжелый дрот из арбалета тоже собьет тебя... А пока — домой... Анании зря доверился. Вспылил Анания. Ничего, он будет молчать, он хотя и словоохотлив, но в меру... Араб! — как ошпарило — живой свидетель того, что пришлось сделать на берегу Евфрата. Анания узнает — не простит, чистоплюй чертов!.. А добрался ли араб до Нарека? Безоружный и без еды? Нечего гадать, спать время, смерклось уже... Чанка нет, ооой, нет Чанка... Тронный зал, ожидание... «А, летун!» Так унижить, так нагадить в душу... Мразь, ублюдина!..

Вспомнилось, как отец учил его засыпать. Лег на живот, вытянул и развел ноги, откинул подушку и поставил подбородок на сдвинутые до упора пальцы. Спустя минуту его повело на бок, качнуло, поворотило, и он уснул.

На рассвете оглядел телохранителей. Поверх кольчуг — тюркс-

кие халаты (нашелся и для Сукиаса), все чин чином. Свиток с решением на торговлю у него за пазухой. Зора нет.

— Где Зор?— спросил у Овсепя.

Тот пожал плечами. Павел припомнил недобро глядевшие на него глаза македонянина.

— Поехали.

До границы добрались без происшествий, если не считать, что один и тот же оборотистый пограничный отряд заставил дважды раскошелиться. Перебираться через незнакомые горы без проводника и без скалолаза было бы безрассудством. Огибали. В Ван приехали вечером 9 февраля.

Подскакав к дому, Павел увидел распахнутую калитку. Во дворе горели факелы, толпился люд. Понял: бабушки не стало. Стиснул зубы, спешился и прошел в калитку. Навстречу ему грузной раскачкой зашагал князь Мушег, неуклюже топыря руки. Павел отстранился. Он уже увидел мать, и она его увидела. Ахнула и бросилась к нему, крича:

— Сыночек мой! Ты узнал и вернулся, узнал и вернулся!..

Рождество Богородицы отпраздновали, как выразился посетивший обитель царевич Сенекерим, «с блеском и рвением».

Потекла обыденная жизнь. Но и ею жить по-прежнему Григор не мог. Не мог даже столоваться с другими. Заходил на кухню, накладывал в тарелку овощей и нес к себе. Читать не мог. Ничего не лезло в мутную голову. Замусорилась и душа, и не очищали ее ни пост, ни молитва. Думал все о том же. Не свое дело сделал. Дядино. Для него что на пользу обители, то и свято. «Пиши, пиши! Нам это позарез нужно!» А кто такие мы? Крохами правды пробавляемся. Словесничаем, мудруем, фиги из-под рясы показываем, правдолюбцы бесстрашные... Осторожничал и отец, но это не пачкало его дел. Правды в нем было больше. По сторонам посматривал, а шел прямо. Вот почему и просиял в нем чистый свет. А мы... Какие «мы»? Я! Сам сделал, сам и отвечай! Но как отвечать? Оспорить собственный труд? Опять всех распотешить?.. Нет, так жить невозможно...

В который раз после защиты он отправился на исповедь. Его духовник Серафим, нравственный надзиратель Нарека, недавно стал и казначеем. Не до Григора ему было. Все же битый час Серафим внимал его признаниям; затем вздохнул с видом «мне бы ваши заботы», почесал верхней губой костистый кончик уныло-долгого носа и велел провести ночь без сна, творя Иисусову молитву древних христиан. Григор побрел в келью и, не дожидаясь ночи, принялся твердить: «Иисусе Христе, Божий Сын, Спаситель, спаси...» Ночью он спал.

Утро выдалось солнечное и морозное. Небо слепяще отражалось в лужах, которые жмурились так весело, точно радовались, что молодой морозец затягивает их. Было первое воскресенье нояб-

ря, день, когда окольные крестьяне устраивали ярмарку у монастырских ворот. Григор ждал этого дня: надеялся встретить на ярмарке Лейли. Хотел не только помочь ей, хотел снова услышать ее тихий голос, увидеть рыжие глаза. Лицо бы увидеть... Воображение остерегалось рисовать ее лицо — не почему-либо, а из странной боязни ошибиться. Хотя, подумалось, ничуть не странной. Душевная ясность сквозит в глазах девушки, во всем ее поведении, такая ясная ясность, что боязно замутить...

Он отстоял утрению, позавтракал бобами с водой, достал из шкафа глиняную собачку — живехонькую, с забавно-свирепой оскалкой, — вложил в карман и пошагал к дяде.

Анания сидел за письменным столом. Дядина спина круглилась.

— Воскресенье, а ты работаешь, — сказал Григор.

— Грешен, — согласился дядя, разворачиваясь к нему вместе со стулом. — Что еще скажешь?

Григор протянул на ладони собачку. Анания взял, заулыбался.

— Ну как живая! Где добыл?

— Купил.

— А, — смекнул дядя, — у арабки с выселок. Вот кто пуше меня грешит. Правоверные называют это дьявольским обезьянничаньем. — Погладил собачку пальцем. — Ишь скалится, злодейка!

— Хороша?

— Хороша.

— Оставь у себя. А мне дай, пожалуйста, динаров десять. Схожу на ярмарку. Арабка, вероятно, там.

— Поддерживать бедняков — наша обязанность, — легко было начал Анания и остановился. — Э, душа моя, шальные деньги развращают... — Пощипал просвеченную сединками бороду. — Девушка способная... Вот что. Пускай попробует слепить наши ворота или башню. Если сумеет, я потолкую с Месропом. Такие поделки мы сами могли бы сбывать паломникам заодно с крестами и свечками. Возьми двадцать динаров и дай ей как задаток.

— Не будет она лепить монастырь — мусульманка ведь...

— Слушай, не мешай мне грешить. «Не будет, мусульманка!» Расскажи ей что-нибудь о веротерпимости. А откажется — купишь сколько хочешь собак, и кончено!.. погоди. Томишься без толку. Точно смотреть. Навестил бы Няню. Опять она с Мушегом воюет. Все уши мне прожужжала. (Анания накануне вернулся из Вана.) Оба ворчат и ворчат.

«Сам ворчишь», — подумал Григор. Вяло любопытствовал:

— Кто сейчас виноват?

— Кто? — закипая, переспросил дядя. — Это у тебя есть время разбираться!

— Не сердись, съезжу.

В толкотне и гомоне, в дразнящих запахах тминных лепешек, копченостей, сладостей он не сразу отыскал ее. «Не пришла», — скучно подумал. И тут же заметил поблизости, в середине ремесленного ряда, две фигурки в чадрах. Тесно жались к их шароварам

глиняные коровки и овечки. Он подошел и, не зная, которая из женщин Лейли (две пары рыжих глаз смотрели на него), сказал, переводя взгляд с одной на другую:

— Здравствуй, Лейли.

— Здравствуй,— неожиданно звонко откликнулась стоявшая слева.

— Поговорить нужно.

Она что-то шепнула матери. Та кивнула.

— Мама по-армянски не говорит?— выходя с Лейли из рядов, спросил он, чтобы завязать разговор.

Лейли рассмеялась.

— Говорит, еще как говорит! «Продашь? Нет, это дорого. купишь? Нет, это дешево».

Она искоса, но без стеснения поглядывала на него.

— А мне ты не продешевила собачек?

— Ой! Ты переплатил. Я после твоих динаров такое о себе возомнила!.. Ты куда ведешь меня? Там — овраг.

Григору передалась ее непринужденность. «Чего я вокруг да около?» Уже беря для нее деньги, он подумал, что слепок ворот или башни, без всего монастыря, будет выглядеть странновато, что лучше пускай она слепит висящую в привратной арке икону. Остановившись, спросил:

— Помнишь икону в воротах?

— Помню.

— Как она тебе?

Лейли снова прыснула:

— Не скажу!

— Чего смешного-то?

— Ой, не смей меня, ни за что не скажу! Почему я должна говорить? Тебе надо — ты и говори!

Он досадливо мотнул головой.

— Я и говорю. О деле говорю. Сможешь вылепить из глины похожую?— Сложил большие пальцы и выпрямил над ними ладони.— Таковую?

— Грех это,— отозвалась она серьезно.— Бог накажет меня.

— Накажет! Вот уж накажет так накажет! Какой мулла тебя одурачил?

Лейли обиженно отвернулась. К этому он был готов. Поинтересовался с ученым видом:

— Ты знаешь, что Кааба когда-то была христианским храмом, а еще раньше — языческим?

— Нет. А что?

— А то, что когда Магомет с войском вступил в Мекку и подошел к паперти Каабы, возле нее стояли языческие изваяния. Магомет велел свалить их. В храме были на стенах изображения Авраама. Вы его тоже чтите, Ибрагимом зовете. Магомет и его изображение велел уничтожить. Но когда увидел над алтарем образ Марии с Младенцем, прикрыл руками и сказал: «Это не троньте». Магомет

верил в святость Марии, в непорочное зачатие и ставил Себя ниже Иисуса.

— Откуда ты знаешь все это?

— Читал книгу о Магомете.

— Ты по-арабски читаешь?

— Книги о нем пишут и греки.

— Ха, греки! Греки что ни скажут, то соврут.

— Да ну тебя! Я думал, ты умней. Это же сказано не против Магомета, а за Него.

Она, помолчав, спросила:

— Икона и теперь в Каабе?

«Не случайно спрашивает. Чем-то Мария притягивает ее. Икону в арке долго рассматривала».

— Нет,— ответил.— Должно быть, выбросили ваши священники.

— А может, и ваши стащили!— задирчиво воскликнула она.— Зачем ее выбрасывать нашим, если Магомет оставил?— Притопнула суконной туфлей.— И мне Мария нравится!

Своих священников, конечно, не следовало давать в обиду, но, глянув на эту рыжеглазую мошку, Григор не стал препираться.

— Значит, слепишь?

Она опять засмеялась. Скрестила на груди руки и, раскачиваясь из стороны в сторону, звонко попискивала. На них уже озирались.

— Что с тобой?— покраснев и надувшись, буркнул он.— Смешинка в рот угодила?

— И-и-и, угодила! И-и! Сейчас выскочит, сейчас...— Хлопнула себя по рту.— Уфф, выскочила. Не знаю, что получится, но сделать попробую.

Он вынул из кармана кошелек.

— Держи задаток. Если точно повторишь икону, мы,— указал на себя,— отольем медную формочку и будем сами размножать и продавать.

Лейли робко покосилась на плотный кошелек.

— Сколько в нем?

— Двадцать динаров.

Она отчаянно замахала руками.

— Ой, как много!.. А вдруг у меня получится не то, что вам надо? Я не сумею вернуть столько денег.

«Бойтся не работы, а денег»,— подметил он. Сказал убежденно:

— Бери, бери, не бойся, у тебя получится.

— Спасибо,— нерешительно забирая кошелек, проговорила она шепотком.— Спасибо, что заботаешься обо мне.

— Ничего я не забочусь! Это нам самим нужно. Делай и приноси. До свиданья.

— Нет, подожди.— Она задержала его за рукав.— Тут постой-ка.

Подбежала к матери и, раскрыв кошелек, возбужденно затара-

торила. Мать сосчитала монеты, кивнула. Лейли бегом кинулась к нему.

— Слушай, приходи к нам сегодня обедать! Нет-нет, не отказывайся! Откажешься — и я откажусь. А придешь... — На миг запнулась и выпалила: — Марию покажу!

— Ну, к обеду слепишь?

Не ответила. Глаза ее озорно и ясно горели. Он пожал плечами.

— Ладно, зайду.

Дождавшись трех часов пополудни, он вышел из ворот и пошagal к селению. Тропа задернулась ломким ледком, и, чтобы не поскользнуться, он ступал, как его учила Няня, с носка на пятку. Медленно шел — будто нехотя. Неглубокий раздол обогнул поверху. Шел, подавляя желание увидеть ее лицо. Гадал: «За обедом снимет чадру или нет?.. Вряд ли. Меня покормит, а сама есть не станет...» Миновал пригорок, где был похоронен отец. Обернулся. Сумрачный гранитный обелиск четко выделялся в сквозной голубизне.

Впереди коричневато-серыми уступами выросло селение. Он взял левее, к сиротливой лачуге. Цепляясь за валуны, вскарабкался к ней. В оконце мутнел бычий пузырь. Дверь — как в сарае: грубо обшита досками разной толщины. Постучался. Ни шороха изнутри. «Куда ж они подевались?» Тюкнул кулаком и посадил занозу. Дверь с гнусавым стоном отворилась. На пороге стояла рыжеглазая девушка без чадры. «Господи, сплю я, что ли?!» У нее было лицо Марии с иконы в привратной арке. Тот же узкий овал, те же высокие острые скулы. Нет, лучше было лицо девушки — живое, теплое.

К ночи Клавдий дочитал магистерскую работу Григора, соединил на обложке крючки и петельки и устроил на свободном краю полки, уставленной трудами Анании Нарекаци.

Места для книг хватало: семикомнатная анфилада в нижнем этаже Малого дворца. Клавдий жил в средней комнате. Он любил книги, и они, можно сказать, отвечали ему взаимностью. Иногда он грезил о совершенной книге (Библия, по его мнению, лишь приближалась к идеалу). Появись такая книга, и отпадет потребность в прочих, и какую отрадой будет войти в это жилище света... Очнувшись, он повинно взглядывал на полки. Около тысячи сочинений, древних и новейших, в переплетах и трубках, на латинском, греческом, арамейском, персидском, арабском и армянском языках он собрал за время службы у Амазаспа. Тот поощрял и щедро оплачивал его собирательскую страсть. Случалось и так, что царь, побывав в каком-нибудь монастыре, попросту прихватывал библиотеку. «Опять чернецов обобрал, — сообщал он смотревшему именинником Клавдию. — Нехорошо. Пойди возьми, что тебе нужно, а лишнее вернем». Но Клавдий и с дубликатами расставался трудно. Переписчики грешат небрежностью, сокращениями; некоторые — целые главы пропускают. Однако совесть точила его (действительно: что та-

кое бескнижный монастырь?), и он сверял свою книгу с чужой и разлучался с экземпляром похуже.

В последние годы Амазасп часто захаживал в книгохранилище. Сам он книг не читал — был полуграмотен, но, когда Мокаци предал анафеме и его, заинтересовался христологическими спорами. Как-то несколько часов кряду непоседливый Амазасп сосредоточенно, не перебивая Клавдия, выслушивал яростные нападки византийских иереев на западных за то, что те видят Бого-человека чересчур человеком; выслушал Амазасп и встречные проклятия проклинаемых, а затем устало сказал: «Довольно с меня этой руготни», и задал вроде бы наивный вопрос: «Не разъяснишь ли, чем мой, ванский Иисус отличается от анийского? Разве мы с Ашотом не монофизиты оба?» Клавдий пустился было в тонкости толкования догматов и обрядов, и тогда царь вспылил: «Что ты мне замазываешь глаза?! Я хочу с помощью Иисуса одолеть Ашота, а он хочет с помощью Иисуса одолеть меня, — вот тебе и все отличие! Скажешь — нет?» — «Не скажу», — понуро сказал Клавдий. «То-то и оно, — усмехнулся царь и продолжил свои небезосновательные теологические изыскания: — Мне рассчитаться с Ашотом той же монетой — раз плюнуть. Полиевкт не забыл, кто ему дал сандалии святого Варфоломея. А забыл — можно еще что-нибудь дать. Вот и готова анафема для Ашота. Но когда этак расшибают друг дружке лбы — расшибают и веру. Не стану этого делать. Скажешь, набожностью хвалюсь? — Показал молчащему Клавдию кулак и подтвердил: — Хвалюсь. А твои иереи — что середочные, что окраинные — похвалиться не могут. Где их кротость, скажи? Ведь они же злее диких зверей, они же заживо жрут друг дружку! Да ну их!.. Меня не они смущают, меня весь Божий свет смущает. Все мы — добряки только по праздникам. Почему, скажи, в нас столько злобы?» Клавдий не ответил, хотя полагал, что знает ответ.

Клавдий исходил из Библии.

Бог создал Адама и Еву и поселил в благодатном Эдемском саду. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме...» Но там же Бог вырастил дерево познания добра и зла. Если существует такое двуединое распознавательное дерево, значит, вместе с добром существует и зло. Откуда зло?.. Страшная мысль, но неужели двойствен и Творец? Зачем Он вырастил в раю это дерево? Зачем Он постоянно испытывает людей? Не оттого ли, что неуверен в них? А может, и в Себе? Ведь на исходе каждого дня творения Ему надобно было увериться, что сотворенное удалось. «И увидел Бог, что это хорошо». А когда Он оглядел творение целиком, то увидел, что оно «хорошо весьма». Однако уже перволюди, созданные по образу и подобию Божию, получились не весьма хорошими, захотели быть «как боги, знающие добро и зло». А во втором поколении исступленное зло возоблагодало над добром. Но почему, когда Каин, еще не братоубийца, возносил Господу жертву, Он не принял ее, а жертву Авеля принял? Ведь этим Он и толкнул Каина на смертный грех, хотя и предупредил, что над грехом нужно господствовать. Предупредил, но и предупре-

делил... («Не гневайся на меня, Господи,— заклинал Клавдий,— я не осуждаю Тебя, но вправе же я иметь собственное суждение...») Люди плодятся и плодят зла больше, чем добра. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце Своем». Он истребляет человечество, сохранив только праведника Ноя и его семью. Однако зло сразу возродилось в Ноевом сыне, в Хаме... И вот — Содом и Гоморра, их истребление... Нет доверия и к праведникам. Ужасному испытанию подвергается Авраам и выдерживает его: да, Авраам готов пожертвовать единственным сыном, готов своей рукой заколоть его, раз такова воля Бога. («Но, Господи, Господи,— вопрошал Клавдий,— добрая ли это воля?.. А несчастный Иов, которого дьявол с Твоего согласия лишил детей и крова и поразил проказой? Иов, который сидит в пепле и скребет зудящие болячки? Зачем Тебе это?...») Авраам выдержал испытание, а Иов — не вполне. Но Иов не проклял Бога за причиненное зло. Он сидел, зачервленный, скреб себя черепком и молчал... Ох, какими соловьями разлились утешители! Как велеречиво укоряли они его, как красноречиво внушали, что Бог вернет ему и детей, и здоровье, и богатство, что надо только смиренно перетерпеть беду, и все. Все? — заговорил Иов,— ничего себе все! За что он терпит, где справедливость? И в конце концов Бога задели за живое эти вопросы, и Он выступил, как этого требовал Иов, ответчиком за содеянное. Но отвечал Он не как справедливый, а как больший. Так отец, выпоров попавшего под горячую руку ни в чем не виноватого ребенка и услышав: «За что бьешь?», продолжает гневаться и винит его в дерзости. Но куда пуще сердится Бог на утешителей. Он позволил дьяволу испытать Иова, а утешители мешают выявить истину, навязывают ему свое угодливое смирение. Вот и бросает Бог начавшему утешать: «Горит гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили обо Мне не так верно, как раб Мой Иов». Следовательно: дерево добра и зла, Абель и Каин, Иов и напущенный на него дьявол... Значит, двойствен и Творец.

Нечто похожее высказывают еретики — гностики, манихейцы, павликиане. Однако и еретики благословляют Вседоброго. Как без Него?.. Да, страшное допущение. «Господи,— взмолился Клавдий,— не дай мне никого смутить, помоги молчать!»

И он молчал, пока не подружился с Анией Нарекаци. Ания понравился ему византийской выучкой, широтой взглядов и просто по-человечески. Понравилась Клавдию и рассказ Ании — особенно об иудее, который часто бывает в Эчмиадзине. Клавдий сразу понял, что это писательские фантазии. Понял, но, отправясь с посольством в Ани, даже сам захотел побывать в облюбованном этим иудеем Эчмиадзине. Но Клавдию сказали, что там и монахов сейчас не встретишь.

Однажды Ания зашел к нему вернуть книгу, и Клавдий решил: пора открыться.

— Завелась во мне еретическая мысль,— заговорил он.— Грызет меня и грызет. Может, ты рассеешь ее...

— Выкладывай, — с веселой готовностью отозвался Анания. — Дело знакомое.

— Чудовищная мысль, сверхъеретическая...

— Не томи, душа моя.

Услышав о двойственности Творца, Анания потускнел и насутился. Клавдий опасно примолк.

— Договаривай, — сказал Анания, — чего уж теперь...

Анания поднялся с кресла, потер виски и произнес:

— Где-то я читал об этом... Нет, если бы читал, запомнил бы крепко, а я и помню, и не помню... — Он снова сел в кресло и упер подбородок в набалдашник своего докторского посоха, перевитого двумя парами янтарных змеек с вызывающе закинутыми головками. — Мысль твоя действительно более чем еретическая. Дикая мысль. Как она могла укорениться в тебе? Ты ведь человек набожный и просвещенный. Ты ведь знаешь, что истинная свобода только в Боге, а стало быть, в подчинении Ему. Сказано же было Адаму: не тяни руку к плоду запретному. А он использовал свободу выбора во вред себе и сам явился некоторым образом создателем зла. М-да, еще и дьявол... — Анания вновь потер виски. — Но и дьявол — Божье творение... Так-так-так!.. — Он вскочил и бросил посох на кресло. — Ну конечно же, я тоже думал об этой двойственности, не читал, а думал, только недодумал — струсил! Ну, душа моя, ты меня обезоружил! Какая голова! — И он любовно оглядел голову Клавдия, на которой и жидкие брови казались случайными. Но тут же опять насутился: — Тем не менее — ересь, явная ересь... Впрочем, погоди-ка. Ты ведь хочешь, чтобы тебя переубедили? (Клавдий кивнул.) Тогда какой же ты еретик? Если бы ты был еретик, ты бы стоял на своем... И однако же выстроил стройнейшую теорию. Что так?..

— Сама выстроилась, — без уверенности проговорил Клавдий.

— «Сама»!.. Теории сами не выстраиваются. Ох, вконец ты меня запутал этой ересью-неересью... Ну-ка, давай распутываться. Вот что есть в твоей мысли, вот ее всхожее зерно: призыв к обоюдной снисходительности, в которой залог примирения, — того, к чему и Творец стремится... (Клавдий ободрился: в таком столкновении его мысли было нечто обнадеживающее.) М-да, все же это чересчур смело. Получается, что яйца снисходительны к высиживающей их курице: дескать, извиняем твою тяжесть... — Что-то шалое просверкнуло во взгляде Анании; он продолжил: — Знал я в Никее чрезвычайно занятого священника. Длинный такой, сухопарый, с удрученно-вытянутым лицом и сумеречными, близко посаженными глазками... М-да, конечно, знал я такого священника в Никее... (После этого повторного утверждения никейский священник окончательно связался для Клавдия с эчмиадзинским иудеем.) Так вот: при некоторой ограниченности он человек образованный и, можно сказать, горящий в огне своей веры. Отчасти гностик, хотя мнил себя дифизитом. Бессознательный гностик. Он сообщил мне, что с той высокой ступени боговедения, на которую

он взобрался, ясно открывается, что определение «вседобрый» не только не определяет Творца, но, напротив, искажает Его суть. Творец не вседобр, утверждал он, и даже вовсе не добр, а всеблаг. «Как это понять?» — спросил я, сознавшись в своей тупости. А он говорит: «Представь, что ты нарожал детей, а дети — сладкоежки, а от сладостей портятся зубы. Ты, чтобы воспитать в детях волю, кладешь сладости на видном месте и предупреждаешь: отведаете сладостей — прихотитесь к ним и останетесь без зубов. Вот тебе — дерево познания и свобода выбора между благом и неблагом». — Вглядываясь в окно, Аняния спросил: — Ну, душа моя, что скажешь?

Клавдий пожал плечами.

— Дети есть дети, — сказал он.

Аняния живо повернулся к нему.

— Правильно! — воскликнул. — Едва мы, богословы, слетаем с наших философических облаков на грешную землю, как вязнем в бестолковщине. Вот почему иные из нас талдычат, что Библия искажена нечистой силой. Что же — всю Библию толковать шиворот-навыворот? Однако нет другого источника христианской веры, и замутнять его безбожно и нелепо. — Он одобрительно улыбнулся Клавдию. — Ты воспринимаешь Писание как документ. По-моему, ты не совсем прав, но ты больше похож на Иова, чем на его утешителей, на которых очень похожи мы, — Аняния ткнул себя в грудь, — нынешние богословы. И ведь не столько мы Бога боимся, сколько друг друга... Вот я кружу и кружу поодаль твоей мысли. А кружу я для того, чтобы обозреть твою мысль отовсюду. — Он свел руки окружностью и заглянул в нее. — Вот так, и вот еще один взгляд. Весной закончил у меня школу простой парень, сын ремесленника, сверстник моего Григорика. Ну, Григорику он не чета — мозгов поменьше, однако неглупый. Хм, кстати, на днях Григорик ошеломил меня. Спор у нас вышел насчет его будущей диссертации — толкования Песни Песней. Он внезапно перебил меня и в точности высказал мои возражения. Представляешь? В точности! «Что это, — спрашиваю его, — ты мысли читаешь?» — «Ага, читаю», — говорит он. «Как же ты достигнул такого?» — «Молил Господа даровать мне эту способность». — «И ты никогда не ошибаешься?» — «Почему же? Бывает».

О любимом племяннике Аняния мог говорить очень долго. Клавдий красноречиво вздохнул.

— Да, — спохватился Аняния, — стало быть, о том пареньке. После учебы он должен был вернуться домой. И вдруг подходит ко мне и объявляет, что собрался в пещерную келью, проповедовать паломникам. Отшельник-проповедник, да к тому же юнец... Я начал подтрунивать, но парень не смутился. Сказал, что в мир не вернется, потому что свою душу беречь ему мало, он и о других думает. Души, сказал он, трутся друг о дружку пуще, чем тела, и душа, сильно подпорченная злом, заражает здоровые, добрые. Не ахти какая новость, подумалось мне, но сказано своеобразно. Да и сам он, знаешь, особенный: твердый, бугристый — прямо валун. Вот я и

решил: поставлю-ка я этот валун на возвышение. Это несложно. Загляну к нему в пещерку с именитыми людьми, и слава о нем по всему царству разлетится. Пускай он проповедует добро, а заодно выведывает, кто чем дышит, и мне докладывает. Ты бы посмотрел, что с ним стало, когда я ему это предложил, — я от него так и отпрыгнул!.. Ладно, думаю, Бог с тобой, живи, как желаешь. Проходит месяц-два, а я все не могу его забыть, и тревожно мне. Не за него, а за себя тревожно. И вот я сказал себе: сыск — не занятие для монаха. Царь не сообщал тебе о нашей беседе?

— Нет.

— На прошлой неделе я у него был. К сыску он меня пристроил еще в бытность мою в Константинополе, так что я этим делом лет пятнадцать занимался, — Анания провел пальцем по шее, — вот так расплатился за пожалованный мне Нарек. А Нарек не для этого. Кто из получивших образование в Византии вернулся сюда? В 50-е годы — один я. А в 60-е — Маниак, и то лишь потому, что там «князь Мамиконян» — пустой звук. А теперь мы сами поставляем стране просвещенных людей. Изложил я это Амазаспу и говорю: «У тебя есть Павел Амуни. Он толковый, с делом справляется, а меня уволь». Уволил. Вот чем обернулась первая проповедь моего паренька...

— Он сейчас в пещере? — заинтересованно спросил Клавдий.

— Там. Полгода минуло, а в обитель не заглянул ни разу. И не заглянет. Духовника он себе отыщет среди отшельников. Я ведь, дурень, в духовники к нему набивался. Ох, дурень! А он умен, даром что бесхитростен... Неужто и в нем есть двойственность? Я не различил. Но таких, как он, наперечет, и Господь ценит их, прощает им даже дерзость. Иов не одинок. Вспомни, как Моисей в пустыне досаждал Господу, бубнил: дай людям мяса, надоела им манна небесная. И ведь дал, и лишь слегка, больше для порядка, пристыдил его. А помнишь ответ Давида, когда Господь обещал ему и его потомкам царство? «Ты возвестил еще о доме раба Твоего вдаль. Это уже по-человечески, Господи мой, Господи!» Хм, «по-человечески»... Не благоговейно, но как прекрасно! А потому что — от души. — Анания засновал между окном и креслом. — Весьма плодотворно мы обсуждаем твою мысль, — объявил он, не замечая, что обсуждает ее сам. — Пора наконец взглянуть в небо. Пора распрямляться, пора!

— А мы не сломаемся, когда будем распрямляться? — осторожно вставил Клавдий.

— Что ты имеешь в виду?

— Безбожие.

Анания небрежно отмахнулся.

— Давным-давно пройдено! Люди уже вдосталь надурились. — Анания вдруг осекся. Помолчав, вздохнул и сочувственно глянул на Клавдия. — Да, тяжело носить в себе такую мысль. Хорошо, что ты поделился ею.

Клавдий благодарно просветлел.

Так Анания стал его близким другом.

Кроме Анании, друзей у Клавдия не было. Царь постоянно нахваливал его, гордился им, но Клавдий из разумной опасливости («Рядом с царем — что рядом с огнем») держался от него на расстоянии. Тепло и ровно относилась к Клавдию подруга царя, Рипсимэ: следила, что он ест, в чем ходит. Скромная, сдержанная, она была приятна ему. Но говорить с ней ему было не о чем. Дружбы Клавдия искали порой и самые знатные вельможи, однако их исканиям он знал цену. Когда-то Клавдий дружил с епископом Мовсесом (не как с Ананией — прохладней), однако в последнее время Мовсес поглупел и совершенно изблудился. Женолюбом он был и раньше, подтверждая своим образом жизни поговорку, согласно которой христианину полагается одна жена, мусульманину — четыре, а епископу — все. Клавдий долго силился не замечать этого. Но недавно Павел Амуни, известный бесстыдник, чтобы подразнить его, рассказал такое о совместных с Мовсесом забавах, что Клавдию почудилось, будто на его всегда зябнувшей голове копна волос стоймя встала. В Рим бы ему, Мовсесу! Там юнец папа до того докатился, что, совокупляясь с развратными матронами, их мужей заставляет глазеть на это... Правильно говорят, что женщины способны растащить мужчину по кирпичику: от Мовсеса ничего не осталось, если не считать внешнего сходства с Хосровом, которого он с нелепым рвением копирует. Да, тень Хосрова, и только...

После смерти царя стремительно взошла звезда Павла Амуни. Замирив царских сыновей и получив от воцарившегося Ашота титул соправителя, он стал полновластным правителем страны.

Внезапный отъезд Павла явился для Клавдия загадкой. Переворот в Константинополе — событие первостепенное, но зачем лететь туда соправителю, когда имеется неплохой сыск? Скорей всего, умчался скуку развеять. Сесть на сиденье Павла уже ловчится дядя царя, человек на редкость неприятный. Одно время, встречаясь с Клавдием, он всякий раз вместо «здравствуй» говорил: «Что-то ты сегодня паршиво выглядишь. Уж не болен ли?» Клавдия никогда не занимало, как он выглядит. Но кого не доймёт однообразное, унылое хамство? И в конце концов Клавдий промолвил в ответ: «Хочешь испортить мне настроение, так ведь? У самого поднимается, правда?» Ашот-дядя обомлел и, насилив придя в себя, прорывал: «Ты у меня еще попрыгаешь, сучий латинянин!» Это, разумеется, пустяки. Хуже другое: никому, кроме одинокой Рипсимэ, он здесь не нужен, да и ему все при дворе опостылело, очуждело. Месяц назад он пожаловался Анании, и тот мгновенно предложил: «Перебирайся в Нарек. Будешь библиотекарем, если эта невеликая должность тебя устраивает». Доживать остаток дней в таком монастыре и при таком настоятеле Клавдия вполне устраивало. Он ответил, что переселится после возвращения Павла. Анания сказал, что Павла придется ждать долго. «Почему?» — спросил Клавдий. Анания промолчал.

Павел вернулся более чем скоро. Непонятно, как он успел

обернуться. А ко двору не является. И это непонятно. Да, у него горе, но он же не кто-нибудь — соправитель. Впрочем, двор сейчас неподвижной трясины. А между тем Павел стал необходим. Прибыл посол от полководца Фоки, восставшего против нового императора. Фока просит содействия. Ясно, что мешаться в греческие дрязги незахем. Свести переговоры к уклончивому отказу Ашот поручил Ашоту-дяде и Клавдию. Ашот-дядя для такого дела совсем не годится, подумал Клавдий, и предложил вызвать Павла. «У него горе», — печально сказал царь, на что Ашот-дядя довольно справедливо возразил: «У него старая бабка померла. Хватит ему убиваться».

Анания явно что-то знает... Клавдий выговорил у царя отсрочку и отправился в Нарек. Ананию он застал с Ованесом. На обоих лица не было. «Что с вами?» — спросил Клавдий. «Григорик ушел от нас». — «Как ушел? Куда?» — «Арабка закрутила ему мозги. Это понять можно. Но вот я чего не понимаю: столько высидеть в послушниках, столько работать над диссертацией, блистательно написать и защитить ее, а потом... Не понимаю». — «Где он сейчас?» — «В Ване. Купил домишко на окраине. Туда перевез эту арабку. Овик был там. Клопов, говорит, видимо-невидимо. Это днем их видимо-невидимо. А что же там ночью творится?... Нет, ты скажи мне, чего ему здесь не хватало? Клопов, что ли? Нет, ты растолкуй мне, пожалуйста...»

Из этого Клавдий уяснил лишь, что все началось с диссертации.

...Итак, к полуночи он дочитал магистерскую работу Григора, поставил ее на полку и подошел к окну. На пустынном дворе топтались у костра двое стражников. Один что-то возбужденно говорил, другой позевывал. Костер озарял молодые чернобородые лица.

Клавдий оглянулся на очаг, где подернутые зыбким бледно-лиловым огнем багровели угли, взял кувшин с водой и залил их. «Шшш», — успокоительно шепнул он им в ответ на их яростное, предсмертное шипение. Затем расстелил постель, но лечь не стал, присел в кресло.

Недавно он продвинул чуть дальше свою тяжелую мысль о Творце. Прежде, читая Библию, он постоянно спотыкался на том месте, где Иаков борется с Богом. Клавдий не мог разрешить вопроса: в чем суть этого борения, затянувшегося на целую ночь, до зари, когда Бог повредил Иакову бедро и потребовал отпустить Себя? Неясность состояла из нескольких неясностей. Зачем понадобилось Богу схватиться с Иаковым и нанести ему увечье, если Бог всегда был к нему расположен? Да, очень расположен, хотя кое-какие поступки Иакова красивыми не назовешь. За чечевичную похлебку он выманил у голодного старшего брата право старшинства. Он обманул умирающего отца, чтобы окончательно закрепить за собой это право и унаследовать плодородный Ханаан. Творец же, как бы не замечая, что Иаков корыстен и неразборчив в средствах, постоянно является ему и помогает. И вдруг — борьба... Традиционно она истолковывается как любовная. Казалось бы, логика тут есть.

Борьба завершается тем, что Бог, как этого просит Иаков, дает ему благословение, после чего Иаков выполняет требование Бога — отпускает Его. Увечье, от которого Иаков стал хромым, толкователи объясняют решением Творца наглядно показать человеческую ущербность. Однако почему Иаков, прося благословения, то ли прикидывается, что не знает, с Кем боролся, то ли действительно не знает? «Скажи мне имя Твое», — допытывается он у Бога. Наверяд ли Иаков прикидывается: при всех своих недостатках он чрезвычайно богобоязнен. Как он все-таки дерзнул не только бороться с Богом, но и не отпускать Его? Одно дело, когда Бог хочет такой борьбы, и совсем иное, когда перестает хотеть. И неужто Бог не в состоянии вырваться из объятий Иакова?.. Но вот что очень примечательно и никак не освещено в известных ему, Клавдию, толкованиях: после борьбы Иаков изменяется к лучшему, ведет себя честнее, благородней... А может быть, рассказ об этом борении не следует воспринимать прямо? Может быть, Иаков боролся не с Богом, но с тем дурным, что было в нем самом. Может быть, в пылу борьбы Иаков сам наносит увечье себе, еще дурному? Может быть, переборов себя, дурного, он желает узнать о себе полную правду и своим правдоискательством докучает Богу. Может быть, именно так надо понимать слова Бога: «Отпусти Меня»?..

Борьба Иакова вспомнилась сейчас Клавдию потому, что вспомнились ему гимны Григора, в которых тот, заглядывая в себя, видит все дурное, что есть в нем, и, под стать Иакову (если он, Клавдий, прав насчет Иакова), сражается с самим собой. Подобное присуще многим гимнографам. Но таких откровенных, таких личностных гимнов Клавдий не читал. Григор еще правдивей своего отца. Он не может нарушить заповедь «Не лги». Не может солгать и во спасение. Не сделал он этого и в диссертации, но в ней порядочно недомолвок, совершенно Ананиевых обходов и обиняков, и поэтому в ней живет Анания, не Григор. Да, подражательство, к которому дядя, конечно же, из добрых побуждений принудил любимого племянника. Но даже Мовсес, подражающий Хосрову, живет, ибо подражает по собственной охоте. Навязчивая любовь способна вызвать не меньший отпор, чем ненависть. Вот и вызвала.

«Бог весть чем это обернется, — огорченно думал Клавдий, ложась в постель и натягивая одеяло на зябнущую и в колпаке голову. — Анании не до меня теперь. Жалко его и Григора, но себя тоже жалко... Э, себя жалеть — уж как-то совсем не по-мужски. Надо заканчивать историю с послом. А там — поглядим...»

— Ты для меня слишком красивый. Я бы слепила тебя, если бы могла. Но я и себя не смогла слепить похожей. Я на иконе некрасивая — серая, щек нет, одни кости. Да-да, я красивей, чем на иконе, особенно сейчас, когда ты откормил меня. Знаешь, почему я не смогла себя слепить? Потому что хотела слепить красивей, чем есть. Хотела сделать себя из глины потолще. Я хитрая, ой хитрю-

щая! Ты тоже хитрый. Хитрый и честный. Такое вместе редко бывает. Мне ты пока ни разу не соврал. Я бы почувствовала. Но ты очень хитро говоришь правду. Тогда про Магомета очень ловко ты рассказал, очень впадал. А когда что-то впадал сказано, оно и попадает, мимо не летит. Ты бы мог и соврать мне тогда. С голоду я бы поверила. Ну-ну, не хмурься, не буду об этом. Тебе не идет хмуриться. У тебя все наморщивается: и лоб, и щеки, и даже нос до половины. Еще разик нахмурься. Фу, какой противный! Вот таким ты и станешь. Наморщишься, а разморщиться не сможешь. Ладно, морщись. А то ты для меня слишком красивый. Такого ровного носа ни у кого нет. До чего красивый нос, надо же! Такой нос хороших денег стоит. Да не смейся ты! Про нос — я серьезно. Лоб у тебя, конечно, низковатый. Это потому, что ты больше хитрый, чем умный. Стал бы ты со мной жить, если бы умный был... Красивый, красивый. Глаза черные, а волосы золотистые. А у меня наоборот: рыжие глаза и черные волосы. Зато мои волосы гуще и тоньше — вот! По волосам погладь меня, только по-настоящему погладь. Ага, так... Когда ты по-настоящему гладишь, у тебя ладонь такая глубокая, такая вборчивая, что я вся в нее влезаю, с пятками... Ой, хорошо как... Почему ты со мной? Ты ведь не любишь меня. Ладно, не буду, не хмурься. Это я ниточку пробую: крепко ли тебя привязала, не сорвался ли уже. Что я, не женщина, не могу с тобой поиграть? А я сейчас не хуже любой. Смотри, какая у меня шея круглая, как в плечи перетекает. Чего не смотришь? Ага, вот так, вот так гладь... Хорошо как, спокойно... Опять клоп! И днем не уймется, паршивцы! Пшел вон, кровосос! Ой, я их тоже давить не могу. Не жалко — гадко. Ты, конечно, очень хитрый, прямо лис какой-то. Надо же додуматься: подставить под тахту миски с водою... Но клопы хитрее тебя. Уже который с потолка прыгает, а? Мама их выжигает, вот они к нам и перебираются. Ты не смотри, что она все время молчит, ты ей нравишься. А молчит потому, что все думает, думает, думает... Зачем столько думать? Что будет, то и будет. Глянь-ка: второй на потолке. Прыгай, хороший, прыгай... На щелчка! Вот ты, шустренький, и на полу. Карбкайся опять, если не надоело... Холодно, а то могли бы на крыше лечь. Клопы не любят свежего воздуха. Скоро потеплеет. Ох, до этого еще дожить нужно... Сколько мы тут? Восьмые сутки. Скоро заберут тебя. А как же. Твой брат прямо ошпарил меня, когда сказал... Надо же такое удумать! Нет, не хочу повторять. А он мне все равно понравился. Он добрый — сразу видно. Ты иногда тоже такое скажешь, что легла бы и не вставала... Вы похожие с ним. Но ты лучше. Не потому, что красивей, а потому, что мой... Такой мой, такой мой! Как хорошо, что у меня ребенок будет! Его-то никто не отнимет. Поводи по животу. Уже вспух немножко, да?.. Они, конечно, умные, твои родные, но я их перехитрила. Плохо только, что и они тебя не удержат. Они-то не знают этого, совсем не хитрые люди. Боюсь я за тебя. Зачем они так торопятся?.. Нет-нет, ты ничего мне не говори. Ни словечка. Ты сейчас не мешай мне любить тебя. Сейчас я тебя буду ласкать. Вот тут, и тут, и тут... Ой, как ты приятен

мне! Все твои холмики и впадинки, все волоски люблю. Я для тебя все могу сделать. Вон как я твой чулок заштопала — и штопку не различишь. Раньше я так не умела. Что с тобой будет? Не удержат они тебя. А от меня ты не уйдешь. Ты во мне. Как ты от меня уйдешь?.. Боюсь я за тебя. Что с тобой будет? Я-то не пропаду, я никогда не унываю, ко всему привыкла. А родится ребеночек — еще веселей стану. Хорошо бы — сын. И чтобы такой же был: с черными глазками и золотыми волосиками. И чтобы так же смеялся. Ты весь сверкаешь, когда смеешься. Даже страшно. Но ты мало смеешься. А он будет чаще — уж я постараюсь. Но главное, чтобы здоровенький был. Нет, не говори ничего, не мешай мне любить тебя... Вот так, так, так... Что с тобой будет, миленький мой, родненький?..

Уже около месяца Павел безвыходно жил дома. Он и из своих комнат не выходил. Не хотел видеть мать. Она никак не могла простить себе и ему крика, которым встретила его: «Ты узнал и вернулся!..» Заглядывая к нему, всякий раз бормотала: «Узнал и вернулся, на крыльях прилетел». Павел отмалчивался, хотя эта сварливость в ней, прежде такой сдержанной и достойной, бесила его. Почему вернулся, что вышло из его затеи — не интересовалась. Ее безразличие, конечно, показное, тоже раздражало Павла. Но хуже всего для него было видеть, как горе смяло ее лицо; казалось, перед ним оживает бабушка, оживает лишь для того, чтобы снова медленно и трудно умирать. Не хотел он в последние годы видеть бабушку. Раньше он любил ее, любил на свой лад — горделивым любованием. До болезни и она была поразительно молодой и сильной. «Гляди у меня, весна жизни, не отцветай! — подразывал он ее. — Давай-ка на всякий случай засунем тебя в чан и зальем тутовой водкой». А когда она расхворалась, почернела и начала усыхать, то и любовь его начала усыхать. Куда больше, чем бабушки, не доставало ему Чанка. Бегает теперь в лошадином раю, думал Павел, и шептал с печальной благодарностью: «Спасибо, Чанчик. Хоть ты догадался околеть вовремя, здоровым, крепким, спасибо, милый».

Плохо дома, а уехать некуда. В загородном доме погиб отец, там он отворил себе вены... Отправиться в какую-нибудь из крепостей — значит вникать в ее заботы, принимать решения. «Мелко это, скучно, ох скучно...» От одной мысли, что пора явиться ко двору, — а ведь в конце концов придется, — мучило. Слава Богу, пока не беспокоят, дают перескорбеть утрату, сочувствуют, сердобольцы безмозглые, не понимают, слава Богу, что скорбит он о себе... Нет, это не скорбь, а уныние. Почему вдруг уныние набежало, почему он не может подняться с постели, хочет только спать и спать, и сны, как и явь, становятся все тусклее? Бывали и прежде неприятности. Бывали беды, несчастья. Горевать случалось, но киснуть — никогда. Он и не подозревал, что возможно такое — киснуть. Разве он падал духом в самых отчаянных переделках? Наоборот, удовольствием было искать выход из любой

западни, чтобы вновь вырваться на простор — дивный, головокружительный! «Ай простор, ай услада моя, жажда неутолимая!» (Павел вскинул над постелью руки; и будто сами, без поддержки, остались висеть полусогнутые кисти — так сильные птицы зависают в небе; а когда кисти ударились о стену в изголовье, сползли и сорвали распятие, то ни удара, ни звонкого падения распятия на пол Павел не ощутил и не услышал.) Всё — Иоанн, сволочь в панцире, дрянь неблагодарная! Нравилось этой ехидне высмеивать его: «Тебе тесно — подвинься». А скольким Иоанн обязан ему...

Или не было того неладного похода в глубь Венгрии? Оглошал тогда Иоанн: доверился перебежчикам, которые твердили, что основная часть их войска истреблена. Он-то, Павел, не поверил им: слишком словоохотливы были, слишком дружно трещали о потерях. И когда с лесистого холма потекла сбереженная вражеская конница, для него, Павла, это не явилось неожиданностью. (Павел сел на постели, прижмурился, и запестрела перед ним гущина текущей в долину конницы.) По тому, на каком расстоянии от холма останавливались передние всадники, и по ширине головной линии он прикинул, сколько их. Меньше нас тысячи на две, определил он, но они свежее; ясное решение: не дам скопиться, не буду ждать, что надумает Иоанн, мои собраны, у меня преимущество выступки. И, как всегда перед атакой, радостно осязая в себе одном всех своих конников, он, семисотсабельный и единый, вздернул Чанка на дыбы, крутанул его и с блаженной улыбкой проорал: «А ну, мерзавчики мои бесценные, полукружем и в бок их!..» И даже когда венгр волок его, захлестнутого ниже наплечников арканом, и он левой рукой придерживал мошонку, а ободранной до костяшек правой подтягивался на веревке, чтобы стукаться о землю только задом и ногами, ему было легко, весело было, потому что его работка сработалась и уже делают свое дело меченосцы, уже доламывают расстроенные вереницы врага; а его, Павла, наверняка выручат; ага! — уже догоняет его пересевший на Чанка Урия («Как это Чанк дался ему?» — ревниво подумал Павел); хватить! — и веревка перерублена, и, проехавшись лицом по земле, он вскакивает на ноги и тут же оказывается на крупе Чанка, за потной, воняющей хорошей, ратной вонью спиной Урии... «Ну и рожа! — хохочет Иоанн. — А от жопы хоть что-нибудь осталось?» — «Не чую ее, глянь-ка сам», — хохочет в ответ Павел и повертывается действительно поубавившимся задом...

А когда осаждали Тарс и соседний эмир пришел на выручку к осажденному с боевыми слонами? Иоанн выставил против них панцирных всадников. Занятно было наблюдать, как слоны разматали железнокожих и те задали чесу с необычной для себя резвостью. Катапульты следовало пустить в ход — доброе, испытанное оружие, а не железнокожих. Вот когда вечно сияющий Иоанн потускнел, — было от чего: пришлось попятиться, и в тылу оказалось море, по одну сторону — топь, по другую — отвесный кряж. В этой ловушке они толклись точно в мешке. Выход узкий, конницу не

развернешь. Да и слонов арабы поместили под самым краем, за высокой скалой — из катапульт не достать их. Но как раз это и было промашкой врага, которую он, Павел, углядел. Дождавшись безлунной ночи, он с десятком скалолазов взобрался на краж, откуда очень удобно было закидать слонов горшочками с греческим огнем¹. Арабов взбучили ихние же слоны. Утром, после короткого боя, когда дорога на Тарс снова открылась, Иоанн сказал ему: «С тобой и захочешь — не пропадешь».

Но что, собственно, стряслось? Почему сейчас набежало, окатило уныние и никак не схлынет? Неужто в свои неполные двадцать восемь лет он исчерпался, износился? Валяется в постели, как старый хрен, живет былым. Подумаешь! Иоанн неблагодарен, Иоанн плохо принял его. Где они, благодарные, куда попрятались? Они хороши, пока ты для них хорош. Не зря говорится: сделал добро — кинь в воду. А ведь Иоанн мог обойтись и хуже с дерзким нарушителем ритуала. Разве умно так являться на глаза императору? Заспешил, засуматошился. Не был он таким прежде: сперва прикидывал, что и как, а потом действовал. И вдруг так сорвался с места, что самого себя опередил. Несерьезно объявился, поделом Иоанн осмеял его. Вызвать нужно было, кто у Иоанна в фаворе, умаслить любимчика, а затем скромно и степенно пожаловать к Иоанну с чем-то определенным — с четким предложением, с четкой просьбой. А так, на что он рассчитывал? На благодарность, глупец!.. Ну, самоед, хватит грызть себя.

Павел сошел с постели, огладил твердые грудные полушария и глянул в зеркало. На голове все тот же ярко-черный пожар, кожа как на барабане, вот только стальные глаза выжелтил сонный отвар, который он глотал днем и ночью. Это ничего, это ненадолго. Где сейчас мартовское солнышко? Так, около девяти утра. Снова глянул в зеркало, доброжелательно улыбнулся себе и сказал:

— Здравствуй, дорогой, давненько не виделись.

Одевшись, крикнул:

— Овсеп!

Ни шагов, ни ответа. Павел постучал кулаком в стенку, за которой была комната Овсеп. Опять ни звука. «Сейчас ты у меня проснешься», — подумал Павел и, подбежав к окну, вспрыгнул обеими ногами на заведенную отцом певучую половицу. Через миг дверь распахнулась, и всклокоченный Овсеп, в подштанниках, но с саблей, оказался рядом с ним и зазыркал по всем углам безумными глазами.

— Что такое? — спросил, наведя наконец взгляд на Павла.

Тот ухмыльнулся.

— Ничего особенного, мой бесценный. Просто соскучился по тебе. Ты не беспокойся, пожалуйста.

— Почему же она орет? — указал на половицу Овсеп.

¹ Не гасимая водой горячая смесь; обычно применялась в морском бою и при осаде крепостей.

— Потому что я стою на ней.

— Это понятно. Но почему ты на ней стоишь?

— А иначе тебя не добудишься, сонье ты последнее!— в сердцах крикнул Павел и сошел с половицы.

Овсеп облегченно вздохнул, поскреб грудь, почти такую же копнистую, как шевелюра и борода, пробурчал:

— Ты спишь, и все спят.

— Ага, стало быть, если я усну вечным сном, то и все упокоятся. Нет, Овсепчик, тебе нельзя выспаться, тебе это не на пользу. Не в здравом уме пробуждаешься. Ладно-ладно, не хмурься. Скажи-ка лучше: что нового в нашей славной столице?

— Нового? Да вроде ничего... Э, какие-то греки, вроде от Фоки-младшего, побывали.

— Когда?— возбужденно, посерьезнев, спросил Павел.

— На той неделе.

— Узнал от кого?

— Кухарка Ануш говорила.

— Чудесно! Самые важные сведения поступают ко мне прямо из кухни. Большое удобство. Вот что, дорогой. Подними близнецов и синеликого. Пусть не копаются. Мы с тобой здесь перекусим.

Овсеп внимательно оглядел хозяина, проговорил:

— Очухался, выходит.

— Да, выходит, и ты выходи. Туда, в дверь выходи.

Павел надел латы, опоясался ремнем с саблей и кинжалом, подошел к зеркалу, вынул кинжал и принялся укорачивать лезущие на лицо пряди. «Почему меня не известили? Может, лиса Клавдий пронюхал что-то о моей поездке? Он с Ананией дружен. Дружить-то они дружат, но Анания и со мной дружит... Ага: проводник, миролюбец, Карапет аравийский! Этот шип еще в пути зудел во мне, еще до Иоанна загноил душу. Ну, Карапет — не Иоанн. Что ж, Карапет, если ты цел, молись. С тебя началась муть, с тобой и кончится... Фоке-младшему наверняка не ответили ни да, ни нет. Побывал ли до нас его посол в Ани?... И с дядюшкой Ашотом пора кончать. Сыск мне самому потребуется...»

Вошел Овсеп с подносом.

— Отлично,— сказал Павел,— отлично, что ты уже одет. Ешь, да поживей. Нет, я расхотел. Ешь и слушай. Найдешь серебряника Тиграна, того, у которого сын в отшельники подался. Пускай Тигран немедленно едет в Нарек и выяснит, цел ли араб Карапет, проводник наш. Он там писец. Скажешь Тиграну, чтобы к вечеру обернулся.

Овсеп отложил на поднос тетеревиную грудинку, развел руками.

— К вечеру как успеет?

— К ночи, к утру.

— А если его нет на месте?

— Что значит «если»?— уже закипая, процедил Павел.— Это твоя забота.

— Ты без меня куда-то наладился!— вскипел и Овсеп.— Вот моя забота!

— Ох, беда мне с тобой! Ладно, отправь к Тиграну кого-нибудь из близнецов. Но чтобы из-под земли мне Тиграна выкопал! Ангелы-хранители никчемушные! Изленились, зажрались, задрыхлись!

«Надо ее утешить,— шагая к матери, думал Павел.— Ни жарко ни тепло ей было от меня весь этот месяц. Как от чужого».

Жалость залила его, когда узнал, что мать перебралась в бабушкины комнаты. Без стука вошел к ней. Она с сосредоточенным видом что-то вязала, лица не подняла. Павел остановился на пороге и вымолвил, может быть, те единственные слова, которые были нужны ей:

— Прости меня, мама, и люби меня, пожалуйста.

Она еще ниже склонилась над вязанием, тихо сказала:

— Подойди ко мне.

«Только бы не разреветься,— думал он, опускаясь рядом с ней на колени и убирая с ее колен вязание,— только этого ей не хватает».

— Ну вот, запутал мне все,— недовольно проговорила она.— Вечно ты так: все запутываешь и запутываешь.— Пригладила ему волосы.— И голова вся спутанная. Ой, как ты обкорнал себя!— Засмеялась.— Что поделаешь? Придется любить такого, больше у меня никого нет. Во дворец едешь?

— И на кладбище.

— Поезжай, сынок. А после, если захочешь, расскажешь про свои дела.

— Захочу.

Спустя полчаса он стоял на крепостном дворе и, принимая заболевания от старшего постельника, старшего стольника, старшего садовника и прочих сплошь старших, видел, что ему рады, что его ждали. «Как это называла моя ученая гречаночка Агния?— спросил себя Павел.— Заковыристо, но верно... Как же это, дай Бог память... Ага: эффект отсутствия! В самый раз поотсутствовал — не притомились ждать».

И вдруг он увидел в углу двора такое, что зажмурился и ущипнул себя за мочку уха. Панцирный всадник протряхал вдоль стены, скрылся за Малым дворцом и вновь явственно вырисовался, огромный, на огромном коне в длинной стальной попоне. Отвратительное видение озарялось солнцем и словно бы метало из себя световые стрелы. Павел указал на него пальцем:

— Что это?

— Это князь Мушег,— враз откликнулось несколько голосов.— У нас греки побывали, четверо в такой одежке приехали. У самого рослого он купил снаряжение вместе с конем.

— Дорого дал?— безотчетно справился Павел и, не слушая

ответа, зашагал к Мушегу. Тот уже заметил его и разворачивал коня навстречу.

— Рад тебя видеть!— грянуло в плосковерхом шлеме, который нелепо увенчивала маленькая топырчатая пятерня.

— И мне бы хотелось сказать то же,— откликнулся Павел,— но не могу, дорогой, тебя не видно.

— Погоди, увидишь.

Мушег величественно, будто вознося жертву, воздел трубчатые руки, согнул их в локтях (противно узнаваемый скрежет заставил Павла поморщиться), приподнял шлем, наклонил его в сторону, снова приподнял, наклонил на другой бок и, наконец ставив, бережно водрузил перед грудью.

— Точно корягу выштал,— не удержавшись, прошипел Павел.

Мушег то ли не расслышал, то ли притворился, что не слышит, и приветливо смотрел на Павла, блестя зубами, глазами и взмокшим мясистым лбом. Звякнул по шлему стальной рукавицей и сказал:

— Приноровился снимать его. Еще вчера обдирал кожу. Ну, как я тебе в этом?

— Хорош. Лучше не бывает.

— Не нравлюсь, значит. А я думал — понравлюсь. Ты же любишь всякие новинки.

Павел, словно отшвыривая что-то гадкое, махнул рукой.

— Не такие, как эта. Эта уродует войну.

— Уродует?— Мушег удивленно задрал брови.— Войну уродует? Война, брат, занятие не из красивых.

— Почему же ты им занимаешься?

— Как почему? — еще пуще удивился Мушег.— Потому же, что и ты. Чтобы мир был. Или ты воюешь ради того, чтобы воевать?

— Ох, дорогой мой несмышлениш,— снисходительно сказал Павел,— да будет тебе известно, что миролюбцев завоевывают. А те, кто их завоевывает, сражаются не только ради этого, не только из корысти. Сражаются от избытка сил, которые душат, если не давать им выхода. И твоя смиренная рубаха тоже душит. Разве в ней выразишь настоящую удаль? Есть, мой дорогой, есть в войне красота. Смотри.— Обнажил саблю, подпрыгнул, метнул ее под себя и, выгнувшись в прыжке мостиком, перехватил ее, уже казалось бы улетевшую от него, левой ладонью.— Хе-хе! — Почти коснувшись земли затылком, упругливо выпрямился.— А ну-ка, дорогой, надень обычные латы, возьмем тупые сабельки и помашем! Кто кого изматает, а? Вот это будет красиво и по-честному!

Мушег, откинувшись в седле, насколько позволяли скобы между спиной и ягодицами, загоготал.

— Да ну тебя с эдакой честностью! Га-а-го-гу-у! По-честному! Давай тогда все скинем, а? И сабельки ни к чему — что, рук у нас нет?

— Бугай железнокожий! — раздраженно отмахнулся Павел. — Ничем его не проймешь!

Мушег насупился, но тут же виновато глянул на Павла и сказал:

— Прости, что я забыл о твоём горе. Бабушка у тебя была что надо. Помужчинистей этих мужиков. — Он небрежно кивнул на стоявших в почтительном отдалении придворных. — Во, лоботрясы, устались и шушукаются. Хуже бабья... Эх-хэ-хэ-э... Мать как?

— Ничего, ничего, дорогой. Время — лучший утешитель... Ого! — Павел заметил в воротах конюшни низенького, шуплого и очень кривονогого человека, который искоса поглядывал на него. — Самый кривονогий парень из всех, каких я перевидал, а я их перевидал немало. Кто такой?

— Да это же гонец, что в новогоднее утро к тебе явился. Ты попросил меня позаботиться о нем, сказал, что человек славный...

— Ну и как он?

— Человек не ахти какой. Всех лает за жадность, а сам сквалыга редкий. Лошадей любит больше, чем людей. Но зато и лошади любят его пуще, чем друг дружку. Все ему позволяют. Мне вот этого, — Мушег похлопал по окованному крупу своего неподвижного, точно неживого коня, — сбыли с какой-то сыпушкой над яйцами. Знаешь ведь греков? Так он его мигом исцелил. Вскреб сыпушку, чем-то смазал, и не надо было коня на бок валить, стреноживать, держать. Он — конский лекарь, каких теперь не найдешь. Да и наездник знатный. Но больно уж прижимистый, бранчливый и... — Мушег задумался, подыскивая слово, произнес его неуверенно: — Да, чудной.

— В конюшню сам запросился?

— Сам. И сразу повздорил с этим... как его?.. ну, верзила, вроде меня, помнишь его. И, не поверишь, наделал ему ножом дырок. Мозглявый, а шустрый!

«Возьму-ка я его взамен Зора, — решил Павел. — Он мне кого-нибудь из детей Чанка выездит». Спросил:

— Чудной, говоришь? А как он чудачит?

— Сейчас расскажу. — Мушег хлопнул носом и смущенно попросил: — Слушай, сними с меня рукавицу.

— Висморкаться желаешь? — понятиливо ухмыльнулся Павел. — Сей миг, дорогой. Протяни-ка сюда ручку. Ой, какая на твоей рукавике застежка узорная! А может, тебе и платочек принести? Кружевной, а?

— Пальцами обхожусь, — просморкавшись, сказал Мушег обиженно. — Чего издеваешься?

— Не буду, не гневись, дорогой. Ну, расскажи мне про этого конского целителя.

Мушег приподнял шлем, рассерженно пихнул под него рукавицу. Покосился на смеющегося Павла и, тоже хохотнув, признался:

— Да, заковырки, конечно, есть.

— Хе-хе! Заковырки! Ты и не подозреваешь, что за наряд на тебе, не хлебнул в нем настоящего лиха. У тебя все впереди. Ладно, рассказывай про круглогого.

— Да он какой-то... как бы это сказать?.. восхищенный какой-то. Ему всюду небожители мерещатся. Посмотрит на облако и говорит: «Архангел Гавриил проплывает». А вот она,— Мушег указал на скалу над крепостной стеной,— она, говорит, если кто глянет на нее сзади чистым взором, она — херувим. О чудесах болтает. Главное у него чудо — как он на Бингельском перевале, когда сюда добирался, из-под лавины выполз. Но я так думаю, что это не чудо. Юркий он — вот и выполз.— Мушег оглянулся на продолжавшего стоять у конюшни лошаdnика и в задумчивости собрал на лбу толстые складки.— Как же его имя?.. А, Сукиас.

Павел снова засмеялся:

— Вот это и вправду чудо! Как раз этого чуда и не хватало мне, чтобы решиться. Представляешь — я уже взял в охрану одного Сукиаса. Он тоже без меры верит в чудеса. Возьму-ка для пары другого. Будут у меня к двум близнецам два Сукиаса. А тебе пожелаю избавиться от тягостнейших вериг.

Павел увидел, что из Большого дворца вышел и направляется к ним старший слуга царя Филимон, женоподобный красавец, безбородый, нежно-румяный, с завитыми и окрашенными охрой волосами и в шести или семи равномерно — от ступней к животу — укорачивающихся рубахах. «Еще одна жертва греческих новшест»,— подумал Павел. Его, а вернее, царского приглашения Павел и ждал, поэтому и заговорился с Мушегом. Филимон, мягко присев, поклонился, выразил Павлу соболезнование и сообщил, что государь поставлен в известность о прибытии Павла и что он, Филимон, послан государем поставить Павла в известность об этой государственной известности.

— Спасибо, дорогой,— терпеливо выслушав его, ответил Павел.— Приятно внимать столь изысканной и любезной речи. В Константинополе ты бы любому утер нос. С великим удовольствием последую за тобой к государю. Мушег, до свиданья. Смотри не расплавься. Солнышко-то уже припекает.

На пути к тронному залу, в коридоре, повстречался будто бы случайно («Знаю я твои случайности»,— подумал Павел) идущий быстрым шагом Ашот-дядя. Глянул на Павла — как из щели выглянул — и отрывисто произнес:

— Сочувствую тебе.

— А я тебе,— так же отрывисто отозвался Павел.

— Мне? Почему? В чем?

— Пока не скажу, не уяснил для себя окончательно, но сочувствую. Посторонись-ка.

— Вечно ты гаерничаешь!— донеслось до Павла, когда квадратный Вард распахивал перед ним двери тронного зала.

Царь засеменил к нему навстречу и, ничего не говоря, обнял и неловко расцеловал — сперва в переносицу, потом в лоб.

— Спасибо,— дрогнувшим голосом сказал Павел.— Что бы ты ни делал — всегда от души. Спасибо.— Заметил, как увлажнились кроткие блекло-голубые глаза Ашота.— Ну-ну, не надо, не то мы оба сейчас в слезы ударимся.

— Мне хотелось принять тебя поторжественней,— робко произнес Ашот.— Но тут, кроме трона, сесть негде. Ты осунулся, ты наверняка ослабел. Может быть, в трапезную перейдем?

— Я готов постоять.— Павел обвел взглядом вызолоченные стены и потолок.— Я люблю простор. А здесь у тебя ничуть не теснее, чем у Иоанна.

Ашот неуверенно предложил:

— Велеть Варду, чтобы стулья принес...

— Не обязательно. Если уж тебе так хочется видеть меня сидящим, а я и впрямь ослабел, то на любом подоконнике для нас двоих вдоволь места.

— В самом деле... Как ты находчив! Мне бы ввек не догадаться. Давай на том устроимся, на том посолнечней.

«Это неплохо,— подумал Павел, взглянув с подоконника на крепостной двор,— очень даже неплохо, что всем видно, как в тронном зале я запросто сижу рядом с царем. Призабыли небось старшие, что есть старший из старших». Прочувствованно заговорил:

— Не ведаю, как благодарить тебя, государь, за твое молчаливое сострадание. Оно куда красноречивей этих «соболезную! соболезную!». Целый месяц ты дал мне на то, чтобы прийти в себя. Я из дома и сегодня не выбрался бы, но до меня дошло известие, что у нас побывали греки.

— Побывали... Не слишком важно это. Расскажи сначала, как встретил тебя Иоанн.

— Скверно встретил. Сказал: «Возвращайся, ты мне там нужен». Как холодной водой окатил. Ко всему я привык, но такой нахрапистой наглости не ожидал.— Павел вздохнул, покачал головой.— Нужен... Я на другой же день умчался... Трудно сказать, зачем ему в Ване влиятельный человек. Скорей всего, зарится и на нас, и на анийцев.

— Оскорбил он тебя,— участливо произнес Ашот.

— Это я как-нибудь переживу. Не убежден, двинется ли он сюда, но воевать собирается. Ласкает только тех, кто может дать ему воинов. Если пойдет сюда, то на пути у него — Фока, племянник бедного Никифора. Кстати, когда того закалывали, в изголовье у него стояла рака с сандалиями святого Варфоломея, которые твой отец подарил патриарху. Помнишь их?

— Конечно, помню,— взволнованно заерзав, ответил Ашот.— А почему они оказались у Никифора? Их же в Софийском храме хранили.

— Никифор время от времени брал их к себе. Он был исключительно набожным человеком. Так вот: убийцы забрызгали сандалии его кровью. А когда Никифора отпевали, то разбитая рака с неотмытыми сандалиями лежала у гроба.

— Какое святотатство!— вспыхнул Ашот, и кротость выпарилась из его глаз.— Какое кощунственное бесстыдство!

— Истинная правда, государь. Племянник Никифора по справедливости объявил Иоанна святоотступником. Да, так что же у нас понадобилось Фоке?

— Какое непотребство!— раскачивая короткими толстыми ногами, снова выкрикнул Ашот.— Тьфу!— спрыгнул с подоконника и, совсем как Амазасп, пробежался вперед-назад.— Вот они, дифизиты! Мало им того, что монарха убили! Святую реликвию запятнали, испакостили и выставили на обозрение!

— Ну-ну, государь, успокойся,— произнес Павел, очень довольный вспышкой царя.— И сядь, пожалуйста. Со двора видно, что ты на ногах, а я сижу.— Подождал, пока Ашот сядет, и небрежно повторил вопрос:— Чего же Фока от нас хочет?— С удовольствием посмотрел на бурно дышащего Ашота и уточнил:— Военной помощи?

— Чего другого он может хотеть? Тоже хорош — сжег наш Маназкерт! Все они злодеи и душегубы!

— Ты, полагаю, дал уклончивый ответ?

Царь, по-прежнему пунцовый, кивнул.

— Государь, настоятельно прошу тебя успокоиться. Все, о чем я допытываюсь, серьезно до чрезвычайности. Твой ответ грекам разумно осторожен. Но — твоё настоящее намерение?

— К чему нам вмешиваться в греческие дразги?

— Во-первых, эти дразги близко нас затрагивают. А во-вторых и, — как выражается наш общий друг Анания Нарекаци — одновременно тоже во-первых, мы если выступим, то выступим на стороне справедливости. Или для тебя, государь, достаточно ограничиться минутным негодованием? Мне думается, что в любом случае мы обязаны выказать свое отношение к грязному деянию Иоанна. Пусть с амвонов, но обязаны. Реликвия когда-то принадлежала нашей церкви, и она остается в наших сердцах.

— Может, в тебе говорит обида?— помолчав, отозвался царь.

Павел соскочил с подоконника.

— Если ты так считаешь, уволь меня. Нельзя держать сопративителем человека, из которого неприятность вышибает державные интересы. Уволь, уволь. Разве на мне свет клином сошелся? У тебя есть Клавдий, есть Мушег, есть дядя. Люди они умные. Смогут упрочить связь с царевичами...

— Что ты, что ты!— испуганно прервал его Ашот.— Прости. Невесть что за язык меня дернуло. Ты ведь незлопамятлив. Я знаю твоё доброе сердце. Знаю, как ты предан мне. Ты, один ты предотвратил неминуемую смуту. В тебе вовсе нет зла, ты со всеми ладишь. Прости. Лукавый меня попутал.

— Хе,— усмехнулся Павел.— Обычная история. Стоит с человеком приключиться какой-нибудь неприятности, и он уже каждому неприятен.— Мотнул головой и упер подбородок в грудь.— Хе! Обычное дело...

Ашот посмотрел на него с мягким упреком, подошел, взял за плечи.

— Будет тебе, Павел. Я ведь как рассудил? Окажись я на твоём месте — затаил бы на Иоанна обиду. Ты другой. Ты и с моим отцом уживался, а вспыльчивей человека я не видел. Мне от него ой доставалось! Да и тебе наверняка — не меньше.

— Доставалось,— легко и искренне согласился Павел, и не вспомнив, что Амазасп только поощрял, только нахваливал его. Я и вправду незлопамятный. Что ты мне эдакое лестное сказал, а?.. Чем это как маслом по сердцу мазнул?

Ашот рассмеялся.

— Не представляешь, как я соскучился по твоим шуткам! Лестное, говоришь? Забыл, выходит? Ай, не могу!

— Государь, повеселиться мы успеем и сумеем, если по-серьёзному отнесемся к действительно серьёзным событиям. Ты спрашиваешь, зачем нам вмешиваться в греческие дразги? А что будет, если Иоанн потеснит Фоку? Тот со своими двадцатью тысячами... да какое с двадцатью! Так же, как Иоанн, он ищет и находит воинов. Он же сюда попятится.

Ашот радостно — как школьник, которого учитель хотел застать врасплох, но не застал,— оттарабанил:

— Фока не будет ждать Иоанна. Какой ему смысл ждать, пока Иоанн укоренится в Константинополе? Фоке надо выдерживать Иоанна как можно скорее.

«Клавдиева работа,— убежденно сказал себе Павел.— Подковал царька — ишь как скачет!» Промолвил раздумчиво:

— Мы с тобой не прозорливцы. Нам необходимо учитывать различные вероятности, в том числе и самые нежелательные.

— Значит, ты предлагаешь поддерживать Фоку?

— Я пока ничего не предлагаю. Я пока только расспрашиваю и прикидываю. Посол Фоки привез дары?

— Нет. Я был удивлен.

— И напрасно. Фока уверен в себе. Войско у него крепкое, спаянное. Фока гораздо основательней Иоанна. Тот привык все брать наскоком. Мне не раз приходилось расхлебывать беды, в которые мы с ним попадали по его милости. Не бахвалюсь — знаешь же...— Павел увидел, что Ашот, переминаясь с ноги на ногу, почесывает ляжки.— Сядь, государь, чтобы и мне сесть. Шатает меня. Вдобавок, как услышал о посольстве, так к тебе помчался. И завтракать не смог.

— Что же ты об этом молчишь? Я велел накрыть стол в Малом дворце. Пойдем. Там договорим, бабушку твою помянем, попросим ее молиться за нас в Царствии Небесном.

«Ему уже налакаться не терпится...»

— Здесь договорим. У меня натошак мозги резвей трудятся. Присядем только. Стало быть, о Фоке. Помимо всего, за ним — тень зверски убитого дяди и оскверненная Иоанном святыня.

— Ты мне вот что скажи,— усевшись и озадаченно захлопав

красноватыми, в кровяных прожилках веками, спросил Ашот,— к чему ему было выставлять на обзор оскверненную святыню?

— А чтобы хоть как-то отмежеваться от убийства. Ведь он и пособников своих приказал убить. Среди них — начальника пехоты Аввакума. (Павел чуть было не похвалил Аввакума как чудесного человека, но вовремя спохватился.) Кого Иоанн надеется обмануть?— спросишь. Ответчу: тех, кому выгодно обмануться. Мы с тобой люди веротерпимые, но нам известно, как корыстны греки и сколько между ними нечестивцев.

— Однако не до такой же степени нечестивы дифизиты, что-бы...

— Государь, хватит о дифизитах. Нам о себе нынче думать надо. Посольство Фоки после нас в Ани отправилось?

— Да.

— Вели, пожалуйста, Клавдию написать анийскому Ашоту, что необходимо обсудить предложение Фоки и что ты просишь незамедлительно прислать к нам полководца Вахтанга.

— Зачем нам Вахтанг?

— Затем, что он набрал регулярное войско. Нам пора сделать то же самое, и его опыт пригодится.

— Вот потеха!— фыркнул Ашот.— Они этому лютому грузину дали прозвище Семь Волков, а наш Мушег — Медведя Задравший!

— Не отвлекайся, государь!— Павел взглянул на столешницу возле трона.— Ага, есть и перо, и пергамент.

Подошел к столешнице, призадумался, потом тщательно вывел: «Дарагой Гурген тревоженные сабытя требуют тваво прибытя прасти великадушно што ни еду тебе сам тебе видимо ведомо о пастигшем нас горе ни магу мать асавить любящи тибя Павел». Прочел это царю.

Тот обеспокоенно спросил:

— А Гурген зачем тебе?

— А кто же даст воинов? Оба царевича нужны. Пускай Клавдий перебелит это и напишет такое же письмо Сенекериму. Полторы две тысячи латников они поставят. Дадут и тысячи три здорового мужичья. Тысяча латников у Мушега... М-да, много придется наскребать по мелочи. Мужичье к осени вооружим и обучим. Пошлины потребуется увеличить, а значит — и сыск умножить... М-да, хлопот уйма.— Почувствовал, как трепетно заходила селезенка, успокаивающе погладил ее.— Государь, мое нутро взалкало.

— Идем же!— ликующе воскликнул Ашот.— Сколько можно заниматься делами? Я тоже проголодался.

Предводимые радужно-переливчатым Филимоном и сопровождаемые Вардом и Овсепом, они прошли по коридору и вышли на двор. В кучке телохранителей Павел заметил серебряника Тиграна. «Что за безалаберщина, почему он не в пути?»— Повернулся к царю.

— Извини, там нужного мне человека привезли. Я с ним коротко переговорю. А чтобы не задерживать наши утробы, ты пока загляни к Клавдию и вели ему написать царевичам и в Ани.

Пройдя к Тиграну, спросил:

— Ты почему не в пути?

Тот подвигал тяжелыми, вислыми плечами, сказал:

— Незачем ехать. Я вчера там был. Разговаривал с Карапетом.

— С арабом Карапетом? С писцом?

— Он и переплетчик. Обложки у меня принимал.

«Анании все известно,— подумал Павел.— А может — и племянникам. А дальше это вряд ли пойдет, но ты, сучий Карапет, зудишь во мне, гноишь меня!.. Так. Араб — притворный христианин. Однажды я углядел, что он совершает намаз, и доверять ему, особенно после вынужденной стычки с арабами-пограничниками, нельзя было. Я его с позором прогнал, и теперь он чернит меня... Кто же мне его оттуда выцарапает?.. Хе, блудливый епарх! Заеду к Мовсесу и всю эту историю по-честному выложу».

— Спасибо, Тигран, ты свободен.— Повернулся к Овсепу.— Я с царем часок трапезничать буду. Твоя опека только время занимает. За дверьми — Вард, у крыльца стражники. Ты слышал, о ком я с Мушегом говорил?

— О ком?

— Ты же рядом стоял, мой неусыпный. Говорил я о гонце от Васака.

— А, ты берешь его в охрану...

— Ты этим затруднишься. Ступай за ним и отведи его в оружейную. Он мелкий. Выбери подходящие латы, одень его. Коня он сам выберет.— Обернулся к покачивающему синеватыми лапщами Сукиасу, потрепал его по щеке.— У тебя, мой лазурный, тезка в охране появится. Для отличия будем звать его Маленьким Сукиасом. Он тоже здорово верит в чудеса.

— Ну!— разулыбался Сукиас.

— Верит, но на собственный лад. Так вот, если у вас зайдет спор, чья вера вернее, спорьте мирно, иначе я его в рай или в ад отправлю, а тебя, отчаянный ты человек,— и вовсе в никуда. Мой совет: не заводи с ним споров. Ты же умница. К тому же вам вместе, может, и сегодня вечером, предстоит сделать одно непрос-тое дело. Ты ведь по делу соскучился?

— Не то слово! Стосковался. Я без дела не могу. Я у тебя дома все дрова переколол и теперь тоскую.

— Тосковать тебе больше не придется. Овсеп, ты чего застыл?

— Лошт с тобой пойдет,— сердито пробурчал Овсеп.

— Хочешь меня на посмешище выставить? К тому, что ты мне пятки оттаптываешь, привыкли, а так подумают: свихнулся Павел. Ну-ка живо — за Маленьким Сукиасом!— Добродушно хехекнул в спину Овсепу.— А ты, Лошт, разыщешь владыку Мовсеса и спросишь, где ему удобно часа через полтора принять меня. Сей миг скачи, не то потом век тебя дожидайся.

Павел зашагал к Малому дворцу. Солнце по-летнему пригревало. Похоже было, что зима без весны сменится летом. «Хорошо

бы,— подумалось Павлу,— тропы в горах быстро очистятся». Из за стены вновь выехал металлический Мушег, на этот раз — с длинным копьём, и вновь озлобление ожгло Павла. Пересилив себя, осведомился улыбаясь:

— Эй, новогреческий мученик, не изжарился?

Мушег молча погрозил ему копьём.

Павел взбежал на второй этаж. Не увидев на площадке Варда, фыркнул и спросил Филимона:

— Все еще у Клавдия?

Тот, усердно зазмеившись в поклоне, дал исчерпывающее подтверждение:

— Повелитель соизволит до сих пор пребывать в покоях Клавдия.

«Куда ни кинь — угодишь в миролюбца. Выпытывает, видать: что да почему? Мне и царевичей придется уламывать. Вояка здесь — только дядюшка Ашот. Но тому воевать не судьба уже. Тому не сегодня завтра в загробное путешествие отбывать».

В трапезной хлопотала Рипсимэ, размещала блюда и кувшины на уже заполненном столе.

— Господи!— вскричал Павел.— Что у нас — свадьба?

Рипсимэ, продолжая хлопотать, вполголоса откликнулась:

— Здравствуй, светлейший князь. Так велел государь. Посетовал, что горячего нет.

«А ничего она. Лет двадцать пять, а ничего. Отец ее из помойки вытащил, любил. Искусная, должно быть».

— Как это — горячего нет? Разве ты не горячая?

Рипсимэ влажно блеснула крупными выпуклыми зубами.

— Светлейший князь шутит. Я горячая? Я скоро год никакая.

Павел понаблюдав, как она, гибко двигаясь, ворожит над столом, одобрительно причмокнул и осведомился:

— Скажи, милая, я тебе очень по душе или в меру?

Она засмеялась:

— Государь сказал мне, что соскучился по шуткам светлейшего князя.

— Это не ответ. Ступай-ка и поразмысли над тем, что я спрашиваю. Светлейшему князю благоугодно познакомиться с тобой поближе. Загляну к тебе под вечер.

Опасливое сопротивление просквозило в ее взгляде. Она опустила голову и пошла к двери, в которую уже входил царь.

— Извини,— сказал он Павлу.— Клавдий прилепился.

— Что да зачем — любопытничает?

— Ага.

Павел подбоченился и чеканно вызвонил:

— Государь, не кажется ли тебе, что Клавдий ведет себя так, будто он преемник твоего отца? Должен сказать тебе откровенно: этот бросивший родину недавний латинянин большую волю у нас взял. Мне всегда были сомнительны и неприятны люди без родины.

Смешно полагаться на их постоянство. Сам рассуди: если он бросил свое, кровное, то что ему чужое?

На толстом восковом лице Ашота обозначилась заинтересованная задумчивость. Он зашевелил губами, видимо, повторяя про себя вопрос Павла, затем радостно возгласил:

— Какая верная и глубокая мысль! Не перестаю удивляться этой твоей способности — увидеть человеческую суть и показать ее как на ладони: нате, мол, убеждайтесь сами! Редкий, изумительный дар!

— Ну-ну, не преувеличивай мою одаренность, — скромно потупясь, возразил Павел. — К тому же я вовсе не призываю тебя отказываться от услуг Клавдия. Он человек полезный. Только пускай не забывается и не сует носа, куда не просят. — Отстегнул пояс с оружием и, примерившись, кинул на стоящее шагах в десяти кресло. — Прости, государь, мои воинские замашки. Есть невтерпех.

— Садись же, садись! Горячего, как видишь, приготовить не успели, но зато вдоволь ларисского вина. Это, поверь мне, жидкий огонь. Им и согреемся. Дай-ка я тебе сам налью, ты всегда половишишь, а первый кубок наливают до краев и выпивают до доньшка. Ну, возблагодарим Господа — и в добрый путь! — Торопливо прошептал молитву. — Всем ты хорош, но в волшебстве вина мало что смыслишь. Наедаешься перед выпивкой. А изрядный кубок до еды — как ласковый шлепок по нутру. Ощути его разочек, сделай милость, — бабушку твою поминаем. (Павел покорно закивал.) Как думаешь, — осушив кубок и получив, судя по улыбке, ласковый шлепок, спросил Ашот, — в раю выпить дают? Ну хотя бы чего-нибудь некрепкого?

— Маловероятно. Впрочем, чего не знаю, того не знаю. Об этом ты справься у Мовсеса, — разделявая поросенка, проговорил Павел. — Э-э, государь, зачем ты мне опять такой же полный? Зачем добро переводишь?

Ашот слегка покачнулся, плеснул из кубка на скатерть и сказал:

— Послезавтра — год, как отец скончался. Давай и его помянем. Ведь ты теперь колесом завертишься, вряд ли мы скоро вот так же, рядышком, за столом будем.

— Да, год уже... В ту зиму ни холодов, ни снега не было... — Павел встал, поднял кубок. — Бесценный человек от нас ушел. И ушел в очень неспокойную пору. Анийское монашество сюда валяло. Сегодня мы смеемся над этим, а тогда переполошились сильно. Может, тревога и подкосила отца твоего, бесценного, повторяю, человека. Но нынче он взирает с небес на родное царство, и, пускай причин для волнения достаточно и нынче, — а когда их не было вовсе? — он видит тебя, законного наследника, на троне, он видит, что мы с тобой поминаем его с должной торжественностью, и от всего сердца раду...

— Не нужно, Павел, лукавить. Знаю, что ты по доброте говоришь, но не нужно. Не радуется он, видя, как я пью. Его всегда огорчало мое бражничество. А если он чему и рад, глядя на нас,

так это тому, что рядом со мной ты, трезвенник и труженик. Не осушай кубка, не хочешь ведь. Пригубь, и все. Фисташки возьми, тебе они больше по нраву.

«Слава Богу,— подумал Павел, отставляя кубок,— и так уже в голове туманец. Несу невесть что. Черт бы побрал эту греческую отраву!»

— Государь, хватит грустить. Ты же сам хотел посмеяться. Расскажи мне, пожалуйста, как дядюшка твой поживает. Поживает ли он по-прежнему с нашим семицветным Филимончиком?

— Поживает, вовсю поживает!— запрыскав, ответил Ашот.— Я ему уже выговаривал. Нельзя же так неприкрыто!

— Дядюшка перед моим отъездом купил дом на Ирисовой улице...

— Ну да. Они теперь и не ночуют во дворце. Вместе каждый вечер туда уезжают... Ты чего есть перестал? Вкусно же. Перепелок возьми. Нет, парочку возьми. Не пьешь, так ешь... Да, отчитал я, значит, дядю, но впустую. Ездить он продолжает, только охрану с собой не берет.

— Вот это напрасно. Можно же устроиться иначе. Сначала — он сам с охраной, а за ним — и Филимончик с другими людьми. Или дядюшка никому его не доверяет? Бойтся за чистоту его?

Ашот, расхохотавшись, выбрызнул непроглоченное вино и закашлялся.

— Ох, уморишь ты меня! Кха-кха-ах-кха-а! Ну тебя, зубо-скал!

— Да, любовь такая штука... Как это мне Анания Нарекаци одну любовную книжку разъяснял?.. Самозабвенная, беспамятная, разъяснял, и всесветная любовь в той книжке. Читаешь ее и понимаешь, что для любящих — там мужчина с женщиной любятся — никого в целом мире нет. Вообрази: никого! Простор-то какой! Я даже позавидовал грешным делом. Еще мальчишкой, когда эта штука, любовь, меня занимала, я всех смазливых служаночек в доме перепробовал, но просторной любви так и не изведаль. Ты бабу тискаешь, она — тебя. Какой уж тут простор? Наоборот: теснотища. Нет, меня это занятие не окрыляет.— Павел заметил на лице Ашота вдумчивое выражение и полюбопытствовал: — А тебя?

— Занятие, конечно, сладкое,— со вздохом ответил Ашот,— но чтобы все забыть — нет. Себя же помнишь, когда услаждаешься. А усладишься — не воспаряешь, а тяжелеешь. Мне молитва воспарять помогает. Но чаще...— уже с пьяной сокрушенностью покрутил головой,— чаще — вино. И вот ведь какая вещь: выпью вдоволь — и лучше молюсь. Тела своего — понимаешь?— если не перепью, конечно, тела совсем не чувствую. Будто весь я — душа. И вокруг меня одни души витают. Вот как теперь. Да, очень просторно, потому что я — душа и ты — душа.— Глянул на сосредоточенно жующего Павла и всхлипнул.— Нет, дорогой ты мой, зря я тебе это рассказываю — не поймешь. Разве сокол может понять курицу? Ты — сокол,

а курица — я. Но я тебя, почти как вино, люблю, за то люблю, что не закогтил ты курицу в суровую для нее годину, но помог вострепнуться, и ныне воспарит она, когда ей заблагорассудится, и никто ей перечить не посмеет! Так-то оно! — Посмотрел на Павла с некоторой строгостью. — Пью. Ну и что? А чей ковчег прибило к Арарату? Кто, скажи, оказался единственным в мире праведником? Пьяница Ной. Не желаешь выпить за пьяницу Ноя? Нет, не надо, ты без охоты выпьешь, без воодушевления. Я в одиночестве выпью! — воскликнул и забулькал.

«Готов, — заключил Павел, — воспаряет».

— Государь, за время моей отлучки Анания не навещал Клавдия?

— Какой Анания? Нарекаци, что ли?

— Он.

— Не видел. Или точнее будет сказать: не помню. Ах, да! У него же неприятность. У него племянник... Как же его? Моргает который... О, который моргает! Он спутался с арабкой и живет тут.

— Тут? — изумился Павел.

— Да, тут, неподалеку.

— Тут всё неподалеку. Где же?

Ашот взглянул на него укоризненно.

— Беседу поддерживаешь? Говорить со мной не о чем? Ты, может, в гости к нему собрался, а?.. Поддерживаешь беседу.

— Ну что ты, государь, что ты! Я же целую вечность отсутствовал. Мне все интересно.

— А, если интересно, тогда хорошо. Тогда давай потолкуем про того, который моргает и путается с мусульманками. Я недоволен, что он с мусульманками путается. Огорчен я. Мне вообще мусульмане не нравятся. Позволяют себе многое, твердят, что и мы, навроде иудеев, свое отжили. Иудеи и точно отжили, а мы не отжили, нет. Разве мы отжили? Как думаешь?

— Государь, спасибо тебе. Ларисское вино великолепно. Яства бесподобны, в особенности фисташки. Мне пора. Я должен ехать к владыке Мовсесу.

— Зачем к Мовсесу? Тебе надоело со мной о мусульманах говорить? Не я завел этот разговор. Сам его завел, а теперь уходишь. Ты уйдешь, а я упьюсь. Ты плохо поступишь, если уйдешь.

Павел поднялся, подошел к креслу и взял свой пояс.

— Государь, я в самом деле должен посетить Мовсеса. Он взвалил на себя похоронные заботы, он отпевал бабушку. Будет неучтиво и просто не по-человечески, если я сегодня не навещу его.

— Да, ты прав, ты прав. Как убедительно ты всегда выражаешься! «Будет неучтиво и не по-человечески». Отлично сказано: Не забыть бы...

Закрыв за собой дверь, Павел сказал Варду:

— Побудь с государем, не годится его одного оставлять.

По верхней лестничной ступени прохаживался с независимым лицом Овсеп.

— Ты здесь, счастье мое неизбывное! — осклабился Павел. — Ну, победили вниз, только ноги не отдави мне.

Мушега возле дворца уже не было. «Угомонился, проклятый!» — подумал Павел, отошел с Овсепом к стене и спросил:

— Как тебе Маленький Сукиас?

— Подходящий. Мелковатый, но жилистый.

— Он доволен, что взяли его в охрану?

Овсеп неопределенно повел губами.

— Больно ты не улыбчивый, — сказал Павел. — Ладно, я ему сам улыбнусь. Слушай. С дядей Ашотом расквитаться пора...

— Ага! — оживился Овсеп. — Он на тебя посягал. Он не уймется. Истинный крест — не уймется! — сказал и широко, шире плеч, перекрестился.

— Слушай. Вечером он с Филимоном без охраны поедет отсюда на Ирисовую улицу. Ты дождешься их у развилки. Там — пустырь и нежилая развалюха. Помнишь?

— Пустырь помню.

— Возьмешь двух Сукиасов.

— Почему их? Они новенькие. Лучше — близнецов.

Павел похлопал его по зеркальному наплечнику и, почувствовав, что наплечник шевелится, отстегнул пряжку и вставил шпелек в следующий паз ремешка. Другой наплечник сидел неподвижно.

— Возьмешь Сукиасов как раз потому, что новенькие. Нужно их кровью связать и обезмолвить. Они ухватливые, не подведут. Вдобавок они здесь не примелькались. Спрячешься в развалюхе. Пусть управятся без тебя. Главное — Ашот. Филимон — рохля. Но в случае чего вмешаешься. — С сожалением добавил: — Филимона — тоже.

Овсеп набычился и как веником заводил бородой по груди.

— Филимона-то зачем?

— Чтобы не болтал.

— Он же со страху язык проглотит.

— Ручаешься?.. То-то. С Сукиасами дома подзаймешься. Часов в семь... Нет, в половине восьмого, ближе к делу, чтобы не перегорели. Загодя скажешь им, что кончать будут посягавших на меня. Те в закрытых шлемах поедут. А после, сразу же, скажешь, кого кончили. — Окинул взглядом чистое, сулящее луну небо и сбивчиво, с перерывами, словно самого себя перебивая, продолжил: — Появятся не раньше девяти... Там и домов-то чуть... Тихая улочка... Но мало ли кто да что... Тогда — завтра...

— Без нужды распространяешься.

— Не ворчи. Проголодался?

— Можно бы и поесть.

— У Мовсеса накормят. Лошт разыскал его?

— Не знаю. Мне-то Лошта зачем было дожидаться?

— Идем.

Лошт стоял среди телохранителей. Увидев Павла, выбежал навстречу, доложил:

— Владыка просит приехать в храм.

Павел оглядел Маленького Сукиаса в плотно пригнанных ла-тах, улыбнулся ему самой яркой своей улыбкой, склонил голову набок и проговорил:

— По тебе не видно, рад ли ты новой службе, а я так очень рад заполучить тебя.

Выжидательно глядящие исподлобья глаза Сукиаса потеплели. Он смущенно усмехнулся.

— Ты, наверно, забыл, как мы познакомились,— не давая меркнуть своей улыбке, продолжал Павел,— ты, можно сказать, во сне со мной знакомился.

— Светлейший князь собственное ложе мне предоставил,— тонким, дребезжащим голосом возразил Сукиас,— такое не забывается.— Покаянно стукнул себя по груди.— Я, конечно, подобно многим людям, скверна и мерзость, но этого век не забуду.

«Складно изъясняется,— отметил Павел.— А главное, вот в ком наконец угнездилась благодарность. Нельзя позволять ей выпорхнуть». Спросил:

— Ты, видимо, непростой человек?

Сукиас, полностью оттаяв, заулыбался, почти с Павловой теплотой.

— Светлейший князь совершенно прав. Мой отец в Сасуне владел двумя кузнечными мастерскими. Он был так зажиточен, что смог устроить меня в церковную школу. И поскольку Господь наделил меня кой-какой восприимчивостью, я без запинки читаю и грамотно пишу.

— Тебе же цены нет!— от души восхитился Павел.— То-то я почуял, что мне повезло с тобой. Но почему ты скитаешься по свету?

Сукиас растроганно хлюпнул носом.

— Добрый-добрый светлейший князь, тебя и это занимает... Об этом рассказывать — дня и ночи мало. Но кое-что я могу сообщить вкратце. Умер отец, а мой старший брат, гнусная, корыстнейшая тварь...

— В свой час, дорогой, в свой час я тебя охотно выслушаю. А теперь нас подгоняют неотложные дела. Сказать по совести, я вот почему тебя взял. Князь Мусег отозвался о тебе как о прекрасном лошаднике. А у меня был прекрасный иноходец, от которого осталось потомство. Есть и иноходцы. Так ты для меня, пожалуйста, выбери из них самого резвого и обездди.

— С превеликим удовольствием, светлейший князь, и выберу и обьезжу. Лошади всегда были моей величайшей отрадой. После религии, конечно.

— Так, так, очень хорошо. Ну, нас опять шестеро. На коней — и поехали.

Во дворе собора святого Фомы пушились вербы, кое-где пробивалась травка. Людей во дворе не было. Только на паперти сидели несколько нищих стариков.

— Подай им,— велел Павел Овсепу и поднялся по шербатым ступеням.

В храме он не увидел и служителей. «Время обеденное»,— вспомнил. В правой части нефа, на том месте, где прежде возвышалась скамья Амазаспа, свежела новой белизной мраморная плита. Павел подошел к ней, опустился на колени. «Дельный был царь, толковый, ко мне по-доброму относился, правда, в узде держал...»

— Здравствуй, князь Павел,— прозвучал за спиной спокойный голос.

Павел оглянулся и увидел старшего священника Симона, одного из первых выпускников Нарекской академии, густожелтобородого, с большими бесстрастными глазами. Он также участвовал в бабушкиных похоронах. «Гордость Анании»,— мысленно поморщился Павел и поднялся с колен.

— И ты здравствуй. Где владыка?

— Дождается тебя в ризнице.

Павел с едва уловимой, выверенной прохладцей и такой же настойчивостью сказал:

— Попроси владыку погулять со мной во дворе, если здоровье ему позволяет. Я целый месяц просидел в помещении, по воздуху изголодался. И распорядись, чтобы людей моих накормили.

— Все выполню.

Проводив взглядом ровно зыблущуюся рясу Симона, Павел вышел из храма, обогнул его и остановился возле увитой стеблями повилики глухой задней стены. «Тут лишним ушам прятаться негде». Заметив Мовсеса, пошагал к нему и смиренно подставился под осенение и поцелуй.

— Как ты?— участливо спросил Мовсес и сам же ответил:— Осунулся, зрачки пожелтели.

— Пожелтели, говоришь? — поблагодарив в душе Мовсеса за то, что он дает возможность сразу взять себя за горло, звонко откликнулся Павел.— Странно, что не почернели. Меня всюю чернят.

— Кто посмел? — Мовсес попытался вздернуть вместе с бровями уголки глаз, и со второй попытки ему это удалось.— Кто и что на тебя нагораживает?

— Араб клеветет, которого наш Анания дал мне в проводники. Он там, в Нареке, каллиграф. Не удивлюсь, если вскорости прочту поклеп на себя, начертанный дивным почерком.

— Рассказывай.

— Прошагаемся, дорогой, туда-сюда. Я у царя засиделся, ноги затекли. С арабом у меня вот что приключилось. После переправы через Тигр, под утро это было, я решил осмотреться. Тревога в меня влезла, не спалось. Встаю, иду. И кого вижу? Вижу Кара-

пета,— так, кажется, его в Нареке окрестили,— постелил он коврик, намаз творит. Заметил и он меня. Ничего я ему не сказал, но противно мне стало, что в Нареке мусульманин живет. Да и как ему, двоедушному, доверяться?— подумал я. Только тронулись в путь, как навстречу выскакивают из рощицы греческие пограничники. Пограничники-то греческие, но арабы. Верительную грамоту я с собой не захватил — спешил. Пришлось сшибиться. Карапет от сшибки uklonился. Он, понимаешь, такой праведник, что крови проливать не может. В этом бою я потерял моего бесценного Урию. Увидел я его со стрелой во рту, и всего меня дрожь прошибла. (Говоря это, Павел действительно затрясся.) Глянул на Карапета, а тот, зеленый от страха, губами шевелит, зубами клацает. «Иисусу молишься?»— спрашиваю и — хрясь!— по зеленой роже...— Павел замолчал, перевел дыхание.

Мовсес, уставясь в землю, произнес:

— Дальше.

— Дальше вот что. Вернулся он в Нарек и то ли на исповеди, то ли просто так кому-то,— решил, знать, мое обвинение предварить,— сказал, что я в Месопотамии учинил разбой, мирных купцов зарезал, чтобы пожить как-то их товаром. Ну и побежала сплетня. Так уж водится: добрая слава лежа лежа, а худая — бегом бежит. Неужто до тебя не добежала?

— Нет,— не отрывая взгляда от земли, ответил Мовсес.— Диковинный араб, полоумный какой-то. Зачем вернулся в обитель, после того как ты его за намазом застал? Кто поверит его болтовне?

Павел отрывисто хехекнул и взял Мовсеса за рукав.

— А я тебя другое спрошу: почему он до сих пор в обители?.. Молчишь?.. У меня с Ананией размолвка случилась, пустячная, но случилась.

— Чего же ты от меня хочешь?

— Добудь мне араба.

— Как я его добуду?

— Ну, дорогой, это твоя забота. Была у нас с тобой в прошлом году похожая история, когда анийские монахи валили сюда, когда требовали католикоса Ваагна выдать им. Ты советовал согласиться. Мне советовал, царю, Клавдию. А мы твоему совету не последовали. (Мовсес, с опаской оглянувшись, поднес палец ко рту.) Нет-нет, ты уж меня дослушай, дослушай, пожалуйста!— Павел чуть понизил голос.— Умер бедный Ваагн ни с того ни с сего вроде бы, но с лиловыми пятнами на шее. Пополз тогда слушок: дескать, Мовсесу это на руку. Улик против тебя не было, да и не способен ты на такое, но ты же попросил меня пресечь толки, и я же поднял весь сыск. А?

Мовсес высвободил рукав, отряхнул его и, сумрачно уставясь на прозрачный вербовый куст за Павлом, натужно вымолвил:

— Звонкий ты человек. Где ни пройдешь — все звенит. У меня уже в голове звякает. Легко сказать: добудь араба. Ты поссо-

рился с Ананией, он тут же поймет, что к чему, и откажет мне. Я епископ Вана, моя власть на Ананию не распространяется. Что мне, плыть на Ахтамар, вмешивать в эту историю Бабкена, ему кричать в ухо, что в Нареке нашел приют мусульманин? Старик совсем из ума выжил. Вдобавок он только на Ананию и молится. Я не прочь отплатить тебе одолжением за одолжение, но как мне это сделать?

Павел вплотную подступил к Мовсесу, охватил пальцами его массивный крест и такую же массивную панагию, подержал их в ладони, словно взвешивая, выпустил и приглушенно, но очень внятно заговорил:

— Никаких лишних людей посвящать в наши с тобой дела незачем. Слушай меня внимательно. В Севастии я встретил Саака Арируни. Он там у тондракитов заправила первейший. Я готов на Библии поклясться в этом, и мой Овсеп поклянется.

— Погоди, погоди,— обомлев от новости, забормотал Мовсес.— Такая молва ходила когда-то, но твой отец и Хосров занялись разбирательством и опровергли ее. Она из Ани приползла. Хосров сроду не лгал, сроду никого не боялся. И неужто ему не хотелось, чтобы его сын, кем бы он ни стал, был жив?

— Он жив. Он откликнулся, когда я окликнул его по имени.

— Но как ты опознал Саака? Он же исчез мальчишкой. Как ты его запомнил? Да и видел ли ты его прежде?

«Ох, надоел ты мне!»— мысленно вскричал Павел и с едкой ухмылкой произнес:

— Желаете увидеть Саака сейчас? Могу показать.

Он взял себя за виски и, приподняв кончики глаз вместе с бровями, как бы вскользь обронил:

— Саак больше Хосров, чем ты.— Весело заглянул в перекошенные злобой глаза Мовсеса и продолжил:— А теперь слушай меня особенно внимательно. Тебе, конечно, известно, что Григор, младший сын Хосрова, сошелся с арабкой и поселился с ней в Ване. Это нехорошо. Еще и потому нехорошо, что такие происшествия стали не редкостью. Тебе, епископу, может быть, и по сану две семьи,— одна в Андзеваче, другая — в Орсиранке... (Мовсес вздрогнул и подался назад.) Да, вообрази, я и об этом знаю, даже сколько у тебя детей, знаю. Вот так-то. Завтра же, на рассвете, поезжай в Нарек, расскажи Анании о Сааке-тондраките, а потом скажи ему, что, если он немедленно не выдаст Карапета, ты привлечешь Григора к церковному суду. Именно потому привлечешь Григора, что подобные случаи становятся обычными, а значит, подсудимый должен быть заметным человеком. Итак, требуй Карапета немедленно и с ним или без него к ночи возвращайся. Понял?

— Понял,— выдохнул Мовсес и умоляющим голосом спросил:— Скажи хоть, был ли разбой?

Павел озорно посмотрел на него, дурашливо всплеснул руками, схватился за голову и шепнул:

— Был.

Телохранители ждали его у ворот.

— Наелись?— спросил он Овсеп.

— Угу.

— Едем.

«Все делаю как надо, без спешки, но быстро, все успеваю, все как раньше,— повторял себе по дороге в крепость Павел и любовался свободной посадкой Маленького Сукиаса, казалось срастившего свои клешневидные ноги с боками холеной, лоснящейся серой кобылки.— Красив он, черт, верхом! Наездник, коновал, драчун и грамотей — чудесное приобретение! И слабинка у него подходящая — алчен. Видно, из-за наследства с братцем повздорил. Не забыть сказать, что возмещу. Сейчас я ему надиктую кучу писем во все концы нашего царствушка. Кто-то даст пяток воинов, а кто-то и пятьдесят отвалит...»

На крепостном дворе спешился и сказал Маленькому Сукиасу:

— Пойдем письма сочинять.

Тот вдруг огрызнулся:

— А кто лошадей вываживать будет? Я возле храма свою выводил, а они, сколько ни просил их,— ни в какую!

— Не успел в охрану поступить и уже хочет крутить-вертеть нами!— закричал в ответ Лошт.

— Зачем их вываживать? Езды-то всего ничего было,— примирительно сказал более спокойный Саргис.

— После такой скачки и не вываживать?— завопил Маленький Сукиас, глядя на Павла дикими глазами.— Видишь, как они относятся к лошадям? Одно слово: люди! Тьфу!

— Твоя правда, дорогой, твоя правда!— засмеялся Павел и повернулся к невозмутимому Овсепу.— Впредь над лошадьми старший не ты, а он.

Войдя в рабочую комнату, Павел поморщился: воздух спертый, вещи заросли пылью. «Ладно, с писаниной успеется. На кладбище съезжу, а потом у мамы посижу. Или зайти сперва к отцовской и царевой вдовушке? Пойду-ка утешу ее». Сказал Маленькому Сукиасу:

— Тут дышать нечем. Вели кому-нибудь проветрить и протереть это логово. Завтра мы с тобой потрудимся.

В сумеречном коридоре Малого дворца он едва не столкнулся с почти таким же сумеречным Клавдием. Тот с нестарческой прытью отскочил и произнес:

— Прими мои соболезнования.

— Принял,— не останавливаясь, сказал Павел.

У Рипсимэ он прежде не бывал, и комната приятно удивила его незаставленной объемностью. Платяной шкаф, комод, стол, стулья и кресла — все на узорчатых, с выпуклыми изображениями стрел, дубовых ножках. Широкой была только тахта, гладко обитая шафранным шелком. «Не пропрыгали ее,— подумал Павел,— что Амазасп, что она — пушинки».

Рипсимэ, открыв дверь, отошла к окну и выжидающе смотрела на Павла.

— Красивая комната,— сказал Павел.— Под стать красивой жилище.

Она все так же выжидающе смотрела на него.

Павел заметил на подоконнике стеклянный кувшин с коричневой жидкостью, полюбопытствовал:

— Вино?

— Чай,— тихо ответила она,— я пристрастилась к нему после кончины государя.

Павел ухмыльнулся:

— Все прекрасно, все имеется, но на тахте не хватает надлежащих постельных принадлежностей: простыни, подушки и одеяла.

— Скажи, зачем тебе это?

— Как зачем?— поразился Павел.— Для избавления от того, чего во мне многовато. Избавь, пожалуйста. Тебе ведь такое не в новинку. Ну, не задерживай, стели постель.

— Как у тебя все быстро,— вздохнула она.— Будто и не сын своего отца.

— Не сын?— еще пуще поразился Павел.— Неужто отец с тобой мешкал?

— Да, мешкал. Потому, верно, мешкал, что вытащил меня из грязи. А ты меня обратно толкаешь.

— Ого, языкая! Бойшься, что не вознагражу тебя? Не бойся, не обижу. Или у тебя есть заминка посерьезнее? Не здорова?

Она молчала.

— Ну-ну, говори!

Она вдруг резко шагнула к нему, но тут же попятилась.

— Да говори же.

— Есть заминка. Ты противен мне,— тихо сказала Рипсимэ, глядя на него донельзя расширенными то ли страхом, то ли, наоборот, смелостью глазами.

Павел отшатнулся словно от удара. Так же, как после издевки Иоанна, охватило его безудержное желание кинуться прочь или хотя бы укрыться за чьей-то спиной. Он принудил себя медленно выйти, медленно затворить дверь. И в коридорной сутеми различил, что набегает на него это самое, это давящее, муторное, под которым он провалился почти месяц. Он пригнулся и обеими руками, как нечто громоздкое, отодвинул *это*. Но *это* снова возникло у него на пути, и тогда он принудил себя взглядеться. Из светло-дымчатой глубины шел на него гигантский сияющий Иоанн, шел и оставался на месте; слева от Иоанна стоял и смотрел на свои шерстистые, сжатые в комок кисти рук Карапет; а еще левее постепенно вырисовывалась Рипсимэ с донельзя расширенными глазами. Павел с трудом, по стене, протиснулся мимо них и двинулся было к выходу; но они опять набегали на него. Он остановился и зажмурился.

«Думай, скорей думай, пока не рехнулся!» — велел он себе. Спасительная догадка мигом прилетела: следует быть очень-очень осторожным, чтобы в *этом* не вырос кто-то четвертый, а их, теперь уже троих, необходимо, как он совершенно правильно намеревался, вырвать из жизни, а значит и из *этого*, которое, опустев, испарится, конечно же испарится. Итак: действовать неторопливо, рассудительно и никоим образом не допускать появления четвертого.

На крыльце *этого* уже не было.

Павел вдохнул сколько мог воздуха, выдохнул, отер со лба испарину и пошагал к телохранителям. Встретив Филимона, который заговорщицким шепотом сообщил ему, что государь изволит почитать, Павел дружелюбно откликнулся:

— Добрых снов государю!

Подошел к Овсепу и сказал:

— Домой.

Анания подсадил в повозку всплакнувшего напоследок у него на плече Мовсеса, пошел в дом и распорядился никого не пускать. Сев к письменному столу, убежденно проговорил: «Я держался с Мовсесом спокойно, я спокоен», но тут же забормотал: «Что делать, что делать?..», и, схватясь руками за виски, до боли сдавил их. Если бы Григорик согласился вернуться! Но его нельзя и извещать о Павловой угрозе: распалится и сам к Павлу полетит — он такой, с него станется. Или, спасая свою любовь, умчится с нею из Вана. Ищи его потом, как Саака искали... Хм, Саак жив, Саак — тондракит! Вранье, конечно. А пусть и правда — ну и что? Саак под одной крышей с Григориком живет?.. Спокойно, спокойно. Церковный суд — не более чем угроза. Сейчас Нарек — духовная столица царства, и везде, особенно в Ванской епархии, набирают силу выпускники Нарека. Они не дадут в обиду Григорика. Итак, Мовсес скажет Павлу, что у араба тифозная горячка и перевозить его — значит перевозить заразу. Поправится, тогда — пожалуйста. Э, разве Павел поверит? Опять прижмет Мовсеса к стене, воспользуется его именем и властью. Не все решают нарекцы, ненавистников тоже достаточно. Но не выдавать же Карапета, не может он этого и не сможет, даже если нож над Григориком нависнет! «Господи, подскажи, что делать, намекни, подтолкни!..» А если все же поехать к Григорику? Поговорить мирно, рассудительно, предложить на время вернуться в Нарек, а Лейли с ее матушкой-сводней... да, их обеих укрыть в надежном месте? Не годится: в Григорике гордыня взиграет, он взъерепенится, брякнет, не дай Бог, что расстрижется, а брякнет, так и впрямь расстрижется... Плохо, что посоветоваться не с кем. Может, с Овиком? У Овика ясная голова. Ясная-то ясная, но он благоразумен до известной грани, а это уже за его гранью. Был бы здесь Клавдий... Съездить к нему? Э, Клавдий на той неделе был здесь, справлялся, зачем Павел вдруг понесся в Константинополь, справлялся и получил ответ. У

них с Павлом нелады. Ну и что? Не обязательно же заезжать в крепость, на глаза к Павлу. Нет, у Павла уйма глаз — узнает. Он, должно быть, и сейчас травит старика, а узнает, что Клавдий в сговоре с его недругом, может и прикончить тишком. Он на разбой пошел, остервенел, что для него расправиться с неугодным человеком... Как быть, как быть?.. Ха, есть же Мушег! Мушег — сила, Мушег горой встанет за Григорика!

Анания убежденно закивал и прошелся от стола к двери, бормоча: «Есть Мушег, есть Мушег... Мушег есть, но как бы он не сглотил с пылу...» Промокнул рукавом мокрый лоб, подошел к киоту, опустился на колени и неожиданно для себя взмолился медной, поросшей серо-зеленой патиной Богородице: «Пресвятая Дева, об одном молю: успокой меня!» И тут же будто выдернули из него всю обрывочную сумятицу — голова просветлела и охладилась. Он благодарно улыбнулся иконе, сел к столу и широко, удобно поместил на столе руки.

Что все-таки происходит с Павлом? Как с цепи сорвался. До истерики довел Мовсеса признанием в разбое. Разве умно так нагличать? И с Карапетом — вынь да положь ему Карапета. Карапет не дурак: молчит Карапет. И Павел не дурак. Но почему он остерегается Карапета, а Мовсеса не остерегается? И главное: зачем Павлу восстанавливать против себя не только влиятельную семью, но и большое сплоченное сообщество, которое раньше поддерживало его? Ерунда какая-то... Нет, тут, пожалуй, не разум, а чувство, инстинкт... Так-так, это уже похоже на Павла. Да, он умен, он точен, но коротко умен и точен. Не зря в свой последний заезд он сравнил себя с этими десятиминутными ковшиками, в которых треснула перемычка. Они очень точно работали, как обычно работают ковши, отмеряющие лишь минуты. Однако минутные ковши совершенно не терпят небрежного обращения. Эти как раз Григорик испортил: с ладони на ладонь опрокидывал и сломал перемычку... Хм, не терпят небрежного обращения...

Анания подумал: «Кажется, высунулся кончик нитки, которую стоит потянуть из жуткого клубка Клавдия. Мой пример с детьми и сладостями не ахти как удачен, но ведь действительно многие создания пользуются своей свободой небрежно. Некоторые и вовсе расходуют ее только на то, чтобы другим нагадить. Сатана — вредный. Он с собой ничего поделывать не может. Однако создан-то он не таким, а таким стал не вдруг... Э-э, не отвлекайся, мудрец вертлявый!»

Да, Павел коротко умен, порывист, скоропалителен, далеко вперед не заглядывает. Всегда ходил под кем-то более дальновидным. Он и Клавдия слушался. Сам он принимал решения только второго порядка. Действия, да чтобы с разворотом, чтобы было где разгуляться здоровому и подвижному телу (верно говорится: «Телу простор — душе теснота»), — вот чего он желает пуще всего в жизни. Здесь он на тесноту жаловался, а там, видать, у него что-то не заладилось с Иоанном. Вот и сломалась перемычка, вот он

и перешвыривает разом весь свой песочек туда-сюда. Желает по-прежнему лишь действия, действует, ни с кем не считаясь, и плодит себе врагов. Но опасен, ох опасен, страшен, как раненый барс!

Анания вскочил, заходил по комнате, однако, вспомнив об удовлетворенном молении, виновато глянул на Богородицу и снова присел к столу.

С Павлом все ясно. Он будет давить на Мовсеса, но время есть: церковный суд мигом не созовешь. А как же быть с Григориком, как оторвать его от окаянной арабки? Она, видно, мертвой хваткой цапнула его за уд, девка корыстная! Ой, горе, ой, срам! Спокойно, спокойно. Корыстная же? Корыстная. Все началось с денег: сперва — несколько монет, потом их становилось больше, больше... «Господи, спасибо, что надоумил!» Обе они и ждут-то всего-навсего денег. Нищенки, их тоже понять можно: мечтают пожить в достатке. Так-так-так... Вызвать сюда Мушега, ничего ему про Павла не говорить — незачем Павла раздраживать, — а сказать вот что: пускай Няня с утра отправится к этому клоповнику, подстережет матушку и по-арабски (какое везение, что Няня в гареме у араба пожила!), по-свойски потолкует с ней. Няня сумеет, Няня и припугнуть сумеет, хотя пугать ни к чему. Сколько та запросит, столько и получит. А через часок после того, как Лейли с матушкой уберутся, — причем незаметно, тишком от Григорика уберутся, — Няня зайдет к нему и расскажет, что и как. Он же за ними не кинется. Или кинется?.. Нет, исключено. Тут-то его гордыня непременно взиграет. В обитель он, конечно, сразу не вернется, на это и уповать глупо, да и не надо этого сразу; поедет на полгода... нет, хватит и четверти... поедет в Мушегову крепость, перекипит — и сюда. Бог весть, может, все к лучшему. Ходил после диссертации как пришибленный. Переработался, видно. Да, через пару месяцев он будет здесь, в этой комнате, и можно будет посмеяться над тем, что уже дымкой затянется. Он посмеяться любит, над собой — в особенности...

Анания встал, потянул звоночный шнур, велел службе:

— Ризничего позови.

Прошагал от стены к стене, сел на тахту и горестно закачал головой. Вот они, человеческие привязанности, вот и на свалке товарищество, отзывчивость, полное доверие... Пепел, труха...

Услышал встревоженный голос Месропа:

— Что с тобой? Занемог?

— Нет, просто задумался о разных разностях. — С улыбкой глянул на золотистую бороду Месропа, в которой каждый волосок сиял, казалось бы, негасимым светом. Промолвил, устроив взгляд и голос: — Переоденься в воинское. Возьми трех провожатаев, сменных лошадей. Поедешь за князем Мушегом. К ночи постарайся добраться. В Ване не мелькай. Если не застанешь Мушега, пусть Няня завтра разыщет его. Сам сиди дома. Обратно выедете до зари. Через Востан не проезжайте, обогните восточным проселком.

Селения, если есть близкая околица, тоже огибайте. Жду тебя с Мушегом завтра или послезавтра. Ступай.

— Может, скажешь мне, что случилось,— несмело попросил Месроп, потеревив роскошную бороду.

Анания поморщился.

— Нет не скажу. Ступай.

Проснувшись утром раньше Лейли, Григор обрадовался. У них была такая игра — кто первым проснется. Победенному полагалось исполнить волю победителя. Накануне победила Лейли и задала сложную задачу — придумать средство от прыгающих с потолка клопов. К вечеру, после напряженных раздумий и прикидок, он изобрел это средство: плоское жестяное корыто размерами несколько побольше лежанки. Его надо подвесить к потолку и так же, как миски под лежанкой, наполнять водой. Перед сном, рассчитав все до тонкостей, он сообщил ей лишь саму идею: он предвидел возражения Лейли. «Ты что же, сам смастеришь корыто?» — надменно спросила она, уже понимая, что он нашел верное средство и теперь потешается над ее недогадливостью. «Дааа... — протянул он, изображая растерянность. — Вот это загвоздка. Кто же сумеет смастерить жестяное корыто?.. — Хлопнул себя по лбу и возгласил: — Жестянщик смастерит!»

Ночью клопы не будили его. Возможно, почувствовали, что их дело проиграно, и потеряли аппетит. Очень даже вероятно. Лишенные интеллекта твари наделены повышенной чувствительностью.

Лейли, лежа на спине, размеренно посапывала. Ее розовое лицо было сейчас тихо-восторженным. Она уже совершенно не походила на Богородицу в привратной арке. Он осторожно потянулся к ее полуоткрытому рту, принялся к ее дыханию — свежему, приятно горьковатому. Если растереть в пальцах листок — такой запах. И все ее теплое тело пахнет нагретыми солнцем листьями, травой, песчаником. Ей и умыться незачем — достаточно подставиться под дождик и сбить пыль. Не то что ему. Не зря Няня вечно бурчала: «Мойся, трись, вонючка! Козлом от тебя несет!» А Лейли, как раз наоборот, оттаскивает его от умывального таза. Такая чистая, что и его нечистоты не ощущает, — в этом, наверно, дело. Наверняка в этом. Странно, почему библейские пророки зовут женщину воплощением нечистоты? Христос иначе относился к женщинам. Он и Магдалину любил. Женщина, как и мужчина, создана по образу Божьему. А вот печенег Геворк, которого Няня подрядила в дом пекарем, другого мнения. Он, даром что крещеный, твердит по-прежнему свою языческую нелепицу. Как он зовет Творца?.. А — родоначальником. Рассказывает, что родоначальник, слепив из глины мужчину, утомился и заснул. Задал храпака и новослепленный. Тут к нему подкрался шайтан и выдернул из него ребро. Оно тот-

час удлинилось, расширилось, обернулось женщиной, которая принялась туда-сюда скакать, плюхнулась в грязь, извалялась и, по наущению шайтана, прилегла к мужчине. Геворка понять легко. У него жена — ведьма, и дочка Айлана обещает стать такой же. Выдать, все печенежки из одного теста. А может, и пророкам не везло с женщинами?.. Пожалуй, верная мысль, хотя очень уж забавная. (Григор безмолвно хохотнул, зажал рот ладонью). Лейли ласковая, послушная. Правда, насмешливая, но покладистая. Плохо только, что креститься не хочет. Как все просто было бы: он стал бы белым священником, женился бы на ней, и зажили бы спокойно. Нет, ни за что! Аллах ее, видите ли, покарает! Точно Аллах — не тот же Бог, не тот же Творец. И слушать не желает, глаза на мокром месте, губы трясутся. Что за чушь? Жить в грехе с крещеным можно, а принять крещение и искупить грех замужеством нельзя. Согласится в конце концов. Будить ее надо, а то потом будет клясться, что первой проснулась. Придумывай потом другое корыто.

Он сердито глянул на нее, но тут же умиленно улыбнулся, провел ладонью по заголившемуся, греховно мерцающему плечу и бережно повернул ее к себе.

— Ай! — пискнула она, раскрывая смеющиеся глаза и выгибаясь к нему...

— Сегодня я позволю себе отдохнуть, — заявил он решительно. — Я проснулся первым и разбудил тебя. Корыто пойдешь заказывать ты.

— Как бы не так! Скажешь, не исполнила я сейчас твое желание?

Григор, снова подавив хохоток, спросил:

— Но с корытом как быть?

— Клопики подождут до завтра. Эй, клопики, вы не прочь подождать до завтра? «Мы не прочь, мы очень не прочь, мы голодные, смотри, как живот подвело!» — Сделала рот кружочком и жалобно попросила: — Принеси с кухни ломтик лимонного пирога, а...

— Там уже мама шуршит — слышишь?

— Ну и что? Оденься и сходи. Только умываться не смей! А то от тебя после — ни запаха, ни вкуса, как от ваших просвинок-преснятин!

Мать хлопотала у плиты. Несмотря на то, что он подарил ей шелковую, с серебряной расшивкой чадру, она постоянно носила старую, выцветшую и латаную-перелатаную. Лица ее он ни разу не видел.

От задымленного чугуна шел манящий дух чего-то мясного. Сглотнув слюну, он сказал:

— Доброе утро.

— Добрый утор, — мельком покосившись на него, откликнулась мать.

— Чем это так вкусно пахнет? — спросил он, чувствуя, что ноздри, как две трубы, до самой переносицы раздулись.

— Сметана голубятина тушу.
— По запаху — сготовилась.
— Ни-ни! — Она досадливо замахала ложкой. — Скажи Лейли, пускай помогай мне.

— Лейли просит кусочек лимонного пирога.
— Чиво-чиво? Чиво себе говорит? Чиво ты слушаешь? — возмущенно зачивокала мать. — Женчина или ни женчина? — сказала и отвернулась к плите.

— Сейчас встанет. Я отрежу пирога немножко. Мне самому охота. — И добавил искательно: — Замечательный пирог получился. Немножко возьму.

— Бири.

Он достал из комода блюдо с начатым вчера огромным, пышным пирогом и, не удержавшись, отмахнул ножом две трети.

— Можешь висё брать, — буркнула она, точно спиной видя.

Он не ответил и поспешил из кухни.

Лейли, подставясь залезавшему в комнату солнцу, голая сидела на постели.

— Ай, добытчик! — взвизгнула. — Ну-ка сюда его! Ай, обедень! — Продолжила с набитым ртом: — Не знаешь... почему... (долгое убогающее жевание) беременных от всего тошнит? Меня ни от чего не тошнит, и всего мало. — Умыв добрую половину принесенного, приподняла ладонями нежно теплящиеся груди и самодовольно изрекла: — Ем и пухну, ем и пухну.

Он с трудом отвел от нее взгляд, пробормотал:

— Оделась бы. Себя застудишь и ребенка.

— Да ну! Жара уже. Чудно: дни короткие, ничего не цветет, а жарко, как летом.

— Слушай, ты ведь мусульманка все-таки. Вот и води себя при мужчине как мусульманка — оденься.

— Я мусульманка, но я не в гареме. Мне мама рассказывала, какая в гареме жизнь распрекрасная. Даже если только пара жен, уже неплохо. Одна — любимая, а другая хозяйством занимается. Потом любимая надоедает, другая делается любимой, а та — по хозяйству. А если жен десяток — представляешь? Отдыхай, по саду разгуливай, в водоеме плещись, песни пой, наводи красоту — так и живи, пока не придет твоя очередь хозяйничать или мужа тешить. Благодать! Ай, разве ты можешь понять женщину, зануда!

— А ты трещотка! Оденься и ступай к матери. Это ей пора отдыхать и по саду разгуливать, а она обслуживает тебя.

— Ай, зануда, ай, зануда! Видеть тебя не хочу, пойду на кухню. Не подсматривай, как я одеваюсь. Одевание некрасиво... Что? Постель сам застилать вздумал? Унизить меня вздумал? Брось простыню! Кому сказала: брось!

Он вышел из дома и сел на лавку под распускающим почки тополем. Лейли, конечно, примет крещение, образумится. Для нее

ребенок и сейчас живой. А какая мать не хочет, чтобы у ребенка был отец? Да и вообще: какая женщина замуж не хочет? Естественное и очень почтенное желание. И до чего хорошая жена будет! Заботлива, ласкова, резва, остра на язык, но притом вежлива, обходительна. Уже со всеми соседками знакома, и они, хоть и христианки, и замужние, не считают зазорным ходить к ней. Их, правда, могло бы и поменьше быть. Жужжат по вечерам — не дом, а улей... С Овиком зря погорячился. А может, и не зря. Он с порога загромыхал: «Поехали, поехали!» Дельного разговора не получилось бы. А теперь они с дядей хвосты поприжали, теперь Овик или сам дядя по-иному зайдут — поучтивей, потише... Выхлопотать бы приход где-нибудь в стороне от начальства, пусть не в городе, а в селении, но чтобы возле моря. От моря — бодрость, свежесть, душевная ясность. Как живо оно сейчас гудит... И не близко, а слышать, ни ветерка, а все равно гудит... Примет она крещение, а как же иначе? Надо будет Марией окрестить ее в память о познакомившей с ней иконе. Но она останется Лейли. Клавдий сказал, что имя не арабское, а персидское и означает — ночной цветок. Она-то думала, что Лейли — лилия. Лилия хуже: ограниченной, меньше. Да, Лейли останется. К другому имени не привыкнуть...

— Иди завтракать, мой господин и повелитель! — вылетело из распахнутого кухонного окна.

Он вошел в столовую, где ел всегда в одиночестве. Обе наотрез отказывались есть с ним вместе, как он ни упрашивал, признавался даже, что ему скучно есть одному. Ох уж эти арабские штучки! Чисто показное и притом расчетливое уважение к мужчине. Я, дескать, беспредельно почитаю твое мужское достоинство, и поэтому ты, «мой господин и повелитель», держись от своей рабы на приличествующем тебе расстоянии, не вникай в ее ничтожные интересы.

Он раздраженно глянул на блюдо с безголовыми, бесхвостыми и бескостными красноперками, взял верхнюю, посыпал крошеным луком, сбрызнул ихним — терпким, довольно приятным арабским соусом, завернул в хлебную лепешку, подставил, чтобы не запачкать скатерть, тарелку, но только понес это ко рту, как услышал треньканье колокольца над калиткой. Соседки в такую рань не являются. Не Овик ли опять?

— Сам отворю! — крикнул, выходя из-за стола.

За калиткой стояли два воина. Впереди — маленький, необычайно кривоногий и с каким-то печально-жестоким лицом. За ним высился здоровенный и синелиций.

— Нам нужен князь Григор Арцруни, — произнес маленький.

— Это я, — ответил Григор и уточнил: — Священник Григор. Оба воина поклонились. Маленький сказал:

— Мы от светлейшего князя Павла. Он просит тебя пожаловать к нему домой.

«Ну, дядя, ну, пронира! — мысленно воскликнул Григор. —

Самого Павла напустил! А что — мне это на руку. С Павлом мне куда проще говорить, чем со своими». Спросил:

— Когда князь Павел зовет меня?

— Завтра или послезавтра в вечернюю пору, — отвечал маленький. — Скажи, когда тебе удобно, и мы заедем за тобой, а потом проводим обратно.

«Мне торопиться незачем», — подумал Григор. Помолчав, проронил небрежно:

— Послезавтра. Приезжайте к закату.

Воины вновь склонили головы, причем здоровенный стукнулся носом о шлем маленького и чертыхнулся, на что маленький злобно проверещал:

— Безбожник!

— Я бы тебе сказал, кто ты, если бы хозяин не запретил, — потирая ушибленный нос, прогундосил здоровенный.

Григор снова оглядел их, подобранных, казалось, нарочно по признаку несхожести. Видимо, Павловы телохранители. Он сам забавник и в охрану к себе обычно берет людей забавных. Пригласить их к столу? Не так скучно будет.

— Вы охраняете князя Павла?

— Да, — откликнулись оба.

— Можете зайти в дом и разделить со мной скромную трапезу. Если, конечно, у вас есть время.

— Немножко времени имеем, — вовсю заулыбавшись, ответил здоровенный.

— Большая честь для нас! — любезно вскричал маленький и замялся.

— Что-то мешает тебе принять ее? — пришел к нему на помощь Григор.

Маленький, потоптавшись, вымолвил нерешительно:

— Как мне величать тебя? Князем Григором или отцом Григором?

Григор засмеялся:

— Никак! Я не вполне точно назвался священником. Я нынче никто. — Подумав, поправился: — Впрочем, нет. Григором-то я остаюсь. Вот и зови меня Григором.

— Как можно! Я не знаю твоих обстоятельств, мне и не нужно их знать, но я человек, выросший в зажиточной семье и получивший кой-какое воспитание и образование. Мне ведомо, как и с кем обращаться. Да и светлейший князь велел обращаться с тобой чрезвычайно почтительно, — доложил маленький.

Между тем здоровенный, по-видимому болезненно переживая задержку с трапезой, мычал что-то невнятное и попеременно обваливал на землю свои толстые ноги.

— Ладно, — сказал Григор, — я, кажется, нашел выход из трудного положения: я обойдусь без ваших имен, а вы — без моего. Годится?

— Подходяще, — согласился здоровенный.

— Честно говоря, меня не только это останавливает,— робко ответил маленький.

— Что же еще?

— Лошади треклятые!— увесисто бухнул здоровенный и покрутил пальцем у виска.

Григор действительно озадачился:

— Почему лошади?

— Бойтся за них,— пояснил здоровенный, оттеснил потупившегося маленького и вышел вперед.

Григор, предвкушая, как он будет смеяться с Павлом над этой беседой, произнес серьезно и по-прежнему словно бы недоуменно:

— Что с лошадьми случится? Лошади привязаны, на попонах герб светлейшего князя, да и всей улице уже известно, кто вы.

Здоровенный разъяснил окончательно:

— Какой-нибудь мальчонка запустит в них хлебной коркой и уложит наповал.

«Любит животных,— подумал Григор и тепло посмотрел на печально-жестокое лицо кусавшего губы маленького.— Добрый. Внешность часто обманывает». Сказал:

— Привяжите их у крыльца.

Прежде чем сесть за стол, маленький вслух помолился и при этом с каким-то сугубым вниманием взглядывал на висящий на стене золотой с опалами крест — тот самый, от которого прошлой осенью отказались Лейли и Карапет. Здоровенный сразу сел, похоже, забыл о молитве и принялся громоздить на тарелку рыбы тушки и овощи. Григор спросил маленького:

— Чем тебя так привлек этот крест?

— Несравненный, бесподобный крест!— выпалил тот.— Он золотой или позолоченный?

— Золотой.

— И цепь золотая?

— И цепь.

— Опалы радужные... Они из Индии?

— Вот этого я не знаю.

— Все равно редчайшее сокровище!

— Хм, так уж и редчайшее... Возьми его на память о нашем знакомстве.

Маленький вихрем подлетел к стене, сорвал крест и, глядя на Григора побелевшими глазами, залепетал:

— Огромное спасибо тебе... э... э... Как же все-таки без имени?..— Еще позкав, нашелся: — Великодушный даритель! С таким сокровищем я до гроба не расстанусь!

— Он не расстанется,— шумно вздохнув, подтвердил здоровенный.— Он и с медяком скрепя сердце растается.

Маленький, уже совладав с собой, неспешно просунул цепь через голову и поместил крест под рубахой.

— Сядь же. Поешь,— сказал ему Григор.

— Разреши мне не участвовать в трапезе, великодушный даритель. Я сыт твоим даром.

Заметив, что здоровенный забирает с блюда последнюю красноперку, Григор проговорил смущенно:

— А для тебя ничего и не осталось.— Постучал в смежную с кухней стену и крикнул:— Лейли, принеси голубятину!

— Голубятину? — укоризненно повторил маленький.— Сегодня пятница. Ты намереваешься в постный день есть голубятину?

— М-да, что-то я обеспамятел...

— А что такого? — с ненавистью глянув на маленького, вмешался здоровенный.— Почему то, что в воде плавает, в пятницу можно есть, а то, что трепыхается в воздухе,— нельзя? Ты как хочешь, а я буду есть голубятину. Это очень смачная еда.

— Тебе бы только пузо набить!— завизжал маленький.— В постные дни душа должна свободно витать по всему телу. Нельзя ее стеснять голубятиной, прорва ты ненасытная!

— Пустосвят окаянный! Чем рыба святей голубятины?

Вопрос довольно обоснованный, подумал Григор, интересно, как маленький выкрутится. Но тут в комнату вошла Лейли в чадре, скользнула по Григору встревоженным взглядом, поставила на стол чугунок и вместительное блюдо и осталась у стола.

— Опять тяжести таскаешь,— буркнул Григор.— Не догадалась на блюде принести?

Она молчала.

— Вот ижданная голубятина,— сообщил самому себе здоровенный, поднимая горшок и опрокидывая его над блюдом. Из горшка ничего не выпало. Здоровенный потряс его, заглянул внутрь и озадаченно известил Григора: — Голубятины нет. Ею и не пахнет.— Негодуяще щелкнул пальцами и спросил Лейли: — Где голуби?

— На голубятне. Он оживил голубей,— указав на Григора, произнесла Лейли благоговейно дрожащим голосом.— Он иногда творит чудеса, чтобы воочию явить маловерам всемогущество Божье.

— Стало быть, ты чудодеев?.. Вот оно что, вот почему светлейший князь велел говорить с тобой уважительно... Чудодеев, стало быть...— Здоровенный вдруг с размаху жажнул себя по лбу и, пошатнувшись от удара, завопил: — Вспомнил! Вспомнил! Ууууу!

— Что такое? Что вспомнил?— заморгал от всего этого, спросил Григор.

— Доказательство тондракита вспомнил!— прорычал здоровенный.— Провалился я на этом месте, если он не божился, что истинно ученый человек и есть всемогущее божество! Для истинно ученого, говорил, пара пустяков схватить за жабы самую сильную природную силу! Надо только знать, где у ней эти чертовы

жабры! Ты,— ткнул в Григора пальцем,— ты знаешь! Для тебя сотворить чудо — раз плюнуть!

— О великодушный даритель!— перебил его маленький и рухнул перед Григором на колени.— Ради всего святого, прости, что я, ничтожный, усомнился в тебе. Но ведь ты, должно быть, этой голубятиной намеренно навел на меня сомнение, дабы, развеяв его чудом воскрешенья голубей, очистить и прояснить мою замутненную житейским суечением веру?.. Да?.. Заклинаю тебя: скажи, что это так!

Григор стиснул зубы, чтобы не расхохотаться, и заелозил на лавке.

— Слушайте, вы,— решительно сказала Лейли, переводя горящий взгляд с маленького на здоровенного,— разве вы не видите, как он утомлен содеянным? А ну-ка живо отсюда!

Оба переглянулись и заспешили к двери. У порога маленький остановился, спросил Григора:

— Можно рассказать светлейшему князю про чудесное воскрешение голубей?

Григор кивнул.

— Чего ты фыркаешь!— вскинулась Лейли, когда они вышли.— Они же страшные! Два страшилища! Кто они?

— Страшные?— удивился Григор.— Потешные. Зачем ты выкинула этот трюк с голубятиной?

— Кто они?— настойчиво переспросила Лейли.

— Охранники Павла, сопровителя.

— Вот оно что...— Лейли расслабленно опустила на лавку.— Вот и добрались до нас с тобою. Это для нас похуже всей твоей родни.

Григор обнял ее за плечи, притянул к себе.

— Успокойся, глупенькая. Мои родственники и подговорили Павла. Он ближайший дядин друг. Успокойся, и давай снимем с тебя эту тряпку. Хочу видеть тебя.

Она покорно подняла руки, и он, взявшись за подол чадры, снял ее. Погладил побледневшие до земли щечки Лейли, прикоснулся к ним губами и усадил ее рядом.

Лейли, не глядя на него, спросила:

— Какой он, этот Павел? Старый, злой?

— Лет тридцати. Но выглядит вовсе мальчишкой, моложе меня выглядит. Нет, он не злой... Хм, знаешь, не могу припомнить его лицо. Он красивый, но весь какой-то зыбкий. Нет, не то говорю. Понимаешь? Вот он перед тобой, и он совсем не зыбкий, а очень телесный, крепкий. А уйдет — точно его и не было. Ничего от него не остается... Опять не то говорю!— Григор раньше никогда не размышлял о Павле, и теперь ему самому стало интересно, какой Павел.— Понимаешь? Он все время шутит, дурака валяет и может показаться несерьезным, пустяковым даже. Но это не так. К нему стоит присмотреться и прислушаться. Он умный, быстро соображает, очень точно и четко улавливает суть, он даже двигается очень

четко, отточенно, будто единственно верными движениями. И такая из него исходит жизненная сила, что он всех кругом себя намагничивает. Он одним своим видом может и глядящему в гроб поднять настроение. А сам все же какой-то непродолжительный, непрочный. Понимаешь?

— Зато у тебя родня прочная. Значит, думаешь, его подговорил дядя?

— А кто же? Что во мне Павлу? Он первейший в царстве вельможа. Я для него... так, чепушинка,— сказал Григор не без досады.

— И он прикажет тебе вернуться в Нарек?

— Приказать он мне ничего не может. Будет убеждать. Но мне с ним разговаривать куда проще, чем с дядей. Павлу я безразличен, понимаешь? Он выполнит дядину просьбу и передаст ему мой ответ. Павел враз смекнет, что меня убеждать бесполезно, и убеждать он станет, наоборот, дядю. Вот так-то, глупенькая!— Показал ей язык и лизнул в щеку.— Слушай, давай с тобой до моего разговора с Павлом... нет, чего откладывать?— давай прямо сейчас все и решим. Я скажу Павлу, что ты ждешь ребенка, что я на тебе собираюсь жениться и поэтому хочу перейти в белое духовенство.

— Ты говорил, что можешь быть и лекарем,— робко произнесла Лейли.

— Нет, я не так говорил. Зачем перевираешь? Я говорил, что знаком с основами лекарского искусства. С основами, с начатками — ясно? А могу я быть только священником. Это я могу, умею и хочу!

Она молчала.

— Или ты желаешь, чтобы я делал не свое дело, а твое, чтобы я у тебя под каблуком был? — продолжил он, уже не вполне владея собой.— Может, мне и глиняных собачек поучиться лепить?

Она подняла на него полусмеющиеся-полуплачущие глаза.

— Родненький мой, не сердись на меня. Насчет лекарского дела я по дурости сказала. Я такая же, как все женщины. Сегодня и мутить меня стало. Но я знаю тебя. Ты не сумеешь быть мужем. Я бы для тебя на что угодно пошла, я бы и крестилась. Но какой из тебя семьянин? Ты монах. Незнакомый человек похвалил золотой крест, и ты тут же отдал его. А крест дороже этого дома. Я боюсь, как бы ты и ребенка нашего не отдал из монашеского бескорыстия...

— Ах, золота тебе жалко,— вполголоса, медленно, отдельно произнося слова и чувствуя, как начинает плескаться в нем бешеная волна, заговорил Григор.— Золотой вещицы...

Она стремительно поднялась, взглянула на него уже только плачущими глазами и вышла из комнаты.

— Ну и черт с тобой!— взвыл в закрывшуюся дверь Григор.— Шайтан твой с тобой! Иблис твой!..

Еле-еле заставил себя замолчать. Волна пригнула его к столу, переполнила рот, и он, прерывисто хватая ноздрями воздух, глухо выстонал эту волну. Поводил пястью по горлу и сказал себе: «Через час попрошу у нее прощения. Не раньше. Слава Богу, согласилась креститься».

Отобедав в рабочей комнате в крепости, Павел грыз фисташки и вспоминал грустный конец своей греческой жизни.

Случилось это осенью 966 года. Никифор дознался, что Иоанн путается с Феофано, вызвал его в укромный покой, отвесил затрещину и велел убираться восвояси. После этого Павел из солидарности провел неделю у Иоанна в его поместье на берегу Эгейского моря. Ненастное, без барашков, серо-сизое, оно пучилось под задывавшим с берега ветром, как живот чудовищного утопленника. Говорить было не о чем — обо всем переговорили. Шесть прихваченных проездом через Никею молоденьких, неопытных девок надоели еще в пути однообразно пугливыми ласками. Тогда от скуки Иоанн научил его то ли персидской, то ли арабской игре «шахмат», что означает «шах умер». Озлобленный Иоанн переназвал игру «какюк императору». Игра была самая что ни на есть военная и увлекла Павла. В ней действительно надлежало нанести такой удар чужому императору, от которого тот не сумел бы ни прикрыться, ни увернуться. Однако, хотя играл Павел ревностно, с душой, сделать какюк вражьему императору ни разу не смог. «Ты очень смысленный,— говорил ему Иоанн,— и отражать твои уловки и наскоки занятно. Но ты весь на доске, а надо быть над нею».

Хороший урок, подумал сейчас Павел, взял со стола и стал перечитывать прибывшее утром донесение Васака. Оно было отрядным. Разболтанная амнистией, празднествами и хлебными выдачами константинопольская чернь опять востребовала хлеба и разгромила множество лавок на Серединной улице. Иоанн проявил щедрость: заново принялся ублажать бездельников зрелищами и хлебными раздачами и в щедрости дошел до того, что залез в долги и начал строить возле Босфора огромную больницу для прокаженных. Далее Васак сообщает, что такую щедростью (как все сквалыги, Васак это слово обожает) Иоанн восстановил против себя чиновничество и вынужден был отправить в ссылку нескольких (указать точное число и должности Васак не удосужился) открыто выразивших неудовольствие куриалов. Стало быть: казна пуста, чернь до крайности разнуздана, чиновничество брыкается, а на востоке империи — двадцатитысячный Фока. Что остается Иоанну для поправки дел? Единственное: незамедлительный поход на восток. Анийцы это поймут. Можно ли, не дожидаясь сведений из Ани, не дожидаясь приезда оттуда свирепого и, по слухам, всегда готового трясти саблей Вахтанга, известить Фоку о поддержке? Можно.

Под распахнутым окном кто-то, видимо, из крепостной стражи рассказывал о своих подвигах и время от времени взрывался:

— Тут я его вжик по свинячьему рылу!

Павел подошел к окну и, не высовываясь, сказал:

— Слушай, дорогой, вжививай его сколько душе угодно, но где-нибудь в сторонке.

Ответом было молчание и удаляющийся топот.

По внутренней боковине оконного стекла влезал и, натываясь на раму, сползал, чтобы снова карабкаться, необычайно красивый, будто из темного, мглисто-глубокого янтара выделанный шмель. Павел подпрыгнул, сгреб его, не придавливая, в горсть и выпустил.

Здесь не Константинополь, здесь тишь да гладь. Клавдий ведет себя смирно, панцирный миролюбец Мушег тоже не перечит, царь после похорон дяди пьет без просыха. Приехавшие на похороны царевицы мялись-жались, но по тысяче латников и по столько же мужичья каждый даст. Негусто, конечно, но для почина сносно. Писем насчет поставки воинов разослано до полусотни. Дивное приобретение — Маленький Сукиас: строчит письма не хуже Клавдия. Тот ни одной ошибки в них не нашел. Маленькому Сукиасу цены нет. Он великолепно показал себя в деле с покойным дядей. То, что Овсеп решил сохранить жизнь Филимону, неплохо, и хотя для порядка надо бы распечь Овсепу, язык не поворачивается. Но каков Маленький Сукиас! Ему было велено подскочить к Филимону со спины и оглушить, покуда Большой Сукиас будет кончать Ашота. А Маленький рывком оглушил Филимона и в следующий миг всунул нож в загривок даже обернуться не успевшему Ашоту; так что Большой, по сути, ни черта не сделал, хотя и развалил Ашота своим любимым топором до межножья, уложив заодно и коня под ним. Маленький за коня чуть глаза Большому не выцарапал. Они сейчас точь-в-точь кошка с собакой. Ничего, Овсеп с ними управится, Овсепу такое не в первинку. Сцепливались поначалу и Урия с Зором, но Овсеп их быстрехонько обломал... Да, Маленький — молодец, на все руки мастер.

Павел опять подошел к окну, чтобы полюбоваться привязанным у конюшни новым Чанком — глянцево-караковым трехлетком-иноходцем с роскошным, до земли хвостом. Полюбовался, растроганно шурясь, и вернулся к фисташкам.

А кому, кроме Маленького, можно было поручить всыпать бесследного порошка в чай Рипсимэ? Про порошок и Овсепу не надо знать, а он сейчас многое знает, он сейчас знает про *это*, которое спать не дает, не дает даже глаза сомкнуть. Овсеп, оказывается, и сам мается кошмарами после того вынужденного дела на прибрежье Евфрата. Вот и неразлучны они теперь и днем и ночью... Овсеп знает об Иоанне и Карапете, которые в *этом*, а о Рипсимэ ему знать уже и не нужно. Она, правда, не ушла из *этого*, но она ведь не похоронена. Похоронят — уйдет. Ее лишь нынче утром хватились. Наверняка уйдет. А Карапета следует иначе добывать. С Карапетом поторопился. Незачем настраивать против себя Мушега и всю нарекскую свору. Пускай Анания тешится своей

выдумкой — тифозным Карапетом. Очень хороша сегодняшняя мысль: пригласить Григора и дружески посоветовать ему улизнуть с арабкой куда-нибудь подальше во избежание неминуемого церковного суда. Григор легковереен, горяч. Он сразу взвывается. Тут и предложить ему помощь: дать провожатаев, к примеру, в Сюникское царство, где народ и впрямь веротерпимый, где и смешанные семьи спокойно живут. А когда будет известно, что Григор там, взяться за Ананию: хочешь назад племянничка — взамен араба отдавай... Куда подевались эти двое копотунов, Большой с Маленьким? Неужто до сих пор Григора не нашли?

Павел открыл дверь, напротив которой сидел в стенной нише Овсеп, сказал ему:

— Зайди.

Тот хмуро глянул на Павла красноватыми, воспаленными бессонницей глазами, встал и грузно пошел в комнату.

— Где Сукиасы? — спросил Павел, сам затворив дверь.

— Ты же велел им домой возвращаться.

— Точно?

— Ну. При мне велел.

Павел как бы мельком справился:

— Бедную Рипсимэ похоронили?

— Повезли на кладбище. Она уже вся раздулась от жары.

— Да, нынче нет весны... Что ж, поехали домой.

Павел выглянул в коридор, ожидая увидеть в сутеми *это*. Но коридор был свободен. Быстро прошагав его, Павел сбегал с крыльца и направился к конюшне. Новый Чанк, стоявший в тени под широкой стрехой, радостно подался к нему. Павел приподнял попону, ощупал сухой потник и, не ступив на стремя, вспрыгнул в седло.

Ночью была гроза. Сначала долго гудело и громыхало без дождя, а под утро такой ливень разразился, что перешумел и громыхание. Через неплотно прилаженное стекло на подоконник набрызгалась лужица и дзинькая скапывает. Григор подумал, что надо принести половую тряпку, но — неохота: на кухне — никого, а здесь словно кто-то живой знай себе дзинькает... Приятный звук — нежный, напевный, с как бы обязательными паузами... По воскресеньям Лейли с матерью уходят в молельню. Мусульман в городе все подбавляется. Они бы построили мечеть, но разве Мовсес разрешит? Он и прошения о другой молельне который год не подписывает. Отец когда-то позволил им одну молельню, почти за городом, ею и обходятся. Лейли говорила, что в дом пускают только мужчин — и они насилу втискиваются. Во дворе, видать, тоже тесно. Не помяли бы ее. Ребенок с пятницы мучит ее рвотой. Лейли как подменили: притихла, спит у матери, дичится его. Стесняется, что подурнела, что тошнит ее. Зря пошла в молельню, беречь-

ся надо. Пора и ему подумать о себе. С сентября празднует лодыря, хватит. Пора о себе подумать, иначе всем будет плохо — и Лейли, и ребенку, и бабушке. Сегодняшний разговор с Павлом дело нешуточное. Павел постарается как следует выполнить дядино поручение, а что дядя, что Павел — оба великие придумщики и красноречивы. Наверняка понимают, чего хочет он, и подготовились, припасли какое-нибудь могучее возражение. Притом оба желают ему добра. Нужно и об этом помнить, держать себя в узде нужно. Говорить спокойно, дельно, обстоятельно. А до разговора — побывать в храме. Третье воскресенье без обедни — куда годится? Дал волю плоти, ох дал!

Он поднялся, распахнул окно и, глянув в ясную, весело сияющую высь, прошептал: «Извини, пожалуйста». Застелил лежанку, вернулся к окну, присел на корточки, слил на себя лужицу с подоконника, растерся ладонями и, не одеваясь, пошел в кухню за половой тряпкой. Вошел и остолбенел: на лавке у плиты сидела Няня. Сидела по-хозяйски, как дома, прислонившись спиной к стене и сложив на животе руки.

— Ты бы оделся, сынок, — невозмутимо проговорила она. — Взрослый. Нехорошо нагишом.

Он бросился в комнату, натянул, путаясь в штанинах и рукавах, шаровары, рубаху и вбежал на кухню. Няня с прежней невозмутимостью сказала:

— Обуйся и пойдем домой. Дома позавтракаешь.

— Послушай, ты чего, чего ты... — запинаясь, пролепетал он.

Няня вздохнула и поднялась с лавки.

— Я ничего. Пойдем домой. Они уехали.

— Как уехали? Куда уехали? — сжимая и разжимая трясущиеся кулаки, спросил он.

— Куда — не знаю. Я вчера потолковала с матерью, дала ей за тебя отступного. Десять номисм, недорого. Я думала, торговаться придется. — Все эти чудовищные слова Няня произнесла монотонно, без тени какого-либо чувства и замолчала.

— Ну?! — не веря, вскрикнул он.

— За меня больше просили и давали, — окрепшим голосом сообщила Няня. — Вот я и пригнала им двуконную повозку. Чего, думаю, мелочиться?

Он выскочил из кухни, пнул ногой дверь в комнату матери. Раскрытый платяной шкаф пуст. Да, уехали... Как так?.. Уступили, сбыли его... Странно, невероятно странно...

Он все еще не понимал.

— Тебе дядя поручил это?

— Ага. Мушег к нему ездил. — Няня встала на пороге кухни, заслонив собой дверной проем. — Мушег тебя ждет не дождется. В городе неспокойно. Головорезы какие-то объявились. На той неделе царского дядю убили. Слышал?

«Невероятно, странно!» — словно с двух сторон в оба уха накрикивали.

— Обуйся, сынок, и пойдем. Чего тут застревать?

Он вспомнил, как Лейли после ухода Павловых телохранителей обреченно повторяла: «Добрались до нас, добрались». Позавчера он помирился с ней, но вчера Лейли целый день избегала его, ссылаясь на дурноту. Так. Лейли теперь понятна. Павел непонятен... Пристально посмотрев на Няню, он спросил:

— А Павел зачем вам понадобился?

— Какой Павел? — откликнулась она с явным недоумением.

Няня про Павла не знает... Так, понятно. Дядя на всякий случай попросил Павла припугнуть Лейли и мать, чтобы Няне легче было сделать свое дело... Нет, не то. Он сам зазвал в дом телохранителей, и вовсе они не пугали ни Лейли, ни мать. Наоборот: напугала их Лейли голубяками... Каша какая-то... И все же без Павла не обошлось...

Няня взяла его руку и с силой отогнула книзу.

— Ты себе лоб расколотишь. Пойдем. Где твои башмаки? Обуйся, — сказала, продолжая сдвливать его запястье.

— Дай мне с самим собой разобраться, — произнес он умоляюще. — Ступай домой. Я чуть погодя приду. А? — Он попытался отнять руку.

— Нет, я тебя такого тут не оставляю. При мне разбирайся. И поскорее. Мушкетер как на муравейнике сидит.

— Отпусти руку — больно делаешь... Ладно, я пойду, но сначала мы зайдем к Павлу. Ненадолго. Спрошу только, чего ему от меня надо. Павел просил быть у него вечером.

— Какой Павел?

— Амуни.

— Так это ж по пути, — тотчас согласилась она. — Обуйся, и пойдем.

«Меня уступили, сбыли! Невероятно странно!» — тарыхтело в нем и забивало все остальное.

Возле сложенной из мглистых гранитных плит стены Павлова дома он остановился перевести дух и остыть. Постояв, направился к медной калитке, затряс ее ручку, вызвав почти набатный звон. Изнутри отворили густорешетчатое оконце, потом распахнули калитку. Перед Григором оказался позавчерашний маленький и молитвенным голосом затянул:

— Святой отец, зачем же ты пешком? Мы ведь на вечер уговаривались.

— Хозяин дома?

— Он дома, святой отец, он дома, он у себя в комнатах...

— Доложи обо мне.

Маленький согнулся чуть не до земли.

— Выполни сперва мою просьбу, святой отец. Я тогда не решился попросить твоего благословения...

Няня, выйдя из-за спины Григора, двинулась на маленького со словами:

— Пропусти нас во двор, невежа, и делай, что тебе говорят.

Тот мигот отпрянул, зачастил:

— Да-да, я сделаю. А что мне говорят сделать?

— Он немножко тронутый,— объяснила Няня пошедшему за ней Григору, повернувшись к маленькому и раздельно произнесла:— Тебе говорят, чтобы ты доложил хозяину о приходе Григора, того самого Григора, которого хозяин пригласил на вечер. Запомнишь?

— Конечно, конечно, запомню! — испуганно на нее глядя, воскликнул маленький.— Я сделаю! — И он побежал к крыльцу, переваливаясь на кривых ногах и все так же испуганно озираясь.

— Да, у Амуни прямо царский дворец. Недаром об этом жильё столько разговоров,— с уважением сказала Няня, но тут же брезгливо добавила: — Балкон-то на голых бабах держится. Тьфу, срамота! — Потянула Григора за рукав.— Пойдем сядем на скамейку. Со всех сторон плятятся, а мы топчемся посреди двора, будто кланчить пришли.

Григор послушно зашагал за ней, опустился на скамью. В голове наконец стало тихо, совсем тихо — беззвучно и бессмысленно.

— Светлейший князь ждет святого отца,— задребезжал голос маленького.— Светлейший князь сказал, что святой отец, если пожелает, может войти вместе со своей почтенной спутницей.

— Ох, трескливый,— проворчала Няня.— Ты, Григорик, не задерживайся, а то Мушег весь город вверх дном перевернет.

Павел и его старший телохранитель Овсеп сидели в дальнем углу на пуфах друг напротив друга. Между ними лежала доска с шахматами. Григор подошел, поздоровался.

— Мое почтение праведнику и чудотворцу! — ответил Павел, не вставая.— Тебе знакома эта игра?

— Знакома.

— Ну! Сыграем разок? С Овсепом играть невозможно — редкий тупица.

— Я не играть пришел.

— Ах да! — Павел все-таки встал.— Я забыл, что ты человек семейный, занятый. Что же ты арабку во дворе оставил? Мне любопытно взглянуть на нее.

Павел вел себя как обычно, но это был не прежний Павел: в глазах у него застыло измученно-напряженное выражение.

— Я пришел не с нею,— сисясь говорить сдержанно, вымолвил Григор.

— Хе! У тебя уже другая. Шустер.

— Пусть Овсеп выйдет.

— Зачем? У меня нет от него секретов.

— У меня есть.

— Будь по-твоему. Выйди, Овсепчик.

— Для чего звал меня? — спросил Григор, когда дверь закрылась.

Павел растянул рот в улыбке, сокрушенно всплеснул руками.

— Видишь ли, я поторопился. Извини, дорогой. Ты мне больше не нужен.

Григор подошел поближе.

— Для чего я был нужен?

— Ну, так тебе все и скажи! Не скажу.

— Скажешь. Я раньше не уйду.

Павел отбросил свою спадающую на лоб ярко-черную гриву, ладонями прижал ее к затылку. Измученное выражение словно бы измятых глаз на чистом, без единой складки лице стало еще заметнее, почти кричащим стало.

— Эх, Мигалка, благодари Бога, что цел! Проваливай-ка, дурачок ты мой,— сказал и стряхнул волосы на лицо.

И сразу вся немыслимая странность того, что произошло сегодня, сосредоточилась для Григора в измученных глазах этого непонятного, не желающего быть понятным, язвящего, ненавистного человека. Григор лихорадочно осмотрелся, разглядел перед собой пух, схватил за ножки и занес над головой Павла. Тот ухмыльнулся и как бы неспешно, замедленно перехватил ножки пуфа чуть выше Григоровых рук, перевернул пух, высвободил из рук Григора и поставил на место. Григор вскинул кулак и вдруг с ужасом увидел, что к его лицу, к левой скуле, точно и неотвратимо подлетает, вывертываясь вперед нижней частью, ладонь Павла.

Очнулся он на ковре. Павел сидел над ним и пальцами похлопывал его по щекам. Заметив, что Григор пришел в чувство, Павел укоризненно произнес:

— Совсем не умеешь драться. Чему вас только учат в Нареке?

Григор всмотрелся в его измученные глаза. В глубине их была чернота, какая бывает в глубине выжженного молнией дупла. Догадываясь, что говорит страшное, сказал:

— Ты мертвый, сухой.

Склоненная над ним голова Павла мотнулась как от удара. Павел встал и тихо попросил:

— Уйди, пожалуйста.

По расположению луны до полуночи оставался час, когда Павел разбудил вздремнувшего в кресле Овсеп.

— Они? — Овсеп, покачиваясь, заторкался взглядом в пустоту.

Павел криво усмехнулся.

— Благодетельные привидения являются не раньше полночи и с первым криком петуха исчезают. А мои все нагледят и нагледят. И ни крестом их не возьмешь, ни молитвой. — Облизал непрерывно пересыхающие, в трещинках губы. — Которую ночь не даю тебе выспать-

ся... Мать уже что-то чувствует. Никогда расспросами не донимала, а сегодня, как смола, прилипла: «Почему светильники не гасишь?» — «Работаю», — говорю. Не верит. «Ты на себя не похож», — говорит...

Павел подошел к только что распечатанному винному кувшину, отхлебнул из него, прополоскал рот, выплюнул вино в кубок и снова заводил языком по губам.

— Разговоров много, — поскребаясь в бороде, сказал Овсеп. — Ты говоришь, она говорит. Дело бы какое сделать...

— К тому и веду, — быстро и четко ответил Павел. — Вот что, Овсепчик. Мы сейчас к Анании поедem.

— С ума сошел! Так он тебе и отдал Карапета!

— Не за Карапетом поедem. Исповедаться хочу.

Овсеп сумрачно уставился на него, но тотчас, насколько мог, просветлел:

— Дело.

— Ступай оденься. Нет, погоди. Вместе поедem. А то проклятая троица опять передо мной воздвигнется.

— Как троица? Их же двое: Иоанн с Карапетом.

— Есть и третий. Вернее, третья. Потом расскажу. — Внезапно рассмеявшись, спросил: — Лет пятнадцать назад это было, не меньше, а? Помнишь, как я за твоей сестрой увился и ты мне высыпал? Высыпал и отвадил!

Овсеп, усмехнувшись глазами, промолчал.

— Высыпал, да как высыпал! — зашебетал Павел. — Нос расплющил, ухо чуть напрочь не оторвал, а?

Овсеп повинно покрутил головой.

— И мне досталось, — напомнил. — Ты мне левый клык тогда вышиб. — Оттянул узластыми в суставах пальцами губу и показал отсутствие клыка.

Павел так же внезапно решил:

— Обойдемся без лат. Зачем париться? Хватит нам сабель. Что мы, не отобьемся в случае чего? Отобьемся.

Он скороговоркой спрашивал и отвечал, но суеты в нем не было. Овсеп согласился:

— Можно.

— И сменные лошади ни к чему. Я знаю за Артемедом лужайку с ручьем. Часок отдохнем и дальше. Как раз к утрени поспеем.

Павел загасил светильники, кроме одного, двинулся с ним к двери, но, подойдя к ней, замер и смущенно оглянулся на Овсеп. Тот вышел перед ним. В коридоре Павел пересилил себя, задержал за плечо Овсеп. и, всматриваясь в темноту, шагнул вперед...

— Ну как? — прошептал Овсеп.

— Вроде нету. Айда.

В Овсеповой комнате они подпоясались саблями, и Павел со светильником опять пошел впереди. Шел на цыпочках, но все

тверже и быстрее. Сбежали с крыльца к конюшне; прокрались мимо храпящего на топчане конюха; оседлали при светильнике сперва Чанка, потом рослого саврасого рысака; бесшумно вывели их.

У ворот конюшни нарядными гроздьями белела черемуха. Была в ней нежная тишина и словно бы ожидание непременно причитающейся радости. И та же тишина и ожидание были во всей искристой, усеянной звездами и росой ночи. Такие ночи только в начале лета бывают. Павел задул светильник, поставил его под черемухой и повел Чанка к калитке. Пока Овсеп отпирал ее, он приложился ухом к будке, в которой должен был бодрствовать Большой Сукиас, послушал, сделал скорбное лицо и шепнул Овсепу:

— Дрыхнет, синяя бздюха!

— Хаа, хаа... — важно забасил Овсеп.

— Тсс! — Павел ущипнул его за ляжку, а на улице, уже страгивая Чанка, сказал: — Как это Бога нет? Смотри. Загляденье кругом. Звезды, листья, камни — все разное, а одно к одному. Как воины в дружной фаланге. Каких ему еще доказательств нужно?

Проехав мглистыми улицами, они выбрались на Артемедскую дорогу, с обеих сторон свободную от скал, достаточно высвеченную ясным небом, и пустили коней во весь опор. Как не раз в бой, они летели рядом, и отраднo им было ощущать свою двуединую силу и свежую прыть коней. Справа, за вереницей песчаных бугров, постепенно, блескучими пятнами, будто нехотя стало открываться море, потом с маху вывалилось и прибавило свечения дороге.

В благоуханном Артемедe, одурившем себя яблоневым цветом и словно бы самому себе грезящемся, они перевели коней на замедленную побегу, тихонько процокали по безмолвному городку, и Павел вновь было удлинил бег Чанка, но Овсеп недовольно сказал:

— С твоим-то ничего не станется. Переваливается себе, как лодка, с боку на бок. А у меня рысак. Не забыл, где лужайка?

— Не забыл.

Через полчаса Павел потянул левый повод и, съехав с дороги, направился к поросшему дубняком холму. Обогнули его и оказались на располовиненной ручьем лысой поляне. Трава была дочиста подщипана.

— Ну вот. Лужайку он знает за Артемедом. Вечно горячку порешь. Ручей на месте. А где трава? Лошади-то не кормлены, — разразился несвойственной ему многоречивостью Овсеп и обидно зафыркал.

— Чего веселишься, дурак?! — возмутился Павел.

Овсеп отвязал от задней луки мешок и пробурчал:

— Я хлебом запасаю. Ты сосни, а я с ними повожусь.

— Спасибо,— растроганно ответил Павел, дивясь и ему и себе.— Спать не хочется. Так, отдохну чуток.

Сошел на землю, размял ноги и сел, привалившись спиной к не успевшему отдать вчерашнее тепло валуну. Ясно и ровно горели звезды. Лишь какая-то одна, внутри созвездия Волопаса, крошечная, розоватая, трепетно мерцала, и было в ее мерцании что-то призывное. Она то уменьшалась до невидимости, то вспыхивала почти так же ярко, как окружавшие ее светила созвездия. Втянувшись в ее игру, он сам стал играть с ней, то смыкая, то размыкая ресницы. И неожиданно, после шести сумасшедших ночей, он заснул и увидел сон. Снилось ему, что он гуляет со своей гречанкой Агнией по ночному, но светлому, лишь слегка затуманенному Константинополю. Она была неумела в любви, эта Агния, да и немолода. Когда она улыбалась,— а она часто улыбалась,— на переносицу, на виски и даже на щеки, как бы заливаемые полногубым ртом, выбегали немолодые морщинки. Зато она была неглупа, образованна, гораздо на забавные выдумки, и ему было интересно и хорошо с ней. Она любила его, хотя порою немилосердно вышучивала, да и он ее, пожалуй, любил немножко. И вот они шли по ночному, но светлому и людному Константинополю, и Агния держала Павла под руку. Они приблизились к открытой лавке Васака, и тут Павел подумал, что никогда ничего не дарил Агнии. Он попросил ее подождать и, зайдя в лавку, заметил прямо перед собой на ковровой стене изумрудное невероятной красоты и величины — едва ли не на всю стену — ожерелье. «Карие у нее глаза или черные? — задумался Павел.— Э, все равно подойдет». Васак спрятал ожерелье в отделанный мелкими изумрудами самшитовый ларец; Павел вышел с ним из лавки и, протянув его Агнии, увидел, что протягивает две низки каких-то блеклых, болотного цвета камушков. «Да это же хризопразы! — шумно обрадовалась Агния и, тотчас надев обе низки, спросила: — Ну, мои глаза зеленее?» — «И ты еще спрашиваешь!» — воскликнул Павел, подумав: «Ай да Васак! Угодил, мошенник!» Они снова пошли сквозь светлое марево, лавируя в оживленной голосистой толпе, и Агния, поглаживая и перебирая бусы, принялась со смехом вспоминать, как вчера они были в таверне, где Павел будто бы приревновал ее к громадному франку и все цеплялся к нему, пытаясь задраться, а франк из-за недостаточного знания греческого понимал задирки Павла как изъявление дружеских чувств и раскатисто картавил: «Какой добхххгяк! Я и на хххгодине не встхххгечал таких!» Никакого франка Павел не помнил и вообще знать не знал, что такое ревность, но ему почему-то понравилось стремление Агнии наделить его этой глупейшей слабостью; он повторил: «Какой добхххгяк!» — и захохотал вместе с нею. Так, хохоча и подраживая друг друга, они двигались все быстрее; потом побежали, успешно увертываясь от тоже побежавших встречных; и вдруг на Павла наскочил Овсеп, гулко зевнул и буркнул: «Полпятого».

Павел окончательно проснулся, глянул на тусклого Овсепа, на тусклый дубняк за ним и подумал, что сон был живее, чем явь.

Через час в Востане, неподалеку от крепости царевича, их окликнул конный дозор. Дозорных было трое. Передний, очень рослый и статный, напомнил Павлу Иоанна. «Ну вот, снова», — сказал себе Павел и резко повернул Чанка к боковой улочке.

— Стой, сволочь! — крикнул рослый дозорный.

Павел, узнав по силному, словно всхлипывающему голосу Сенекеримова сотника, остановился. Дозорные приблизились.

— Светлейший князь! — восхищенно просипел сотник. — Не гневайся, ради Бога. Дозволь проводить тебя в крепость, светлейший князь.

— Я здесь проездом. Пропусти.

— Нет, дозволь проводить тебя, — настаивал сотник, счастливо таращась и напоминая теперь привидевшегося во сне франка. — Дозволь, ради Бога. Как же ты с одним провожатаем, светлейший князь?

— Не дозволю. Ослепнешь, чего доброго, от моего света. Съесть с дороги.

Настроение было испорчено, и до Нарека Павел молчал.

Во дворе обители он сразу увидел стоявшего возле запряженной повозки Ананию. Тот, заметив Павла, запустил в него взгляд, точно коготь. Павел с опущенной головой подошел к Анании, глухо проормотал:

— Плохо мне. Ты прости, пожалуйста. Плохо.

Тот не отвечал. Спохватившись, Павел торопливо сообщил:

— Григор вчера приходил ко мне. С домоправительницей, кажется. Когда он ушел, я выглянул из окна. Здоровая такая тетка, без платка, бледноволосая.

Анания огладил кадык, сказал:

— Пойдем.

Они поднялись в ту же заставленную ковшами, шелестящую комнату. На пороге Павел промолвил:

— Ты куда-то собрался, а у меня разговор не минутный. Может, вместе поедем?

Анания указал на кресло, в котором Павел сидел два с половиной месяца назад:

— Садись и говори.

— Только не перебивай, ладно? Когда я беру разгон, мне трудно остановиться.

— Говори.

Павел опустил в кресло и заговорил. Он начал с того утра, когда проснулся в нижней комнате от боя звонницы и вышел на заснеженный двор. Любая подробность этих двух с половиной месяцев стала сейчас для него необычайно важной, и он силился не упустить ничего. С какой-то жадностью, как будто он хотел вернуть и не отдавать всего этого, он говорил, как богато искрились звезды и сметенная к стыку крепостных стен снежная горка, и он нырнул в нее, и взобрался на ее верх; выразил и словами, и движениями рук, как накатывались прибойные волны и пенилась речка, и чудилось, что

не она бежит и впадает в море, а море бежит к ней и впадает в нее...

И вдруг он осекся и сам же перебил себя:

— Нет, не оттуда начал.

И повел рассказ с того новогоднего утра, когда проснулся в Большом дворце, рассказал, как в открытую фрамугу втекал морозный воздух и шевелил его волосы, и он вспомнил, что Агния называла их черным костром, и потом размышлял о своей здешней жизни, об отце, о дружбе с Ананией; рассказал, заново окрыляясь, как узнал, что убит Никифор, как морочил царя, шутил с Мушегом, прсщался с матерью, как сюда ехал, как ликовал и оттого, что видит Ананию, и от надежды никогда больше его не увидеть... Все ему стало сейчас одинаково дорого: и вывихнутая в плече рука Урии, и его смешная история о прадедушке и жирном императоре Льве, и безоружная враждебность Карапета, и звонкое бурление своей веселой смелости перед сшибкой с пограничниками, и старый Чанк, которым он заслонился от стрелы, и недавний сон, в котором его развлекала насмешница Агния. Никому и ничему он не отдавал предпочтения, никого и ничего не хотел отдавать, всем и всему действительно не было цены. Одинаково бесценными (он чаще обычного повторял это слово) стали для него и его минутные триумфы, и лишения, и беды.

И так же вдохновенно, как Павел говорил, слушал его Анания, ни звуком не перебив его, даже когда он рассказывал о встрече с Саксом и о приходе Григора. Сама жизнь, ни на йоту не перевранная, сочилась всеми соками и кровью и пела на все лады в его рассказе. Но вот Павел замолчал, опустошенный, ждущий помощи или хотя бы утешения. Выхолосток. А чем утешить такого? Не было уже в Анании отзвука, не было и сочувствия. И Павел, с горечью поняв его безучастность, сузил воспаленные глаза и произнес хрипло:

— Помоги мне, подскажи, как избавиться от *этого*.

Анания долго молчал, нагоняя складки на лобные холмики. Наконец вымолвил:

— От *этого* избавляться не надо. *Это* — совесть твоя.

Павел старательно откашлялся, но опять прохрипел:

— Я ни в чем не раскаиваюсь.

— Похоже, бес в тебе завелся,— предположил Анания.— Смешал в кучу добро и зло и дразнит...

— Точно, точно,— закивал Павел.— Бес. Нет другого объяснения. Но как мне выгнать из себя эту дрянь? Я ведь в последние дни молился столько, сколько за всю жизнь не намолился.

— Тут неподалеку отшельник есть, который берется отмаливать бесноватых. Сын твоего знакомца, сребродела Тиграна.

— Так-так.

— Акопом его зовут. Человек молодой, но зрелый, серьезный.

— Довериться ему можно?

— Больше, чем мне.

— Где его келья?

— Я провожу тебя.

— Спасибо,— взвившись с кресла, произнес Павел своим прежним, мальчишески-звонким голосом.— Я сам. Келья где?

— Примерно на трети пути отсюда к Востану. Перед нею голые бугры, а она под взгорком с тутовником.

— Спасибо тебе, дорогой, и прости, если можешь,— шагая к двери, прозвенел Павел.

На лавке спал Овсеп, нежно посвистывал невидимым в бороде ртом. Павел поднял его раздольно раскинувшуюся на полу ногу, бережно приложил к другой.

— Ыаууу,— вызвнул Овсеп и отвернулся к стене.

Спустя полчаса Павел въехал на площадку перед кельей, позвал:

— Акоп!

Из кельи вылез плечистый человек в почти сплошной орехового цвета чешуе.

«Опять панцирный!» — мысленно воскликнул Павел. Но тотчас опомнился: «Да это же грязныш». Сказал:

— Здравствуй. Знаешь меня?

— Здравствуй. Не знаю,— низким, тягуче-густым зыком отозвался грязныш.

— Я князь Павел Амуни.— С удовлетворением восприняв невозмутимость грязныша, Павел сошел на землю и набросил повод на шишковидный камень.

— Я очень грешен, Акоп,— сказал, оставаясь у камня.— Я загубил...— Задумался.— Сколько же?.. Наверно, около десятка ни в чем не повинных людей.— Вдруг, смущенно хохотнув, проямлил:— Я воин, видишь ли...

— Присядь,— спокойно произнес грязныш и указал на гладкий камень.

— Нет, спасибо, я тороплюсь. Меня в Ване уже повсюду разыскивают.— Снова хохотнул и пояснил:— Я, видишь ли, об отъезде никого не уведомил.— Озлясь на себя за свою неловкость, заговорил внушительно:— Я человек государственный. Мне что ни день приходится авгиевы конюшни чистить. Слышал про авгиевы конюшни?

— Слышал.

— Ну так вот: мудрено шастать по грязи и ничем не замараться, да?

— Да.

Павел озлился уже и на грязныша и, облизнув сохлые губы, едко процедил:

— Знаешь, Акоп, ты чересчур однословный. Ты что, и молишься так же?

Акоп длительно посмотрел на него глубокими, тоже орехового цвета глазами, приблизился к нему и мягко, но и настойчиво промолвил:

— Успокойся. Тебе сейчас совсем нельзя волноваться. Говори

только о деле. Говори так, будто меня нет, будто с самим собой говоришь. Присядь на этот камень и не гляди на меня. Гляди на коня. Красивый конь, любит тебя, слушается. Сядь.

Простые слова и густое течение голоса подействовали на Павла. Он опустился на гладкий камень и, смотря на Чанка, величественно отгоняющего хвостом раннего, бледно-желтого слепня, пересказал не спеша, буднично все, о чем рассказывал Анании. Сообщил и о его соображениях относительно совести и беса. Замолчав, продолжал любоваться взмахами Чанкова хвоста.

— Насчет совести я согласен, — заговорил Акоп. — А беса не чувствую. Не прими мои слова за обиду, но и подлинного раскаянья в тебе нет, потому нет, что ты человек поверхностный. Раскаянье не может пустить в тебе корней. Оно от тебя отлетает. Страдать не умеешь.

Павел стремительно повернулся к Акопу и, впитывая взглядом его жалостливый взгляд, спросил:

— Нет беса?

— Нет.

— По каким признакам определяешь его?

— Страшно становится.

— Ага, страшно. Как же ты отмаливаешь бесноватых? Они ведь накинуться на тебя могут.

— Случалось. Но когда на меня кидаются, я перебарываю страх.

— Ну да! Каким способом?

— Подставляюсь. Не дорожу плотью.

Павел с ехидцей зыркнул на него.

— Не дорожишь оттого, что в тебе излишек ее. Плотный ты, однако же, малый. Ну ладно, что предлагаешь?

— Вглядывайся в наваждение, как бы жутко ни было. Оно может оставить тебя. Ты сказал, что сегодня сумел поспать.

У Павла словно повязка слетела с глаз. Он гадливо посмотрел на грязныша, подумал: «Хоть испражнения смывает?», и повторил:

— Оно может оставить меня?

— Может.

— Так это же прекрасно!

— Нет. Закоснелым злодеем станешь.

— Ну, знаешь ли, ты не всеведущ! Кем я стану, только Богу известно. — Облизал губы. — Вчера один поганец ляпнул, что я мертвый, сухой. А я, глядишь, и его переживу, хотя сухость во мне и точно завелась. — Снова облизав рот, осмотрелся. — Наверху рошица. Значит, и водичка. Или нет, а, всеведец?

— Не ходи туда. — Акоп встал перед ним.

— Пшел прочь, грязныш!

Акоп не шелохнулся. Павел обнажил саблю и плашмя хватил его по виску. Тот, загребая руками воздух, медленно осел на землю, попытался встать, хлопнулся затылком о камень и замер.

Взобравшись с Чанком на вершину холма, Павел двинулся в туювник на родниковое бульканье, обламывая мешающие пройти Чанку ветви; дал напиток ему, попил сам и вышел из рощицы.

Ровной, целостной лазурью сияли небо и море, и, подойдя к обрыву, Павел не увидел линии окоема. Он вглядывался и вглядывался, шурился, напрягая глаза предельно, но видел только свободное, ничем не ограниченное, сплошь лазурное пространство.

«Вот оно — мое. Чего другого я хочу?.. Ничего».

И, радостно осознав, что исполняет назначенное, Павел вошел в простор.





КНИГА ТРЕТЬЯ





СТРАННИК

Дверь в Няниной комнате была двойная, массивная. Сделал ее Тощий Атом, искусный, но, пожалуй, чересчур добросовестный плотник. С тщанием ювелира он ее прилаживал, убирал ему одному видимые неровности, добиваясь, чтобы между дверью и косяком не было нигде и ниточного зазорчика. Няня под конец взорвалась: «Скоро ты, дьявол?!» — «Ско-ро детей де-ла-ют», — безмятежно, со своей обычной расстановкой сказал Тощий Атом, не подозревая, как больно он ранит Няню. Дополнительная дверь понадобилась ей в те времена, когда по ночам она водила мужчин. Водила не ради плотских утех — ими брезговала, — водила потому, что хотела ребенка. Здесь, в Ване, устремленно и напористо стараясь зачать, она ни разу не пропустила подходящего срока, уйму снадобий перепробовала, чародейные заклинания бормотала, принялась даже взбадривать напарников звучными стонами (тогда и потребовалась дополнительная дверь), — и все впустую. Все это продолжалось и после того, как умерла мать Григора. Лишь когда Григора отправили в обитель, Няня словно бы неперерезанной пуповиной ощутила его кровным чадом.

Нужда в дополнительной двери, казалось, отпала. Няня и входную перестала запирать на щеколду. Но однажды Тощий Атом, проходя мимо ее комнаты, отчетливо услышал Нянин голос. Атом решил проверить, не расклеилось ли его изделие, отворил входную дверь и обомлел: Няня держала перед собой деревянного куленка и что-то говорила ему на своем гремучем наречье. «В куклы игра-

ешь?» — выпалил Атом, не раздвинув от изумления слов. «С Торгенгридом говорю. С Богом богов. Не мешай нам», — сердито ответила Няня. Атом заслонился ладонью и вновь выпалил: «С кем, безрассудная, говоришь?» — «Ты что, оглох? С Богом богов Торгенгридом. Ишь загородился!» Атом к поднятой ладони присоединил другую и зачеканил: «Бо-га ис-тин-но-го ве-ли-чать...» Няня молча двинулась на него, вытеснила из комнаты и захлопнула обе двери.

Нет, Няня не была фанатичкой. Не была она и образцовой идолопоклонницей. Когда маленький Григор хворал и привередничал, изображения богов превращались в игрушки. Молилась она редко, да и не столько молилась, сколько разговаривала с богами. С кем, кроме них, могла она поговорить на родном языке? Что еще осталось у нее от родины?

Впрочем, тоской по родине Няня не мучилась. Плохо ей там жилось. Рано осиротев, она и замуж вышла рано; а муж вскоре оскорбился ее холодностью, обозвал белой медведицей и задешево — это до сих пор бесило Няню — сбыв работорговцу. В Ване она обрела родного ребенка, а в домочадцах — около трех десятков приемышей, которых с милой душой обихаживала и пестовала, — ее и на три сотни хватало бы. Однако родина есть родина. В особенности это сознают живущие на чужбине, пускай чужбина и дала им все, чего они желали, пускай облагодетельствовала сверх желаемого. Чужбина и есть чужбина: нет-нет да и напомним пришельцу, что он не свой. А она не напомним, так он сам себе напомним. Мало кто в чуждом ему не усмотрит целого вороха неправильностей, а то и дикостей. Когда подобные наблюдения переполняли Няню, она поверяла их богам. А больше некому было. Ванцы — поразительный народ: чуть не все в открытую, яростно, надрывно клянут свои неурядицы, но посмей только кто-нибудь пришлый поддакнуть им — разорвать могут! В доме Хосрова такими были все во главе с хозяином. Правда, жили в доме еще чужеземцы — пекарь Геворк и его жена Гаянэ, крещенные печенег. Они-то как раз пробовали заводить с Няней беседы про всякие здешние прискорбности. Но Геворк и Гаянэ были чересчур уж разборчивые — разве что одно здешнее христианство не осуждали, — и Няня, вдруг ощутив себя местной, посоветовала им вернуться туда, откуда пожаловали. Примечательно, что дочку (молочную сестру Григора) они непременно захотели окрестить Айланой — прежним именем Гаянэ, и, несмотря на свою новую, горячую и даже пылкую набожность, заспорили с приходским священником, который посчитал это хотение, как он выразился, «демонским соблазном». Обе стороны крепко уперлись, и крестить Айлану пришлось Хосрову.

Итак, Няня не горела в огне своей веры. Вот почему, после того как Григора отправили в обитель, Няня, заскучав по нему, задалась вопросами: а не будет ли она к нему ближе, если перейдет в христианство? Спросила она себя об этом и потому, что Григор настойчиво уговаривал ее креститься, можно сказать, требовал этого. Существенной разницы между Торгенгридом и Саваофом она не видела.

Торгенгрид тоже сотворил мужчину из глины, а женщину — из его ребра, тоже заслушание выгнал их из рая, тоже затоплял мир, а когда люди замыслили построить хижину до неба, смешал языки и рассеял их. Видать, с тех пор, рассудила Няня, люди и называют Творца по-разному и по-разному поклоняются Ему. Отчего же, раз Он переселил ее сюда, не называть Его и не поклоняться Ему, как тут повелось? Но твердой решимости в ней не было, что-то ее удерживало, а что, она понять не могла. В один из приездов Григора она поделилась с ним своими догадками насчет сходства ее веры с христианской. Григор разъяснил Няне, как обстояло дело в действительности: ученики Иисуса, следуя Его наказу, понесли единственно правильное вероисповедание по всей земле; но кое-где, как, например, на родине Няни, старая тьма заволокла свет — не совсем, но замутила. «А вдруг это поповские сказки? — усомнилась Няня. — Тебя-то тогда не было». — «Меня — да, но это говорят святые угодники, а они — сама истина... Слушай, — сообразил он, — неужто креститься надумала?» — «Подумываю». — «Давно бы так! — возликовал Григор. — Пойдем к отцу. Он тебя мигом окрестит». — «Окрестил уже... — проворчала Няня. — Нет, я погожу». Григор уехал, и она, опять заскучав, принялась допытываться у себя: что же ее останавливает? И наконец поняла: жертвоприношение Иисуса. Да, для нее перейти в христианство означало бы не приблизиться к Григору, но поступиться им. В очередной его приезд, когда он заговорил о крещении, Няня хмуро буркнула: «У Торгенгрида двенадцать сыновей, а ведь никем не пожертвовал». К тому времени Григору сообщились ее чувство неперерезанной пуповины; он взял ее руку и поцеловал.

Последние годы трудно дались Няне. Кончину Хосрова она переживала горше, чем дети. Она была почти неотлучно с ним, когда он занедужил и удивительно потеплел. А может быть, именно она и отогрела его. По-матерински.

Вскоре после похорон Хосрова в доме поселился Мушег, ставший самым беспутным ее приемышем. Мушег любил вино, и хотя допьяна напивался редко, но, напиваясь, добродушный, славный Мушег поистине терял человеческий облик: скалился, рычал, издавал срамные звуки, случалось, что и в штаны накладывал... Э, чего не случалось! Однажды он выворотил с корнями яблоню, притащил ее в гостиную, разломал склепанный из дубовых дощечек пол, ткнул яблоню в разлом и ухнул вместе с ней в подполье. Григор такого Мушега не видел (родных тот любил больше, чем хмельное), и, выслушивая жалобы Няни, которая щадила его и далеко не всю правду рассказывала, лишь посмеивался и предлагал относиться к Мушегу терпимей. Легко сказать — «терпимей»!.. Хорошо еще, что Мушег не дрался, хотя порой сулил из всех в доме лепешек наготовить и для убедительности крушил что-нибудь из утвари. Набезобразив и проспавшись, он, повинно-панихидный, с упрятанной в плечи головой, приходил к Няне, раскачивался вкруговую и будто из пещеры вытрубливал: «Уй, не молчи только, уй, все как есть говори, что вчера

было!» Тут уж Няня правды не утаивала, тут уж она и чего не было выпаливала вгорячах и, как винты, ввинчивала в расслабленного, нестойкого на ногах Мушега. «Боже правый, какой срам! — взрывкивал он и колотил себя по толстому лбу. — Как людям в глаза смотреть? Ууууу!» — «Ладно, хватит убиваться, — сжаливалась Няня. — Все забудется. Но впредь — ни глотка! Нельзя тебе, слышишь? Ни капли!» Мушег истово кивал, клятвенно зарекался пить, действительно не пил и дней пять бывал кротким, как овечка. Затем постепенно мрачнел, делался раздражительным, вспыхивал от пустяка, и все кончалось тем, что Няня сама распечатывала и ставила перед ним винный кувшин. «Бокальчик в день, да? — благодарно светлея, говорил ей Мушег. — Нет, по бокальчику перед едой. А больше — ни-ни. Спасением души клянусь». Это означало, что следующее безобразие предстоит примерно через месяц.

Поскольку при родных Мушег до беспамятства не напивался, Няня какое-то время утешалась надеждой, что он перевезет оставленную в Джанке на попечение шурина семью. На первых порах он постоянно твердил об этом. Однако не минуло и года, как Нянины боги узнали важную новость: Мушег сошелся с Айланой, и, похоже, сошелся всерьез. Недурная собой Айлана была задавакой и жуткой лентяйкою. На лице она хранила такое выражение, чтобы любой зрячий мог увидеть: эта заслуживает кой-чего и получше стирки и глажки. Няня частенько ее шпыняла, но, когда у Айланы стал расти живот, подобрела к ней, приняла в расчет ее болезненную лень и даже от мытья посуды освободила. Для Няни и зародыш был ребеночком. К тому же Мушег, отец бессчетных дочек, когда Айлана призналась ему в беременности, загрезил о сыне, совсем бросил пить, и у Няни вновь появились основания надеяться, что хмельные бури перестанут содрогать дом. Огорчительно было только, что вместе с животом возрастало зазнайство Айланы, — это про таких сказано: «Видом — роза, изнанкой — заноза». Почесываться от ее дерзостей случалось и Няне с Мушегом. Зато они в ту пору жили в совершенном согласии и всячески ублажали Айлану. Но она и половины срока не проносила. Тут уж Мушег все упущенные бокальчики добрал. Правда, без буйства (родным уже стал ему дом), однако для Няни это было слабым утешением: по мертвому ребенку она горевала, может быть, не меньше Айланы. Спустя несколько месяцев беременность и выкидыш повторились. Айлана начала мечтать о ребенке так же страстно, как некогда мечтала Няня, и сходный, такой же неумолимый и насмешливый рок вытрясал из нее зародышей. Она с ума сходила, когда многодетная повариха Варсик разрешилась двойней, — на весь дом вопила Айлана, что Варсик у нее украла младенцев, и никто не попрекнул ее, помраченную.

Вот так с добряком Мушегом вошло в дом одно зло, а потом заменилось другим, куда худшим. В последний раз Айлана понесла прошлым летом. Няня тогда особенно бережно и мягко обходилась с нею и уверяла себя: «Будет у ней свой Григорик, будет!» И надо же — именно Григор, сочувствуя законной Мушеговой жене, сильно

невзлюбил Айлану. Тогда (было это уже в октябре, так что Айланина беременность была различимой) Григор, приехав домой, заглянул на кухню и застал Айлану вдвоем с Няней. Айлана держала в горсти соленый гриб и визгливо внушала Няне, что грибы посолены слишком круто. Айлана стояла лицом к двери, но, то ли в запале не заметив Григора, то ли ей все равно было, что он слышит, как она задает Няне нагоняй, продолжала поучать ее, каким должен быть грибной засол. Григор, пораженный наглостью Айланы, а еще пуше смиренным Няниным молчанием, подошел к Айлане и тихо спросил: «Знаешь, отчего у тебя выкидыши?» Разалевшаяся Айлана побелела и притушила свои кошачье-искристые глаза. «От вредности!» — крикнул Григор. Айлану будто выдернули из кухни. Он повернулся к Няне. «Что ты ей позволяешь?» — спросил тем же криком. «Это ты себе позволяешь, — тоже повышенным голосом откликнулась Няня, — она же грузная». — «Ну и что? Она уже сотый раз грузнеет, дева непорочная!» Дальше разговор пошел быстрый, отрывистый и, как показалось Григору, бессвязный с Няниной стороны. «Да, непорочная, — твердо сказала Няня, — такая же непорочная, как Пресвятая Дева». — «Что, что? Айлана что, без греха зачинает?» — «Вот зачтокал! Всякий младенец непорочен, а раз так, то любая, в ком он есть, непорочна, ясно?» — «Нет, не ясно, — уже снисходительно и поспокойней сказал он. — Женщина, даже замужняя, в грехе зачинает и грех вынашивает. Любой человеческий младенец грешит уже в утробе». — «Младенец в утробе грешит? Да ты совсем спятил! Набрался дурацкой брехни и сам сдурел! Вот уж чего не знала, так того, что ты во мне гре...» Пристально и отстраняюще, точно не узнавая, она оглядела его. Григор, все наконец поняв, помялся и робко предложил: «Хочешь, я пойду к Айлане и извинюсь?» — «И близко не подходи к ней! Не нужны ей твои извиненья дурацкие! И ко мне не подходи близко!»

Навряд ли бы скоро улегся Нянин гнев, если бы не общее для всего дома горе: вечером того же дня умер Толстый Атом. Умер он внезапно и, по-видимому, легко. Может быть, что и во сне умер. Правда, лежал он в сторожке на полу, но глаза его были закрытыми. Возможно, его, спящего, столкнула с лежанки смерть, — в то, что было так, хотелось верить всем в доме...

Уход Григора из обители беспокоил Няню, однако несколько не огорчил. Еще нетерпеливей Анании ждала она, чтобы положение Григора определилось. С прошлой зимы он загащивался дома. Однажды Анания, встревоженный его долгим отсутствием, сам приехал за ним и увез силком. Впрочем, Григор и дома был неприкаянным, посторонним каким-то. Няня объясняла это усталостью. «Отучится и вернется, — убеждала она себя. — Мало ли черных священников становятся белыми? Получит здесь приход, может, и царским духовником станет, вроде отца, а там, глядишь, женится и посыплется ко мне в подол внучата...»

Когда Овик, посетив Григора в Ване, рассказал ей о двух арабках, из подлой корысти залучивших Григора, мысль об отступном

тотчас пришла ей в голову; однако в эту подлую корысть она не очень-то поверила. Разве ее Григорика нельзя любить бескорыстно? Чем он плох? И собой загляденье, и умен, и учен. А то, что не беден, ничего не доказывает. Неужто бескорыстным женщинам подобает любить одних нищих?.. А вдруг и арабка достойна его любви? Разве Овик и Анания что-то понимают в женщинах?.. Но возражать Овику она не стала. Удрученно поцокала языком, промолвила, что все образуется, и как бы между прочим выпросила, где находится этот клопный вертеп. Зная, что Григор перед сном обычно прогуливается, она подумала, что сможет увидеть их вместе. На следующий день, под вечер, она, обмотавшись платком, отправилась на западную окраину, с полчаса поплутала (Овик расписал ей конуру), и возле вполне приличной ограды услышала голос Григора и другой, женский. Ограда упиралась задником в обрывистый холм. Там Няня нашла подходящую для обзора щель. Было уже сумеречно, но Няня сумела разглядеть Лейли и внешностью ее осталась довольна. Они говорили о своей будущей жизни. То есть говорил об этом Григор. Он просил ее креститься, чтобы жить с ним законно. Лейли отшучивалась — уверяла, что он чересчур красив для нее. Что-то в голосе Григора не понравилось Няне. Она прислушалась. Очень уж он распинался, очень цветисто говорил. Совсем это не было на него похоже. А то, как отвечала Лейли, наоборот, понравилось Няне. «Лишнего не говорит», — подумала она. — Насмешничает, а голосок плачет. Любит его».

Придя домой, Няня вспомнила, каким Григор весь минувший год был дома. «Рассыпанный он какой-то. Что с ним творится?.. Ну приглянулась ему женщина, ну согласилась с ним пожить, но зачем на ней жениться? Зачем он себя морочит? Ее — ладно, но себя-то зачем? А может, он просто играет с ней?..» Но утром Няня решила: Григор не способен прикидываться. Перемудрила она. Все это — вздор, все это ей причудилось.

Несколько дней Няня гнала от себя свои сомнения, но в конце концов не выдержала и опять пошла на западную окраину. На сей раз то, в чем она подозревала Григора, сказала ему Лейли, — сказала, что он хочет обмануться. Он страшно возмутился, довел себя почти до неистовства, но он безотчетно притворялся. Няня снова стала вспоминать его, прошлогоднего, — рассеянного, словно бы отсутствующего. Конечно же, ему и дома было худо. Он и домой не хочет. Но хуже всего, что в нем завелась неправда. Это для него по-настоящему опасно. Он очень похож на отца, а отец говорил ей, что удар хватил его в тот самый день, когда он впервые в жизни солгал. Григорик молод и крепок, но ложь, видать, уже изнурила его. Ни домой, ни обратно в Нарек он не хочет, а один быть не может. Вот и нашел подпору, и гнет ее, как ему надо... И ведь что обидно: как раз по себе нашел женщину — честную, умную, красивую, а пичкает ее ложью, заставляет отказаться от своего Бога, от самой себя отказаться. Ну, у нее есть мать. Пускай и заботится. А Григорика нужно уводить от них.

Беспристрастно установив предельную цену Григору на невольничьем рынке — двадцать номисм,— Няня решила дожидаться возвращения Мушега, которого Анания зачем-то вызвал в Нарек. Мушег вернулся чрезвычайно недовольный Григоровым греховодничаньем (раньше-то он был доволен — еще бы! — этим замазывалось его собственное распутство); они обсудили вероятность неудачного разговора с матерью Лейли,— тогда Мушег прикажет надежным воинам вывезти их обоих из царства,— и на завтра Няня привела Григора домой.

Через день приехали Анания с Овиком, и начались ссоры и крики. Няня подслушала из соседней комнаты (это и подслушиваньем не назовешь — так они кричали) их пререкания. Спорили из-за убившегося князя Павла. Григор кричал, что он виноват в его смерти. Анания, перекивая его, винил себя. То один, то другой высказывали в коридор, а Овик, тоже крича, ловил их и втаскивал обратно. Няня, старательно силясь понять, кто и в чем виноват, вскоре поняла, что никто и ни в чем не виноват, что Павел просто свихнулся, а свихнувшись, посмел ударить Григорика, который сказал ему, что он не живой. «И правильно сказал,— подумала Няня,— не человек был, а сон какой-то, был, а как не был... Из-за чего кричат?» Крики продолжались два дня,— все о Павле. Об арабках никто и не вспомнил. Наконец Овик увез охрипшего, но упиравшегося Ананию, а Григорик сел работать. Работал — как обычно: то затворясь у себя, то бегая по саду с красным лицом и дрожащими руками. Потом опять приехал Анания, и опять был крик. Анания спросил его: «Что это за листы на столе?» Григор не ответил. «Много листов,— сказал Анания.— Это отраднo, что ты работаешь. Показал бы...» — «Показал? Как бы не так! Я сам работать хочу! Я не хочу, чтобы ты работал мною! Черта лысого я тебе покажу!» Раздался шум разлетающихся по комнате листов и крик Анании: «Дрянь неблагодарная! Мизинцем не шелохну для тебя!» Анания тут же укатил в Нарек, а Григор кинулся на кухню и съел почти все, что стояло на плите. «Уедет в какой-нибудь захудалый монастырек или в отшельники подается,— тоскливо думала Няня.— Ему сейчас чем хуже, тем лучше. А худое — оно и есть худое. Ох, не было горя...»

Она его ни о чем не спрашивала, ничего не говорила ему о своих догадках и тревоге за него, памятуя слова Хосрова, сказанные ей перед отправкой Григора в Нарек: «Никогда не лезь к мужчине с расспросами да советами. Мужчина — что вон та яблоня за окном. Она сама знает, когда плоды сбрасывать. А станешь трясти — может по голове достаться». Няня нашлась бы что ответить, потому что эту драгоценную Хосровову яблоню сама не раз трясла для ее же пользы — чтобы от тяжести сучья не обламывались. Но тут Хосров, видимо, желая сгладить чрезмерную резкость сказанного, добавил: «Стоит ли трясти мужчину, если в этом нет выгоды?» Вот эти слова, надо отдать им должное, были вполне разумные, и Няня промолчала. Терпеливо молчала она и теперь. «Придет срок — сам заговорит».

Приснилось ему, что он и дядя живут в Константинополе и занимаются перепиской и продажей чужих книг. Своего они больше не пишут, поскольку любая чужая книга несравненно прекрасней всего, сочиненного ими. Оказывается, они были нукудышными писателями. Они и переписчики дрянные, но чем-то заниматься надо же. И вот они стоят на торговой площади за лотком, заваленным книгами. Стоят понапрасну. Там и сям — толкотня, деловитый галдеж, монеты звякают; а к ним никто не подходит. Ну хоть бы полистали их товар — неужели по их лицам заметно, что книги переписаны кое-как?.. Странно... «У меня идея!» — восклицает дядя и куда-то срывается. Он вечно без толку шныряет туда-сюда. Вот плетется назад. Вид у него неутешительный. По меньшей мере раз десять с непристойной громкостью сокрушенно щелкает языком и вдруг не своим, гулким и раскатистым голосом кричит: «Смотри, смотри! Какая удача! На нас обратили внимание!» Григор смотрит в направлении вытянутой дядиной руки и видит долговязого и долголобого старика, который действительно наблюдает за ними. «Ха-ха-ха-гу-гу-гу!» — громopodobным смехом закатывается дядя. — Ты разглядел его? Это же немыслимая удача! Это же иудей, который часто бывает в Эчмиадзине! Ха-ха-ха-гу-гу-гу! Тот самый иудей!»

— Эээй-хаа-ухх-эй! — проснувшись, услышал Григор, потом хлопанье тяжелых крыльев, и филин улетел. «Все правильно. Нужен я там, как горчица после сладкого, — захолустник с бедным и несвободным греческим... Я там и себе не нужен. В Ани, только туда...»

Темнота за окном была темнее комнатной. Комната изучена. В ней и мрак — не мрак. «Во всем ищу подтверждения. Значит, нетверд».

Немного полежав, он поднялся, подошел к окну, взглянул вверх. Тусклая голубизна пятнилась в яблоневых кронах. Каким-то смутно узнаваемым спокойствием повеяло от этих пятен — чистым, ни одной соринкой не тронутым, очень светлым. Он внимательно оглядел эту пятнистость, четко обозначенную очертаниями листьев. Спокойствием веяло от нее потому, что была в ней определенность... нет, больше чем определенность — поразительная уместность. Почему — поразительная? Просто уместность. Или — обязательность, неременность. Да, так тоже можно сказать... В детстве, в первом детстве, да, в наипервейшем, это спокойствие было обычным, а утратилось... «Надо сначала поймать, закрепить надо, не то уйдет. Ну... Ну... Тонкая прохлада. Да, точно. Тишина, постепенно голубеющее небо, обросший росой сад, и во всем — тонкая прохлада... Ай, хорошо! Ай, спасибо! И записывать ни к чему — не забудется, не сможет забыться».

Все-таки он зажег свечу и через весь лист наискось вывел: **ТОНКАЯ ПРОХЛАДА.**

Да, одиннадцать лет назад утратилась эта спокойная определенность существования. Ровно полжизни назад. Тогда был тоже май, тоже утро... Нет, ночь была, звезды еще горели. Но было так же

тихо, как теперь, только тогда тишина тяготила, и он шуршал постелью, потом — одеждой, потом шаркал и стучал башмаками, и всего этого шума было ему мало...

Григор оделся и, не грохоча, как тогда, дверьми, вышел из дома и направился в сад. Шел медленно, почасту останавливаясь и оглядывая узнаваемые веи своего тогдашнего пути. Вот поленица с конусообразным навесом, на котором влага не задержится. Вот покосившаяся, слишком длинная груша. Почему — слишком? Какая есть. И как следует подперта жердью. А вот накрытая дощатым настилом впадинка. Ее проще было бы засыпать, но так уютнее. А вот и отцовская яблоня. Могучая, пышущая здоровьем старуха. Тогда он взобрался вон на тот сук, сорвал неспелый плод и грыз его, выплевывая кисловатую кашицу, — прямо Адам новоявленный! А после все стало неспелым, досрочным, как то обгрызенное и выплунутое яблоко. И странно-необязательным стало... Нет, необязательным все для него стало раньше. Не сгрызи он яблока, как-нибудь иначе въелась бы в душу эта странность. Дело не в яблоке, а в том, что он гремел башмаками, скрежетал и хлопал дверьми, когда дом спал. Дело в той вседозволенности, которая уже тогда переполняла его. Уже тогда он пыжился, раздувался от спеси, находя более или менее точные определения — и чему?! — самой определенности. А после потянулось покаяние. Вернее — нравящееся людям самомордование, которым он также кичился и наслаждался. Ну и что с того, что в его покаянных стихах люди находят минутное утешение?.. Да, утешение — это неплохо, но зачем кичиться? Дано тебе — вот и делай. А он стал вроде бычьего пузыря, который от надутости так истончился, что лопнет, наткнувшись и на соломинку... Хватит. Прошлого не исправишь, нечего ворошить. Надо сберечь в себе это дивное спокойствие, сберечь хотя бы для разговора с Няней.

Он быстро зашагал к дому и уже на выходе из сада ударился коленкой о край чугунной скамьи, охнул от боли и завопил:

— Будь ты проклята! Ты и тот, кто тебя тут поставил!

Хромая, подпрыгивая и охая, вбежал к себе, задрал штанину и увидел багровеющий и на глазах прибывающий отек. «Все равно завтра уйду», — прошипел он коленке и, держа на весу зашибленную ногу, проскакал к постели.

Из окна донеслась приглушенная ругань Мушегова оруженосца. Мушег сегодня уезжает в Джанк, где жена родила ему восьмую дочь. Вскоре раздался его голос:

— Коней пшеницей кормил?

— Отборной! — воскликнул оруженосец. — Истинный крест — отборной!

Мушег вызвнул протяжное «а» и посулил:

— Затрещат по-ячменному — голову отрежу.

От крыльца донесся голос Няни:

— Подарки не забыл?

— Взял, — скорбно пробасил Мушег. И чуть погодя: — Чего это Григорик заспался?

— Вы вчера целый день прощались,— сказала Няня.— Сколько можно?

Голоса удалились. Григор, побряхтывая, встал, допрыгал до шкафа, снял с крючка старый подрясник, оторвал от него подол и, стараясь не глядеть на отек, туго замотал коленку. Прошелся по комнате. Ничего, сносно. Подошел к киоту, сосредоточился, шепотом прочитал Шестипсалмие, спел Аллилуйю. Снова походил от окна к окну. Зашибленная нога давала себя знать. «Э, ничего, елей здесь, а сливочное масло принесу вместе с завтраком».

Со двора послышался голос многодетной Варсик. Григор вышел в коридор и направился на кухню. Войдя, остановился: Няня была там. Что ж, придется поговорить сейчас. Бодро сказал:

— Доброе утро.

— Доброе утро,— глядя на его зашибленную ногу, откликнулась Няня.

Он досадливо фыркнул.

— Я все видела,— сказала она.— По-людски ходить не умеешь. Вечно носишься.

— Не ворчи. Потолковать надо.

— Сперва поешь.

— Не хочу.

Она равнодушно глянула на него и пошла к рукомойнику. Долго и основательно, до локтей, мыла руки, долго вытирала. Он терпеливо ждал.

— Ко мне пойдем,— наконец сказала она.— За моими дверьми покрывать сможешь.

— К тебе так к тебе. Только кричать я не буду.

В коридоре к ним подошел Тощий Атом и, усердно разламывая слова, сообщил Няне, что Газарос нынче опять женится на Маро. (Столетние Газарос и Маро обеспамятели и то и дело справляли алмазную годовщину своей свадьбы.)

— Ну и что? — спросила Няня.

— Те-бя при-гла-ша-ют.

Она пошла на кухню и вернулась с тарелкой ватрушек.

— Отнесешь им от меня, поздравишь и скажешь, что зайду позже.

В комнате она закрыла входную дверь, дополнительную и окно. К стоящему у окна стулу приставила другой. Спокойно потребовала:

— Сядь и положи ногу.

Он подчинился и, глядя на лежащую ногу, произнес:

— Я ухожу.— Усмехнувшись, повторил на Атомов лад: — Ухо-жу.— С опаской посмотрел на нее, окаменевшую, и добавил: — Вообще ухожу.

— Как это — вообще? Куда?

— Туда, где меня не знают.

— Из царства, стало быть.— Помолчав, осведомилась ядовито: — А ты знаешь, что это такое, когда тебя не знают? Когда ты — никто? А?

— Вот как раз это я и хочу узнать. За этим и ухожу.
— И долго ты узнавать собираешься? — спросила она деловито. — Сколько примерно?

Он пожал плечами.

— Извещать о себе будешь?

— Нет.

Она посмотрела на него так, точно он смертельно наскучил ей, и начала открывать окно.

— Мне двадцать два года! — крикнул он в ее необъятную, шире окна, спину. — Двадцать два! А что я видел? Ничего!

Она повернулась к нему и с удовольствием спросила:

— Что ты хочешь увидеть?

— Людей! — проорал он и, спохватившись («Добилась-таки своего!»), глухо произнес: — Я без людей не могу.

Она подошла к нему, подняла его соскочившую со стула ногу и вернула на место. Сдержанно любопытствовала:

— Тут тебе людей мало?

— Отчего же? Людей хватает. Но вы их от меня заслоняете — ты, дядя, Овик, Мушег. В особенности — ты. Не обижайся, сама знаешь, что это так.

— Ну, раз так, иди в Сюник, — живо ответила она. — Все говорят, что там монастыри не хуже Нарека. И знакомых там много.

— Поэтому я и не пойду туда. Идти туда — почти то же, что здесь остаться.

— Ага. К грекам, значит, навострился. В Константинополь небось. Ну да, там тебя ждут не дождутся. Целая толпа встречать выйдет. Туда навострился, значит?

— Так я тебе и доложил, куда навострился! И по-доброму прошу: не ищите. Найдете — и мне, и себе хуже сделаете.

Она отрывисто, как зверь, втянула ноздрями воздух, раскрыла было рот, но промолчала.

— Вот и потолковали, — облегченно сказал он. — Чего бы мне поесть?

— Погоди. Когда ты хочешь уйти?

— Завтра на рассвете.

— С такой ногой?

— С какой?

— Покажи ее.

— И не подумаю. Ты из-за этой царапинки ахать начнешь.

— Верхом отправишься?

— Пешим.

— Но почему завтра? Надо собрать вещи, все обмозговать надо, чтобы не забыть чего-нибудь. Это сразу не делается. Я так не могу.

— А тебе ничего делать не надо. Я теперь сам все делать буду.

Няня снова пошмыгала носом, покачалась вперед-назад, сложила на груди руки и спросила:

— А что я скажу дяде и Овику?

— Можешь ничего не говорить. Я им письмо оставляю. А станут расспрашивать — скажешь то, что я тебе сказал.

— Все-таки ты уж дозвожь мне собрать тебя. Так мне спокойней будет. Уйдешь послезавтра.

— Нет, — жестко отрезал он, встал и, совсем не хромя, прошелся по комнате. — Вдруг дядя или Овик заявятся? Завтра, завтра, и все, хватит об этом.

— Но почему тебе не поговорить с дядей и с Овиком? Попрошайся хотя бы...

— Не будет ни разговора, ни прощания — крик будет. Слушай-ка, хватит.

— Ладно, — сказала она, внимательно следя, как он ставит зашибленную ногу. — Ступай есть.

План был такой. Идти к северо-западной границе, туда, где из захваченного греками Тарона непрерывно прибывают беженцы. Основная их масса ищет приюта в Ани. Глава монофизитского христианства, анийский Ашот, говорят, впускает их без дотошных разбирательств. Мантия черного священника послужит пропуском. Греки гадают в монастырях, лошадей в храмах помещают, и иноки бегут из Тарона. Едва ли его задержат. Он идет не со злом, а такое чувствуют все. Конечно, чувствуют. В Ани (не забыть бы, что анийцы называют себя только армянами), итак, в Армении, на северной окраине столицы, находится обитель Святого Духа, где монашествует знакомый человек — ключник Корюн, с которым он, можно сказать, подружился во время нашествия анийских, то бишь армянских монахов. Корюна вместе с несколькими его земляками продержали пару месяцев в Нареке. Невежественный, как и прочие, он, единственный среди них, стремился просветлеть. Особенно его занимали еврейские цари — кто хороший, а кто плохой. Григор, несмотря на дядины охи, подарил Корюну Библию и, по его просьбе, вычертил на внутренней стороне обложки таблицу, где хронологически перечислил всех царей, а сбоку от имени каждого поставил либо крестик, указующий, что царь хороший, либо направленную книзу острiem стрелку. Корюн затем эту таблицу усовершенствовал по собственному усмотрению: так, сбоку от имени Давида понаставил с десяток крестиков и накорябал: «Лутши ис лутши», а сбоку от имени Соломона, узнав, что тот в угоду смазливym язычникам воздвигал идолов, заменил крестик стрелицами и снабдил их надписью: «Савсем нихароши». Каким Корюн был сам, Григор тогда не задумывался, а теперь, когда это стало важно, определить затруднялся. Внешность Корюна свидетельствовала не в его пользу. Это был громоздкий, страховидный детина, порядком обеззубевший, и его сохранившиеся клыки при улыбке — а улыбался он как-то очень усердно — просто пугали. Впрочем, нарекца там никто не примет с распростертыми

объятиями. Погонят — пойдет в другой монастырь. Где-нибудь прикнется. Где же нибудь нужен здоровый мужчина, согласный и на то, чтобы на нем воду возили. Значит, прежде всего — раствориться в толпе беженцев.

Сам по себе план был превосходен, но к исходу первого же дня пути пришлось от него отказаться. Григор шел кромкой моря и целый день не нашел судна, которое переправило бы его на западный берег. Обходить море сушей значило бы давать изрядный крюк, тратить по меньшей мере неделю. Можно бы и потратить — спешить некуда, но посвербливало зашибленное колено, а впереди — крутые подъемы и спуски. Деньги, которые он взял с собой, были на подаяние беженцам. Расходовать даже толику их на ослика — не хотел. Да и коленка не очень донимала. Легкий он был, опорожненный. Все тяготившее оставил дома, в плотной стопке листов. Поклада — смена белья, глиняная бутыл с водой, хлебные лепешки и кошелек — поместилась в удобной ременной сумке. День выдался прохладный, время от времени сеялся дождик. Ходьба по свежей, словно подметенной дороге доставляла удовольствие. В полдень лодочник, мгlistый почти до невидимости от загара, перевез его через разлившийся Мермет. На берегу Григор перекусил и к вечеру добрался до разлившегося Арешта. Здесь надумал заночевать, а решение, брат западней или к северу, отложить до завтра.

На взгорке у реки жалось хлипкое, покосившееся подворье. Кругом — навьюченные до предела телеги. «Перекупщики, — понял Григор. — Ранние овощи разбирают. О лежанке и заикаться не стоит». Он вошел в харчевню, присел к столу, вернее, к двум щелистым, кое-как сколоченным доскам, возле которых хлопотала низенькая бокастая женщина, разнося еду и прихватывая пустую посуду. Вскоре перед ним задымилась рыбная похлебка. Он живо умял ее и лишь тогда осмотрелся. У едоков были усталые, сонные лица. Насытись, немедленно распахивались и выходили. Но напротив него сидел явно не перекупщик — подвижный, верткий человек в чистом белом пыльнике, изукрашенном на плечах багряной вязью. Заметив, что Григор поглядывает на него, он облокотился на стол и с мечтательным выражением оттянул ушную мочку. Потом передвинулся по лавке к Григору и спросил:

— Ванец? — Не дожидаясь ответа, закивал: — Сразу видать. — Сообщил доверительно: — А я из Тарона. В Ани топаю. От своих отстал. Такая вдовушка подвернулась — просто ах! — Из его шафранных глаз выметнулись счастливые искры. — Ну вдовушка! И бывают же такие!

Григор без веры осведомился:

— Почему напрямик не идешь?

— Пробовал! — закричал таронец. — Сто раз пробовал! Там загор, на границе. Анийцы туда ух сколько войска понагнали! Всех допрашивают, обыскивают, мурыжат. Нет, туда отсюда надо. Я знаю тропинку через Цахканц. На ней, и захочешь, ни одного пограничника не встретишь. Вот те крест!

Григор опять смерил взглядом этого неясного, но, похоже, бывалого человека и предложил:

— Может, вместе пойдем? Мне туда же.

— Вместе так вместе, веселей будет, — часто закивал таронец. — Тебе куда там?

— В столицу.

— И мне. Но там, у ворот, страшенную пошлину дерут. Серебряный динар. — Он вздернул плечом, щекой, изобразив: «Как же им не стыдно!», и примолвил: — Представляешь, с монахов — тоже.

— Ты кто? — не выдержал Григор.

— О! — Окнув, таронец всплеснул руками, и при этом рот вспрыгнул у него к самому носу. — Кто я? Хм! Кое-кто! Я знаменитейший в Тароне лицедей. Я фараона изображаю. Того, что не пускал Моисея в обетованную землю. — Снова взмахнул руками, снова подкинул рот к носу и вскричал горестно: — Знаменитейший! Прославленнейший! Там передо мной все двери настезь! Я бы оттуда ни шагу, если б не сволочи греки! Да и с ними ужился бы, хоть я монофизит испытанный, проверенный, проваренный и прокипяченный! Но наш заправила — он Моисея изображает. Не хочет представлять его перед дифизитами. И нам бубнит, дудит, что не по совести забавлять их. А они, подлюги, поганцы, стервецы, пристают: забавляй, не то землю грызть будешь! — Он поднял к глазам ладонь, всмотрелся в нее и торжественно, с необычайной убежденностью изрек: — Я не грызун, не тушканчик какой-нибудь.

Григор расхохотался и сквозь смех проговорил:

— Знаешь?.. Ой, до чего смешно ты высматривал тушканчика!.. Когда-то и я хотел быть лицедеем... — И, взглянув на величаво застывшего таронца, опять зафыркал.

— Нет, из тебя лицедей никакой, — еще убежденней сказал таронец. — Не годишься, нет. Ты весь нараспашку. Нету в тебе того, что мы зовем благородной жилкой притворства. Это тебе не тьфу! Это призвание, дар, соображаешь? Э, не соображаешь... — вздохнул он. — Но ты иеромонах, человек ученый. Должен сообразить, должен. Сейчас я тебе все растолкую. Царицей Савской можешь притвориться? Царицей Савской, которая прикатила к Соломону, чтобы влюбить его, но влюбилась сама и до того от любви ополоумела, обезголовела, обестолковела, — он затряс кулаком у лба Григора, точно вколачивая ему в лоб эти однозначные слова, — до того оглупела, что на всякие нехитрые загадки его — ни гугу?.. Погоди, погоди, сейчас все поймешь. — Он отвернулся, поник мягко, и Григор увидел возле себя смущенную, приманчиво-безвольную женщину. — Ну что, — вдруг сердито спросил таронец, — бабой прикинуться можешь? Просто такое сделать?

— Ты прав, — серьезно ответил Григор, — непросто. Слушай, давай познакомимся. Тебя как звать?

— Овиком.

— Овиком!.. — расплылся Григор. — Надо же!.. У меня брат Овик. А я Григор.

Таронский Овик с достоинством протянул ему руку. Это понравилось Григору. «Не робеет перед черным священником,— подумал.— А чего ему робеть? Чем он меня плоше?» Понравилось Григору и то, что лицедей, скорее всего из учтивости, не любопытничает, зачем он пробирается в Ани. Харчевня уже опустела. Вышедший из кладовки пожилой пасмурный человек, вероятно хозяин подворья, делал вид, что не смотрит на них. Григор достал из сумки горсть меди и положил на стол.

— Что такое?— удивился Овик.— Ты ведь инок.

— Позволь за тебя расплатиться. Лишние деньги есть.

— Плати, раз лишние,— равнодушно сказал тот и спросил мельком:— Много их, лишних?

— Динаров сорок наберется.

— Серебряных?

Григор, невольно наморщась от дурной мысли, тут же прогнал ее.

— Есть и золотые.

— Знаешь что,— легко сказал Овик,— перед тобой этот весельчак,— небрежно махнул на пожилого и пасмурного,— конечно, сам лежанкой расстелется. Но мы же вместе, а? Нехорошо будет, если ты заночуешь под крышей, а я под дождичком. Как считаешь?

— А я и не собирался выпрашивать лежанку,— обиженно ответил Григор.

— О! Сразу видно человека со смыслом. Вместе так вместе. Ты попроси у него охапку сена. Притулимся под кустом, а сверху твою рясу развесим.

Григор подошел к пасмурному.

— Ты хозяин?

— Да, святой отец.

— Разреши, пожалуйста, взять сена для нас двоих.

Хозяин с недобрый прищуром зыркнул на Овика, поинтересовался.

— Давно его знаешь?

— Здесь познакомился.

— Святой отец, я для тебя лежак найду. А этого прощелыгу ты брось, пока не поздно.

— Сколько заплатить за охапку сена?— утончившимся голосом спросил Григор.

— Какая ему цена? Но ты хоть сумку свою на ночь с плеча не снимай. Молодой ты, вот что я тебе скажу.— И он скорбно вздохнул, давая понять, что ничего хорошего в молодом возрасте не находит.

Над морем розовела закатная полоса, сулившая погожее утро. Они устроились под ветвистым сиреневым кустом, набросили на него рясу, края завязали узлами. Покуда Овик раскладывал и уминал сено, Григор, отойдя, прочел стихи из «Боже, помилуй нас». Потом сошел к реке, с ровным шелестом трущейся о берег, снял

подряник, умылся. И тут услышал, что Овик поет, поет сипловато, но так мелодично, с такой душой и такие дивные слова выпевает, что замер от восторга. Все было прекрасно в Овиковой песне: ее простой смысл, ее невинная чувственность, ее частые повторы и даже сиплые трели, которые он выпускал после каждой несущей какое-либо сведение фразы. Овик допел, и Григор бережно, по словечку, перебрал и закрепил в памяти это дорогое приобретение.

В небе не видать ни звёздочки.
Над водой плывет туман.
Две свечи везу я в лодочке,
Две свечи на Ахтамар.

Там, в береговой часовенке,
Я затеплю разом их,
Там, в береговой часовенке,
Я затеплю нас двоих.

Возле алтаря, как звёздочки,
Вспыхнут огоньки свечей.
Две свечи везу я в лодочке,
Чтобы ты была моей.

И все-все увидел Григор. Увидел будто бы взросшую из моря Ахтамарскую обитель с ее угластыми, суровыми, воинственными очертаниями, и эту действительную, стоящую на самом берегу, нередко затопляемую часовенку, и деревенских парней, которые степенно-стеснительно зажигают слева от алтаря, в большом чугуном жертвеннике пары свечек, а если заходит дряхлый епископ Бабкен, просят его благословить не их, а их свечки, и он дрожащей, старческой, ссохшейся до размера младенческой ручкой всегда с ласковой готовностью крестит их огоньки... И себя Григор увидел в этой часовне, насквозь опрятного, безгрешного в такой миг, умиленного, что все так, а не иначе... Ай, хорошо, что не иначе! Ай, спасибо!

Он подошел к уже улегшемуся под кустом Овику и сказал восхищенно:

— Какая песня! Я там неподалеку жил, в Нареке, и на Ахтамаре бывал, а этой песни почему-то ни разу не слышал. Вот песня! Чудо!

— Хм! «Чудо»! Я тебе завтра тысячу таких напою. Спать давай.— И он сипло зевнул.

— Нет, песня редкостная,— не отставал Григор.— И до чего дивно ты спел ее! Волшебно спел!

— О! Тут ты в самую сердцевинку угодил!— оживился Овик.— Спел я ее лучше не надо. Это я голос упражнял. Я его постоянно упражняю, изошряю, развиваю,— понимаешь меня? — изгибаю свои и без того гибкие горловые мышцы, гибкие и сладостные, чтобы они до конца дней моих не задеревенели и не заплесневели. Понял?

— Понял.

— Ну спи.

И он мгновенно захрапел. А Григор долго расхаживал вокруг куста, любовно поглядывая на Овика и напевая про себя песню. Чем она была еще прекрасна, так это созвучиями, милыми колокольчиками, обзванивающими и скрепляющими ее. Эти залиvistые колокольчики переняты у арабов. Простолюдины не считают зазорным перенимать чужое. А он стыдится. И ведь знает же, как созвучия увеличивают силу слов, но сам скован старыми образцами. Скован, заморожен. Право, ледышка!

В сердцах и от зуда он больно отхлестал себя по шее, к которой присосались алчущие комары; потом снял подрясник, половиной его укрыл Овика, лег, укрылся сам и словно бы растаял в нежных словах песни.

Проснулся он от лошадиного ржания и скрипа колес. Овика рядом не было. На сене валялась сильно отощавшая сумка. Не веря глазам, Григор заглянул в нее. Исчезли белье и кошелек. «Какая мерзость,— забормотал он.— Зачем? Из-за чего?..» Схватился за голову, сдавил виски и весь взмок. «Мерзость»,— снова бормотнул, чувствуя такую срамоту, словно он обокрал Овика, а тот уличил его и тычет пальцем. И тут же он осознал, что не зря испытывает эту срамоту. Гнусное подозрение, еще более гнусное, чем сама кража, закопошилось в нем накануне, когда Овик справлялся, сколько у него денег. Он мысленно допустил, что Овик обворует его, и Овик, уловив эту подлую опаску, презирал его, а презирав, взял то, что стало ему нужнее недоверчивого, а значит ненадежного попутчика. Так это, так! Он подтолкнул человека на грех, ибо прежде него совершил этот грех мысленно... Боже, какая чушь, какая заумь! Все куда проще. Плутоватый лицедей разыграл его и вытряс... Нет, опять не то. У Овика не было сумки. Почему он не прихватил сумку? Да и бутылъ для воды ему пригодилась бы... Григор снова заглянул в сумку. На дне ее посверкивал серебряный динар, посверкивал — как улыбался. Григор благодарно улыбнулся ему в ответ и переложил его во внутренний карманчик подрясника. Стало быть, Овик, зная, что монета понадобится на уплату пошлины, все-таки озаботился им, случайным встречным, восторженным, придурковатым разиней. Видать, подумал: монаху лишнее ни к чему, и оставил только необходимое. По-прежнему благодарно улыбаясь, Григор прикрыл глаза и отчетливо различил вдалеке милого прохожуху, идущего быстрым шагом и упражняющего свои горловые мышцы.

Утро было ясное, уже слегка паркое. Он отвязал от куста ряску, перекинул ее через плечо, поднял почти невесомую поклажу, спустился к реке, вошел в заросли камыша, разделся, простирал белье, ополоснулся. Мысль, что у него имеется необходимый динар, вызвала в нем прилив высокого — сродни гордости — самоуважения.

Цахканцские горы он решил обходить с востока. Пошел прибрежьем текущего навстречу Арешта. Потянулись припограничные земли. В селения не заходил, чтобы не наткнуться на Мушеговых воинов. Поддерживал себя ягодами. Поддерживать-то поддерживал, но после них под ложечкой щемило еще пуще. Коленка раззуделась. Точно муравей бегал по голени и забирался в стопу. Но и зуд, и голод были кстати: отвлекали от мыслей о Лейли. Порою она прямо-таки вьвяв семенила рядом, жалела, порывалась приласкать, он же отталкивал ее и бормотал: «Сгинь, чертовка! Зачем я тебе, голодный, хромой? Чего привязалась? Отцепись! Нужен я тебе, как же... Сытый голодного не разумеет. Ты сыта? Сыта. А я нет».

На четвертые сутки река круто отвернула к северу. Он вскарабкался на взгорок, увидел, что это не излучина, что больше ему с руслом не по пути, искупался напоследок, запасася водой и, отойдя от Арешта, вдруг с облегчением почувствовал, что оставляет здесь и Лейли.

Коричневый, кое-где с белизной наверху Цахканц час от часу менял очертания, рос в высоту, а на востоке укорачивался, открывая небесную голизну.

К полудню шестых суток он добрал до отрогов. Заметил на поперечной тропе конных латников, распластался в ложбинке. Не Мушеговы они были. Шлемы у них завершались длинными заостренными стержнями. Похожие стержни торчали из налокотников. Мушег посмеивался над этим анийским новшеством: мол, дурацкие штыри, ими недолго себя же покалечить. Напрасно посмеивался. Видно, что латники навичные. Держатся собранно и свободно, будто на свет явились в таких доспехах. Убедительно выглядят. Они скрылись за поворотом; Григор погодил немного и выбрался на тропу. Взглянул на взметенное всадниками пыльное марево. Где же он? Неужели в Ани?

Со вчерашнего дня он не пил. Склон впереди богат травой, там должна быть вода. За поворотом Григор увидел расположившийся на отлогости склона стан. «Тондракиты», — почему-то тотчас сказал себе. Нет, не почему-то, а потому, что ждал встретить тондракитов в Ани, где их терпят. Да, тондракские колпаки-столбуны, обшитые красной тесьмой. Анийские воины только что проехали, а в стане тишь да гладь... Итак, он в Ани. С жадным вниманием он осмотрел стан. Порядок образцовый. Стреноженные лошади пасутся на плоской макушке холма. Повозки стоят рядками на ровной площадке над тропой. Эти отрицатели церкви и семейного уклада всегда представлялись ему какими-то недолюдьми. Нет, внешне — люди как люди. И все же в стане что-то необычное. Он пригляделся. Ага, мужчин маловато. Мужчин приходится поставлять в анийское войско или на строительные работы как возмещение за веротерпимость, если это можно назвать веротерпимостью. Скорее всего, стан паломнический — то ли направляется в недалекий Тондрак, на могилу своего лжесвятого Смба́та, то ли оттуда возвращается... Ветерок внес в ноздри благоухание мясной стряпни. «Кому же быть

терпимым, как не нарекцу, в особенности — голодному?» — поехидствовал он над собой, достал из сумки мантию, надел, отряс, огладил помятости и зашагал к стану.

Со смиренно склоненной головой он прошел мимо кучки неприязненно замолчавших женщин и вдруг услышал:

— Постригся кот, поскимился кот, а небось все тот же кот. Эй, красавчик!

Он стиснул зубы, не остановился.

— Ты что, глухой? — звучно и низко раздалось уже за спиной.

Григор обернулся. К нему приблизилась ядреная, очень рослая, с него, рыжая и румяная девица.

— Ну? — пробасила, подбочениваясь.

— Тебе чего? — боязливо спросил он.

— Того самого. — Указала глазами на кромку холма. — Пошли, что ли?

Он смешался и оробел, как никогда в жизни. Превозмог себя, расправил плечи, изобразил на лице строгость и уже сурово повторил:

— Чего тебе?

Девица снисходительно покачала головой, соединила ладони, отогнула посередине и несколько раз гулко сошлепнула.

— Послушай, — залепетал он, — я не хочу... Да-да, не хочу... Не хочется мне, понимаешь?

— Как это не хочется? — грозно переспросила она, округляя и выкатывая глаза. — Ему не хочется! Скажи лучше: не можетсЯ!

Смешки наблюдавших за ними женщин переросли в дружный хохот.

— Ай, Маро, молодчина!

— Маро сказанет — в три дуги согнет!

— А монашек-то, монашек! Висюлька зряшная!

— Приколет тебя эдакий — жди!

Он невольно прыснул и торопливо захромал дальше. Подошел к телегам, где хмурого вида крепыш сосредоточенно возился со спутанными постромками. Григор поздоровался. Тот окинул взглядом мантию, не ответил, сощурился и, как во мглу, всмотрелся в него. «Нет, покуда не сделаю всего, чтобы уяснить вас, не уйду», — сказал себе Григор. Кротким голосом попросил:

— Мне бы с вашим старейшиной надо повидаться.

— Надо, чтобы и ему того же надо было, — пробурчал крепыш. Глянув на подогнутую ногу Григора, смилостивился: — Ладно, как о тебе доложить?

— Монах из Нарека.

— Ааа... — протянул крепыш, то ли действительно наслышанный о Нареке, то ли не желая обнаруживать свою неосведомленность. Спросил кичливо: — У нас старейшина знаешь кто?

— Нет.

— Иаков Сюникаци. — И совершенно по-тондракски, шиворот-навыворот растолковал: — В миру он епископом был.

— Ааа...— протянул и Григор. Он-то слышал об Иакове из Сюника, об епископе, подавшемся в тондракиты. Причем сведения были противоречивые. Почтенные люди, в их числе и дядя, отзывались о нем как о замечательном умнице, но они же на все лады поносили его как заядлого и опаснейшего еретика. Подумалось: можно ли стать ярым тондракитом и остаться умницей?

Крепыш вскоре вернулся и повел Григора к распадку, поросшему по краям волчком. На дне распадка дымилась жаровня. Возле нее сидел худощавый человек с загорелой до блескучей черноты лысиной, окаймленной полукружьем каштановых волос. Одет он был по-дорожному просто — в немаркие холщовые шаровары и рубаху. Увидя Григора, проворно, без помощи рук встал. Лицо его было, что называется, значительным. Синие глаза смотрели смело и чуть усмешливо; крупный нос-горбун спадал на курчавую редизну усов; еще более редкая борода не скрывала каменистой выпуклины подбородка, щек и шеи, гладко обтянутых кожей. Только лоб раздваивала дряблая продольная морщина. Впрочем, ослепительный загар скрадывал эту улику возраста. «Само солнце на коже! Какой здоровый, видный, красиво-старый старик!»— восхитился Григор.

— Присаживайся, монах из Нарека, — неожиданно тонким, дребезжащим голосом заговорил Иаков.— Заметно, что ты из Нарека.

— Что же во мне нарекского?— удивился Григор.

— То же, что и во всех нареках. Смирненное достоинство. Не пойму только никак, что в вас преобладает — смирение или достоинство?— И без паузы примолвил:— Потрапезничаешь со мною?

— Я голоден,— легко ответил Григор и сел, вытянув беспокойную ногу вдоль жаровни, где шипела на вертелах щедро накромсанная баранина.

Иаков подал ему кувшин:

— Вино не хмельное, разбавленное.

Григор отпил, отмеряя из приличия глотки.

— Ну-ка попей вдоволь,— потребовал Иаков.— Тебе же охота.

— Охота,— согласился Григор и хлебнул вдоволь.

— А теперь ешь,— Иаков взял вертел, нож, бережно сдвинул мясо в глиняное блюдо, потом из маленькой бутылки посоусил и поставил блюдо перед Григором. Все это он делал с непринужденной готовностью, обслуживал его, какжданного гостя. Григор мигом, без всякого стеснения очистил блюдо.

— Еще?— сказал Иаков и нагнулся за другим вертелом.

— Спасибо, сыт.— Для убедительности Григор охлопал живот.

Иаков сел на гибко сложившиеся вперекрест ноги, медленно, с приятной ленцией допил вино, поел мяса, глянул в небо, благодарно прикрыл веками свои лучистые глаза; затем оглядел Григора — пристально, всего оглядел, а наглости в его осмотре не было никакой. И сказал себе Григор, сказал удовлетворенно, хотя не любил это барское выражение: «Вот человек моего круга». И так же

удобно для себя, как устроился тот, он прилег на бок, подложив под седалище здоровую ногу и облокотившись.

— Что у тебя с правой ногой? — спросил Иаков.

— Пустяки, коленку зашиб.

— Хромаешь на всю ногу. Бедро прихватило?

«Чудно, — подумал Григор, — не знает простейшей вещи». Произнес с неловкостью, как бы извиняясь:

— Боль от ушиба распространяется книзу.

Иаков рассмеялся:

— Нарекца не собьешь! Но в икру отдает — вижу. Я тебе елея дам.

— Спасибо за твою заботу, — отвечая на его смех скромной улыбкой, сказал Григор. — Елей я уже втирал.

— Тогда терпи. За грехи тебе это. А теперь Расскажи мне, нарекец, как поживает мой когдатошний друг-приятель Анания Нарекаци.

— Здоров, — коротко отозвался Григор, отметив это «когда-тошний».

— Экий ты, братец, засушливый! — Иаков шутливо надулся. Ему явно хотелось поговорить, наговориться с пришельцем из той среды, которой он лишил себя. — Засушливый, как нынешнее лето. А настоятель твой, не в пример тебе, человек обаятельнейший. И знаешь, в чем суть его обаяния? — Он вдумчиво прищурился, пропилив на висках по одной морщинке. — В крайне широкой благожелательности. Да, в крайне широкой, хотя и не бескрайней. Как бы это определить поточней?.. Он на редкость вымеренно надеяет своей приязнью ближних. Тому — с три короба, тому — поменьше. И делает это так, что каждый бывает доволен, сколько бы ему ни было дано. Милый, славный человек ваш Анания, если вглубь не заглядывать. Ах, до чего обаятелен! Тороват на ласку прямо по-царски, не правда ли?

«Видно, чем-то насолил тебе дядя. Но ты, великий умник, прежде чем так изысканно злословить, мог бы вывести, кто он мне. Сейчас ты у меня сконфузишься».

— Анания Нарекаци — мой дядя.

— Вот оно что! — Иаков ничуть не смутился, наоборот, обрадовался, просял даже. — То-то, гляжу, лицо мне твоё знакомо. Ты похож на него. Похож, похож, — энергично закивал он, будто Григор перечил. — А я ведь тебя еще мальчонкой, — расставил руки, отмеряя рост, — послушником помню. Так-так, значит, ты младший сын Хосрова, моего главнейшего недруга. О, это был человек, это был человек важный... — Подняв перед глазами указательный палец, уточнил: — Нет, не памятник себе, а именно важный, для всех важный. И притом... как бы это почетче означить?.. человек повышенной естественности. Да, необычайно важный. И вот чем это подтверждается неоспоримо. При жизни у него было полно врагов, а нынче они его друзья или, во всяком случае, искренние почитатели. Он ведь осуждал меня куда хлеще твоего дяди. Мощный был

проповедник, всесильный, и я его ой как ненавидел! А не стало его, и он год от года становится мне все дороже и дороже. Почему? Потому, что я без него подешевел, смекаешь?

«И впрямь умница!» — опять восхитился Григор. Стараясь сохранять внешнюю невозмутимость, спросил:

— Ты хорошо знал отца?

Иаков с сожалением повел головой.

— Я его только раз видел. В Аргине это было, при католикосе Мокаци. Тот одновременно возвел нас в епископы, нас и еще сотню монахов. Всю Армению заепископил, совсем сан обесценил. Дурак был. Желал безграничной власти и на нашу благодарность уповал. Дурак, иначе не скажешь. — И словно бы не он обругал Мокаци, а Григор, укоризненно поглядел на него. — Писатель был даровитый, не хуже твоего отца. Ну так вот. Созвал он нас, свеженьких иерархов, в собор и сразу принялся жучить: все вы, дескать, недоверки, все потворствуете дифизитской ереси. Разошелся, распалил себя до огненного каления, орет, громыхает: «Лицемеры! Иуды! Змеи ядовитые!» Нам обидно стало, начали переговариваться, роптать, сперва — шепотком, а потом — и в полный голос. Мы ведь его милостью уже не прежние замухрышки — князья церкви. А Мокаци вдруг как рявкнет: «Кому неинтересно то, что я говорю, может выйти!» Стало тихо. И тут твой отец повернулся и зашагал к выходу. Мокаци ему вслед: «Вернись!» А он — никакого внимания. Степенно, хорошо вышел.

Иаков, средним и указательным пальцами пройдясь по земле, до того похоже изобразил отцовскую походку, что Григор зафыркал от удовольствия. Он не раз слышал эту историю, но сейчас она ожила для него. Подумал: «Я бы так поступил? Нет, мне бы и в голову такое не пришло. А поступок был необходимый, очень точный поступок. Отец отстаивал не столько собственное достоинство, сколько Нарек».

— Ставишь себя на место отца? — угадал Иаков.

— Пытаюсь...

— И что же у тебя получается?

— Я задним умом крепок. Ушел бы, но — следом, вторым.

— Среди нас второго не нашлось. — Иаков озарил его своим лучистым взглядом. — Ты молод, а уже иеромонах. Наверняка уже и диссертацию защитил. Когда-то Аняния расхваливал мне твою смекалку. Пожалуй, не зря. Вижу — смысленный. Да и правдивый.

Григор ладонью отстранил похвалу.

— Моя диссертация — куча вранья. И не мое это дело — наука. Мое дело... — Он запнулся, вспомнив, что перед ним тондракит, но все же продолжил: — Настоящее дело как раз отец завещал мне, молитвенник завещал написать... — Опять запнулся, ожидая ошеломленного возгласа. Иаков молчал, но в глазах его блеснули настороженные колючки. «Решил, что у меня мания величия, — истолковал эти колючки Григор. — С чего это я распахиwaюсь перед тондракитом?» Но, лишь самую малость поколебавшись, сказал

ему то, чего до сих пор никому не говорил:— Хочу написать книгу, которая облегчала бы недуги,— не верю, что все они свыше,— молитвенную книгу, которая служила бы лекарством.

Вот тут Иаков весь засверкал — точно изнутри его выблеснуло солнце.

— Ого!

Григор, потупясь, повторил:

— Ого...

— А ну-ка давай прочти мне что-нибудь свое,— скороговоркой потребовал Иаков.

Григор вздохнул. Он не любил читать вслух. Стихи переиначивали, ломали его голос, приближая звучание к отцовому. Порой голос действительно начинал гудеть, но это бывало крайне редко. Обычно же выходило ни то ни се — вроде как у Мовсеса. Когда же он пробовал читать так, как разговаривает, то выходило совсем плохо — совершенно не соответствовало читаемому. Он вытащил из-под себя ногу, сел прямо. Что же прочесть?.. Перебрал в памяти написанное перед уходом из дома. И, видимо, потому, что очаровали его залиvistые колокольчики песни Овика, всколыхнулись стихи, насыщенные созвучиями. Он выждал, пока стихи приспособят для себя голос.

Что же мне, погибшему, делать, скрыться куда?
Как жить, как выбраться из темницы грехов?
Как выпутаться из сетей долговых?
Как избежать Суда?

А Судья неподкупен, и ангелы немилосердны,
И укоры жестоки, и угрозы безмерны,
И обвинение ужасающе и справедливо,
И возмездие нетерпеливо,
И ночь моя безрассветна,
И тьма беспросветна,
И дожди леденящи,
И непролазны чащи,
И ямища скверны бездонна,
И отчаяние безысходно,
И бесы неутомимы,
И терзания нестерпимы,
И объятия ада нерасторжимы.

И вот себе говорю:
Если ты до конца признаёшь
Свою несправимость, неисцелимость,
Своих преступлений тьму,
То заточаешь себя в такую тюрьму,
Из которой уже не выйдешь и не сбежишь,
О ты, преступный среди безвинных,
Отверженный среди избранных,
Презируемый среди чествуемых,
Лёгкий среди полновесных,
Вздорный среди серьезных,
Тусклый среди озарённых,
Тупой среди быстроумных,
Бесстыжий среди целомудренных,

Лицемер среди откровенных,
Прорва среди воздержанных,
Раб среди свободных,
Тля среди превосходных,
Негодный среди примерных,
Лишний среди неизменных,
Нищий среди имущих,
Отживший среди живущих,
Прогнивший среди нетленных,
Поникший среди блаженных,
О ты, треклятый, среди трикраты благословенных!

«В концовке созвучия напоказ выставил»,— продолжая глядеть на соусник, подумал Григор. Вдохнул:

— Так себе это.

— Чего-чего?

— Созвучия в концовке заласканы, зацелованы и не работают, а красуются.

— О чем ты говоришь?!— негодуя зазвенел Иаков.— Это же подлинное самоотречение! Цветущее монашество, которого уже шесть веков нет! Какое чудо, какое несказанное сияние!— Видимо, привлеченный его криками, над овражком вырос кудлатый малый с пунцовыми белками глаз, то ли залитыми вином, то ли отроду такими, выхватил откуда-то из подмышки кривой нож и вопрошающе уставился на Иакова.— Пропади ты пропадом, дьявол!— прокричал тот. Страховитый малый исчез, а Иаков зазвенел с новой силой:— Это же лучше самого Иоанна Дамаскина! Это достойно коснуться святых ушей аввы Антония Великого! И аввы Пахомия! И аввы Макария! Это достойно звучать в горящих чистым духом стенах Шенобоска, и Тисмона, и Фивеи, и Пабо!..

Он продолжал сыпать как из рога изобилия имена первомонахов и названия первообителей, кричал и при этом глядел на Григора с какой-то чуть ли не собачьей, искательной преданностью. Григор весь напрягся, выгоняя из себя гадко-приятное ощущение превосходства над собеседником. Да, обычно его стихи именно так действуют на людей просвещенных... А ведь и на него точно так же подействовала Овикова песня. Он до конца раскрошился перед этим плутишкой, чего только не наговорил ему...

— Сейчас я тебе скажу, кто ты,— услышал Григор.

— Да?— машинально обронил он, приготовясь узнать нечто совсем несусветное.

— Тебя как зовут?

— Григором.

— Ты — Григор Нарекаци.

Вот это сказано как следует! Это — признание пройденной им школы, которая, наверно, не уступает греческим, и он вправе ею гордиться. Чваниться незачем, а гордиться можно. Да, он не кто иной, как Григор из Нарека, где его наделили отменным инвентарем, чтобы делать свое дело. Сделает — и ладно, не сделает — пенять, кроме как на себя, не на кого.

— Спасибо,— сказал Григор. Надо было еще что-то прибавить, чем-то более весомым отплатить Иакову, но он ничего не сыскал.

Иаков догадливо, как показалось, хмыкнул, погладил горб на носу и заговорил с прежней благодушной ровностью:

— Прости мои неумеренные дифирамбы. Но в твоих стихах такой натиск, что я чуть было в этот бугор не вошел.— Сощурился с веселым сомнением.— Впервые встречаю пишущего человека, которому в тягость избыточные похвалы. Неужто они и впрямь тебе в тягость?

«Этого на козе не объедешь!»— развеселился и Григор. Сказал с улыбкой:

— Я такой же, как большинство пишущих. Пожалуй и похуже. Тщеславие мое — с Арарат. Но я хочу, чтобы мое слово не господствовало, а служило. Только служить я хочу всем. Армянам, не армянам,— всем, кто возьмет меня в услужение. Скажешь, что гордыня?— спросил, уже раздражаясь.

— Отчего же? Весьма похвальное желание. Ну, чего ты надулся? Успокойся, не гордыня это,— мягко проговорил Иаков.

— «Успокойся»! Легко сказать! А ты понимаешь...

— Вот что,— с той же мягкостью перебил Иаков,— давай договоримся. Я не буду кричать на тебя, а ты на меня. Иначе мой красноглазый Мхитар снова примчится. Так что же я должен понять?

— Извини,— буркнул Григор,— необузданный я... Понимаешь, мне вряд ли удастся написать такую книгу. Дело в том, что мне и с пятью людьми зараз трудно говорить. Вот отец умел. Ему тысячная толпа внимала, как одно ухо. Он говорил увесисто, но свободно, а я как-то грузно говорю и сбивчиво, невразумительно. Вот и сейчас... Понимаешь, не умею беседовать больше чем с двумя-тремя людьми. Если их больше — замолкаю. Ни словечка не могу из себя выдавить, если их больше. Нет, я не малахольный, не подумай. О чем-нибудь спросят — отвечу. Но и отвечаю тяжело и даже высокомерно. И вот это уже точно гордыня, она самая, определенно она.

— А по-моему, не она,— по-прежнему благодушно возразил Иаков.— Все гораздо проще. Ты застенчивый. Что, не знаешь за собой этого?

Григор сердито мотнул головой.

— Знаю.

— А на отца тебе незачем равняться. У него был государственный ум, государственный характер. Ты другой.— Цепко охватил взглядом его лицо, повременил немного и безнадежно развел руками.— Меняешься непрерывно, то старше выглядишь, то моложе. Сколько тебе?

— Двадцать два.

— Порядочно. Но стихи взрослее. И напрасно ты за них тревожишься — общедоступные стихи. Хотя, конечно, требуют напря-

женного внимания. Так-так... А почему ты здесь оказался, не расскажешь?

— Долго рассказывать. Но, пожалуйста, могу. Никакого тайного поручения у меня нет.

— Хм, это яснее ясного,— усмехнулся Иаков.— Ты не из тех, кому дают тайные поручения. Впрочем, ясно и почему странствуешь. Ты очень зло ругнул свою диссертацию. Видать, ты писал ее безо всякой охоты. Разругался с навязавшими тебе это дело, а заодно и с самим собой — так ведь?

«Любит щегольнуть умом. Не без суетности. На дядю слегка похож». Подтвердил:

— Так.

— Постой-ка!— Иаков хлопнул себя по темени.— Вот дырявая голова! Я же совсем забыл о главном, забыл, что ты хочешь написать лекарственную книгу. Но когда говорят о грехах так красиво, с такой бесподобной мощью...

— Почему с бесподобной?— возмутился Григор.— Я в подметки не гожусь Иоанну Дамаскину, над которым ты меня вознес. Григор Богослов тоже кается куда сильнее и ярче. А вершина и бездна покаяния — Давид?..— Спыхватился:— Извини, что я тебя прервал.

— Извиняю. Прочти еще что-нибудь.

— После. Доскажи сперва мысль.

— Мысль каверзная. Ты пишешь о грехах так прекрасно, что сами грехи кажутся прекрасными. Мне, старику, вдруг снова показалось, что грешить сладко. Видимо, у тебя есть и другие стихи, врачующие. Прочти их.

Григор почти признательно посмотрел на невозмутимого Иакова.

— Поделом мне. Никаких целебных стихов у меня нет.

— Стало быть, пока — только стремление... И давнее?

— Пожалуй, давнее. Но оно долго было бессознательным. Возникло оно из моей слабости. Я совершенно не переношу боли.— Кивнул на зудящую ногу.— Если бы нога болела, я бы сейчас по земле катался и волком выл. Вероятно, поэтому я и чужой боли не выношу.— Помолчав, признался:— Она меня пугает...

— Ну-ну,— заторопил Иаков, глядя на него очень серьезно, невесело.

— Ну и всё. Чего еще?— Григор увидел его потеплевшие глаза.— Нет, ты не думай, что я жалостливый. Я себялюбек. И вообще, какой грех ни назови, он мой. Но когда желание исцелять достаточно стойкое, оно само по себе помогает, несет в себе исцеление. Как-то, некоторое время, я замещал монастырского лекаря и убедился в этом. Правда, на мелочах. Например, зубную боль мое желание снимало. Иногда — быстро, иногда — помедленней, но снимало. Тут все зависело от силы желания...— Осекся и добавил смущенно:— Боль возобновлялась. Выдрать больной зуб — мера подейственной.

— Так-так... В стихотворении, которое ты прочел, нет ни просьб, ни славословий. Бог у тебя — только судья. Пойми меня верно: Господь в славословиях не нуждается.

— Понял. В них нуждается церковь, а она этой нормой никогда не поступится и будет права. Славословия Господу — не какая-нибудь косная традиция, они необходимы молящемуся.— Досадливо покосился на Иакова.— Ты меня насквозь видишь. Славословия мне не даются, выходят натужными, нарочитыми...

— Ой как тебе нравится бранить себя!— Иаков опять повеселел, заискрился.— Ну давай прочти мне наконец хотя бы эти нарочитые славословия.

— Нет, их я читать не буду. Могу прочесть другое. Я нашел...— Наморщась, поправился: — Перенял у греческих гимнографов способ обходиться без хвалы. Есть у меня один сносный отрывок. Вот он:

Я сплетаю речи свои, речи, полные нечестивости,
С величаньями тех, кто вправе славить Тебя,
Кто на радость Тебе взывает к Твоей отзывчивости,
Обо мне, всегрешном, со мной заодно скорбя.
Так с горьким сочетается сладкое
Или с бугорчатым гладкое,
Прекрасное с безобразным,
Чистое с грязным,
Слизь с жемчужным окатышем,
Песок на зубах с хлебным мякишем,
Озарённое с тeneвым,
Истина с отрицаньем своим.

— Все?— спросил Иаков, как показалось, разочарованно и, вскинув голову, посмотрел куда-то поверх Григора.

Григор невольно посмотрел туда же, но ничего, кроме пустоты белесого неба, не увидел.

— Все.

Иаков прикрыл глаза и двумя пальцами повел у переносицы, как это делают, когда, проснувшись, вынимают сонки. Потом покачался вперед-назад и глухо, уже с явным разочарованием проговорил:

— Истина с отрицаньем своим, то есть опровергнутая неопровержимость... Но разве быть может быть небылью?.. Истина с отрицаньем своим... Звучит-то сильно, куда как сильно. Вдобавок подержано всем предыдущим. Да, тяжелой рукой ударено. Ты отдаешь себе отчет, кого ударил?

— Как кого? Себя самого.

Иаков поднялся, снова глянул вверх, отошел к узкой закраине овражка и оттуда, стоя спиной к Григору, сказал:

— Твои образы поразительно объемны. Они все живое захлестывают... Истина с отрицаньем своим...— Он резко повернулся. Глаза на его нахмуренном лице сблизились так, что выглядели одним сумрачно горящим глазом. Убежденно сказал:— Ты обманываешься, смешиваешь белое с черным.

Григор наконец понял. Эти слова он написал вскоре после того, как обсудил с дядей теорию Клавдия. Нет, когда он писал, он не думал, что пишет о двойственности творения и Творца, — лишь о себе писал. Но, видимо, эти слова шире значения, которое он вкладывал в них. Ну и что? Пусть так. Чем шире, тем лучше. Мысль Клавдия разумна и доказательна, а стало быть, нисколько не кощунственна.

— Ты играешь в страшную игру, — продолжал Иаков, — заглатываешь сатанинскую наживку. Всегда есть люди, которым открыта истина, которые сами — истина без всякого отрицания. Помнишь, как Христос сказал Пилату, что явился в мир свидетельствовать об истине и что те, кто от истины, слышат Его? В истину надлежит верить, а не замахиваться на нее, когда веры маловато.

«Ничего себе! — оскорбился Григор. — Тондракит спасает меня от ереси!»

Он тоже поднялся, потопал о землю затекшими ногами и, сверля взглядом сдвоившиеся глаза Иакова, спросил:

— Здравый смысл идет вразрез с верой?

— Этого я не говорил.

— Значит, веру позволительно опробовать разумом? Или прикажешь верить слепо?

Иаков не ответил, только хмыкнул неопределенно.

— Значит, не приказываешь? Спасибо, что не затыкаешь мне рот. То, что я сейчас скажу, не моя мысль. Но я ее целиком принимаю. Откуда в творении зло, если в Творце нет его? Зло изначально так же, как и добро. — Подумал: «Ох, зачистил!» Но говорить иначе уже не мог. — А предопределение и зло не сочетаются, не вяжутся. Бог загодя знал, что Его любимое создание дьяволом станет? Или, творя Землю, знал, что затопит ее? Считать Бога таким куда кощунственней, чем сказать: не все Ему удалось. Что-то вышло отменно, что-то — так, серединка на половинку, а что-то и вовсе не заладилось. Прозрачное озеро или болото — что лучше? — Заметил в раздвинувшихся глазах Иакова ехидные смешинки. — Смеешься? Смейся на здоровье! Да, я говорю просто, без заумных теологических посылок и силлогизмов. Кто из людей неизменно отвергал тьму во имя света? Давид? Апостолы? Сам Иисус колебался перед крестом. Нет, свободы выбора я не отрицаю. Без нее сотворенное пришлось бы держать в загородке и на привязи, как бодливую корову. Но корова-то и впрямь бодливая. Что, нет, скажешь? А я вот что скажу. Честней, горше и мудрее всего, что есть в Библии, — Книга Экклесиаста. Сколько в ней знания жизни! И я, хотя не считаю себя мудрым, пуще всего благодарен Творцу за тот скромный рассудок, который Он дал мне, которым я силюсь постичь себя и Его. Он сделал, что мог, и в этом Его оправдание. — Услышав сдавленный смешок Иакова, буркнул: — Чего смешного, а?

Иаков высоко вскинул руку и возгласил:

— Замечательная речь! Ты вынес обвинительный приговор Творцу и одновременно оправдал Его. Фу-ты, ну-ты... Подобного я еще не слышал...

Он отер ладонью капельки пота с лысины, отер ладонь о камень и зашагал по лощинке из конца в конец. Лощинка была так тесна, что, когда он прошагивал мимо прислонившегося к ее боковине Григора, обоим приходилось поворачиваться друг к другу лицом и вбирать грудь. Григору не только обидно стало, но и скучно.

— Больше ты мне ничего сказать не можешь?— спросил он.

— Что я знаю?— вздохнул Иаков и приостановился возле погасшей жаровни.— Я втрое старше тебя, а знаю не больше твоего. Но кое-что скажу. Книга Экклесиаста, которую ты называл образцом мудрости, подытоживается словами: «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека».

— И это ты, тондракит, богобоязнен?— не удержался Григор и тут же прикусил язык. «Ох, как зло и как глупо, ребячливо!»

Иаков и в самом деле смотрел на него, точно на малое напраказившее дитя, с жалостливым укором.

— Что ты знаешь о тондракитах, мой милый нарекец? В Васпуракане нас давно нет, огнем и железом вы от нас избавились... Знаешь хоть, что, когда арабы распяли святого Смбата, они так же, как Иисусовы мучители, издевались над ним, предлагали сойти с креста, чтобы убедить их в истинности христианства? Это не легенда. Я разговаривал со стариками, видевшими казнь. Покуда мы, нечестивцы, были нужны для войны, с нами считались и цари и католиконы. Нам разрешалось самоуправление, свои законы, свои обыряды, все разрешалось. А потом что?— Иаков щелкнул пальцами.— Потом от соизволений пустой звук остался. Потом — смутьяны, безбожники, осквернители святынь...

— Разве это неправда,— тихо проговорил Григор,— разве вы не оскверняете святынь? Я видел разрушенную вами церковь...

— «Вами»! — усмехнулся Иаков.— Мы так же, как и вы, разные. Кто-то кровью смывает кровь, берет дюжину зубов за один, а кто-то, по возможности, живет мирно, хотя такая возможность у нас крошечная, почти что и нет ее, этой возможности.

— Послушай, но так жить немислимо. Нельзя обобществлять жен, детей, землю — это не объекты, а субъекты. Правда же, а?

— Правда. Да что проку для нас в этой правде? Здесь со мной около двухсот человек. И все, кроме меня, родились тондракитами, родились, а не стали. Велишь им заново родиться?

— А как же ты, ради чего ты стал?

— Ради них,— глухо и хмуро ответил Иаков.— Не смог я по-прежнему заниматься самоусовершенствованием, когда понял, что пригожусь им,— моя грамотность, мои связи пригодятся...— Понуро уткнул в грудь подбородок, но сразу рассмеялся и, не глядя на Григора, сказал:— Ты чудесный собеседник, мой милый.

Время с тобой течет незаметно, однако все же течет, утекает. Позволь мне заглянуть в твою сумку.— И, не дожидаясь ответа, заглянул.— М-да, бутылка для воды имеется.— Крикнул: — Мхитар!

Над овражком тут же вырос красноглазый парень.

— Возьми-ка, Мхитар, сумку нашего гостя и брось в нее шмат вяленого мяса. А потом — сколько не жалко — хлеба и сыра. Погоди. Бутылка пустая. Наполни водой. И, пожалуйста, поторопись.

— Зачем это?— робко и не совсем искренне возразил Григор.— Я сыт.

— Проголодаешься. Ты в столицу идешь?

— Да.

— Знаешь, что вход в нее стоит динар?

— У меня он есть.

— Ну и славно... Э, а где твои письменные принадлежности?

— Они мне ни к чему. Я теперь долго писать не буду.

— Это одному Богу известно.

Иаков достал из кармана грифель и плотную кожаную книжицу, раскрыл ее, выдрал несколько бумажных листов, сунул их в карман, а книжицу с грифелем протянул Григору.

— Спасибо тебе,— растроганно сказал Григор, вертя в руках подарки.— Значит, ты тоже пишешь?

— Тоже. Но не стихи. Хозяйственные заметы для памяти.

— Я принес,— раздалось сверху.

Григор перенял у парня битком набитую сумку, поблагодарил его и нерешительно сказал Иакову:

— Я рад знакомству с тобой. Попрощаемся, а?

— Когда ты не кричишь, ты бываешь чрезвычайно любезен,— едким тоном ответил Иаков.— Прими от меня на прощание совет. Не оскорбляй Бога. Он тебя любит и, видно, многое тебе спускает. Но пользоваться этим некрасиво, бессовестно даже.— И, взяв руку Григора, не пожал ее, а стиснул и сердито тряхнул.

О Господь,
Создатель всего из ничего,
Даятель безмерных щедрот,
Властитель, над всеми властвующий,
Единственный всеобщий оплот,
Вседержитель неосязаемый, но осознанный,
Величественный, могучий, грозный,
Явственный и незримый,
Безначальный, нескончаемый, непостижимый,
О Господы!
Ты — знание незамутнённое, незатуманненное,
Ведение, колебаний не ведающее,
Понимание ясное, проникновение вещей.

Ты — немеркнувший луч, свет, не дающий тени,
День беззакатный, чаяние без сомнений,
Печать непреложная, обещание нерушимое,

Хлеб, укрепляющий души, попечение неутомимое,
Чуждая тьмы любовь, чаша, полная радости,
Средоточие доброты, многообилие благодати.

Ты — желанный покров, вожделенная риза, облачение неотъемлемое,
Ты — дождевое облако неиссякаемое, цветенье нетленное,
Ты — врачевание безвозмездное, здоровье, двукратно дарованное,
Ты — целебное снадобье, всегда и для всех благотворное,
Ты — царь, чтящий рабов, венценосец нищелюбивый,
Ты — рука правосудная, приговор справедливый,
Ты — шествие беспрепятственное, непреткновенный исход, перст провидения,
Ты — сокровищница драгоценнейшая, нескудеющая десница, дар без сожаления,

Но ведь суетный голос мой
Звучит не столько для Твоего прославления,
Сколько для моего спасения...

Эта книга —
И для вступающих в жизнь юнцов зеленых,
И для тех, кто вошел в лучшую пору свою,
И для старостью изнурённых,
Для мужчин и женщин,
Для пеших и конных,
Знатных и худородных,
Властных и угнетённых,
Для горожан и сельчан,
Для раболепных и гордых,
Для самых грешных
И самых богоугодных,
Для добрых и злых,
Сильных и слабых,
Покорных и своенравных,
Робких и храбрых,
Для самых славных и первых
И для самых последних,
Для нищевродов жалких
И для царей надменных.

Эта книга —
И для беседующих с небожителями пустынников,
И для скромных иноков,
И для священников благочестивых,
И для епископов боголюбивых,
И для Твоих наместников на патриаршем престоле,
Только Твоей угоджающих воле.

Сжался над теми, кто от этого чтения
Возжаждет очищения и прощения.
Помилуй повинных во многом зле, грехами запятнанных,
Не взыскивай с них долгов неоплатных.
И да будут мне эту книгу отданы,
И да будут Тебе угодны
Их признания и моления,
И да сойдет Твоя благодать
На вобравших в душу скорбные песнопения.

И если Тебе словесная жертва моя желанна,
Да возгорится она во многих сердцах наподобие ладана;

И если от этих речений
Прольются обильные слёзы,
Да смоят они и часть моих согрешений;
И если кто-то через это творенье
К Тебе придёт,
То и меня прикюти под Своею сенью...

И если над изменчивым морем житейским
Вскинется вихрь несправедности
И обрушится на человека, ломая его и губя,
Да будет дано ему это кормило спасительное
От всех молящихся и от Тебя.

Преврати эту книгу в лекарство всесильное,
Исцеляющее любые недуги созданий Твоих,
И да волеется в мой стих
И смешается с ним
Дыхание мощи Твоей,
И да будет мне в этом творенье
Повторно дарована жизнь,
И да примешь Ты мое восхваленье
С хвалою всеобщей. Аминь.

Получилась *глава*. Он ее всю написал часа через три после того, как расстался с Иаковом, и без единой поправки, ровно за столько времени, сколько понадобилось на то, чтобы записать. Такого прежде не бывало. Прежде стихи, оживая, кучились в нем, клубились угарным дымом, мутили мозги и даже зрение, и он всегда с натугой выталкивал из себя нечто хаотичное, которое затем приходилось долго упорядочивать и выстраивать, переноса туда-сюда противоречивые, сводящие друг друга на нет словесные обрывки, почти на ощупь увязывая их и отыскивая им пригодное место. А тут на тебе — сразу! И вот что совсем поразительно: он загодя почувствовал, что пишет главу книги, по ходу, без промедления, метил подглавки. Да, целая, законченная глава, и какая — чудо! Магнитный позвонок книги, который уже притягивает кое-что из написанного раньше. В этом содержится и название всего... ага, именно так — *«Книга скорбных песнопений»*.

Он стоял, прислонясь спиной к камню, на котором только что записывал в подаренной книжице стихи. Вечерело. Закатное солнце озаряло неожиданные посреди плоской местности Малый Ара-рат и за ним — Большой. В огненном освещении снежный купол Большого словно бы расплавился, и поэтому Малый казался выше. Григор оглянулся на камень, где лежала книжица. Э, и перечитывать незачем. Отныне он полновластный повелитель слов и каждое сможет гнуть, как лозинку тоненькую. Что — нет? Да, тысячу раз да! Он блаженно вздохнул и снова посмотрел на Большой Ара-рат, пытаясь угадать очертания его вершины. И вдруг оба Арарата ходко пошли вниз, и он увидел их одинаково маленькими бугорками. «Тьфу ты, что за чертовщина?» — бормотнул он и опять посмотрел на них, но по-прежнему, сверху посмотрел. «Странно, очень странно...» Он заморгал, сожмурился и протер веки. Ара-ра-

ты еще поуменьшились. «Господи, помилуй», — шало закрестившись, вылепетал он и лишь спустя минуту или две сумел заставить себя глянуть на Арараты. «Уфф... Оба на месте». Он взял книжицу и внимательно перечитал стихи. Что ж, верно, неплохие, но вот оно, дикое, гипертрофированное тщеславие: «И да будет мне в этом творенье повторно дарована жизнь». Нет, этого исправлять не следует, в этом большая правда, чем во всех его покаяниях. Он опустил на колени, вскинул взгляд к небу и сказал:

— Господи, если Ты дашь мне написать лекарственную книгу, то пусть она помогает всем, кроме меня.

Южные ворота Ани были в локтевом сгибе крепостной стены. Григор шел вверх по каменистой насыпи, видя перед собой вихляющуюся на шатучей колымаге палатку и белесую пыль под ногами. Продвигался с длинной вереницей общего движения, вместе с ней останавливался, снова продвигался, снова вставал... Наконец в знойной мути воздвиглись перед ним ворота, на которых каменщики выкладывали арку. Навстречу широко расставился стражник. Григор раскрыл кулак с динаром. Стражник, несмотря на жару, в шлеме с наносником и густого плетения нашейником, скользнул по Григору взглядом и проворчал:

— Поворачивай, таронец. Вас уже девать некуда.

— Я не из Тарона.

— Это ты кому-нибудь другому ври. Почему весь как щепка? Чем докажешь, что не из Тарона?

— Ничем.

— О! Такой ответ годится. Такой ответ лучше всяких доказываний. Другому бы оно невдогад, а мне ясней ясного.— Понятливый стражник сбрызнул землю щедрым, от души плевком.— Подыми руки.— Ощупав его спереди, с боков, сзади и пройдясь ладонью по межножью, велел:— Поклажу дай.

Григор снял с плеча сумку. Стражник извлек и охлопал мантию, вернул ее Григору, затем вытащил бутыл, откупорил, шумно нюхнул, вылил воду, потряс бутыл возле уха, положил обратно и нашарил книжку.

— А это что?

— Для записей.

— Это покажешь ему и динар ему отдашь.— Кивнул на беседующего с осанистым воином белобородого старика в рясе.

Григор подошел к старику и вручил монету и книжку. Тот, жалостливо оглядев его и сказав: «Худенек ты, сын мой», куснул монету, кинул ее в стоящую на скамейке торбу и, мешкотно заколупавшись вздутыми в суставах пальцами, отогнул книжную обложку. «О Гос-подь», — прочитал по слогам, перевернул лист, пожатал выпяченными губами, перекрестился и возвратил книжку.

— Проходи сын мой. Тебе куда?

— Мне... как же ее?..

Этого еще не хватало — название обители вылетело из головы. Рядом затоптался следующий пришелец, с ребенком на руках; и старик, снова жалостливо глянув на Григора, тем не менее довольно болезненно пихнул его локтем. Григор смущенно хмыкнул и побрел через заставленную телегами с плитняком и известью площадь. Название обители не вспоминалось, но он помнил, что она на северной, противоположной окраине.

Серо, тоскливо выглядел город — не то что Ван. Дома прятались за высокими каменными стенами, впритирку примыкавшими друг к дружке. Казалось, люди здесь прямо в стенах живут. Он шел и нетерпеливо посматривал вперед. Где же хоть что-нибудь незапертое? Где церкви, мастерские, лавки? Короткие улицы заставляли беспрерывно петлять, приходилось то и дело озираться на снижающееся солнце. Горожане тоже совсем не походили на любопытных и улыбчивых ванцев. И еще эти латники, всюду латники, одинаково блескущие, гремучие, прущие напролом. Не посторожнишься — раздавят и попрут себе дальше как ни в чем не бывало. Славненькое местечко!.. И вдруг в ушах внятно прозвучал Нянин голос: «А ты знаешь, что это, когда тебя не знают?» Да, и впрямь непорядок, подумалось уже весело, он соизволил посетить их, а они, такие-сякие, почему-то не ликууют.

Выбравшись на открытую местность, он увидел холм с внушительной многобашенной замковой машиной. Он вспомнил, что царский замок находится в северной оконечности Ани, и стал высматривать монастырь. Но замок упирался в городскую стену; слева от него никаких строений не было, а справа была только топорно-ребристая, похожая на кусок обвалившейся скалы церковка. К ней он и направился, не очень уверенный, что она действующая, — в нее никто не спешил, а приближалась пора вечерни.

Церковь, однако, оказалась действующей. В отворенной двери мерцали лампадные огоньки. Внутри что-то передвигали, видно, готовились к службе. Повеяло знакомым уютом, почудилось даже: здесь-то его ждут. Он перекрестился и прошептал: «Спасибо, что привел сюда».

— Благослови, праведный отче, — послышался за спиной тихий пришамкивающий голос.

Григор обернулся и увидел маленькую старушку с котомкой, в темных лохмотьях, темнотицу от сплошных морщин, но с лучистыми, вытянутыми вверх треугольничками глаз. Ясную и очень милую беспечность выражали ее глаза, словно бы говоря: все у меня хорошо, а завтра еще лучше будет. «Где-то я ее видел... Нет, не ее — такой взгляд был у отца перед уходом... Надо бы ей что-нибудь дать, но что? Мантию дам». Он достал из сумки мантию и протянул, сказав просительно:

— Возьми.

Она на шагок отступила, глазки ее как бы вспорхнули, но светлина их не замутилась.

— Тебе это самому нужно. Ты благослови меня, и все.

— Благословлю, конечно же, благословлю, а как же,— торопливо забормотал он,— только ты эту вещь возьми. Мне она правда ни к чему. Я иду туда, где мне от нее один вред будет. Бери.

Она отступила еще на шаг, видимо снова собираясь отказаться, однако передумала:

— Ладно, возьму. Мне-то от нее будет польза.— Приняла мантию, потербила деловито, потом погладила.— Шелковенькая, нежная. Я ее под низ надену, на тело, чтобы ласкала.— Глянула на него вопрошающе.— Что же ты меня не благословляешь?

Григор бережно перекрестил ее. Она словила его опускающуюся руку и чмокнула.

— Это я не твою десницу лобзаю,— сказала с достоинством,— а Божью.

— Конечно, конечно,— закивал он,— мою-то с какой стати лобзать?

— Вот я и говорю, что Божью.— Тщательно сложила мантию, поместила в котомку, порылась там и достала большую просфору.— Хочу, чтобы и ты у меня взял чего-нибудь. Съешь. Она свежая, утром испекли.

— Спасибо.

Просфора успела зачерстветь и сломалась у него в руках. Но он так оголодал, что она показалась ему и свежей, и вкусной, а главное, сытной. Слизнув с ладоней крошки, спросил:

— Тут поблизости обитель должна быть, да?

— Поблизости? Ты, видать, издалека. Тут нет обителей. Пещер много. Часовен — тоже. Храмы у нас дивные.— И, загибая пальцы, принялась перечислять:— Храм святых Петра и Павла, храм Григора Просветителя, храм первомученика Стефана, храм Святой Троицы...

«Монастырь Святого Духа»,— наконец-то всплыло в памяти.

— Постой-ка, а монастырь Святого Духа разве не тут?

— Нет. Он там.— Махнула рукой в направлении солнца.— До него целый день плестись. Ну, у тебя ноги молодые, побыстрей дойдешь. Если на заре выйдешь, к полудню точно дойдешь.

«Значит, ключник прихвостнул. Не слишком он обрадуется, увидев меня. А самого его как зовут?.. Кареном?.. Нет, Корюном».

Он глянул на уже багровое солнце. Городские ворота вот-вот закроют. Да и дороги он не знает. Спросил:

— Вечерня скоро начнется?

— Сегодня суббота,— укоризненно ответила она.— Сегодня сразу всенощная будет.

— Хм, я, видишь ли, действительно издалека иду. Все дни недели перепутал. И вообще в голове все перемешалось. Не голова, а лес дремучий. Никогда таким забывчивым не был.

— Ты просто устал. Там, за храмом, есть скамеечка. Ты устанный, уместись. Пойди сосни. Услышишь пение — проснешься.

— Угу,— произнес он с зевком,— это хорошая мысль. Так я не прощаюсь, на всюнощной увидимся.

Скамейка оказалась для него куцей. Он улегся на спину, упер пятки в землю (зуд в правой ноге прошел напрочь), отвернулся от солнца и мигом уснул. Во сне он видел себя покоющим в соборе святого Фомы. Пел он почему-то не молитвенную песню, а Давидов плач на поражение Дома Израилева. Впрочем, не меньше псалмов он любил этот мужественный, поистине мужской плач. Пел он один, а храм был битком набит; допев, затыгивал заново, и все внимали ему с замороженными лицами.

Он пел:

Краса твоя, о Израиль, изведена в твоих горах!
Сильные наши вывелись!
Не причитайте на улицах Аскало́на
И в Ге́фе не сетуйте,
Чтобы не тешить дочерей Филисте́и,
Чтобы дочери необрезанных не веселились!
О горы, горы Геллу́йские, горы гибели,
Да не кропит вас ни дождь, ни роса,
Да не родит ничего земля злои́менная,
Где сильные наши полегли,
Где в пыли лежит Израилев щит,
Где истлевают Са́улова плоть,
Елеем не умащённая!
Саул, Саул из жизни ушёл,
Саул, чей меч не возвращался в ножны насытый!
Ионафа́н, брат мой Ионафан,
Жалил насмерть и ты,
И твоя стрела голодной не возвращалась в чехол!
Оба вы были быстры, как орлы,
Оба, как лвы, бестрепетны
И, неразлучные в жизни,
Не разлучились в смерти!
Плачьте, дочери Израилевы, оплакивайте Саула!
Он в багряницы вас одевал,
Запястьями золотыми одаривал!
Больно мне за тебя, брат мой Ионафан,
Сроду не горевал я горше,
Дорог ты был мне,
Твоя любовь была мне женской дороже!
Сколько сильных наших полегло!
Сколько оружия в руки врага перешло!

Проснулся он на рассвете.

Вид своей обители ключник Корюн расписывал в превосходных степенях. И тоже врал. Обитель выглядела неважно. Стояла она, а верней, тужилась устоять над скучным проселком, вполне созрев, чтобы слететь на него. Несколько обломков передней стены уже валялись в обочине. Григор сочувственно оглядел почернелую, с растрескавшимся куполом церковь и другие утлые строения, а затем себя, грязного, в рваной, дырка на дырке

рясе, и решил, что обитель и он как нельзя лучше подходят друг другу. Ключник говорил: «Обитель Святого Духа не то что Нарек, наша — предвечная, и мы благоговейно бережем ее первозданное обличье». Добережетесь, подумал Григор, проходя в кособокие ворота.

На заросшем сором дворе никого, кроме кур, не было. Впрочем, куры были не простые, а цесарки. Он покружил по двору и остановился возле сложенной из черного туфа беззаконной постройки, откуда доносились голоса. Видимо, трапезная, предположил и подошел к дубовой двери, зачем-то обтыканной медными шипами. Из щелей тянуло жареным мясом. «Нет, неудобно прямо к столу заявляться, нет», — насилу убедил себя, сглотнул слюну и пошагал к церкви.

Войдя в нее, он приятно удивился. Не меньше дюжины высоких толстых свечей озаряли и расширяли опрятное, казалось, без единой пылинки помещение. Утварь не обильная, но, похоже, в самом деле очень древняя — суровых, красиво-бедных форм. Дарохранильница, выносной крест, святая чаша и литийный сосуд — на чугунных ножках, и это сочетание золота с чугуном выглядит даже обязательным. Отсутствие икон восполняли прислоненные к арочным столбам два базальтовых монументальных креста-распятия.

На жертвеннике он опознал нарекскую Библию, обрадованно улыбнулся и сказал:

— Ну, здравствуй.

— Уаууйй, — раскатили голые стены, и тотчас со скрежетом отворилась дверца ризницы, из которой бочком просунулась дородная фигура в мантии и надвинутом почти на рот клобуке. Гулко прошагав к алтарю, фигура застыла, как сама неподвижность. «Схимник», — определил Григор по размеру клобука (мантия была без крестовой расшивки) и стесненно вымолвил:

— Доброgo здорoвья.

Схимник не ответил.

— Ты взял на себя обет не смотреть на мир? — промямлил Григор, чтобы завязать беседу, если, конечно, тот не принял и обета молчания.

— Чего надо? — так же жестко, как скрежетнула дверца, откликнулся схимник. — Все в трапезной. С кем ты тут здоровался до меня?

— С Библией, которая на жертвеннике, — помявшись, признался Григор.

— Следует говорить: со Священным Писанием, — уже менее жестко сказал схимник. — Оно вдвойне священо. Его принес из погрязшего в грехах Васпуракана праведный и просвещенный инок нашей обители Корюн. Он там наставил на путь истинный одного темного нечестивца, и тот отблагодарил его этим Священным Писанием, каковое мы чтим и как свидетельство восторжествовавшей просвещенности, а стало быть, как двойную святы-

ню.— Снова жестяным голосом спросил:— Понял, невежда, именующий Священное Писание Библией?

— Мне это понять легче легкого,— разозлился Григор.— Я и есть тот самый нечестивец, который дал вашему праведному грамотею это Священное Писание.

Схимник вздрогнул, переступил с ноги на ногу, отряхнулся всем телом, как мокрое четвероногое, привздернул краешек клобука и, глянув на подол Григоровой рясы, спросил:

— Зачем явился?

— Жить у вас хочу.

— Подобаает говорить: подвизаться. Запомни это, неуч. Следуй за мной,— бросил, уже шагая к выходу.

На паперти он наподдал сапогом подвернувшейся цесарке, и та с кошачьим визгом через поддвора переметнулась.

У двери в трапезную Григор любопытствовал:

— Шипы для чего?

— Темнота, ох темнота! Сии шипы предупреждают о вечных шипах, каковые вопьются в злосчастного инока, одержимого страстью чревобесия. Запомни это. И вот что одновременно запомни и безотлагательно перейми у нас. Обращаемся мы друг с другом, как ты уже мог сообразить по моему обращению с тобой, до чрезвычайности уважительно. Отца игумена величай только так: наипреподобнейший отче Армен. Запомнил?

Григор, вдыхая мясное благоухание и кляня свое любопытство, сказал:

— Ага. Зайдем, что ли?

— Не «ага» надлежит ответить схимнику, но «истинно глаголешь». Тем паче когда пред тобою схимник ангельского образа.— Произвел руками летательные движения.— А как, по-твоему, приличествует величать меня?

«Да он не в своем уме, бедняга! Придется уважить». И неуверенно вымолвил:

— Святожизненный муж... Так, что ли, о безгрешный учитель мой?

— «Святожизненный»... Гм, звучит недурно. Надо будет запомнить. Святожизненный Корюн не зря тратил с тобой свое драгоценное время.

— Слушай, а почему он святожизненный? Он ключник.

— Об этом забудь. После благоуспешного возвращения из вашего осинового гнезда он стал нравственным надзирателем.

Мясной дух валом валил от двери. Григор потребовал:

— Зайдем. Мне невтерпеж познакомиться со всей вашей святожизненной братией.

— Проголодался?— вдруг с разумной участливостью спросил схимник.

— Адски!— воскликнул Григор признательно.

Схимник толкнул сапогом незащищенный угол двери, она с тягучим скрипом отворилась. В трапезной было светло. Окна за-

менял проруб в потолке, какие делают над погребом; крышка была откинута, и в помещении ярко пыliliсь косые столбы солнечных лучей. Человек двадцать сидели за вытянутым в глубину трапезной столом. В дальнем его конце Григор увидел жирное, поросшее короткой щетиной лицо, на котором красноватыми огоньками мерцали маленькие глаза, и, поняв, что это и есть игумен Армен, поклонился ему, а потом всем сидящим.

— Кто таков?— рыкнул тот голосом, в котором ничего священнического не было.

— Человек,— ответил Григор. Поморщился от своего расплывчатого ответа, но тем не менее повторил:— Человек я.

Тот оскалится, гоготнул:

— Вижу, что не кобыла.

— Он питомец высокоученого Корюна,— хрипло вступился схимник.— Он подарил Корюну Священное Писание, каковое мы храним на жертвеннике.

— Корюн!— гаркнул игумен.

От скамьи отделилось нечто такое гибкое и так заизвивалось, завихлялось, что Григор едва опознал в этой петлявости своего кряжистого знакомого. Не переставая вихляться, Корюн искательно очерил в улыбке два сиротливых клыка и подтвердил:

— Он, преподобный отец, он самый.

Игумен с нажимом поводил мясистой рукой от груди к шее, отрыгнул и надолго уставился на Григора. Наконец прогромыхал:

— Ну и чего тебе надо, человек?

— Подвизаться у вас хочу,— припомяв наставление схимника, ответил Григор.

— А почему у себя расхотел подвизаться?

— Об этом я скажу на исповеди.

— На исповеди...— Опять отрыгнул, на сей раз без усилий, и блаженно вздохнул.— На исповеди скажешь. Что же, могу подождать. А кем ты подвизался в своем... как его?..

Он снова зарыгал, раз пять кряду рыгнул. Григор тем временем оглядел сидящих. Большинство смотрело на него с неприязненной ухмылкой, а то и свирепо, видимо поняв, откуда он. Но некоторые вовсе не смотрели. Среди этих замечались и одухотворенные лица.

— В Нареке,— подсказал Корюн, выгнувшись к игумену, как выгибается, привставая на хвост, гюрза.

— Да, в Нареке. Кем ты подвизался там?

— В последнюю пору иеромонахом.— Сознывая, что этого прибавлять не нужно, всё же прибавил:— Я магистр богословия.

— Магистр он! Га-га-га! Кладезь премудрости!

Большинство сидящих радостно подгагакнуло.

— Наипреподобнейший отче Армен,— вмешался схимник,— по моему разумению, сей темный человек тянется к свету.

— Пшел вон!— гаркнул на него игумен. И когда тот вышел, сказал, брезгливо глянув на дверь:— Запирается в ризнице, про-

рва, набивает там пузо, тайноед поганый, и думает, что я не знаю.— Воззрился на Григора.— Мы люди простые. В академиях не учились. С нас будет и того света, который Григор Просветитель даровал нашему древнему царю Трдату, дабы тот узаконил в Армении христианство. Мы — первые на земле законные христиане, и этого с нас будет. Так я говорю?— проорал.

— Так!— подтянул дружный хор.

Григор уже и не пытался промолчать.

— Не так,— сказал.— Первая христианская страна — Осроена. Христианство узаконено в ней приблизительно на полтора века раньше.

Трапезная возмущенно завопила:

— Не армянин!

— Выродок ублюдочный!

— Кол ему в задницу!

— Ага! Чтобы вся нечисть поносом вышла!

— Нет, на что замахивается, на что покушается, на что посягает, на что?!

Игумен привстал и облокотился на стол. Роста он был среднего, не только толстый, но и плотный, сбойливый и как щетинистой головой, так и туловищем смахивал на кабана.

— Кос... Хос... Как ты назвал страну?

— Осроена.

— Никогда про такую страну не слышал. Ладно, я не все-слышащий. Готов тебе поверить, что такая страна есть. А теперь скажи мне, когда было узаконено христианство в Армении?

— В 301 году по Рождестве Христовом.

— Правильно. Но ты сказал, что в той стране оно было узаконено приблизительно на полтора века раньше. Приблизительно — так ведь ты сказал?

— Так.

— А точный год назвать можешь?

— Книги, в которых я читал об этом событии, точного года не указывают. Вероятно, он забылся.

Игумен выпрямился, окинул братию победоносным взглядом, с размаху жажнул себя по животу и спросил:

— Разве может забыться точный год такого события?

Трапезная ликующе откликнулась:

— Не может!

— Брехня в этих книгах!

— Ай, до чего ловко преподобный отец припер его к стенке!

Григор собрался было сказать, что если бы авторы книг лгали в целом, то им ничего не стоило бы и лживый год указать, но тут вмешался Корюн. Продолжая точно в корчах кривиться, он сообщил:

— Преподобный отец, я знаю как облупленного этого брехливого недоучку. Он там, в Нареке, десять лет в послушниках ходил. Никакой он не иеромонах и не магистр, хотя его дядя —

нарекский игумен, а родной брат — эконо́м. Кто же при такой родне будет десять лет в послушниках коптить небо. Бестолочь, и только.

Окончательно уверясь, что он вывел Григора на чистую воду, игумен уже с полной удовлетворенностью хрястнул себя по, видимо, привычному к такому обращению чреву и сказал:

— Нарекская бестолочь желает у нас ума-разума поднабраться. Чего ж! Все под одним Богом ходим. Нет, что ли?

— Да! — грянула трапезная.

— Ладно, познакомимся, — снисходительно предложил игумен, не давая Григору высказать его логичное возражение. — Тебя как зовут, человек?

— Григором. Я хочу добавить насчет Осроены...

— Ну вот! — заорал Корюн. — Сам с потрохами себя выдал! Тебя и в послушании Григором звали, скажешь — нет?

Григор подумал, что ведет себя глупо: им не нужна эта правда, а он ее навязывает. Зачем всучивать людям то, чего они все равно не возьмут?

— Да, — свесив голову, ответил он, — я заврался.

— О, это совсем другое дело, — смилостивился игумен, — это чистосердечное покаянное слово перевесило всю твою брехню. Ну чего скукислся! Не печалься, сын мой, а главное, не унывай. Мне наплевать, как кумекают у вас, в Нареке, но мы разуме́ем уныние как смертный грех. Я сам неунывака и никому тут унывать не даю, — заключил вполне мирно и опустил на лавку.

Он хорошо провел этот разговор: во всем разобрался, все расставил на места и теперь мог позволить себе поблагодарить. Однако благодущие, видимо, не было ему свойственно. В его полузатопленных жировыми волнами глазках опять зажглись злые красноватые огоньки.

— Стало быть, ты вознамерился у нас монашествовать. Но что в вашем Васпуракане ведают об истинном монашеском смирении? — Теперь он говорил потише, но очень внятно, по отдельности выговаривая и растягивая каждое слово. — Редкостное качество. Присуще ли оно тебе, сын мой?

Он смерил Григора ехидным взглядом, взял с блюда телячью рульку и, не сводя глаз с Григора, принялся ее обкусывать, чавкая и забрызгиваясь соком. Обглодал кость и швырнул ее Григору под ноги, велев:

— Жри.

Григор знал об этой древней варварской прививке смирения. Не смирение ею прививалось, а угодливая безответность. При таком испытании просящемуся в монастырь полагалось опуститься на четвереньки, поскольку ему, как собаке, кинули кость, и грызть ее по-собачьи, без помощи рук. Совершенно перестав ощущать голод и не ощущая унижения, Григор подобрал кость с замусоренного земляного пола, подошел к рукомо́йнику, вымыл руки, помыл кость, повернулся к игумену и, неотрывно глядя на него, бережно сгрыз

мясные ошметки. Потом подошел к нему и положил кость на его блюдо. В трапезной стало тихо, только жужжание мух слышалось.

— Так,— проговорил игумен, опасливо косясь на обглоданную до блистания кость,— будем считать, что проверку ты выдержал, хотя, если по правилам, иначе надо было... Э, что с васпураканца возьмешь?— Встрепенулся, повеселел.— Конечно, и васпураканец — армянин, но самый плохой армянин, никчемный, кукишный армянин.— Выложил кукиш и устремил его на Григора.— Га-га-га! Уразумел, кто ты?.. Ладно, беру тебя служкой. Но лоботряса я не потерплю, так и знай. Что ты еще умеешь, кроме как мясные кости обглаживать? А, иеромонах и магистр?

— Мне известны начатки лекарского искусства. Корюн может подтвердить это. Я ему вычистил гноившуюся десну.

Игумен глянул на Корюна. Тот мелко закивал.

— Значит, лечить умеешь. Но мы люди богобоязненные. Нам лекарь ни к чему. Все недуги от Бога, так ведь?

— Может, кой-какие от черта?— не удержался Григор.

— Не смей поминать его!— Игумен жажнул кулаком по столу и, видимо, от боли ойкнул. Гневно зыркнув на то место, о которое стукнулся, сказал:— Есть у нас богадельня. Четыре старика в ней доживают. Вонь от нее нестерпимая. Я, когда мимо иду, нос затыкаю. Желаете их обихаживать? Но чтобы завтра же никакой вони не было. Желаете?

— Желая.

— А сейчас сядь и подкрепишься как следует,— проворчал он,— подкрепишься, набей утробу.

Григор не поверил своим ушам: «Надо же — и в таком скоте есть что-то человеческое!» Низко поклонился:

— Сперва позволь мне осмотреть богадельню, преподобный отец. Я приду к ужину.

— Как хочешь. Корюн, проводи его.

Выйдя с Григором из трапезной, Корюн с дружеской озабоченностью осведомился:

— Добрался без злоключений?

— Грех жаловаться,— сдержанно ответил Григор. Чуть погодя все же добавил помягче:— Спасибо.

Корюн подвел его к строению, кое-как сколоченному из досок. Доски редко где прилегали друг к другу, и из пазов в самом деле пованивало.

— Туда я с тобой не ходок,— извиняющимся голосом сказал Корюн.— Свою вонь так даже люблю, а от чужой мутит. Погоди. Преподобный назначил меня нравственным надзирателем, но народу, как видишь, у нас мало, так что ключником я остался. Что понадобится — заходи. Ведаю я и съестными припасами, и всякими построчными. Преподобный не забудет, что велел тебе эту воньшу прикончить.— Сочувственно шмыгнул носом.— А как ты ее прикончишь? Ты общей дыры досками, и не будет ее слышно. Придешь ко мне — получишь что надобно.— И побрел обратно.

Зайдя в богадельню, Григор зажал ноздри и зажмурился. Однако почти сразу пересилил себя, осмотрелся, различил наверху такой же проруб, как в трапезной, и немедленно откинул крышку. В ответ раздалось характерно хлюпающее, с захлебом перханье («Плевритик», — понял Григор), а затем сиплый голос вымолвил:

— Застудишь нас.

— Вы раньше в этой вонище задохнетесь, — сказал Григор, продолжая осматриваться.

Напротив входа, у задней стены, были настелены доски, разделенные посередине перегородкой. Старики лежали под грудой тряпья, никто и не приподнялся. Густо закишей немостью несло от настила. Но главная вонь шла от явно заваленного нужника. Он был у двери, в левом углу, — просто щель в земле.

— А что такого? — произнес тот же голос. — Живым человеком воняет.

— Это точно, что живым, — развеселился Григор. — Мертвый воняет меньше. Ты сесть можешь?

— Могу, — просипел тот и с недовольным кряхтеньем сел, а потом встал и сошел с настила.

На вид ему было лет шестьдесят. Приземистый, широкогрудый, лысый, грязно-седой, с корявыми выпуклостями носа, скул и лба, в многослойном отрепье, он напоминал поставленную на узкий конец кедровую шишку.

— Я новый служака, — сказал Григор. — Первым делом мне велено навести у вас чистоту. Жить я буду здесь, буду обихаживать вас. Так что познакомимся. Меня зовут Григором.

— Фетек я, — прокашлявшись, представился старик. — Тех, за перегородкой, не трогай. Они дряхлые, всего боятся. Да и чистые они. Соблюдают себя, моются, обстирывают. — Крикнул соседу: — Эй, привстань!

— Зачем привстать? — отозвался тот визгливым, щелкнувшим арабским акцентом голосом, однако сел.

Это был вовсе не старик — лет сорока, черняво-седоватый, с круглой плешкой, с пухлым, гладко выбритым смуглым лицом, увенчанным маленькой носовой пупочкой. «Коровья лепешка», — весело подумал Григор и спросил:

— Как зовут тебя?

— Обайдулла, — назвал тот, отчетливо настаивая на двух «л». За перегородкой не слышалось и шороха.

— А их как зовут? — спросил Григор у Фетека.

— Они уже забыли. Ты их не тревожь, — попросил он дрогнувшим голосом и почему-то злобно покосился на Обайдуллу, который так же злобно фыркнул.

— Ладно, — согласился Григор, смекнув, что богадельня живет непростой жизнью и входить в нее следует осторожно. — Вы, наверно, еще не обедали?

— Ели, — сказал Фетек и, качнув головой в сторону Обайдуллы, сообщил: — Этот только и делает, что жрет и срет.

— Завииистиинник! — как нельзя более длинно вывизжал тот.

— А ну оба уймись! — крикнул Григор, усмехнулся и спокойно сказал: — Я сейчас схожу за тачкой, песком и прочим. Яму надо вычистить. Вам обоим полезно подвигаться. Хотите помочь мне?

Обайдулла фыркнул, завернулся в постельное тряпье.

— Я хочу, — сказал Фетек.

Яму они не только вычистили, но, по предложению Фетека, облили известковым раствором. Затем Фетек предложил соорудить над ней стульчак с откидной заслонкой, а затем — будку. Сделали и это. Потом принялись утеплять богадельню — закладывать пазы войлоком, обшивать изнутри досками, а снаружи облицовывать туфом. Фетек все умел понемногу. Сил ему, правда, не хватало, но он толково использовал Григора в качестве хотя и неразумной, зато прилежной рабочей силы. Был он жуткий сквернослов. Веля Григору сделать что-либо, он всякий раз определял это деланье только срамными, чрезвычайно выразительными, удобопонятными и оттого не зряшными словами. К тому же яркая образность этих выражений скрадывала их непристойный смысл. Дивно ругался Фетек. И вообще, он нравился Григору все больше. Его безоглядная естественность, пожалуй, даже отцовскую превосходила. Действительно Божье дитя¹, думал Григор, никакая грязь не пристает к нему.

После недели ежедневных работ Фетек подустал, его кашельные захлебы участились, и Григор объявил передышку и занялся Фетековой плеврой. Утром и вечером он массировал ему грудь и спину, что пришлось Фетеку по вкусу. «Гладь, поласковой гладь, — требовал, — я недоглаженный». Но когда Григор назначил ему дыхательную гимнастику, воспротивился: «Отвяжись. Здоровье и нездоровье от Бога». Григор надумал прибегнуть к его же речевому методу. Так, показав Фетеку протяженное с выкрутом вытягивание руки в сторону, он назвал это «срыванием запретного плода». Фетек пренебрежительно хмыкнул и до того мощно пере-назвал показанное действие, что Григор чуть не задохся от хохота. Все же он заставил Фетека выполнять дыхательные упражнения, и тому стало лучше.

Работали они вдвоем. Обайдулла вставал раньше их и, поторчав над ямой, тщательно подмывался (для этого у него имелся емкий инкрустированный какими-то камушками серебряный кувшин), потом брал намазный коврик и уходил. «Как его, некрещеного, приютили?» — не понимал Григор. «Э, — отмахивался Фетек, — он всего домогается измором. Зануда и лизун, каких свет не видывал». Один из безымянных старичков как-то вызвался поучаствовать в работах, но Фетек указал ему на место за перегородкой: «Ло-

¹ Феотекн — по-гречески Божье дитя.

жись, дедуля, твое дело полеживать». К старичкам он относился с сыновней заботливостью, грубоватой, правда.

От Корюна ни в чем не было отказа. Давал Григору любой инструмент, находил любые материалы. Когда в преддверии зимы Фетек предложил сложить возле настила печь, Корюн и тут пошел навстречу: отправился в недалекий Карс и привез полную телегу обожженного и слепяще оглазурованного кирпича. Безотказность Корюна объяснялась тем, что богадельней заинтересовался игумен. Обитель часто посещали окрестные помещики, и он им стал показывать хорошеющую день ото дня богадельню: вот-де, как мы о немощных радеем. Однажды при этом он назвал Григора бывшим васпураканским иеромонахом и магистром. Видимо, он поверил или дознался, что это так, потому что прибавил: «Вон тот долговязый — племянник, спасением души клянусь (истово перекрестился), племянник васпураканского епископа Анании, окаянного дифизитствующего недоверка племянник, но вот же — считает для себя почетом быть у нас служкой».

Ни в каком ином качестве Григор и не представлял себя в обители. В ней не было книг, кроме его Библии да еще порядком затрепанного и выщипанного Нового Завета. Судя по всему, монастырь ни с кем не переписывался. Однако жил монастырь насыщенной, более того, бурной жизнью. Были в нем подлинны аскеты, доводившие себя строжайшим постом и ношением вериг до восторженно-исступленного состояния. Им то и дело являлись духи, а после вся обитель обсуждала: ангел то был или дьявол. Такие обсуждения длились и день, и два, захватывая и ночь. К определенному выводу братия никогда не приходила и восполняла неясность благодарственными молебнами и крестными ходами. Надо отдать здешней братии должное: она была набожней нарекской. Впрочем, вера невежественных людей обычно сильнее веры образованных.

Самой колоритной и противоречивой натурой монастыря был игумен Армен. Он являл собой наглядное доказательство теории Клавдия: то исходил злобою, то почти кроток бывал. Нередко он закатывал буйные оргии с окрестными помещиками (порой из его домика доносились женские взвизги и хохот), а затем с утра метался по храму и во всеуслышанье каялся. И вся братия утешала его и молилась за спасение его души. Братию он держал в кулаке. Соседских гуляк тоже подавлял и всячески использовал. Не только женщин они привозили, но и обильную снедь, и золото.

Посты в монастыре соблюдались неукоснительно. Но добродушный кухонщик хорошо относился к Григору и, понимая, что сытная еда необходима ему для физической работы, во время постов баловал его, а с ним и других обитателей богадельни белыми грибами, медом, изюмом.

Печь клали долго. То она дымила, то вовсе не желала загораться. В конце концов удалось соорудить нечто страховидное, зато годное. На все про все ушло месяца три. Подоспели холода с мок-

рядью. Григору хотелось еще застелить пол дубовым дощаником и сколотить отдельные лежаки, но Фетек отрезал: «Хватит. Надо что-то и на будущий год оставить». Он, очевидно, решил побережь обнумы. К концу работ оба совершенно обносились, и Корюн выдал им по паре сапог, стеганные, проложенные козым мехом рубахи и такие же штаны.

Однажды грелись они под вялым солнышком на дровоколье, и Григору пришло в голову, что ничего о Фетеке ему не известно. Тот, впрочем, тоже никогда его ни о чем не расспрашивал. Григор подумал, что сейчас, когда все дела переделаны, можно и поболтать, познакомиться поближе.

— Слушай,— спросил,— ты как здесь оказался?

— Заболел,— со вздохом ответил Фетек,— начал перхать, все решили, что я заразный.

— Кто все?

— Тондракиты. Я с ними свою жизнь промотал. И добро бы в охотку, а то — нет, по нужде.

— Как это по нужде?

— Из-за него все вышло.— Ткнул себя пальцем в межножье.— Он у меня сызмалу что кол стоял. Спать из-за него не мог. И никакая работа его не унимала. Бывало, иду на сенокос, к ляжке его привязываю. Стыдно же перед народом. Машу косой, хожу, а он от трения извергнет семя и опять — как железяка. Что делать?.. Пошел я к одной мудрой знахарке. Она говорит: «Жениться, говори, тебе нужно, не то он в гроб тебя сведет. А я говорю: рано мне жениться, не видишь, что ли?— Сплюснул веки, объяснил:— Она уже подслепая была, а я тогда вдвое моложе тебя был. Бабы мне хотелось, ой хотелось! А что делать? У нас в селении строго жили. Тут прослышал я про тондракитов, что у них, мол, все по-другому, да и мужики наперечет. И вот слух прошел, что неподалеку стан ихний остановился. Я темноты дождался и шашть туда. Холодрыга, дождище, а у меня все равно торчит. Думаю: не будет дела — наложу на себя руки, и все. Ну, залез в какой-то шатер и сразу бабу нашупал. Молоденькую, вроде меня. Грудки ее и ладоней мне не заполнили, упругивые такие, видать, еще не мятые. Она обернулась ко мне. Только «ах» сказала, обхватила меня за шею, и спарились мы. И такая она вся хорошая была, шелковистая и еще меня неумней, хоть и тихая. А я понял, как ей надо, и все делал, как ей надо. Не как зверь на ней тряся, а ласково сновал. Мне самому занудилось, как ей. Ну, облетчился я, слышу, она спит, я и выбрался из шатра. Ни имени ее не узнал, ни лица не разглядел. Вернулся домой, заснул. Просыпаюсь и сразу опять захотел. Только не одним колом, не подумай. Я по ней душой соскучился. Я с ней и повидаться захотел, разглядеть, поговорить. Кинулся туда. А уже вечер. Снялся стан.— Фетек глубоко, без кашля вздохнул, облизал свои корявые губы и дрогнувшим голосом заключил:— Она пуще всего стала нужна мне, а ее нет...

Детски плачущая обида продрожала в его голосе и ручейко-

вой чистотой проплеснулась через Григора, тоже ощутившего себя обиженным — как никогда прежде.

— И ты пошел искать ее?— спросил осторожно.

— А как было не пойти? Помыкался пару дней и пошел. Я бы узнал ее, хоть лица не видел. На ощупь узнал бы. По ручкам ее приветливым, по лону приютливому. Да и она, думаю, узнала бы меня. Где я только не побывал, каких только тондракиток не пере-пробовал... Хорошие тоже попадались, а что толку? Не она... Случалось, зверел, дубасил их. Ну, а как состарился да кашлять начал, никому не стал нужен. Я сюда из Никеи приплелся. Слышал о таком месте?

— Слышал.

Григор вспомнил, что не решился спросить о своем брате Сааке у Иакова Сюникаци, боясь, как бы тот и его самого в единомышленники не зачислил.

— Скажи, а ты встречал в Греции тондракского вожака Саака?

— Это который из князей?

— Да.

— Встречать не встречал, но слышать о нем приходилось. Болтают, что он великий вояка и вот-вот главную власть над тондракитами возьмет. Они, заправилы, все такие. Им только власть подавай, а на людей им плевать.

Григор оскорбился за Саака:

— Это ты напрасно. Не знаешь человека, а хулишь. Не все они такие. Иаков Сюникаци не такой.

— Э!— пренебрежительно отмахнулся Фетек.— Я и про него слышал. Он дурак.

— Вот те на! Умнейший человек!

— Ну и что, что умнейший? Бывают и такие — умные дураки. Он, говорят, справедливый, но тондракиты как понимают справедливости? Взять верх и все на свой лад переиначить, чтобы все равными были, одинаковыми. Смекаешь? Можно, скажи, ставить на одну доску красавицу и каракатицу? Да еще добрую красавицу и злобную каракатицу? Красавице-то легче быть доброй, чем каракатице. Той легче быть злобной, она и злобится. Я об этом много думал, я тебе скажу, что будет, если Господь попустит и тондракиты верх возьмут. Пошебуршатся они вволю, все попортят, изгадят, а после, когда увидят, что до точки дошли, исправлять кинутся. Суть-то в чем? В том, что человека не переделаешь. Сам Господь не смог его переделать. То увещал, то затапливал, то всякие моры насылал, а потом махнул рукой и сказал: «Какой ты есть мешок говна, таким и пребудешь во веки веков». Во как! Господь не сумел, а они, козявки задрипанные, сумеют!

Довольный этим сопоставлением, Фетек захохотал и тут же закашлялся. Однако и покашлял с удовольствием.

— Пошли в дом,— сказал Григор,— я тебя разотру.

— Успеется. Там старички сейчас постирушку затеяли. Этого хрена арабского там сейчас нет, пускай похозяйничают.

Григору давно хотелось расспросить его о старичках, но, чувствуя, как дороги они Фетеку, остерегался любопытствовать. И вдруг немногословный обычно Фетек сам начал:

— Знаешь, кто наши старички? Один — никакой не старичок, а старушка.

— Ну да!

— Да. Я своими глазами видел его — тьфу ты! — ее писающую. И араб видел. Он все видит, все слышит, все вынюхивает. Он тогда собрался сходить к игумену, донести. Но я сказал: донесешь — пришибу! — Фетек стукнул по колену так, что нога взметнулась, но тут же вымолвил нежно: — Не старички, а старичок со старушкой.

— Уфф!.. — От прилива умиленности у Григора сердце зашлось. «Вот это и вправду богадельня».

— А как они друг о дружке пекутся! — еще ласковей сказал Фетек. — Это они теперь притихли, как мышки, чтобы работать не мешать нам. А раньше они и пол подметали, и весь настил мыли, и даже нас с этим хреном обстирывали. Вот они какие! — возгласил и снова раскашлялся.

— Они, наверно, здесь познакомились, — нерешительно предположил Григор.

— Какое здесь! Совсем ты, гляжу, несмышленный. — Фетек поперхал в ладони и, вытерев их под мышками, разъяснил: — В старости люди черствые. Вот ты вроде добрый ко мне, а я к тебе — так, не скажу, что добрый. Польза от тебя, вижу, есть, ну и терплю. Нет, у них это точно смолоду. В них, понимаешь, память, какими они были, как любили друг дружку. Зажмурятся — и такие же они друг для дружки, какие были. Чего я упустил, того они не упустили. А ты говоришь: здесь познакомились. Дурной ты, ей-ей! — Он вскинул на Григора свои буро-серые глаза и, колюче уставясь на него, спросил: — А ты-то почему здесь?

Сознавая, что Фетек воспримет такой ответ как полную несуразицу, Григор все же сказал:

— Людей захотел повидать.

— Ты дома что, в зверином логове жил? — жестко спросил Фетек.

— Как бы тебе объяснить?.. — И, виновато посмотрев на него, промямлил: — Не буду объяснять, неохота.

— Не охоча кобыла до хомута, — усмехнулся Фетек. — Я все про себя выложил, а ты, стало быть, молчок? Славно получается. Но занятие-то какое-никакое у тебя было?

— Покаянные песни складывал, — хмуро ответил Григор.

Фетек явно не поверил, глянул еще кольце и потребовал:

— Прочти.

— Пожалуйста, — сказал Григор, доставая из кармана книжницу, в которой за все эти три месяца прибавились лишь фантастические планировки печек. Отогнул обложку и не отцовым, а собственным голосом, каким только что разговаривал, начал читать молитву.

Фетек сперва слушал рассеяннo, мял в подъеме новые сапоги и прислушивался скорее к их скрипу, чем к чтению, но вскоре в глазах его вымелькнуло и остановилось удивленное внимание. Дослушав молитву, пожевал губами, видимо, повторяя ее последние слова, затем сипло проворчал:

— Ничего молитва, неплохая. Ты в ней больше за других просишь, чем за себя.— Усмехнулся, покрутил головою.— Чудной ты человек!.. Но уж какой есть... А что, Господь может и удовлетить тебя, раз ты для других здоровья просишь. Ему это может понравиться.— Раздумчиво поморщив лоб, сообщил:— Наш арабский хрен тоже чего-то пишет. Он, знаешь, очень грамотный. Поначалу, пока мы с ним не разругались, он мне про наши святые книги много чего рассказывал. И про ихние рассказывал. Как это ихняя главная книга зовется?

Григор, уже ничему не удивляясь, подсказал:

— Коран?

— Во-во. У него эта книга есть.— Опять закашлявшись, пробрюзжал:— Заболтался я с тобой. Пойду сосну. Ты мне дай свою молитву. Я ее под голову положу. Глядишь, и подмогнет. Нет, всю книжку не надо. Ты листы с молитвой выдерни.

— Сейчас. Я только перепишу ее.

— Ладно, погожу.

Получив листочки, Фетек направился к богадельне. Едва он скрылся в ней, как из-за поленницы выглянул и вышел Обайдудла, розовея порезами на гладко выбритых, смуглых, словно закопченных щеках.

— Братски жму руку,— прочувствованно сказал он.— Я нечаянно услышал твои стихи. Они не так уж далеки от настоящей поэзии. Настоящая поэзия — как весенний поток, как морская буря, как огнедышащий вулкан,— произнес без всякой затрудненности, с малоуловимым, пощелкивающим акцентом и приложил руку к сердцу.— Я твой просвещенный сотоварищ. Я поэт. Я ученик настоящих, великих арабских и персидских поэтов.— И стал перечислять имена, которые ничего не говорили Григору.

«Господи, сегодня Ты вознамерился обогатить меня!»— мысленно воскликнул Григор, завороженно слушая перечень хоть и неизвестных, однако поразительно звучных в устах Обайдудлы имен.

— Все это — величайшие поэты,— продолжил тот.— Я их усердный ученик. Но я должен в чем-то превзойти их, так же, как каждый из них в чем-то превзошел другого.— Отнял руку от сердца и приложил ко лбу.— Надо учиться и тебе. В твоих стихах есть кое-что от морской бури, но твои стихи некрепкие, туда-сюда качаются. А поэтическая буря не должна качаться. Тебе надо много учиться. Сам как думаешь?

— Конечно, конечно!— зачастил Григор.— Я в себе страшно неуверен. Поэтому я страшно многословен, длиннотен, завожусь и

долблю одно и то же хуже всякого дятла. Конечно, ты прав.— И робко спросил:— Откуда ты? Почему здесь?

Обайдулла вздохнул и вновь переложил руку на сердце.

— Я последний отпрыск знатного рода. Сюда загнали меня враги, завистники.

Григор сочувственно вздохнул в ответ. В Нареке и во всех обителях, какие ему доводилось посещать, он нередко сталкивался с прямо-таки материализованной завистью, ничего, кроме враждебности, в себе не несущей. Он-то был надежно защищен могущественной родней. А этот человек одинок. Вот почему он ершится и одновременно угодничает... Все так же робко Григор попросил:

— Прочти мне что-нибудь, пожалуйста. Смысла я, разумеется, не пойму, но само звучание говорит о многом.

— Слушай,— энергично кивнул Обайдулла.

И он с чрезвычайно напевным шелканьем, цоканьем и присвистом прочел нечто ритмически незыблемое, неразрывно скрепленное созвучиями.

— Ну как?— спросил.

— Сама гармония!— восхищенно выдохнул Григор.— Тополь не бывает таким стройным.

Обайдулла удовлетворенно фыркнул.

— Вот что я братски могу предложить тебе. Переведи стихи на свой язык.— По-орлиному нахохлился.— Я перевожу стихи с персидского на арабский и наоборот. А ты когда-нибудь переводил стихи?

— Нет.

— Я научу тебя. Внемли с полным вниманием. Когда переводишь стихи, не надо это делать слово в слово. Не сумеешь сделать.— Глянул испытующе.— Или сумеешь?

— Едва ли. Арабское слово может быть кратким, а соответствующее ему армянское...

— Понимаешь. Хвалю. Значит, делай так. Передавай мысли и страсть. При этом вкладывай свою боль, если в тебе есть боль. Она должна быть в поэте. Во мне она есть. Мои стихи горестные, как моя судьба. Хотя могу писать и праздничные. Все могу. Внемли дальше. Я тебе сейчас переведу стихотворение по словам, ты запишешь, а потом армянскими буквами запишешь его звучание.

— В этом нет необходимости,— радуясь, что кое-что и ему дано, сказал Григор.— Я запомнил и весь распев, и где переключаются твои чудесные созвучия.

— Ну! — удивленно вскричал Обайдулла.— Это уже что-то. Это значит, что ты не совсем чужд поэзии. Братски жму руку.— Глянул на Григора вопросительно.— У меня есть грифель и бумага. Но я ими очень дорожу. Я видел, что они есть и у тебя.

— Да, вот они.— Григор поспешно достал свои письменные принадлежности.— Слушаю тебя.

Обайдулла, привередливо выбирая слова, то и дело заменяя

одно другим, принялся диктовать. Сперва Григор был так занят записываньем и правкой, что смысл от него ускользал. Он понял лишь то, что стихи навеяны действительно горестным событием. Но когда Обайдулла, дойдя до середины, позволил себе передышку, Григор прочел записанное и почувствовал, что сейчас подавится от смеха. Записанное было не просто смехотворным, а безжалостной, убийственной щекоткой. Зажав ладонью рот, он превозмог себя и уже валящимися набок закорючками дописал:

Такая во мне тоска, что и сказать не могу, какая,
И мрак такой, что какой, не скажу.
Смерть поглотила отца моего, увы, навсегда,
И поэтому я скорблю так бесконечно.
Родня и знакомые уже нашли себе дело,
А я всё сижу, как утёс неподвижный.
Все другие, как мошки, носятся,
А я всё сижу, как надгробье скорбящее.
И такая во мне тоска могучая,
И такой мрак крошечный во мне,
Что безысходная скорбь не находит выхода
И не найдет его, увы, не найдет.

Выведя «не найдет», Григор затравленно оглянулся, еле вышептал: «Я скоро», сунул в карман книжку с грифелем и помчался к воротам. Во дворе, к счастью, никого, кроме цесарок, не было. Григор оглянулся на дровокольную, где оставил уже невидимого Обайдулла, одним прыжком перемахнул через пустынный проселок, взмыл на крутой холм и покатился кубарем по противоположному склону, регоча и визжа:

— Ой, Господи, до чего здорово Ты подшутил надо мной! Ой, не могу, сил моих нет, помилуй, Господи! Как это у него? «Родня и знакомые уже нашли себе дело». Айиии! Не надо, помилуй, Господи!..

Взвизгивая, постанывая и поглаживая саднящий кадык, он сел. «Что же это? — подумал уже серьезно.— Человек любит свое горем, даже кичится им. Мыслимо ли такое горе? Нет. Значит, он несколько не горюет, ни на йоту. Надо же быть таким бездушным! Вот бедный, вот беднейший из бедных!.. А как у меня это было?..»

Он вспомнил, как ночью дядя и Овик растолкали его. Кажется, дядя коротко сказал: «Отец умер, одевайся»; потом кликнул Месропа и уже деловито и раздражающе пространно давал тому какие-то распоряжения, а тот спросонья ничего не схватывал, переспрашивал и переспрашивал, и Григор думал, что бестолковее Месропа нет человека... А сам-то он горевал?.. Нет, это было не горе. Нелепый сон — думалось. Вон и Месроп о чем-то бестолково переспрашивает, и дядя твердит Месропу о чем-то пустячном, о том, что где-то стекло высквозило, и еще о чем-то таком же. Повеяло, только когда увидел затрясшиеся на миг дядины плечи и когда дядя сказал ему: «Утри слезы и на людях не хнычь». Потом чувство утраты вытеснила спешка: гнали лошадей, пересаживались

на других, будили востанского епископа, — все впопыхах. В Ване, дома, все было чересчур торжественно: озаренная только что вставшим солнцем безмолвная толпа во дворе, и оледенелая Няня у крыльца, и сам отец со своей словно бы торжествующей улыбкой. А потом — опять спешка, мельтешня, дядины окрики: это не так, то не так, все не так... Но все как-то наладилось, как-то странно вовремя приехал Мовсес, который тогда вел себя очень дельно, и суматошная горячка сменилась тем же ощущением нелепицы. Затем они вчетвером — царь, дядя, Овик и Григор — ехали впереди похоронной процессии в направлении Нарека, и царь сказал: «Вы сейчас сильные, ваша пора пришла». Затем все опять было чрезвычайно торжественно. В особенности — прощальное слово Мовсеса и отпевание. Отпев отца, Мовсес поднял комок земли и протянул царю. Но тут вмешался Овик. Он сказал: «Подожди, государь», спустился с пригорка и двинулся через людское море — куда, Григор не понял, но понял, что Овик делает что-то необходимое. Вскоре Овик снова появился под взгорком, держа за руку Толстого Атома, а тот держал за руку Няню; и все домашние, держась за руки, взойшли к могиле. Овик сказал им: «Киньте по комочку». Вот тогда у Григора хлынули слезы, но он тут же стряхнул их. А домашние, кроме Няни, плакали — кто погромче, кто потише... Когда могилу завалили, Овик подошел к Григору и сказал: «Ты с ними поедешь домой». Торжественные поминки устраивались в Нареке, но Григор уже перебрал этой помпезности. Он облегченно сказал «да» и побрел с домашними. Возвращались на дрогах, на которых доставили гроб. Солнце зашло, небо звездилось. Никто уже не плакал. Оживленно говорили о пышности похорон, о том, что отца все царство хоронило, затем начали клевать носами. Кроме сидевшего на козлах Тощего Атома и, кажется, Няни, уснули все. Григор до самого дома проспал. Да, Няня его и остальных растолкала. Все озябли, дрожали. Стояло то предраассветное время, когда тьма сгущается предельно. В доме было тихо. Варсик, на которую оставили детей, спала вместе с ними в гостиной. Там же она собрала поминальный стол. Они потоптались в коридоре и направились на кухню. Свечей не зажгли, есть не стали. Сели все тесно, помолчали с минуту, потом разбрелись по комнатам...

Тогда Григор не понял этой молчаливой минуты, хотя она показала ему неслучайной. А сейчас, вспомнив, как все они теснились за кухонным столом, как никто не всхлипнул и даже не кашлянул, не сморкнулся, как в окне стояла предраассветная, самая темная темнота, — сейчас он догадался, что это была за минута. Она была для всех последним и торжественнейшим прощанием с отцом. Вот почему никто и не всхлипнул.

А у него-то болела душа по отцу?.. Поплакивала, хныкала. Но гордость, что у него такой отец, — это было тогда его сильнейшим переживанием. Чем же он лучше Обайдуллы, над которым всласть посмеялся? А ничем. Хуже, потому что заносчивей. Да, кое-

что за эти три месяца он сделал, чтобы превозмочь свою гордыню. И его смирение оценено здесь, сверх меры оценено. Ему во всем идут навстречу, с готовностью дают все, что он ни запросит. А главное, в каждом из этих людей есть свет и чистота, и каждый по-своему просветляет и очищает его, испытывая благодарность к нему за то, что он не препятствует им делать это,— вот истинная духовная щедрость. А какое золото Фетек! Как он любит старичков, да и сами старички чудо! А то, что Фетек не в ладах с Обайдуллой, вовсе не говорит, что тот дрянной человек. Всякое случается между людьми. Не поладили. Обайдулла образован, начитан, он вдоволь хлебнул лиха, да и тут ему несладко, на птичьих правах живет, ибо дорожит своей верой,— конечно же, Обайдулла достоин уважения. А стихи эти еще ничего не доказывают. Мало ли он сам накатал ерунды, которой теперь стыдится?.. К тому же пишущие люди вроде родителей, которым хворое дитя дороже здорового. Плохо, что нельзя попросить у Обайдуллы другое стихотворение — оскорбится, откажет.

Григор перечитал стихотворение. М-да, не перл, конечно. Как же быть?.. А есть выход. Обайдулла не мелочен: разрешил ему вложить в стихи собственное чувство.

Он отчетливо услышал суровое, чеканное движение ритма, перезвон обильных созвучий и задумался: что же прежде всего определяло ту прощальную минуту?.. Ее тишина. Да, несомненно. Вот с этого и следует начать. Он снова вслушался в ритм, дал ему войти в себя, и ритм сам начал отбирать подходящие слова и перетекать в них.

Так тихо, точно шум затих с отцом,
Как будто он весь шум унес с собою,
Как будто он пустым оставил дом
И все кругом наполнил пустотой.
Такая тишь, такая немота,
Как будто все уста отговорили,
Такая навалилась темнота,
Как будто землю на себя валили,
Как будто мы под тем же бугорком,
Так мы затихли, так нам одиноко,
Так смолкло и померкло все кругом,
Чтобы с отцом побыть еще немного.

Пробежав записанное, досадливо качнул головой: первая половина выпренная, да и вторая передает лишь ничтожную малость их тогдашней прощальной слитности. А ведь он как будто размягчил себя до нужного состояния, в чем же дело?.. В ритме, похоже. Сам-то ритм превосходен, но своей чеканностью сковывает его, не дает разговаривать так, как ему привычно, отсюда и декламационность.

— Вот ты где прячешься,— услышал Обайдуллу.— Долго заставляешь ждать себя. Ну показывай, что сделал.

Григор понурился.

— Боюсь, ничего путного не вышло.

Но Обайдулла смотрел на него с такой напряженной требовательностью, что Григор принялся читать, удивленно различая, как от слова к слову крепнет и словно бы отвоевывает свободу его чтение.

— Сильно звучит,— почему-то с неудовольствием сказал Обайдулла.— Для начала неплохо. Братски жму руку.— Подбоченился, поставил ступню на камень, пристально всмотрелся во что-то вдаль.— Теперь откровенно, как старший брат, скажу о слабости. Я позволил тебе вложить в мои стихи твою боль. А она у тебя не поэтическая. Она обыкновенная.

— Как это? — не понял Григор.

Обайдулла снисходительно похлопал веками.

— Настоящий, великий поэт всегда страдает в гордом одиночестве. А где у тебя «я»? У тебя «мы». Нет в тебе гордого одиночества.

— А зачем мне оно? — изумился Григор.— Человеку тяжело одному.

— Человеку! — фыркнул Обайдулла и, сменив ногу на камне, авторитетно, сочно сообщил: — Величайшие арабские и персидские поэты всегда страдают в гордом одиночестве. Сами говорят, что так страдают.

Григору все это стало скучно. Да и умаялся он сегодня. С утра колот дрова, две поленницы заготовил. Время поужинать и лечь.

— Пускай говорят, что хотят,— ответил покорно,— я им рта не затыкаю.

— Как? Тебе не важно, что говорят прославленнейшие поэты?

— Извини меня. Я сегодня не обедал. Схожу перекушу.

— Поймай, стой.— Обайдулла беспокойно забегал глазами, снял ногу с камня и загородил ею тропу.— У меня имеется серьезное предложение.— Надул выбритые утром, но уже как жирной сажой обрастающие щеки и выдавил: — Ты владеешь стихом. Зачем тебе влачить здесь жалкое существование? Ты знаешь, что у арабских и персидских повелителей есть придворные поэты?

— Ну, слышал.

— А почему бы не учредить такую должность анийскому царю? Разве ему неприятна будет поэтическая хвала его деяниям? Я много раз воспевал в стихах двинского эмира. Он бы возвеличил меня, если бы не мои враги-завистники. У меня полно хвалебных стихов, ты переведешь их, назовешь эмира царем, царь назначит меня придворным поэтом, а ты при мне тоже станешь жить в довольстве и роскоши.

Все это он отгарабанил без запинки, глядя на Григора жадно расширенными глазами. Замолчал и выжидательно всем телом заковылялся — тучный, однако чрезвычайно гибкий. «У него не все дома»,— убежденно подумал Григор, но вместо жалости ощутил злую гадливость.

— Ты не любишь стихи,— сказал уверенно,— и они тебя не любят. Они не дадут тебе того, чего ты от них ждешь.

— Дадут! — перешел на визг Обайдулла. — Все дадут! А такие, как ты, будут слизывать с меня свою блевотину! — провизжал и опасно убрал ногу с тропы.

Григора в самом деле стало мутить.

— Да ты... ты... — глотая тошнотный комок, захлебывался и задыхался он, еще не зная, что сейчас скажет, но догадываясь, что в нем зреет что-то клеймоподобное, жесточайшее, — ты... — И вдруг отцовым голосом раскатил: — Корррыстная крррыса!

Обайдулла был прав: за эти три месяца Григор существенно поутратил интерес к себе. Действительно, слово «я» произносил теперь нехотя — как нечто необязательное и даже зазорное. Гораздо больше занимали его теперь окружающие. Этим и объяснялось доброе к нему отношение братии и самого игумена. Тот лишь Осроены не мог ему простить. Однажды, за обедом, спросил: «Где эта страна?» И когда Григор ответил, что она давно в составе Византии, удовлетворенно сказал: «Значит, греки ее слопали. Но рассуди: неужто Господь попустил бы грекам слопать первую христианскую страну? Мы-то, сколько на нас ни зарятся они, целы-целехоньки. Это в тебя бес вселился, который пособляет грекам. Я помолюсь, чтобы он вышел из тебя», — заключил благосклонно. И Григор не стал приводить ему апостольское изречение, что нет различия между греком и евреем, что Господь у всех один. Подумал: суждено ему — сам разберется, ведь он размышляет об этом, он не дурак и, может быть, поднимется до таких высот христианского космополитизма, какие никому и не грезились.

Вскоре после скверного разговора с Обайдуллой, за который он стыдил себя, вспомнилось ему присловье, что на живом человеке нельзя ставить крест. И, понаблюдав за Обайдуллой, в общем-то безвредным, пугливым и жалким, без усталости плодящим себе воображаемых врагов, увидел и в нем нечто незавершенное, чему, может быть, суждено обернуться доброжелательностью и терпимостью. Выпало же на долю нетерпимому отцу (тот, впрочем, всегда ратовал за терпимость) сподобиться под конец благодати.

Размышлял он и над теорией Клавдия, которая теперь казалась ему книжной, схематичной. Если и одного человека нельзя свести к схеме, если каждый так противоречив, многолик и неожидан, то можно ли упрощать до схемы всё творение? Тут — что-то более высокое и тонкое. Иаков Сюникаци несомненно дошел до этого, но ему (ох как смешон, как абсурдно-потешен был его вопрос: болото или озеро лучше), ему не пожелал открывать свое знание. До этого каждый должен прийти собственным умом, собственной душой, всею жизнью.

Однако мысли о Клавдиевой теории вместе с прочим, что мешало его нынешней умиротворенности, он гнал от себя. Старался не думать о домашних, не думать о беременной, а может, уже и родившей Лейли. Как Бог даст, так и будет. Он много молился, много

работал физически, помогая кухонщику заготавливать на зиму съестное, колол дрова, убирал в храме — короче говоря, был образцовым, безотказно услужливым служкой. Здесь теперь был его дом.

И это его теперешнее состояние, в котором «мы» преобладало над «я», однажды переросло в стихи.

Порою среди гнездовий вороньих
Мы замечаем голубков незаклеванных,
А среди пристанищ зверей кровожадных —
Ягнят незадранных,
Видим кротость в свирепости,
Сообразность в нелепости,
Скромность в кичливости,
Искренность в лживости,
Примирение в мести,
Постоянство в изменчивости,
Верность в коварстве,
Нежность в ярости,
Доброту в язвительности,
Прямоту в пронырливости,
Приличие в наглости,
Величие в жалкости,
Чаяние в отчаянности,
Раскаяние в нераскаянности,
Благоволение в зле,
Благословение в разящей стреле.

Стихи дались трудно. Он корпел над ними всю ночь, зажигая в печке щепины и втыкая их в пол. Обайдулла ворочался, брюзжал, что истинному поэту дня хватает. Григор отшептывался: «Да, конечно, шшш, я же тихонечко...», и корпел, потел, выискивая антитезы поухватистей, чтобы того же Обайдулла охватить ими. Законча, сказал себе: «Толково, пожалуй». Как раз закончилась и книжица, что сперва огорчило, потому что ни бумаги, ни пергамента в обители не было, но тут же беспечно подумалось: э, понадобится — найдется, ведь он и из дома не взял ничего для письма.

На цыпочках выбрался наружу ополоснуться, — от этой привычки избавиться не мог, — выбрался и увидел нападавший за ночь пухлый снежный покров. Снег продолжал падать, густой, струистый, но приятный, словно бы нагретый морозцем. Григор снял рубаху, штаны и снегом растер всего себя, распаренного, мокрого. В разрывах между облаками мерцали уже блеклые звезды. Он высмотрел Большой Ковш, попросил его: «Погори, милый, с часочек», и отправился спать.

Приснилась ему Лейли. Невеселая, растерянно молчащая, она стояла напротив него и уныло покачивалась. Вдруг на ее лице отросли усы, борода, и он, узнав в ней себя, не присыпаясь, подумал, что она, как и мечтала, разрешилась сыном. По-прежнему, во сне, удовлетворенно отметил, что эта новость никоим образом не нарушает мира в его душе.

— Григор, проснись,— услышал,— ради Бога, проснись, уважаемый и почтеннейший.

Он разлепил веки и увидел над собой перекошенное, вероятно зубной болью, лицо Корюна.

— Зубы разболелись? — спросил.

— Хуже, хуже... нет, хуже не бывает,— забормотал тот.— Приехали воины от владыки Армена. Владыка просит тебя немедленно пожаловать к нему.

— Кто он, этот владыка?

— Заведующий монаршей канцелярией. Переоденься поскорей. Вот ряса, мантия.

Григор сел. Обайдиллы и Фетека, который носил старичкам еду, рядом не было. Только старички шушукались за перегородкой.

— Пускай воины подождут,— вызвнул.— Путь неблизкий. Я позавтракаю.

— Что ты, что ты! Владыка самый занятый в царстве человек. Переодевайся, а я принесу чего-нибудь. Мяса, изюма — чего хочешь?

Умиротворенное состояние выплеснулось и сменилось ожесточенным.

— Переодеваться не буду,— процедил.— Занятый человек потерпит. Я тоже не ворон считаю. Тулуп мне какой-нибудь раздобудь. А я пока схожу на кухню.

— Как же так? — Корюна перекосило.— Преподобный велел тебя переодеть. Эти воины называют тебя иеромонахом.

Григор, не отвечая, поднялся с настила и вышагнул во двор, где увидел запряженную четвериком повозку и двух воинов в увенчанных стержнями шлемах. Хмуро прошагал мимо. Зайдя на кухню, поздоровался с кухонщиком, глядящим на него со всегдашней дружелюбной улыбкой, и сказал:

— Извини. Один очень занятый человек в Ани меня вызывает.

— Знаю. Собрать тебе еды на дорогу?

— Я сам.

Кухонщик отмахнулся, взял шматок сала, тонко наломил, завернул в хлебные лепешки, потом все вместе — в чистую тряпицу, достал из шкафа мешок и положил туда. Принялся за головку сыра.

— Так буду отколупывать,— сказал Григор,— он, видишь ли, занятый очень.

Кухонщик, благодушно усмехнувшись, порезал и сыр. Григор снял со стола кувшин и прямо из горлышка попил. После бессонной ночи вода, как вино, ударила в голову.

— Ох,— сказал, потерев лоб,— за что напасть такая? Все грехи мои смертные при мне.

Ухватил мешок, кивнул кухонщику и заметил входящего на кухню игумена. У того лицо было не ровнее, чем у Корюна.

— Благослови, преподобный отец,— произнес Григор и опустился на колени.

Игумен суматошливо осенил его, царапнув при этом по носу. и неожиданно высоким голосом справился:

— Доволен ли ты нами?

— Доволен — не то слово,— сердечно ответил Григор.— Не знаю, как благодарить. Да и ни к чему, должно быть.

Во дворе увидел пасмурного Фетека.

— Уезжаешь?

— Ну.

— Ты уедешь — кто останется?

— Это ты брось! — крикнул Григор с уже сырыми глазами. И твердо сказал: — Вечером вернусь — провалиться мне, не сходя с места.

Прибывший Корюн заставил его вдеть в рукава искристый куний полушубок. Григор подошел к воинам, хмуро поздоровался. Один из них откинул меховую полость, поклонился несколько набок, чтобы не задеть его нашлемным стержнем, буквально внес в повозку и бережно укутал ему ноги полостью. Сам уселся на козлах, другой вспрыгнул на запятки, и повозка, скрежеща на снегу колесными цепями, тронулась. Григор решил не гадать: что и зачем? Порылся в мешке и, доставая понемногу еду, принялся закусывать. Тускло-серебристая непогодь заволокла небо. Снег сеялся по-прежнему, но уже мокроватый, и наст начал подтаивать. Был понедельник, но, несмотря на это, а может как раз и поэтому, проселок, а затем и проезжая дорога были безлюдными. За все полтора или два часа пути только дважды встретились крестьянские телеги с сеном. Когда впереди завиднелась городская стена, воины посоветовались, и тот, что правил, свернул с раскисшей дороги на булыжную, огибающую Ани с севера. На этой дороге встречных и попутных стало больше, но все мгновенно сторонились, и повозка неслась безостановочно.

Потом на охраняемом латниками, толсто обшитом медью пароме (непонятно, как вода его держала) переправились через Ахурян и без задержки проехали в главные, по всей видимости, ворота, на арке которых два гранитных коронованных льва устрашающе раззявили пасти. За воротами, на площади, возносился в ненастную серебристость и маячил в ней крестами великолепный, облицованный желто-красным туфом храм. По краям площади было полно мастерских, лавок, рыночных рядов — всего, чего не увидел Григор в первое посещение Ани. Стремительно просекнув площадь наискось, повозка полетела по мощеной дороге, на которой встречались преимущественно латники. Угрюмой машиной вырос замок. Мост был опущен, но передний воин натянул вожжи, а запяточный прыгнул и, как гусь, переваливаясь на осклизлом плитняке, пробежал в ворота. Вскоре прибежал, что-то сказал сидящему на козлах; повозка вернулась на торговую площадь, и берегом Ахуряна, минув низы мощных беломраморных колонн, держащих, судя по ката-

пультам у крыльца, оружейную мастерскую, покатали дальше. Возле непонятого назначения массивных башен высилась то ли узкая церковь, то ли большая часовня. Запяточный вбежал в нее и, воротясь, что-то вновь сообщил козловому.

Тот круто взял вправо; проехали отшельнические пещеры — вероятно, те самые, о которых сказала Григору нищенка, угостившая его просфорой; проехали мимо старых, тощеватых городских стен, потом — мимо обширного банного здания, откуда вытекали розоволицые люди. Заехали в уже знакомую Григору тесную часть города и покатали медленней. Остановились у ничем не примечательной ограды. Запяточный опять соскочил, ухватился за цепочку колокольца и дергал ее до тех пор, пока калитка не отворилась. Перемолвившись с привратником, воин подбежал к повозке, сгреб в охапку тщетно запротивившегося Григора и поставил его на землю. Привратник не согнулся, а как бы переломился перед ним и сказал:

— Владыка Армен ждет тебя. Пойдем.

Григор прошагал по маленькому двору, шагнул на дощатое одноступенчатое крыльцо — что-то вроде спального настила в богадельне — и оказался в приемной, ударившей в глаза вызолоченными стенами. На двух пристенных, красного дерева скамьях сидело десятка полтора людей. Григор собрался было притулиться сзади, но тут бесшумно распахнулась тоже золоченая, неотличимая от стен дверь, и скакнувший через порог приземистый человек в рясе спросил его, торопливо сменяя слова:

— Иеромонах Григор из Васпуракана?

— Да.

— Ступай к владыке.

В сплошь ковровом, вытянутом от двери в ширину помещении Григор увидел склоненный над письменным столом седой затылок. Туловище было заслонено спинкой стула. Григор, неслышно шагая по мягкому коври, приблизился. Сидевший заполнял крупный пергаментный лист.

— Я здесь, — сказал Григор и нерешительно представился: — Иеромонах Григор из Васпуракана.

— Подождешь, сын мой, — не оборачиваясь, пробасил сидевший, — я тебя, невзирая на занятость, битый час дожидаясь. Долго ехал, долгонько.

— Мы загодя не договаривались, — буркнул Григор.

Епископ продолжал писать. Заполнив на две трети лист, взревел:

— Армен!

«Тут засилье Арменов», — подумал Григор, вспомя, что и в обители Святого Духа их чуть ли не дюжина.

Влетевший Армен схватил лист и стремглав вылетел. Епископ убрал в ящик плотную кипу пергамента и вместе со стулом развернулся. Это был старик лет шестидесяти пяти, с великаньей верхней половиной туловища и до смешного куцей нижней. «Расплющен сво-

ей загруженностью», — ехидно подумал Григор. Но больше удивили Григора его глаза. Их как бы и не было. Блеклые хрусталики сливались с такими же блеклыми глазными яблоками. Подобные глаза, а лучше сказать, подобную безглазость Григор наблюдал у псевдогреческих статуй в Ване, но даже у слепцов — ни разу.

Епископ, не поднимаясь, протянул руку, и Григор поцеловал ее.

— Сын мой, время не терпит, — забасил епископ в ухо еще не успевшему выпрямиться Григору. — Скажи, какими языками, кроме армянского, ты владеешь?

— Греческим, латынью, — невольно поддаваясь его деловитости, доложил Григор по-воински лаконично.

— Насколько?

— Читаю, пишу. — Сразу поправился: — Могу писать, писал, пока учился.

— Ты учился в Нарекской академии?

— В ней.

— Когда и за что тебе присвоена степень магистра?

— Год назад. За толкование Песни Песней. — Подумав, что и при такой спешке ясность не будет излишней, сказал: — Диссертация моя не ахти какая, а если по совести, то...

— Сын мой, ты сможешь вести государственную переписку на греческом и латыни?

«Вот оно что. Я и в Аргине не успел побывать, и в Эчмиадзине. А он хочет запретить меня тут».

— Видишь ли, владыка, меня занимают не государственные дела...

— Сын мой, ты меня все время перебиваешь! — возмутился епископ, но не глазами — одним голосом. — Тебе доступны выражения, употребляемые в государственной переписке?

«Это своего рода безумец, — убежденно подумал Григор, глядя в его пустынные глаза. — Зря ему доверили такую должность. У него никакого интереса к людям. Он их не видит. А кто, как не они, используют в переписке эти выражения? Он малоумный, и спорить с ним бесполезно. Соврать, что ли?.. Нет, не могу».

— Что же ты молчишь, сын мой?

Глядя в блеклые глаза епископа, в которых не было и подобия интереса к нему, а было только нескрываемое, неприличное безразличие, Григор ответил:

— Выражения, употребляемые в государственной переписке, доступны мне.

— Сын мой, послушай мое краткое отеческое порицание. На пространное у меня нет времени. Ты уподобился ленивому рабу, который не пустил в оборот данные ему господином деньги, а зарыл их в землю. Ты владеешь греческим и латынью, а зарылся в ничтожное монастырьке. Здесь, — указал на ковровые стены и пол, — откроется перед тобой неоглядное поприще. Здесь ты пустишь в оборот данное тебе богатство. Ты станешь моей правой рукой. Ты был васпураканским иеромонахом, а будешь всеармянским. Завтра же

тебя хиротонируют. Можешь не благодарить. Некогда мне выслушивать твои благодарности. Сегодня ты свободен. Используй свою незанятость на то, чтобы осмотреть город. Побывай в замке. Тебя пропустят. Воины и повозка, доставившие тебя ко мне, отныне в твоём распоряжении. Жить будешь здесь. Комната для тебя приготовлена.

И он, перебирая куцыми ножками, развернулся к столу.

«Уфф, обошлось, кажется... обошлось, обошлось!» — говорил себе Григор, уходя от него.

Воины стояли возле повозки. Григор потоптался в раздумье. После бессонной ночи веки упрямо норовили слипнуться. Решил:

— Едем в баню. Нет-нет, в повозку я буду влезать сам и вылезать тоже. Есть хотите?

— Ты можешь пообедать тут, господин, — ответил запяточный.

— Я не хочу. Вы хотите?

Оба вздохнули.

— Отвезете меня в баню и отправляйтесь обедать. Потом немедленно заберете меня.

В бане воины отвели его в просторное, выложенное цветной мозаикой помещение с двумя водоемами, один из которых был повит парком, а другой прозрачно холодел. Отказавшись от услуг банщика, Григор разделся, залез в теплый водоем, поплавал, понежился на спине; затем вылез, натер пенистым гвоздичным корнем щетку на удобно выгнутой рукоятке, растерся и с разбегу бултыхнулся в холодный водоем. Пронырнул его, выбрался, лязгая зубами, на приступок и снова полез в теплую воду. Сменив водоемы раз пять и ощутив себя бодрым, завернулся в мохнатую простыню и стал прикидывать, как быть дальше. Надо попрощаться с Фетеком. Заедет в обитель, отпустит воинов, повидает Фетека и — своим ходом в Карсское княжество. До него от обители рукой подать.

Неспешно оделся, поблагодарил банщика и вышел на крыльцо. Повозка ждала его.

— Доставьте меня обратно в обитель, — сказал воинам. — Но гнать незачем. Поедем тихонько, без тряски. Я подремлю.

Куний полушубок грел отменно. Ноги он закутал меховой полостью, откинулся на спинку сиденья и тут же уснул.

Разбудил его лошадиный всхрап. Увидя холм с кренящейся к проселку церковью, Григор почувствовал, как защемило в груди. Здесь он в последний раз, с этим — всё.

Небо очистилось. Луна находилась в своем околополуночном положении. Григор тронул воина за плечо.

— Остановись.

Повозка встала. Оба воина вместе с ним спрыгнули на землю и вопросительно смотрели на него.

— Возвращайтесь домой, — сказал Григор и, заметив, что они переглянулись, спросил: — Вам велено слушаться меня?

— Велено, — подтвердили оба.

— Вот и слушайтесь. Доброй ночи.

— Доброй ночи, господин, — откликнулись они.

Передний воин сел в повозку, запяточный влез на козлы, и повозка укатила.

— Эй, — донеслось справа от ворот.

Закутанный в рваньё Фетек сидел на обломке стены. Григор подошел, опустился рядом и, не усмирив дрожащие губы, произнес:

— Холодно.

— Дело к зиме идет, — спокойно согласился Фетек.

— Чего же ты тут расселся?

— А ты мне сам наказал свежим воздухом дышать.

— Да. Но днем, а не ночью.

— Я уже не кашляю.

Действительно, кашель перестал бить Фетека с тех пор, как он положил в изголовье Григорову молитву. Григор не очень верил, что помогла молитва, продолжал массировать Фетека, придумывал для него всё новые дыхательные упражнения и заставлял гулять. Но Фетек уверовал в целебные свойства молитвы и не раз самодовольно говорил, что это он нашел ей применение, что без его смекалки оставался бы этим листочкам никчемной писаниной.

— С чем вернулся? — спросил Фетек.

— Меня хотят забрать из монастыря.

— Хотят — заберут.

— Нет. Я сейчас уйду в Карс. Граница ведь не охраняется?

— Границу ты перейдешь. Только в Карсе тебя живо разыщут. Там анийцы как у себя дома распоряжаются. А для чего тебе туда?

— Там монастырей, говорят, много.

— Монастырей везде хватает. Тебе хотя бы до Тайкского княжества надо добраться. Иди сейчас в Карс, до города. В город не заходи. Завидишь городские стены — сверни влево, на торговый путь. Вот этим путем дойдешь до Тайка.

— В город-то мне ненадолго зайти охота. Платить за это нужно?

— За что не нужно платить? Хотя монахов вроде бы туда пускают за так. Но ты не в рясе.

Фетек пошарил под рубахой, достал позвякивающий кошелек на веревке и опустил его в карман Григору. Тот протестующе вскинул руки.

— Мне динара хватит. Сколько в кошельке?

— Сколько есть. Зачем мне деньги?

— Ладно. А тебе пригодится мой полушубок. Снимай-ка с себя верхнее, отдай мне и надень полушубок.

— Дурак ты, — невозмутимо возразил Фетек. — У меня его завтра же Корюн отымет. Вдобавок станет допытываться, куда ты пошел. Тебя же искать будут. И правильно. Другого такого умника и впрямь не сыскать. — Решительно поднялся. — Слушай-ка, решил уходить — уходи.

— Ухожу. — Григор тоже поднялся. — Ты гуляй побольше. Сбережешь себя.

— А зачем мне себя беречь?
— Тебе старичков пережить надо.
— Это верно.— Фетек одобрительно усмехнулся.— Кое-что и ты соображаешь. Но мне не гулянье пособит, мне мои листочки пособят, потому что в листочках моих — Господь. Вот если Он мне велит, тогда буду гулять.
— Слушай, может, Он тебя и за ручку выгуливать должен?
— И это верно,— удивленно сказал Фетек.— Все же ты не круглый дурак. Господь мне ничего не должен. Я задолжал Ему, а Он — нет. Ну давай прощаться. Извини, если что не так было.
И, потерев Гривора за рукава, чмокнул его в подбородок.

Дорогу заново подморозило. Оно бы и кстати, но вдобавок задул ветер в лицо, защипал уши, и Григор поднял воротник. Однако шапку воротник не заменял — ветер постоянно отпахивал его. Подумалось, что куний полушубок — соблазн для грабителей. Снял, чтобы вывернуть наизнанку. Но мездра была до того выдублена, что не шла впереверт. В сердцах плюнул, забыл о грабителях и стал придерживать воротник, который никак не держался. Теперь холодило руки, и он согревал то их, то уши. Начало закладывать нос. После бани он очень мерз и пошагал быстрее, фукая, утираясь рукавом. «Лекарь, вылечись сам»,— вспомнилось дразнящее присловье.

До Карса спорого хода часа три. Вероятно, столько же придется ждать, пока откроют городские ворота. Но у него есть деньги, и он может стукнуться в какую-нибудь харчевню в предместье. Достал увесистый кошелек, высыпал содержимое на снег. Бог ты мой! Двенадцать номис и полно серебра. За такие деньги он любую лошадь купит, и ищи-свищи его. «Спасибо, Фетек, спасибо, родной». От куньей ризы надо будет избавиться, приобрести одежду попроще.

До предместья он добрался затемно. Кривой улочкой прошел мимо мгlistых домов и заметил впереди объемистое строение, в котором мигали огоньки,— наверняка подворье, кто-то уже в путь собирается. Прибавил шагу, свернул к ограде, и вдруг на ровном месте поскользнулся и, выгнувшись, чтобы устоять, почувствовал сперва жгучую боль в пояснице, затем сознание замутилось, и он облегченно понял, что умирает.

Очнулся он лежа ничком. Боль схлынула в правую, зашибленную летом ногу. Не боль, а пытка — ногу точно тисками сдавливали и откручивали. Такая пытка, что он вслух взмолился: «Господи, отчисти ногу!» Все-таки голова работала и подсказала, что сдвинулся поясничный позвонок. Покой и тепло нужны. Лежал он не как надо, не на спине, зато на плоской поверхности. «Сейчас из подворья кто-то выйдет, сейчас»,— успокаивал он себя, но успокоение приносила не эта надежда, а поминутно пропадавшее сознание.

— Переверни его,— услышал он резкий женский голос.

Чья-то рука грубо ухватила его за плечо, и он снова обеспамятел, но, вероятно, ненадолго, потому что пришел в чувство здесь же,

лежащим на снегу. Он чихнул, и от этого маленького сотрясения боль с новой яростью стиснула ногу.

— Ты ранен? — услышал тот же голос.

— У меня есть деньги... Пусть принесут широкую скамью и на ней в тепло... — жмурясь и не различая склоненного над ним лица, выцедил.

— Эй, что с тобой, что? — продолжала приставучая женщина.

— Поскользнулся... поясицу вывихнул... — сказал и гадко ругнулся.

— А! — прозвенел голос. — Со мной такое было. Я смогу помочь тебе. — Приказала кому-то: — Приволоки вдвоем с подворщиком лежанку. Постой-ка. Ножки отколоти́те.

Григор заставил себя открыть глаза. В сутеми он различил над собой юное, прекрасное, бело-румяное лицо, полуспрятанное меховым капором. Выстонал:

— Прости меня, ангел небесный.

— Ты о своей ругани? Ха, ругайся, сколько душе угодно! Сильные слова ослабляют боль. А я все эти слова знаю. Ругайся, но не говори, даже если я стану тебя о чем-то расспрашивать. Я ужасно любопытная.

В самом деле, ее овальные карие глаза смотрели на него не с участием, а с любопытством. Раздался гулкий топот, и она отвернулась.

— Стяните с него полушубок, — велела, — уложите спиной на доски — и в повозку. Бережней, бережней! Не бревно, а человек все же. Полушубок на грудь накиньте.

Оказавшись на полу крытой повозки, Григор вспомнил, что его будут искать.

— Куда мы едем? — спросил.

— В Карс.

— Кто-нибудь, кроме подворщика и твоего слуги, видел меня?

— Как интересно! — воскликнула она, длинно растянув «как». — Значит, ты преступник. Ха, а мордочка невинная. — Крикнула: — Эй, слетай к подворщику, скажи ему, что он никого не видел. Бегом, бегом! — Склонясь над Григором, сообщила: — Подворье — мое. Я тебя спрячу и поставлю на ноги, не беспокойся. У меня в доме живет старая бабка. Она от такого же вывиха меня исцелила. Ха, два дня, и будешь плясать! Но ты же злодей... — Помолчав, сказала назидательно: — За добро следует платить добром. Ты, когда поправишься, не покушайся на меня, ладно?

Григор невольно усмехнулся, и ногу точно валуном расплющило. Очнулся он от своего стога и сразу услышал:

— Мы подъезжаем. Как же тебя так угораздило, злодейчик? Не отвечай, не отвечай. Бранись, если хочешь. Ну?.. Почему не бранишься? Мужчине пристало браниться.

— Ооо... — только и смог выжать Григор.

— Чудной какой-то. Ему дозволяют браниться, а он стонет.

Ладно, ладно, не отвечай. Я самая болтливая баба на свете. И самая докучливая. Любой мухи настырней.— О своих недостатках она сообщала, как о достоинствах, с гордостью.— Тебе повезло, злодейчик. Ты еще такой не видывал. Вот и ворота.— Распахнув дверцу, крикнула: — Левей бери, справа колдобина. А вот и доблестный Гагик, щит наш с мечом на боку. Здравствуй, Гагик! Не покажусь тебе, не сетуй. Я неприбранная. Женщине не пристало показываться в таком виде.

— Ты всегда — чистое солнышко, госпожа Суйбик,— разда-лось в ответ.— Доброго тебе здоровья, госпожа Суйбик.

Повозка подбросилась, и Григор опять потерял сознание.

Очнулся он от ощущения на спине чего-то холодного, мелкого и гладкого, которое перекалывали вкруговую, постепенно сближая к пояснице. Прямо перед глазами ровно горел и гудел каминный очаг. Скрипучий старушечий голос приговаривал «Отче наш». Боль поутихла. Видимо, первый приступ миновал, а второй набирает силу и будет поютче.

— Что ты делаешь, матушка? — спросил он.

— Святые камушки катаю. Потерпи, сынок.

— Катай,— покорно сказал он,— хорошо, хоть не булыжники катаешь.

— Вот и заговорил! — прозвенел голос Суйбик.— И по-людски заговорил. А то я думала, что оглохла.

— Уйди,— попросил он,— я ведь голый.

— Экое диво — голый! Что я, голого мужчины не видала? Я замужня, мне мужское голотье не в диковинку. Нет, ты лишнего в мозги не бери. Я — верная жена и останусь такою, пускай муженек мой и не стоит того. Ха, голый! Меня другое удивляет. Денег он уйму нагребил, а оружия при нем никакого.— Властно потребовала: — Отвечай, почему ты безоружный?

— Я монах. Уйди, пожалуйста.

— Монах! Как интересно! Ты врешь, вот ты кто!

— Не допрашивай его сейчас,— вмешалась старуха.— Завтра, хозяйюшка, завтра он очухается. Он в придачу и застуженный. Ему питья побольше надо. Горячего, с малиной.— Сгребла с поясницы камни, положила на спину одеяло и подоткнула под ноги.— А знаешь, на грабежника он не похож.

— Не похож? Чем же он не грабежник, бабушка Маргит?

— Я, конечно, отроду грабежников не щупала и не пользовала, только сдается мне, они другие...— задумчиво проскрипела старуха.— Кожа у него больно тонкая. Тоньше твоей, хозяйюшка. У него кожа, как на лягушке.

— Как на лягушке! Брр, до чего противно! Ну, раз не грабежник, то вор. Это не так интересно, но что поделаешь? Значит, ты всего-то навсего воришка?

— Дай мне отдышаться,— взмолился Григор.

— Успеешь! — отрезала Суйбик.— Я сейчас твою судьбу решаю. Ты сам сказал, что за тобой гонятся. А у меня два дома —

большой и этот, маленький. В большой тебя перевозить нельзя. Кто-нибудь из дворни проболтается. Нет, бабушка Маргит?

— Проболтается, хозяйюшка. Это уж конечно.

— Ох, сколько же с ним хлопот! Значит, так. Пока о нем знают трое. Дереник останется здесь. Он человек надежный и вдобавок немой. Не проболтается. И ты, бабушка, останешься. Тебе ведь надо будет снова камнями его прокатать?

— Разик надо бы.

— А встанет он когда?

— Не раньше завтрашнего вечера.

— Значит, и ты останешься до завтра. Ему же захочется свои надобности отправлять. Кто ему будет горшок подносить? Кто подтирать будет? У Дереника руки грубые. А этот и впрямь — как лягушка. Значит, решено. Но если его здесь найдут, то кто-то из вас троих проболтался. Кто — дознаваться не стану. Выгоню взащей всех.

— А ты сама не проболтаешься, хозяйюшка?

Они, кажется, долго еще толковали и улавливались, но Григор перестал их слушать. Боль в ноге постепенно утихала, и он вслушивался в это чудесное утихание. Наконец в ноге сохранилось лишь воспоминание о боли, почему-то не пугающее, и он уснул.

Вечером нога заныла, он начал поскуливать и, когда вошла Маргит, немедленно перевалился на живот и заголил спину. Катанием камней она, видимо, вправляла позвонок на место. Убедившись в действенности ее лечения, Григор спросил, скоро ли он поправится. Она помяла ему поясницу и дала осторожно-утвердительный ответ, жалостливо прибавив, что хворь может вернуться. Но когда Григор спросил, в чем суть ее лечения, взбеленилась, как ведьма (она и внешне на ведьму смахивала своим крчочковатым носом и загибавшимся навстречу ему подбородком), проскрипела, что нечего вынюхивать чужие секреты.

Комната была просторная, опрятно прибранная, по-деревенски уютная. Кроме широкой лежанки, с которой были сняты тюфяки, на дубовом полу стояли два трехногих стула, небольшой круглый стол и длинный, от стены до стены шкаф. Немой Дереник, плечистый, заросший бурными волосами, поддерживал огонь в камине и носил Григору еду. На второй день, вечером, Маргит, помяв ему поясницу, объявила, что он здоров, и отвела его в нужный чулан. Там тоже было просторно, возле стульчака помещалось обширное умывальное корыто, изнутри и снаружи оцинкованное. Вернувшись к Маргит, он попросил разрешения помыться. Та одобрително качнула головой и проскрипела, что велит Деренику нагреть воды. Через какое-то время скрипнула: «Ступай мыться». Григор вошел в чулан и обнаружил у налитого теплой водой корыта скамейку, на которой были две пористые мочалки и пемзовый порошок в коробке. По другую сторону корыта стояла еще одна скамейка с ворсистой простыней и не новыми, но дочиста отстиранными подштаниками, байковой рубахой и шелковым, очень нарядным, золотистым халатом, усеян-

ным серебряными шариками. Умывшись и облачась во все это, он направился к Маргит, спросить, когда сможет уйти. Та ответила, что когда госпожа позволит. «А когда она придет?» — «Когда захочет, тогда и придет», — как несмазанная дверь, откликнулась Маргит и объявила, что уходит. На третий день Григор совсем измаялся от ничегонеделанья. Он пытался что-нибудь вызнать у Дереника о своей дальнейшей участи, но тот лишь хмурился и мычал. Выйти из дома Григор не решался, потому что по двору бегал непривязанный пес, похожий на матерого волка.

Суйбик явилась на четвертый день, под вечер. Без стука распахнула дверь, вошла, не поздоровалась и остановилась у шкафа. Григор, взглянув на нее, обомлел. Такого диковинно прекрасного лица и такой телесной соразмерности он никогда не видел. Лоб, глаза, щеки, рот, подбородок — все на этом лице было безупречно овальным, как и само лицо в овале мелко плоенных, черных, выющихся овалычками прядей. Но больше всего украшал и своеобразил ее лицо нос, который завершался продолговатой, находящей на губу межноздревой перемычкой, от чего выглядел он не столько овальным, сколько вздернутым, а сама губа не смыкалась с нижней, а забавно оттопыривалась. Рот был того же орехового цвета, что и глаза, а все лицо — розоватым, жемчужного оттенка. Высокая, почти вровень со шкафом, она в своем темном в обтяжку платье, выделяющем необычайно соразмерные и плавные телесные выпуклости и вогнутости, казалась среднего роста. «Уфф, бесовская наволочь», — вставая с лежанки, подумал Григор и отвел взгляд.

— Насмотрелся? — спокойно спросила она.

Не сразу, но так же спокойно он ответил:

— Да. Ты очень красивая и, что гораздо важнее, человеческая. Спасибо за все. Мне пора в дорогу.

Она равнодушно глянула на него, прошла по комнате и села на стул.

— Маргит сказала, что день-другой тебе не худо бы побыть тут. К тому же сегодня я велела отнести твои сапоги башмачнику. Он приметаёт к ним рубчатые подметки. Не то опять поскользнешься, — произнесла она бесстрастным голосом.

Григор, помаргивая, выговорил:

— Не знаю, как благодарить тебя.

— Не знаешь — не благодари. Все дело в том, что со мной когда-то такая же беда приключилась. Только поэтому я и пожалела тебя. Ну и как же ты здесь проводишь время?

Григор указал на лежащую на столе дыню:

— Да вот — наедине с ней.

Суйбик усмехнулась.

— Весело. Ладно, давай признавайся, кто ты. Я ужасно любопытная. Не томи, признайся.

— Монах я, правда монах.

— Чем докажешь? Не отвечай. — Стремительно встала, выбе-

жала из комнаты и вернулась с его книжицей. — Если ты не украл это, то прочтешь мне все, что тут написано.

— Пожалуйста, — беря брошенную ею на стол книжицу, сказал Григор и принялся читать свою молитву. Читал он ее негромко, собственным голосом, от слова к слову убеждаясь, что его голос выявляет написанное явственней отцового, что так и надо читать — не оглушая слушателя, а доверительно и попросту включая его в этот разговор с Богом. Дочитав молитву, перевернул листы с чертежами печек, глянул на мараное-перемараное стихотворение Обайдуллы, улыбнулся и сказал: — Остальное особого интереса не представляет — так, всякие наброски, которые я сделал не по необходимости, а по случаю.

— Ты что же, сам это сочинил? — сдавленно, почти шепотом спросила Суйбик.

Он поднял глаза и увидел, что она плачет, совершенно по-детски слизывая со щек и глотая слезы.

— Ты чего это? — закричал он. — Ты это брось! Вот напасть-то! — Подбежал к двери. — Брось, не то я во двор выскочу и пес сожрет меня!

Она поднялась со стула, похлюпала носом, зажмурилась, потрясла головой и рукавом утерла глаза.

— Это так красиво, — сказала, еще всхлипывая, — это красивей, чем я. — Но тут же горделиво выпрямилась, огладила платье на бедрах и уже резковато проговорила: — Нет, я все же покрасивей. А? Сам как считаешь? Кто красивей?

Он, думая, что угождает ей, сказал:

— Конечно, ты. Всякое живое создание лучше неживого.

— Всякое? — Всплеснула руками, от чего платье вздернулось и приоткрыло обтянутые темными чулками столбики словно бы бескостных лодыжек. — Значит, по-твоему, я — всякое?.. Что же ты молчишь, а?

Григор уставился в пол и вымолвил про себя: «Господи, я слабый человек, не искушай меня, не надо. Зачем это?»

— Значит, я — всякое, всякое? — гневно твердила она.

— Нет, ты — не всякое... Ох, ты меня совсем запутала! Отличное, отменное, первостатейное создание! И хватит! Чего ты пристала ко мне?

— Я ни к кому не пристаю, невежа! Это ко мне все пристают, все заигрывают, но я верная жена, наивернейшая, хотя муженек мой — потаскун, бабий хвост, тьфу! — Лицо ее глянцево разалелось и еще пуще похорошело. — Знаешь, как меня называют? Карсской Жемчужиной — вот как! Ты огляди меня, мужлан!

Она прижала ладони к ягодицам и медленной юлой завращалась сначала у стола, а потом возле Григора.

— Перестань, — тихо попросил он. — Да, я — мужлан, а ты — Карсская Жемчужина.

— То-то же. — Отошла, присела на край стула. — Ну, говори, кто и почему за тобой гонится.

— За мной, вероятней всего, никто не гонится. Просто я опасаюсь, что меня будут искать.

И он коротко рассказал, что был служкой в обители Святого Духа и зачем его вызывали в Ани.

Нетерпеливо теребя бахромку на рукавах, она дослушала.

— Все ясно. Ты странствующий монах, так?

— Так.

— А теперь послушай меня. Этот епископ — настырный. Позавчера у моего подворщика побывали анийцы. Если не хочешь, чтобы тебя сцапали, пережди недельку. — Взглянула на него испытующе. — Да, вижу, ты такой же дерганный, как я. Скажи, чего тебе тут не хватает, и я велю доставить.

Григор, несказанно обрадовавшись предложению остаться, пробормотал:

— Мне бы Библию... И немного бумаги или пергамента...

— Постой-ка, кого ты мне все время напоминаешь? Кого же, кого? Ха, вспомнила! Был здесь когда-то васпураканский монах. Важный какой-то. Его позвали освятить храм Искупителя. Но у него глаза серые, нет, серо-голубые, а у тебя черные. И лоб у него — как два твоих... Ха, носы у вас похожие! — Кивнула одобрительно. — Нос у тебя ничего. У него точь-в-точь такой, подходящий нос. Для мужчины, конечно. Как же этого монаха звали? — Насупилась и вдруг радостно всплеснула руками. — Аняния! Он такой шутник, такие смешные вещи говорил, я исхохоталась!

— Аняния Нарекаци? — изумился Григор.

— Как ты сказал? Да, Нарекаци, точно.

— Это мой дядя... Нет, не может быть. Мне было бы известно, что он освящал здесь храм... погоди, в самом деле освящал, только очень давно, лет десять назад. Ты ведь тогда ребенком была. Как же ты его запомнила?

Она встала и, величественно пройдясь от стола к окну, спросила:

— Сколько, по-твоему, мне лет?

Григор внимательно осмотрел ее не мужским, а лекарским взглядом.

— Ну от силы двадцать.

— Тридцать один! — торжествующе прозвенела она. — Да-да, мои ровесницы уже старухи, а я двадцатилетняя! — Взглянула на него потеплей. — Знаешь, мне с тобой интересно. Оказывается, ты совсем не лягушка. Ты, выходит, сочинитель, так?

— Так.

— И много ты молитв насочинял?

— Всего одну, — виновато промямлил Григор.

— А что ты еще сочиняешь?

— Покаянные стихи.

— Ну-ка прочти мне их.

Григор послушно взял книжку и прочел свое последнее стихо-

творение о двойственности человеческой природы. У Суйбик снова повлажнели глаза.

— Ты чистый,— сказала она благодарно.— Для меня это самое-самое важное. Я ужасно брезгливая. Ненавижу мужчин за то, что от них мочою разит.— Раздула ноздри.— От тебя тоже разит. Но у тебя душа чистая.— Посмотрела в окно, в которое уже наполнила луна.— И там чисто, снега вдосталь. Вот что. Я тебе покажу Карс. Или, может, не хочешь?

— Хочу, очень хочу.

— Тогда ступай в комнату напротив. Найдешь там свою одежду. Штаны и рубаху Маргит выстирала, а полушубок проветрила. Э, сапоги-то у башмачника... Есть тут мужнины сапоги, но тебе же противно будет обуть их.

— Я не брезгливый,— поспешно сказал Григор,— где сапоги?

— В шкафу, в нижнем ящике. Обувайся, одевайся, а я велю Деренику привязать собаку и вогнать повозку во двор, чтобы тебя не увидели.

Через несколько минут Григор сидел в повозке рядом с Суйбик, закутанной в лисью шубу, притихшей,— наверное, испуганной своей смелостью. Оконце она завесила кожаной шторой и, время от времени приподнимая ее, шептала: «Вот это — рыночная площадь... Это — мой большой дом... А сейчас мы переезжаем через Ахурян по мосту, который мой отец навел. Он был великий зодчий... И вот этот храм, который твой дядя освящал, тоже мой отец воздвиг... А вон крепость...»

Но Григор мало что видел. Он старался не касаться ее, помня, что от него разит мочой, и говорил себе: «Какое счастье — мой вывих! Надо же так счастливо поскользнуться!»

Потом они въехали на возвышенность над городом и вышли из повозки. Луна и звезды были ясно видны, но невесть откуда сеялся редкий снежок. «Почему — невесть? С той скалы». Молча смотрели на скученный внизу черно-белый Карс. Город казался ему радушным и ласковым, и он обреченно думал, что спустя неделю вся эта ласковость навсегда улетучится, пропадет, сгинет.

— Мне хорошо,— сказала Суйбик.— А тебе?

Он только кивнул, чтобы не заглушать задзинькавший среди камней отзвук ее голоса.

Вернулись домой, и Суйбик спросила, хочет ли он есть. Григор ответил, что не хочет. Она, помолчав, решила, что тоже не хочет, зевнула, сказала, что переночует здесь, и пожелала ему спокойной ночи. Зайдя в озаренную лунным и снежным блеском комнату, он прислушался к застенным шорохам, бесшумно разделся и лег в постель, продолжая прислушиваться. «Разве это счастье? — говорил он себе теперь.— Господи, помоги мне, усыпи, не то я сейчас встану и пойду к ней, а она позовет Дереника и прикажет ему отлупить меня и выгнать... Нет, я к ней не притронусь, я вонючий, а она такая чистая, она так добра ко мне... Уфф, будь что будет...»

Он спустил ноги на пол, и в тот же миг распахнулась дверь.

«Это мне мерещится... Спятил я...»

Суйбик в сетчатой сорочке, прикрывая груди ладонями, подошла к нему и, запинаясь, зашептала:

— Скажи, что помрешь... помрешь, если я не поддамся. Скажи, а то не поддамся.

— Помру, ей-ей, помру!

— Не кричи, миленький... — Глубоко вздохнула. — Все, я согласна. Пusti меня к стенке. — Раскинулась, взяла его руку и приложила к своей нежной и клейкой, словно взбухшая почка, мякоти, шепча: — Не сделай мне больно... И сам поберегись, поясницу побереги...

Спокойно затухал камин, спокойно вливалась в окно луна, и так же успокоенно лежала у него на груди голова Суйбик, и он осторожно перебирал ее мелкие локоны. Она зашмыгала носом и перелегла на подушку.

— Я противен тебе? — виновато спросил он и отодвинулся.

— Ничего, я уже принюхалась, я уже привыкаю. Пованиваешь, и ладно, что делать? — Прижалась к нему, потерлась носом у него под мышкой, лизнула. — Ты хороший, ты внутри чистый, не то что я. Ты не очень верь мне, я притворщица, лгунья. Скажи, а чем от меня пахнет?

Он понюхал ее плечо.

— Дыней.

Она обрадованно прыснула.

— А я боялась, вдруг скажешь — розой. Мне муж так говорил, когда я еще допускала его. Он дурак. Я ненавижу цветы. У меня от них сыпучка бывает. А дыни я люблю. Сейчас мы съедим ту, что на столе.

— Слушай, — встревожился Григор, — он не явится сюда?

— Кто, Дереник?

— Муж твой.

— А, муженек! — Беспечно подбросила и отбросила ладошкой это слово. — Нет, он далеко. Он у Давида Тайкского сотником служит, у такого же кобеля и грабежника, как он сам.

— Ну что ты, — мягко возразил Григор, — князь Давид освобождает от арабов армянские земли.

— Ха, освобождает! Освобождает и продает их грекам. Уж я-то его знаю. От него как от целого табуна разит. — Села и негодуя потрясла кудряшками. — Для меня кто воюет — не мужчина. Воюет тот, кто ничего другого делать не может. Не будь таких бездельников, все жили бы мирно. Это яснее ясного, это и доказывать незначем. Ох, жарко стало! — Стянула с себя сорочку. — Скажи лучше, я нравлюсь тебе?

— И ты еще спрашиваешь! Ты — сама соразмерность.

Она счастливо улыбнулась и погладила его по носу.

— Так меня отец называл. Я тебе уже говорила, что он был зодчим. У него все получалось соразмерным, и я получилась. Нет, я только с виду получилась, я не дочка своего отца, я — жена своего

муженька, никчемная бабенка. Нет, не перебивай, выговориться хочу.

Перелезла через него и села на стул.

Григор вовсе не собирался перебивать ее. Он уже понимал, что, порывисто и безоглядно пустив его в тело, Суйбик хочет теперь пустить его и в душу, но душа у нее, должно быть, и вправду не такая, как тело, должно быть, очень нескладная — вроде его души. Вот почему у них все и произошло так стремительно. И, поглядев на нее, настороженно затихшую, он почувствовал своим лекарским чутьем, что теперь какой-то помощи она от него ждет. Да, подумал, именно в этом подоплека ее безоглядности. Ему стало грустно оттого, что отдалась она не бескорыстно. «Сморчок ты рядом с ней,— тут же сказал себе.— Радуйся, если хоть чем-то сможешь отблагодарить ее».

— Умней всего честность,— откинувшись на спинку стула, заговорила она приглушенно.— Но это и самое трудное. Я была честной, пока не умер отец. Матери я не помню. Она в родах умерла. А отец был очень честный. У него в глазах, как у тебя, честность сидела. Его обманывали, но он, бывало, только выбранится покруче, как и подобает мужчине, и опять честно делает свое дело. А что может быть умней этого? Он и умер, как жил, еще одно дело по-честному сделал. Ой, горе мое!

Из ее расширившихся глаз брызнули слезы. Григор бросился к ней, но она оттолкнула его, потом ласково взяла за плечи и, усадив на другой стул, спросила:

— Почему ты так часто моргаешь? У тебя глаза нездоровые?

— Здоровые. Голубь в детстве напугал, вот и осталось.

— Голубь! — умиленно воскликнула она.— Ты сам голубь, суший голубочек. Бородка — одно название, а хохолок ничего, густой, подходящий. Хочешь дыни?

— А ты?

Она с чрезвычайной серьезностью посмотрела на дыню.

— Если по-честному — не хочу.

— И я не хочу.

— А тебе не зябко?

— Нет.

— Тогда посиди рядышком. Я никогда не сидела за столом голая рядом с голым мужчиной.— Оглядела его и себя.— Как интересно! И, знаешь, нисколько не стыдно. Я все-таки ничего, правда?

— Ага.

— Э нет! — Насупилась и зашипала сосцы.— На тебе, на тебе, женушка своего муженька! Он, знаешь, очень красивый был когда-то и лихой. Этим и взял меня. Отец умер, я убивалась, я тогда одна не могла быть, а тут он объявился. Он из бедной семьи, но я на это наплевала, я-то богатейка. Я его и сотником сделала, набрала ему сотню и сейчас ему людей даю. Давид бы давно его прогнал, Давид его ни во что не ставит. Э, хватит о нем, мне уже скучно стало. Но я хуже его. Он хоть детей плодит, множит мою дворню, а я и этого

не могу, я бесплодная. — Облокотилась на стол, задумчиво посмотрела в окно и тихо проговорила: — Зачем я тебе это рассказываю? Зачем сказала, сколько мне лет? Ведь мои однолетки внучат нянчат. Не ты мне, а я тебе должна быть противна.

Григор подошел к ней, взял в ладони ее покорно запрокинувшееся лицо и, любуясь ее диковинной красотой и свежестью, сказал:

— Знаешь, чего я больше всего боюсь? Что ты меня выгонишь.

Она блаженно улыбнулась и поцеловала его ладони.

— Ой, до чего же ты хороший! Сядь на стул, сядь. Нет, скажи, почему ты такой честный?

— Какой я честный! Я с тобой весь вечер притворялся, невинность на себя напускал. Я развратней твоего мужа в тысячу раз. Я тебя сразу пожелал, в тот же миг, как ты вошла в комнату.

— Ха, это я заметила! Ты меня живо всю разглядел. Глазищи у тебя такие уцепистые! Ты цопнул меня ими и потащил к себе. У меня аж ноги подкосились, так мне захотелось. — Рассмеялась и подошла к шкафу. — Вот тут я стояла и думала: только бы на пол не сесть. А сама уже все решила, все-все. Но ведь сразу нельзя. Даже звери сначала играют, обнюхиваются. Нельзя сразу, — проговорила строго и внезапно опять залилась смехом, мотая торчащими во все стороны кудряшками, вновь посерьезнела и произнесла с глубокомысленным видом: — А и впрямь, какая тебе разница, когда я родилась? Главное, что родилась, правда? Ты посмотри на меня, посмотри, я не старей тебя.

Григор встал и, согнувшись, пошел к постели. Суйбик опередила его, вспрыгнула на постель, раскинулась и, осыпая его лицо беглыми поцелуями, залепетала: — Вот так, так, так, мой хороший...

Потом, не выпуская его, повернулась с ним на бок, отдышалась и вымолвила:

— Я про твою молитву думаю. В ней много-много людей. Это оттого, что в тебе их много-много и ты хочешь, чтобы всем им было хорошо, как мне сейчас. Меня сейчас будто много-много рук обнимает, представляешь?

Григор, вживе увидя это зрелище, поежился.

— Ох, и бесстыдница же я! Прости, пожалуйста. Тебе стало гадко, мой хороший, да?

Он улыбнулся:

— Диковато чутко. Пустое, не обращай внимания, я ведь... — Помявшись, сказал: — Люблю тебя.

Суйбик высвободилась, обцеловала его пальцы и убежденно произнесла:

— Твое дело — сочинять молитвы, в которых много-много людей, потому что ты всех любишь.

Он сел, вытер углом одеяла пот с лица и груди.

— Нет, я часто бываю злым и даже удовольствие от этого испытываю. Бываю и равнодушным, стылым. Едва загорюсь — и уже пепел... — Осекся, подумав: «Лишнее сказал»; поспешно прибавил: — А молитва эта — единственная. Не очень-то у меня идет это дело.

— Пойдет,— уверенно возразила она,— пойдет, не сомневайся.— Помолчав, заговорила искательно: — Я бы и так поддалась, приглянулся ты мне. Но когда услышала молитву, поняла, что ты — лекарство мое. Ты в молитве и о сонной хвори поминаешь.

«Вот оно»,— насторожился Григор.

— Да, ты — мое лекарство, ты оздоровил меня, собою оздоровил. Я не просто никчемная. Хуже. Всего не скажу, гнушаться станешь. Конечно, я красивая, богатая, хозяйственная. Наследство удвоила. У отца ученики были. Они теперь на меня работают. Заказов полно, только поспевай крутиться-вертеться. Я и верчусь, но без души. И вдруг такой мрак на меня наваливается, что живая бы в могилу полезла. Тогда запираюсь здесь, ложусь в постель, кладу на глаза черный платок и лежу. А когда совсем уж немоготу, глотаю сонные шарики. Мне их Маргит готовит. Глотаю и сплю. Сны вижу чудесные. Проснусь и снова глотаю. Этим и спасаюсь.

— Какое же это спасение? Ты убиваешь себя сном, ты, считай, руки на себя накладываешь.

— А что мне делать? Исповедь не помогает, моления — тоже. А шарик глотнешь, и в тот же миг забываешься.

— В тот же миг?

— Да.

— Не верю.

Суйбик спрыгнула на пол, пошла к шкафу и, вернувшись с маленькой шкатулкой, протянула:

— Глотни один шарик. Не бойся. К этому сразу не пристрастишься.

Он положил шарик на язык, не ощутил никакого вкуса и проглотил:

— Ты уже спишь, мой хороший.

«Не сплю»,— хотел он сказать, но не смог.

Очнулся он от страшной жажды и голода. Суйбик рядом не было. В озаренной солнцем комнате он увидел на столе и стульях кувшины, тарелки, блюда и бросился к ним. В первом кувшине оказалось вино, он схватил другой, с водой, разом осушил и, помня, что идет рождественский пост, накинулся на мясо, дичь, сыр, сладости. Все стрескал. После этого прошибла испарина. В гудящей голове мельтешили клочки приснившегося кошмара. Снилось, что он разделился на двух одинаково мерзких близнецов и они уличают друг дружку во всех грехах, сквернословят и дерутся. Вытряхнул из головы эту пакость, подошел к окну. Ни пса, ни будки, куда вчера Дереник загнал его, не видать. Отворил дверь, покричал: «Суйбик! Дереник!» Убедившись, что он один в доме, вышел на крыльцо, заставил себя обтереться снегом, вернулся в комнату и, бормоча: «Черт бы побрал твою пилюлю», упал обессиленно на лежанку и задумался, что же происходит с Суйбик.

Она поразительно моложава. Двадцать лет он вчера натянул ей,

она почти девчонкой выглядит. На кого-то она очень похожа... Резкая, стремительная повадка, порывистость, постоянные всплескивающие руками... Да, несомненно: женская разновидность Павла Амуни. Та же самовлюбленность, то же своеволие, но Суйбик добрее, чище, прямодушной. Да и умней, пожалуй. Чем же он сможет помочь ей, сможет ли?.. А ведь есть в ней что-то и с ним сходное, причем существенное. Что же, что?.. Это необходимо выяснить, впрочем, это наверняка само обнаружится. Но чего-то она не желает открывать, упомянула о каких-то сокровенных гнусностях... Э, бабья дурость: волшебой небось увлекается, воровит вместе с ведьмовкой Маргит. Пилюли похуже, пилюли убийственны. Ей после них снятся приятные сны, но тем муторней пробуждение, тем сильнее втягивание. Причин хватает: нелюбовь к мужу, бесплодие... От этого у него лекарств нет... Как она вчера сказала? «Ты — лекарство мое». Она полюбила не его, а молитву. Так-так... Фетек кладет молитву в изголовье. Суеверие, конечно, ну и пусть. Надо рассказать ей о Фетеке. Главное, что она хочет исцелиться, и молитва упрочит ее хотение. А пока он здесь, пока она внушает себе, что любит его, он попробует отвести ее от пилюльной дряни. Это надо начать сегодня же, начать круто, припугнуть морщинами, подглазными мешками, одутловатостью, мало ли чем...

Посмотрев на ясное зимней, смягченной ясностью небо, он решил прогуляться по двору.

Участок вокруг дома был довольно обширным, но без сада, без цветников. Колодец под навесом и небольшая конюшня — единственные наружные подсобки. Добротный пятиоконный дом облицован гранитною крошкой, кажется построенным на века. Высокая каменная ограда увенчана густо зашипленными чугунными прутьями. Через них целым только в доспехах переберешься. Не дом, а крепость.

Он вернулся в комнату, глянул на грязную посуду, сложил горкой тарелки, блюда и понес в кухню. На плите стояла кастрюля с тепловатой водой; в комод он нашел поскребок и занялся посудой. Домыв, почувствовал, что его размаривает. Должно быть, не до конца выпал зелье, к тому же налопался, как свинья. Побрел обратно и, подумав, что неплохо бы погреть поясницу, растопил камин, прилег и впал в беспокойное забытье, в котором он, сознавая, что не спит, различал каких-то полулюдей-полужверей, то сердито разговаривающих, то свирепо рычащих.

— Эй,— услышал звонкий голосок, разлепил веки и заново оторопел от ее пригожести.

Она стояла возле подоконника, заваленного жестяными коробками. Краше, чем вчера, была она, пунцовая с мороза, сияющая не овальными, а круглыми, блаженно витаращенными глазами.

— Хороший ты мой, умница ты мой! — защebetала умиленно. — И поесть успел, и посуду вымыл, и прогулялся, и камин растопил. Домовитый, расторопный, слов никаких нет. Умница! Хороший мой! Хороший и хорошенький-прехорошенький, ну просто загля-

день! — Чмокнула его в нос, оглянулась на открытую дверь и крикнула: — Дереник, носи все сюда!

Ввалился Дереник, заслоненный, словно охапкой дров, свертками.

— Кидай на пол и ступай есть,— строго сказала ему Суйбик. Дереник где стоял, там и бросил свертки; впервые за эти дни поклонился Григору и вышел.

Суйбик небрежно махнула рукой на подоконник.

— Ну давай разглядывай Библию и прочее. Все твое, все. А после искупаешься и наденешь обновки. Ну скорей! Что ты застыл, истуканище мое?

Григор, улыбаясь ее же счастливой улыбкой, подшагнул к подоконнику и вынул из большой коробки Библию в золотом переплете с четырьмя турмалинами по углам. Распахнул и едва удержался от вздоха: Библия была на арамейском.

— Остальное смотри,— потребовала Суйбик,— остальное еще лучше.

Он сунул руку в другую коробку, достал золотую трубицу, откупорил и вытащил папирусный свиток, тончайший, чуть ли не воздушный. На папирусе он никогда не писал, но знал, что для письма на нем нужна тростинка с катышем из какого-то особо мягкого металла. А этот папирус, почти бесплотный, грифелем вмиг изорвешь. Он откупорил другие трубицы, но тростинки не обнаружил.

— Нравится или нет? — требовательно спросила Суйбик.

— Зачем такая роскошь? — забормотал он.— Сплошное золото, кучу денег отдала...

— У тебя волосы золотистые. Тебе золото к лицу. Но это то, что надобно?

— Конечно,— поспешил он ответить, не глядя на нее, ставшую стократ милее своей бестолковостью, и, чтобы врать убедительней, схватил со стола винный кувшин и сделал несколько глотков.— Конечно, то, что надобно. Только зачем деньгами сорить? Прорву денег вышвырнула. Я их не стою, право, не заслужил...

— Будет приbedняться-то! Скидывай шлепанцы, я расшитые золотом принесла. Нет, погоди. Я поесть хочу, я не завтракала. И ты со мной поешь. После этих шариков голод жуткий. А я всякой вкусотищи натаскала.

Григор опять схватил кувшин, допил до дна и ощутил себя хорошо пьяным.

— Понимаешь...— зарокотал неузнаваемо погустевшим голосом и, вздрогнув, возвестил: — Рождественский пост идет.

— Ну и что? Дьявол вовсе не ест, а грешит пуще нашего.

— Гы-гы! Очень точно подмечено. Гы-гы-гы!

— Эй, да ты же пьяненький! Качаешься, как былинка на ветру.— Обняла его за плечи и потянула к лежанке.— Это все окаянный шарик. Эй, чего упираешься? Поспишь, а потом зайдешь ко мне, ладно?

— Если ты настаиваешь, изволь, я посплю, а потом непременно

зайду. Но ты жди, ты никуда не уходи больше, не то и я уйду, совсем уйду, слышишь? — бормотал он, укладываясь и отворачиваясь к стене.

Вечером они снова лежали рядом, в соседней комнате, понарядней, с ковром, с изящным самшитовым комодцем, с трехзеркальником, лежали, истомленные и успокоенные друг другом. Уютно рдел камин, уютно рдели свечи на комодце. Светло было, тепло, хорошо.

— Твое любимое слово — «хорошо»? — спросил он.

Суйбик приподнялась, наклонилась над ним и нежно-нежно пощекотала ему лоб ресницами.

— Ты чуткий. Да, теперь — любимое слово. Во мне оно с ночи сидит. В лоне, в груди, в каждом ноготочке. — Вздохнула. — Хорошо мне, мой хороший. Почему ты немножко раньше не родился? Почему я не родилась попозже, а? Хорошо, но ведь ненадолго. — И так же ласково промолвила: — Я отравлю своего муженька, размельчу ему бледную поганку в еду, хорошо?

— Да ну тебя! — всерьез испугался Григор.

Она засмеялась.

— Я шучу. Что я, злодейка? Ой, хорошо-то как! Если бы меня спросили: хочешь еще ночь вот так, с ним, а наутро вся поседеешь, или без него, но до самой смерти будешь молоденькой? Почему не спрашивают? Я бы не мешкая сказала: хочу ночь. Понимаешь, я с тобой совсем другая, какая и должна быть. Что должна делать, то и делаю, что должна говорить, то и говорю. Правда в меня вошла, вошла и прочищает. — Отрывисто повздыхала. — Жаль, не сплошная. Не могу я всего про себя сказать. Скажи я все, ты от меня вихрем умчишься. Но ты чуткий, ты сам догадаться можешь. Молчишь?.. Ну и молчи. Я и за тебя говорить сумею. Вот послушай. Я говорю: «Простишь, если все скажу?» Теперь ты. Что же ты скажешь?.. — Расхохоталась и заколотила руками и ногами по постели. — Я придумала, что ты скажешь, я хорошо придумала. Ты говоришь: «А зачем тебе говорить про то, что до меня было? Раз до меня было, то не было. Ничего не было, поняла, дура?» А ты не врешь?

Он, блаженно слушая ее стрекотню, решил, что этот вопрос — продолжение воображаемой беседы.

— Чего молчишь? — затормошила его за плечо Суйбик. — Врешь или нет?

— А, — спохватился, — вру.

— Без вранья как обойтись? — огорченно прозвенела она. — Невозможно. Но ты самый честный из всех, кого я встречала. Ум-то у тебя обыкновенный. Ты чуткий, зоркий, но главное в тебе — твоя честность. Она — твой ум. Ты береги ее, не убивай, слышишь?

— Слышу.

— А что тебе сегодня снилось?

«Пора заняться пилюлями», — подумал и начал:

— Дивный был сон. Снилось мне уйма прекрасных, бодрых, никогда не спящих девушек. Все лучше, чем ты, представляешь?

— Ха! — вскричала она. — Врешь и дешево даешь! Лучше, чем я, и во сне не увидишь. Ты мне цену не сбавишь, нет мне цены. Я полжизни замужем, а муженек мой приезжает и до отъезда глазеет на меня, как медведь на кадку меда. Знаю-знаю, зачем ты мне это говоришь. Чтобы я шариков не глотала. Я помню, как ты вчера взбурлил. Только зря боишься. Мне теперь шарики ни к чему. — Спрыгнула, подбежала к шкафу, вытащила шкатулку и швырнула в камин. — У меня и в той комнате они есть, — призналась, улегшись, — я и их спалю. А снилось тебе что-то плохое. Ты стонал, зубами скрипел, вертелся, толкался. Будить-то с этим шариком опасно, может родимчик случиться. Я вот тут, на краешке, всю ночь возле тебя просидела, гладила, обнюхивала... — Помолчав, выдохнула упоенно: — Не желаешь мыться — не мойся!

— Поспи, тебе же спать хочется, — растроганно сказал Григор.

— Ни капельки. Я такой бодрой сроду не была. Всех прекрасных девушек, что тебе приснились, бодрее. Ой, как ты нужен мне!

— Я? — удивился Григор. — Э, ты молитву мою полюбила. И правильно полюбила.

— Дурачок ты мой! Я тебя полюбила вместе с твоей молитвой. Как мне вас разделять? Вы — одно... А, понятно. Я тебе сказала, что ты — мое лекарство. Не так сказала. Ты — моя светлиночка ясная. Раньше, пока отец был живой, все для меня ясным было. А умер он, и все затусклилось, точно какой мутью повилось. Для меня на целый год все посерело. И эта серость все возвращается и возвращается. Снег — серый, трава — серая. Гляжу и думаю: вот странно... Странно, очень странно, до жути странно. Понимаешь?

— Еще как! — обрадовался Григор. — Сейчас я тебе кое-что расскажу.

Он обрадовался не только тому, что поможет ей разобраться в этом недуге и тем самым облегчит его, но и тому, что этот недуг у них сходный, что Суйбик той же породы, что и он. Сел на постели, скрестил под собой ноги и рассказал о том, как нашумел когда-то в спящем доме, как обгрыз зеленый плод с отцовской яблони, как безобразно обидел Гяню перед отправкой в Нарек, как там безобразничал; рассказал и о похоронах отца, и о многом, в чем прорывалась его странность и все вокруг делала странным; рассказал и про то, как накануне ухода из дому на какие-то минуты вернулась к нему детская ясность, а с ней и детски кроткое приятие всего мира, которое он назвал тонкой прохладой, и что он трепетно хранит это воспоминание, потому что выше и одухотворенней он ничего не знал. Суйбик, притихнув, слушала его, и на ее открытом и чистом лице выражалось то же, — он это отчетливо ощущал, — что выражалось на его лице.

— Твоя странность, как и моя, от гордыни, — заключил он, продолжая радоваться еще более близкой близости с ней.

Она потянулась к нему и потолкала его нос своей всегда оттопыренной верхней губкой.

— Нет, мой хороший, нет. Я, может быть, привередливая, взбалмошная, с причудами, выкрутасами,— все что угодно, но не гордая.

— Отчего же в тебе это? — пробормотал он, уже догадываясь отчего.

— От горя.

Он сокрушенно мотнул головой:

— Прости меня. Я полный тупица.

— Нет-нет! — вскинув ладони, крикнула она. — Никакой ты не тупица, просто ты так занят своим делом, что не можешь от него отвлечься, делаешь его и тогда, когда тебе кажется, что не делаешь. Ты берешь на себя горести многих-многих людей. И до чего красиво, до чего по-мужски это делаешь, ой, до чего! Когда я слушала вчера твою молитву, я от счастья заплакала, потому что ушло из меня горе, в твою молитву ушло. Она — огромная. В ней знаешь сколько бедолаг поместиться может? Без счета. И я в ней приютилась. В это великое горе ушло мое — большое, но невеликое. Я здорова, я беспечальна. И мне так хорошо грешить с тобой, так хорошо! — Всхлипнула и немедленно просияла. — Ты — святой, ты понимаешь это?

— Как же, святей не бывает, — буркнул он.

— А ну тебя! Надоел. Ты и впрямь тупица. Долблю, долблю, и все без толку. Скажи, в чем ты будешь каяться, если грешить не будешь?

Он повторил в уме ее вопрос, озадаченно нахмурился и, услышав ее сдвленный смешок, сам запрыскал.

— Ну вот ты и понял, умница ты мой! — Сошла с постели и села на стул. — А сейчас давай поговорим серьезно. Я никого так не любила. Даже отца, а он мне и отцом и матерью был. Ты — здоровье мое, наслаждение, покой, счастье. Это — правда, но есть и другая правда. Ты уйдешь, мне будет трудно.

— Зачем об этом сейчас? — спросил он и пошел к ней.

Она, глядя в сторону, оттолкнула его.

— Надо. Хочу, чтобы между нами все было ясно. До весны ты не уйдешь, не пущу. Дороги заснежены, морозно. Здесь перезимуешь. Да-да, ты монах, ты закаленный, привычный к лишениям. Но с твоей поясницей разгуливать нечего. Опять ее повредишь и станешь и для себя, и для других обузой. Весною ступай-ка прямехонько домой. Уйдешь потихоньку, не прощаясь. У меня тоже есть свое дело, я буду отлучаться, в какую-нибудь из отлучек и уйдешь. Договорились?

Он смотрел на ее ставшее строгим лицо и любовался уже не красотой ее, а этой мудрой строгостью. Подумалось, что ни на Павла, ни на него Суйбик не похожа, что по сути своей она — Лейли. Красивее, умней, но — Лейли.

— Договорились? — повторила она.

— Да.

— Глянь-ка, свечи весь комод заляпали. Самшитовое дерево. Убыток.

Подошла к комоду и, поплеывая на пальцы, принялась гасить фитили. Потом в темноте нашла его, взяла за локоть и потянула к постели.

— Пойдем спать, мой хороший. Остороженько, полегоньку. Одной ножкой, другой. Вот мы и на месте. А теперь повернись ко мне спиной. Я тебя обниму, облеплю собой, поясничку твою полечу.

Примораживало лишь по ночам и с утра. Низина, зима здесь квеляя, не то что в Ване. Днем Григор скалывал сосульки, сметал снег к углам двора. Других занятий у него не было. Суйбик и дворницкую работу позволяла ему через сто «нет». Опасалась за его поясницу. В конюшню входить наотрез запретила — от лошади воняет лошадьё. Сама же вместе с Маргит постоянно хлопотала на кухне. Ягнята, поросята — паровые, печеные, начиненные лебязьими потрохами, говяжьими языками, разными грибочками, ягодами, сготовленные на шестах лебеди, гуся, тетерева, куропатки, всевозможные пироги, пирожки, пирожные... Никогда раньше не ел он так вкусно и обильно. «Ты меня на убой откармливаешь?» — спрашивал. «Ага, — смеялась, — чтобы скушать, чтобы ты во мне остался». Изредка, вечером, они выезжали в зашторенной повозке прокатиться по городу, но дома им было лучше. Порою, едва выехав, возвращались. Болтали, как сороки. Больше — Григор. Таким трещоткой, беспечным и дурашливым, он тоже раньше не был. Суйбик, слушая его, то хохотала до упаду, то вдруг грустнела, всхлипывала, и тогда он сам еле сдерживал слезы. В середине января у нее открылись месячные. Она решила переждать их в большом доме. Григор вытерпел день. На следующий, рано утром, разбудил Маргит (та относилась к нему теперь с необычайной почтительностью, величала «светлым господином», а он помыкал что ею, что Дереником) и велел немедленно отправиться к хозяйке и сказать... ну чего-нибудь сказать! Суйбик примчалась в страшной панике, но, поняв, просияла. «Изблудился, дальше некуда», — подумал он, целуя ее счастливые глаза. Подумал, но целомудренней не стал.

Шли средние числа февраля, когда он ощутил на себе чей-то глаз. Анийцы напали на след? Вряд ли. Они бы тут же вломились. Да и очень он нужен анийцам. Наверняка уже про него забыли. Это от праздности наваждение. Суйбик об этом знать ни к чему, она и без того в последнюю пору как на иголках. Он помрачнел, замкнулся, принялся размышлять о своей любви к ней. Хм, любовь... Неполезные соития, болтовня, обжорство. Вон и складка над животом запышнела. Словом, весело... «Что с тобой?» — спрашивала Суйбик. Он отмалчивался. «По родным соскучился?» — «Да», — врал он, не находя другого ответа. «Поживи со мной еще немножко, — ласкаясь, говорила она. — Ты ведь еще любишь меня?» Он клялся, что любит, ласкал, это он делал непритворно, любил ее плоть. Но, случалось, кричал: «Уйди!» Только кричать на нее было то же, что на себя кри-

чать, и он сразу хватал ее безвольную руку и, хлопнув ею себя по щеке, перецеловывал ее пальцы.

А гнетущее ощущение слезки не пропадало. Недовольство собой он стал вымещать на слугах, стал действительно «светлым господином», и они, особенно Маргит, тряслись перед ним.

Весна, как и в минувшем году, не пришла, а нагрянула. Он часто сидел во дворе, где не было ни единого деревца, потел под совершенно летним солнцем.

Как-то утром Суйбик сказала, что ей необходимо съездить на стройку, и, взяв с него клятвенное обещание остаться, уехала с Дереником. Он поклонялся по двору, по дому, прилег на постель. Надо уходить. Пора в Нарек, в свою келью.

Он открыл шкаф, достал из полушубка кошелек и книжицу. Прошептал начало молитвы. Да, она в памяти, и короткие стихи о двойственности — тоже. Отнес книжицу в комнату Суйбик, сунул под подушку.

Маргит была на кухне. Он раскрыл кошелек, отсчитал десять номисм, выстроил столбиком на плите. «Это — вам с Дереником, — сказал, не глядя на Маргит. — Я ухожу. Спасибо за все».

Хотя дом находился на окраине, в тупике, улица с отвычки показалась невероятно шумной и людной. Он прислонился к ограде, постоял зажмурившись, выдохнул «уфф» и, враскачку подходя к сторбленному нищему, подал ему динар и узнал дорогу на рынок. По дороге он увидел церковь, решил исповедаться (полтора года на исповеди не был), но тут же сказал себе, что не готов он к исповеди, да и не годится это делать в родном городе Суйбик, и прошагал мимо.

На рынок он пришел с ясной головой; быстро выбрал крупного осла по кличке Силач; в том же ряду купил упряжь и две перекидные, на ремне, цельнокожаные сумы с зерном и водой для Силача; потом купил дорожную сумку и бутылку для себя. С неудовольствием оглядел свою пестро расшитую одежду и красные сандалии, но подумал, что из-за этого задерживаться не стоит. У выхода увидел на прилавке письменные принадлежности и купил такую же книжицу, какая у него была, и грифель.

Солнце висело в двух часах пополудни, когда он выехал на южный торговый путь. Силач оказался не только сильным, но и покладистым — бежал безостановочной рысцой.

На закате Григор подъехал к подворью, но он уже назначил себе трехдневное голодание, чтобы упорядочить душу и плоть. Высмотрел за обочиной, в низинке, ветхий шалаш, направил туда Силача. Распряг его, задал корма, напоил и привязал к шалашовому столбу. Ночь обещала быть теплой, но земля прогреться не успела, и, конечно, подстилка для поясицы не помешала бы. Ничего, переспит на животе, а завтра купит одеяльце и заодно одежду поскромней.

Он потрепал по холке Силача, сказал ему: «Давай-ка соснем». Тот посмотрел на него умным взглядом, подогнул передние ноги и улегся. Теперь и помолиться можно, подумал Григор, но едва поду-

мал, как всего его, с макушки до пят, ожгло вожделение. Он сел на скрещенные ноги, оттянул насколько мог ступни в стороны. Стало полегче. Ничего, ночь не поспит, вдоволь наспался. Так он просидел невесть сколько, стараясь ни о чем не думать, высматривая сквозь прорехи звезды и называя их по именам.

И вдруг совсем близко кто-то произнес:

— Раб Божий Григор, слышишь ли ты меня?

У Григора челюсти ходуном заходили. «Галлюцинация, слуховой обман...» Никогда такого не случалось ни с ним, ни с родными. В Нареке и среди окрестных отшельников было около десяти духовидцев и духослухов. Но дядя сомневался в их душевном здоровье, справедливо говоря, что чудеса препятствуют естественному ходу вещей, а значит, никак не вяжутся со свободой выбора. Да и этим якобы небесным знамениям раньше или позже отыскиваются вполне земные обоснования. Так, однажды выпал возле Нарека пепел, что вскоре объяснилось вулканическим извержением на противоположном берегу моря.

Осел спокойно спал. Григор встал на колени, перекрестился и промолвил мысленно: «Господи, помилуй, не лишай рассудка».

— Раб Божий Григор, слышишь ли ты меня? — внятно и напевно прозвучало снова. Голос был несказанно прекрасен. «Бесовщина», — определил Григор и перекрестил воздух перед собой, по бокам и сзади, но тут же вспомнил, что бесовщина бывает лишь внутри человека. Прекрасный голос в той же тональности снова повторил свой вопрос.

«Это ангел, — отважился подумать Григор. — Да, Господь прислал мне, всегрешному, ангела. Такое случается очень редко, но случается, описано в Библии. Господь заботится о грешниках больше, чем о праведниках. Те и так спасутся». Повернулся в сторону, откуда шел голос, и громко сказал:

— Слышу.

— Раб Божий Григор, — раздалось немедленно, — с первым лучом солнца ты отправишься в город Кечрор, что неподалеку от этого места. Разыщешь караван, который собирается в город Битлис. Подойдешь к начальнику охраны и назовешься. Невдалеке от города Битлиса стоит обитель Символов. Там ты будешь жить. — И чуть погодя: — Исполнишь?

— Исполню.

Григор обессиленно сел и оперся на спину безмятежно спящего осла. Битлис — в Тароне, рядом с Васпураканом, на юго-западной границе. Года три назад он побывал в Битлисе, но ни о какой обители Символов не слышал. И само наименование необычное, не знает он обители с таким наименованием. Ну что ж, его дело не рассуждать, а подчиняться. Теперь понятно, кто за ним следил. Это было надзирающее око. Нужно успокоиться и возблагодарить Господа.

Сквозь прорешину шалаша в лицо ему смотрела слепящая круглая луна. До рассвета часа два. Григор перебрал в памяти свои

последние месяцы. Из богадельни он сбежал, не подумав, что ее жильцов станут допрашивать и в злобе могут выгнать. А что он дал этой несчастной, бесплодной женщине? Бесплодную похоть, а в придачу — болтовню, паясничанье... А как легко бросил ее... Так же, как Фетека, о котором и думать забыл...

Давнее, давным-давно не тревожившее раскаяние мучительно и отравно загудело в нем. Он схватил сумку, вытащил книжицу, раскрыл ее и в лунном свете на крупе спящего Силача стал быстро записывать это, само собой из него выходящее:

О сердцевина моя, постоянное плодоносилище гибели,
Взрасти наконец и семена благие!
Накрепко поясом веры перехвати, сомкни
Двойные, двоедушные семенники,
Полные взбаламученных склонностей двойственных,
И исповедуйся Господу в позывах своих вредоносных.
Вспомни свои бесчинства, остервенение, озверение,
Оставленное поле боя, бесславное поражение,
Исступление, буйство, томление и нуду,
Оцепенение, сон наяву, забытьё на ходу,
Размышления пустяковые, слова пустого пустей,
Вождение к гнусности, копошение любовное в ней,
Неровное поведение, расплывчатость и расчетливость,
Нетерпимость, строптивость, вспыльчивость, чёрствость,
Разнузданность, смешливость, дикое ржание,
Грубое шутовство и кривляние,
Безбоязненное распутство, похоть доблестную,
Разросшуюся ветвь неплодоносную,
Себялюбие, хвастливость, тщеславные речи вздорные,
Высокомерные брови, под самое темя вздёрнутые,
Влечение к приманкам любым обольстителя,
Растленность саморастлителя,
Продажность и дешёвость души беззастенчивой,
Покупку временной жизни ценою гибели вечной,
Купание в мерзости, уступки наисквернейшим страстям,
Подчинение всем превратностям,
Совершенное осквернение,
После отхода от скверны худшее к ней возвращение,
Вспомни всё, что невозможно ни выразить, ни разъяснить,
Ни даже вообразить.

— Уфф!

Почувствовав, что весь взмок, он задрал рубаху и потерялся поясницей об упругий подпашек Силача. Перечитывать написанное было невмочь. Выдохся, ног под собой не слышал. Но душа ликовала. Ощущение было такое, будто он сдвинул загромождавший дорогу громадный валун и дорога свободна. О, это кое-что, когда дорога свободна!..

Лунное сверкание стало помягче. Под луной проплывало перистое облачко. Он понаблюдал за ним, уходящим в сугроб, нитяным, прозрачным, чистым, и сквозная чистота этого облачка передалась ему. Нет, что-то высшее сообщилось от этого облачка... «Ооо, тонкая прохлада... Здравствуй, благодать моя, да, благодать, ибо в тебе для меня Бог».

И вновь он ощутил гудение, но более мерное. Он вслушался и, услышав нераздельные раскаянье и надежду, спокойно, без спешки стал их записывать.

Днесь, в мой нынешний час бедственный,
Надеюсь лишь на Тебя, Владыка Небесный,
На волю Твою, на власть и могущество,
На помощь и на заступничество,
На твои радения искренние,
На дары бескорыстные.

Надеюсь, Господь,
Ибо свет доброты
Всеясно лучистой
Не может затмиться
Немилостью мглистой.

Ты — Господь, благодетель всех,
Ты — сверкающее сокровище,
Ты — единственный свет во тьме,
Пусть таинственный, неизъяснимый, неисповедный,
Но животворный, воскрешающий, милосердный.
Ты — мгновенная достижимость самого недостижимого,
Огонь, пожирающий хворост греха непростимого,
Всепроникающий луч великого таинства,
Упование всякого, кто истинно кается.
Приблизься же ко мне, о незлопамятный,
Исцели, как некогда исцелил того,
Кто посмел на Тебя руку поднять,
Заслони моё грешное естество
От вихря, грозящего гибелью,
Успокой меня, утихомирь,
Дабы вместе со всеми
Я долую пел осанну Тебе. Аминь.

Да, только так — со всеми... Он один из несметного множества, песчинка, завиток пенной тесьмы на морском берегу...

А тонкая прохлада все не исчезала, не убывала, и он наслаждался ею, несущей чистоту.

Вот и вторая молитва. Не такая объемная, не такая... как это сказала Суйбик о предыдущей?.. вместительная, что ли? Поуже, но, возможно, и она кому-то пригодится, возможно, кто-то найдет и в этом его самолечении нечто приемлемое для себя и глотнет толику здоровья... Да, пожалуй, все не так уж плохо. Что он мог дать богдельникам, то и дал. Анийцы не тронут их. Разве анийцы не люди? Люди. Так что это его опасение — зряшное. А Суйбик — умнейшая женщина. Суйбик поймет. Разумно ли требовать от человека больше, чем тот имеет? Что касается Маргит и Дереника, то для каждого из них пяток номисм — целое состояние. Для них номисмы куда существенней его обходительности. Он же весьма кстати избавился от лишних денег. На доброго коня не хватило — велика важность! С конем хлопот не оберешься. А Силач неприхотливый. И не хуже любого коня мчал его. Дивный осел. Уморился, спит, сердяга...

Григор вдруг заметил, что солнце уже высоко белеет над горизонтом.

«Боже милостивый, как же я забыл о Твоем посланце? Прости меня, грешного!»

— Эй, сонная тетеря! — заорал на осла и хлопнул его по крупу. — А ну продери глаза!

Силач, вспрыгнув на ноги, глянул на Григора с обидой.

— Давай-ка вылазь, будет в тени прохлаждаться, — продолжал покрикивать Григор, затягивая на Силаче упряжь.

«Уфф, чуть книжку не забыл, разиня!»

Возле шалаша он увидел сложенную двумя горками монашескую одежду, отпрянул, но заставил себя успокоиться. В одной горке — подрясник и ряса с куколем, в другой — исподнее белье, пояс, опояски, шнурки, сандалии. Такая заботливость ангела показала ему чрезмерной. Но одежда была простейшая, из шершавого полотна, сандалии — только подошвы с ремешками. Григор ругнул себя за неверие, разделся и с удовольствием, почти с наслаждением перехватил поясом бедра, опоясками — ляжки, живот, двойным узлом скрепил шнурки на зашее и, пропустив их под мышками, завязал на плечах. Одежда была впору, сандалии — тоже. Он поднял свой прежний наряд, перебросил его через холку Силача и, выбравшись на дорогу, справился у прохожего крестьянина, где Кечрор.

Тот махнул рукою на юг.

— Далеко? — спросил Григор.

— Если мешкать не будешь, к полудню доберешься.

— Ооой, — скорбно простонал Григор, кинул тому свою мирскую одежду и погнал Силача, на бегу покармливая его зерном из ладони.

В Кечроре, на рыночной площади, он сразу нашел собравшийся в Битлис караван.

Начальник охраны, заросший неряшливой, клочкастой бородой, зато в начищенных доспехах и на ухоженной вороной лошади, сердито сказал ему:

— Глянь, сколько народу тебя дожидается. Посулили, что явишься утром.

— Кто сулил?

— Больно ты любопытный. — Хмуро глянул на Силача. — А насчет осла уговора не было. Воды, корма в обрез.

Григор протянул ему кошелек. Тот, раскрыв, подобрел.

— Раз так, все в порядке, — сказал. — Ты возле меня держись. Мы вдоль васпураканской границы пойдем. Там тондракиты шалят, а вашего брата они не милуют. Может, тебе сабельку какую дать?

— Я не умею сражаться, — сухо сказал Григор. — В Битлисе скоро будем?

Но тот уже не обращал на него внимания.

— Э-ге-гей! — закричал сорванным голосом. — Выходим! Ко мне, ребятки!

К нему начали подбегать воины, и он принялся указывать, кому ехать впереди, кому — в хвосте, в какой очередности выстраивать караван.

Все мгновенно всколыхнулось, засуетилось, подернулось тучами белой пыли, и спустя полчаса караван тесной вереницей выполз из города.

До Битлиса добирались около месяца. Дорога прошла благополучно, если не считать того, что на Дзорском перевале вздрогнули горы и грязевая лавина уволокла в пропасть опередившего общее движение верблюда. Грязь за два дня разгребли, поставили указатель с красным флажком, что место опасное, и двинулись дальше.

В течение всего пути Григор подолгу молился, ел и пил самую чуть, заботясь лишь о Силаче, особых хлопот не доставлявшем. Беспокойства были другие. Григор не понимал, что это за обитель — Символов. Вся аллегорика — загадочные небесные дыры и ветровые розеола, а также ягнята, рыбы и прочая живность, под видом которой древние христиане поклонялись Иисусу, — все эти изображения объявлены нечестивыми еще на Трулльском соборе. Неужто Божий ангел направил его в еретический монастырь? Но расспрашивать о монастыре он не стал: сказано, куда идти, пошел, ну и иди. Он даже сторонился попутчиков, чтобы невзначай не услышать чего-нибудь про монастырь. Время от времени он ощущал на себе надзирающее око и поеживался. Появилась и огорчительная забота. Чересчур он положился на свою память, и первая молитва, которую он как яйцо снес, не восстанавливалась. Записать-то он ее записал, но какие-то слова в ней явно не те записал, и весь этот месяц мучительно вспоминал первоначальные, так что к концу пути всю книжку измарал, правя и перебеливая молитву. Хуже она стала, произвольней.

Завидев стены Битлиса, Григор спросил у начальника охраны, где находится обитель Символов. Тот подробно объяснил, как до нее добраться, сказал, что после развилки надо взять вправо, что обитель на берегу Балеша, притока Тигра, и примолвил, что, и не погоня осла, Григор к вечерней службе будет на месте. Расстался он с Григором как будто очень довольный расставанием.

Григор медленнее поехал дальше на юг. Левое ухо улавливало гул моря. Отсюда взять влево, и дня через три будешь в Нареке. Это, конечно же, искушение, об этом лучше не думать.

Добравшись до развилки, он свернул на правую дорогу, по которой густо ползли телеги с тесаным камнем. На закате различил впереди крепость. Ворота были открыты. В них и вползали груженные телеги. Над воротами развевался голубой стяг с греческим двуглавым орлом. Григор подъехал поближе. Посреди двора стоял громоздкий приземистый храм. Над его лазурно оглазуренным куполом возносился дифизитский крест. Вероятно, только что закончилась вечерня — из дверей храма выходили монахи и, что поразительно, точно в таких же рясах, какая на нем. Впрочем, ничего по-

разительного. Это подтверждение, что он явился туда, куда ему велено. Все ясно: Господь направил его в дифизитскую обитель. Мало того — к грекам.

Григор привязал Силача у ворот, задал ему корма и пошел к монахам. У некоторых были откинuty куколи, и он увидел молодых крепколицых людей.

Григор подшагнул к стоящему в сторонке ражему молодцу, поклонился и по-гречески спросил:

— Кто ваш настоятель?

Тот, отвесив ответный поклон, осведомился:

— Разве ты не из Константинополя?

— Нет.

— Наставляет нас архимандрит Никандр.

— Могу ли я повидать его?

— Как велишь о себе доложить?

— Григор из Нарека.

Монах поднялся в храм и, минуто спустя выйдя на паперть с рослым человеком в куколе, одетым так же, как все, глазами указал ему на Григора. Ни креста, никаких иных знаков отличия не было на рясе этого человека, но сама его осанка, непринужденно-уверенная, подсказала Григору, что это и есть архимандрит Никандр. Он сошел к Григору, осенил размашистым знамением и протянул небольшую руку. Григор, поцеловав ее, ощутил губами твердо вздутую мышцу.

— Я ждал тебя, пойдем ко мне, — глуховатым голосом произнес настоятель и зашагал как бы неторопливо, но быстро, далеко выбрасывая перед собой очерчиваемые рясой острые колени.

Они зашли в центральную дверь прямоугольного, по всей видимости, общежитийного строения, облицованного как снаружи, так и внутри серым плитняком, поднялись по винтовой лестнице на второй этаж (этажей было три), и Никандр своей неторопливо-быстрой поступью направился напрямик, в дальний конец коридора. Распахнув дверь, посторонился и экономным махом руки пригласил Григора войти первым.

В просторном, без ковров, без мягкой мебели помещении Григору сразу бросилось в глаза развешанное на стенах оружие: мятые, в рубцах доспехи, щиты, длинные копья, мечи, среди которых был и двуручный, кинжалы. Как и все в помещении, оружие было бедное. Строго стальные ножны и рукояти своим холодным блеском напроць отвергали всякую насечку, любой камушек. Единственным ярким пятном в комнате была икона в правом от двери углу — изображение Христа под сухой смоковницей.

На письменном столе, точнее, на сколоченном из неструганных сосновых досок ящике с выемкой для ног, лежала стопка книг, рядом — стопка пергамента, торчали перья в стакане из мутного стекла, стояли песочные часы и медный семисвечник. К столу была приставлена скамья без спинки. Ни стульев, ни шкафа. Под иконой — две доски, застеленные тощим тюфяком.

Никандр зажег в семисвечнике одну свечу и, тем же кратким мановением пригласив Григора на край скамьи, сел на другой и снял куколь.

Это был человек лет сорока пяти, бледный матовой, по-видимому, здоровой бледностью, с умеренно впалыми щеками, умеренно морщинистым лбом, кареглазый, с негустыми темно-русыми волосами, ровно подстриженными чуть ниже затылка, с полуседой бородкой клином, сужающей и без того узкое лицо. Его маленькая голова очень прямо сидела на кургузой сильной шее. Внешность, пожалуй, в одинаковой мере и священника, и воина, а при обилии побывавшего в деле оружия — священника-воителя.

— Мне известно, почему ты здесь, — сказал он, глядя на Григора сдержанно-приветливо. — Имею честь знать и кое-кого из твоей родни. В частности — твоего старшего брата Саака.

— Он жив? — вскрикнул Григор.

— Год назад был в добром здравии, — вытянув сдержанной улыбкой рот, ответил Никандр.

Григор заерзал, привстал, но под отяжелевшим взглядом Никандра опустился на место.

— Прости мою вольность, преподобный отец, — проговорил тихо. — Я никогда не видел Саака. Какой он?

— Он один из видных тондракских вожаков. Еретик, разумеется. Но тондракская ересь, являющая мечту о земном рае, жидет, к сожалению, на священном фундаменте. Знаешь, на каком?

— Нет.

— Скажу. В Евангелии от Марка повествуется, как Иисус взшел на гору для беседы с Илией и Моисеем. Иисуса сопровождал Петр, который в ту пору по невежественной простоте нередко заблуждался. Ему понравилась вершина горы, заметь, вершина, — подчеркнул он, просыпав легкий смешок на ладонь. (У Никандра была особая манера говорить. Говоря, он близко подносил к глазам ладонь и словно читал с нее своим глуховатым, размеренным голосом, затем поворачивал ее к себе тыльной стороной, а затем — опять внутренней.) — Петр возмечтал жить на вершине и предложил Иисусу поставить там шатры. Разумеется, никаких шатров не поставили. — Перевел взгляд с ладони на Григора. — Ты, несомненно, помнишь данный фрагмент из Марка. Я пересказал его столь подробно, ибо, по-моему, он дает весьма убедительное психологическое обоснование не одной лишь тондракской ереси, но также павликианской, иконоборческой и множества иных, родственных тондракской. Эти, — гадливо дернул углом рта, — красноколпачники не желают, видишь ли, жить под горой, а желают жить на вершине. Но как они всем скопом там поместятся? Да и какие они жилища поставят? Они разучились строить, они теперь умеют только разрушать, так ведь?

Григор подумал, что в сущности Никандр говорит о тондраки-тах то же, что и знающий их изнутри Фетек, и согласно нагнул голову.

— Они и воевать толком не умеют,— продолжил Никандр.— Вечно препираются, галдят, вожakov перевыбирают, дисциплины не признают и в бою, мгновенно разваливаются при мало-мальском сопротивлении противника. Берут числом и оригинальной разновидностью отваги, которую вернее назвать нахрапом. Впрочем, все это — не о твоём брате Сааке. Мне довелось вместе с ним воевать в Болгарии. У него под началом было около тысячи боеспособных, отлично выученных воинов, и держал он их в повиновении строгой дисциплиной. Я обязан ему жизнью, посему счел возможным,— кивнул на двуручный меч,— обменяться с ним оружием. Он не только воин, но и просвещенный человек, книголюб. Коротких отношений у нас не установилось, поскольку мы оба не стремились к ним, но могу уверенно сказать тебе, что он нетипичный тондракский вожак. Они безответственные, хвастливые, слабодушные, а он волевой и достойный. Кажется мне, он не пропащий человек.

— Спасибо,— поклонившись, сказал Григор.— Приятно слышать похвалу своему брату, хотя я совсем не знаю его.— Развел руками.— Брат есть брат, разве нет?

— Гм, на это возразить трудно. А теперь позволь задавать вопросы мне. Когда ты в последний раз исповедовался?

— Давно, донельзя давно,— замямлил Григор,— в ноябре позапрошлого года.

— Ты чрезвычайно огорчил меня,— невозмутимо, и бровью не поведя, сказал Никандр.— За столько времени без исповеди ты наверняка стал в тягость самому себе. Утруждался ли ты молитвой и постом накануне и сегодня?

— Как, ты намерен принять исповедь сейчас, здесь?

— Я не привык дважды повторять одно и то же. Вопросы буду задавать я. Уговорились?

Приязни этот человек не внушал Григору, однако успел внушить уважение и доверие. К тому же прямая обязанность настоятеля сразу брать быка за рога. Не озадачиваться этим следует, а откликаться благодарно.

— Прости,— виновато сказал Григор,— да, молился и питался растительной пищей.

— Что пуще всего тяготит твою душу?

«Конечно же, повеление ангела,— мысленно ответил Григор.— Но Никандр сообщил, что ему известно, почему я тут. Ангельское повеление — святая святых. Пусть он ее коснется сам, если ее можно касаться. Мое же дело — каяться».

И, морщась от стыда, он сказал о Лейли и о Суйбик. Затем восстановил все события полутора лет в их очередности и вкратце, не щадя себя, но избегая смотреть на Никандра, изложил их.

— Закончил? — по-прежнему бесстрастно спросил Никандр.

— Да.

— Я более чем огорчен. За полтора года — две женщины. Ужасно. Ты не только загрязнил собственную душу, ты опозорил монашество в целом. А монашество является живым механизмом,

показующим нравственный уровень всей христианской жизни. Ты снизил этот уровень. Разумеешь?

— Да.

— Я отпускаю тебе грехи, но без причащения, которое откладываю на неопределенный срок. Также на неопределенный срок запрещаю тебе входить в храм и общаться с братией. Молись, сколько сумеешь осознанно воспринимать сущность молитвенных слов. Молись исключительно Давидовыми псалмами. Отщепенство — суровая кара, но ты заслужил ее. Столоваться будешь в келье. Она — через дверь отсюда.

«Это справедливо», — подумал Григор и поднялся.

— Сядь. Молитва молитвой, однако потребно и другое занятие... Хм, ты повредил хребет, а с ним шутки плохи... — После непродолжительной паузы спросил: — На греческом ты читаешь и пишешь?

— Не могу сказать, что свободно. Примерно — как говорю.

— На каком языке, помимо греческого и армянского, ты читаешь и пишешь?

— На латыни.

Никандр подал Григору грифель, выбрал из стопки исчерканный лист, положил перед ним.

— Напиши сбоку что-нибудь на латинском. Тщательно напиши.

Григор послунил грифель и вывел: «Обитель Символов». Взяв у него лист, Никандр мельком взглянул на надпись и произнес:

— Ошибок нет, почерк отменный, разборчивый, без никчемных завитушек. Будешь помогать библиотекарю. У нас свыше пятисот книг и свитков. Многие из них в бедственном состоянии. Работы хватит. Погоди. Ко мне ты войдешь лишь тогда, когда я позову тебя. Не осталось ли в твоей душе чего-либо, что смущает ее?

«Вот кто, вероятно, сможет опровергнуть теорию Клавдия», — сказал себе Григор и начал сбивчиво, чересчур пространно, то и дело поправляясь, пересказывать. Никандр слушал, глухо похмыкивая, разглядывая внутреннюю и тыльную стороны ладони.

— Все сказал? — спросил он, когда Григор умолк.

— Да.

— Должен признаться, ты не столько огорчил, сколько удивил меня. Я имею удовольствие быть знакомым с твоим дядей. У него константинопольское образование, он мог бы легко развеять твоё сомнение.

Никандр посмотрел на него испытующе. Григор подумал, что примешивать дядю совершенно незачем, и промолчал.

— Вечный камень преткновения, — снисходительно произнес Никандр. — Борьба добра и зла представляет собой дрожжи, стимулирующие развитие творения, ибо Господь продолжает творить, не вмешиваясь по возможности в данный процесс. Господу торопиться некуда. Перед Ним — вечность. В космосе борются и тем самым развиваются нематериальные создания. Теперь — о земнородных.

Они, в отличие от ангелов, являют собой материальный вариант творческой эманации Господа. Наделенные всеалчущей плотью Адам и Ева должны были нарушить запрет. Созданные поселиться на созданной для них земле, они и должны были на ней поселиться.

Григор подумал: «Если Адам и Ева должны были нарушить запрет, то какая же у них свобода выбора? Это не христианские, а ветхозаветные, иудаистские суждения».

Никандр, уставясь на ладонь, продолжил:

— Пойдем дальше. Испытания, которым подверглись Авраам и Иов, понадобились Господу для вящей закалки праведников. Что касается сатаны в деле с Иовом, то сатана сам пожелал участвовать. Однако тут Господь установил предел злу. Ты преуменьшаешь значимость Божьих запретов. Сказано было людям: не делайте того, не делайте сего, ибо то и се есть зло. Трудно? Да, трудно. Плоть противится. Ну что ж, вот вам подспорье — Иисус, облеченный плотью. Он покажет вам, как возобладать над плотью. — Глянул на Григора с прищуром. — Я не хочу задевать твое монофизитство, но в монофизитском христианстве наличествует нетерпение. Земной Христос для вас больше Бог, нежели человек. Посему вам не терпится стать такими же, как Он. А спешка к добру не приводит. Что касается латинян, то у них дела обстоят похуже. Они выпячивают в земном Христе Человека и в Его человеческих проявлениях ищут и находят себе оправдание. Вы спешите, а они мешкают. Православие же с его двоедушным пониманием Христа снимает кажущееся противоречие между свободой выбора и, как правило, выбираемым людьми злом. Истина всегда посередине.

— Вот тут есть зернышко правды, — пробормотал Григор.

— Зернышко? Что ж, и на том спасибо. Ладно, не будем торопиться. К добру следует двигаться с постепенной неукоснительностью. — Оглянувшись и кивнул на стену, особенно густо увешанную оружием. — Говоря о Содоме и Гоморре, ты вновь употребил слово «жестокость». Но разве не было благом для неисправимых грешников их истребление? Они пресытились грехом, они мертвели, чудовищные муки претерпевали. Поразмысли-ка, представь себе. — Помолчав, спросил: — Представил?..

— Нууу... — протянул Григор, вообразив, каково было этим пусть и замученным грехами людям гореть заживо.

— Не можешь понять, — усмехнулся Никандр. — А все потому, что ты монофизит. Только православие есть синтезирующее вероисповедание, альфа и омега христианства! — возгласил патетически. — Вот почему я с большим сочувствием отношусь к Нареку. Нарекский опыт чрезвычайно перспективен. Конечно, твой дядя и глава православной общины Маниак — разные люди. Им сложно будет жить в ладу, — удрученно прочел на сей раз с запястья.

«Что за карканье? — удивился Григор. — Дядя и Маниак отлично ладят».

— Ты молод, — снова бесстрастно продолжил Никандр, — но тебе надлежит уже сейчас озаботиться судьбой, а вернее сказать,

синтезирующим предназначением Нарека. Нет, я вовсе не требую, чтобы ты принял православие. Я пекусь лишь о том, чтобы христиане заговорили на общем языке. Что до твоей теории, то о ней помалкивай. Размышляй, двигай мысль без спешки, исподволь, сопровождай молитвой, и ты в конце концов избавишься от этой ошибочной схемы.

— Схема!— обрадованно воскликнул Григор.— Вот точное слово!

Никандр холодно взглянул на него, встал, прошелся по комнате и, остановившись под иконой, сказал:

— Странная вспышка. Учись владеть собой. Ты молод, но здесь много твоих сверстников, и они умеют держать себя в руках. К тому же ты как-никак на исповеди.

Григор, покраснев и заморгав, поднялся.

— Сядь.— Никандр властно указательным пальцем ткнул на скамью.— Запомни мой упрек,— сузил глаза в блеклой улыбке,— и одновременно забудь. Дабы упростить эту задачу и стимулировать ее выполнение, поощрю тебя. Ты правильно сделал, не заговорив о самом главном, смущающем твою душу, о том, почему ты здесь.

Григор посмотрел на него со страхом и надеждой.

— Нет,— повел ладонью Никандр,— об этом умолчим и, подобно моему упреку, не забывая, забудем. Но я догадываюсь, что тебя смущает и другое, которое, пожалуй, верно будет обозначить таинственностями второй степени. Их я готов разъяснить.

Григор все-таки отважился подняться.

— Преподобный отец, мне неловко сидеть, когда ты стоишь. Разреши постоять.

— Разрешаю,— с удивленно-одобрительным наклоном головы промолвил Никандр.— Ты легко вспыхиваешь, однако твою учтивость можно и, пожалуй, даже верно будет назвать греческой.

Григор подумал, что эта фраза никак не свидетельствует об учтивости Никандра, но, ощутив, что хмурится, тотчас развел брови.

— Преподобный отец, для меня загадка само существование обители. Огромный храм, общежитие, по меньшей мере, на сто человек, высокие и прочные крепостные стены. Ведь три года назад ничего этого не было?

Никандр небрежно взмахнул рукой.

— Ты недооцениваешь возможностей империи. Этого не было еще год назад. Да, не было, да, есть. Сколько понадобилось сырья и народу, столько и отыскалось.

— Понятно,— вздохнул Григор, представив, как люди надрывались тут осенью и зимой, дрогли под свирепым, задувающим с моря ветром, как слетали камни с подъемников и давили неосторожных...— Понятно. Эта крепость была взята приступом.

— Точно сказано. Должен опять тебя похвалить. Ты недурно владеешь греческим и находишь точные определения своим мыслям. А наименование этой, как ты выразился, взятой приступом крепости не показалось тебе туманным?

— Показалось. Всякое поклонение символам запрещено.

Никандр обернулся к иконе и, заметив вползающее на ее под-
небесье насекомое, снял со стола подсвечник и сощелкнул пол-
зунка в горящую свечу.

— Клоп,— сообщил меланхолично.— Таронские работники
занесли массу клопов. Едва смеркается, и мы во власти кровососов.
Чешемся, не высыпаемся. А мне нужны бодрые монахи, и посему
недавно я изменил распорядок, ночь превратил в день. Вообрази,
сколько воска уходит.— Зажег остальные свечи и озарил убегающих
к краям потолка клопов.— Видишь? Во всей империи нет столько
дряни, сколько в проклятом Тароне.

— Щели замазать надо,— сказал Григор, отворачиваясь, чтобы
спрятать мстительную ухмылку.

— Э, ничего не помогает. Все заклоплено.— Вернул подсвеч-
ник на стол, подошел к иконе.— Ты говоришь, что символы запре-
щены, но разве запрещены иконы и разве они не есть символы?
Перед тобой не лучший образец православной иконописи, но вскоре
сюда доставят дивный иконостас. Ты будешь иметь счастье лице-
зреть его. И еще о символах.— Мельком упомянул:— Наимено-
вание обители принадлежит мне. Называя ее так, я имел в виду
и крест. Разве крест — не символ?

— Да, преподобный отец. Извини мое тугомыслие.

— Слушай дальше. Всех христиан, какие бы качества ни выде-
ляли они в Христе, единит печаль — иудеи и мусульмане упрямо
посягают на Библию. Существование так называемого Израиля
во плоти оскорбляет религиозные чувствования христиан. Иудеи
отжили свое. Они изгрешились, поэтому Бог покинул их. А мусуль-
мане язычествуют. И вот я решил повесить в храме стальной
крест, а напротив — меч таких же размеров. Они — главные отли-
чительные символы обители. Они же — и оружие, каковым му-
сульмане будут изгнаны из Иерусалима и вообще истреблены. Той
же очистительной ликвидации подвергнутся иудеи. Понятно?—
спросил уже не глуховатым, а металлическим голосом.

«Ни шиша у тебя не выйдет!» — с веселым злорадством подумал
Григор.— Иудеи и мусульмане дают всему миру замечательных
врачей, зодчих, ремесленников. Ишь на кого замахнулся, дурак!
Народы известны замыслил. Ты с таронскими клопами справишься!
А любопытно, какой народности ты сам?»

Он внимательно всмотрелся в лицо Никандра. Никаких явных
национальных признаков. На такую голову нахлобучь еломок или
турбан, и станет она головой еврея, араба, перса.

Собрав в себе всю учтивость, Григор сказал:

— Пожалуйста, преподобный отец, окажи милость, дозволю
осведомиться. Ты грек?

— Некорректный вопрос,— процедил Никандр.— Да и пустой,
суетный вопрос. Я четвертый в роду византийский патриций.—
Примолвил как бы мимоходом: — Греческая знать преимуществен-
но иноземного происхождения.

— Благодарю. Больше у меня нет вопросов.

— Ступай в келью и находишься там, пока за тобой не придут.

Григор поклонился и вышел. «Через дверь»,— вспомнил. Дверь нехотя, но подалась вперед. Лучше бы она открывалась в обратную сторону: келья была до крайности узкой, шириной в дверь, и короткой. На подоконнике — зажженный трехсвечник, огниво, кремь, грудка свечей. Вся обстановка — рукомоийник и железная кровать, на которой такой же тощий, как у Никандра, тюфяк. Над кроватью — чугунное распятие. Окно распахнуто, но запах строительной сырости все равно бьет в ноздри.

Григор протиснулся к кровати, встал перед распятием.

«Спасибо, Господи. Спасибо, что Ты есть и что я есть, и за Никандра спасибо. Он, хотя и пыжится, хотя и хочет мутузить народы крестом и мечом, тоже обычный человек, в чем-то сильный, в чем-то слабый. Спаси нас, грешных... Боже праведный,— чуть не завопил,— я же оставил осла у ворот! Как же мой бедный ослик? Мне запрещено выходить. Что делать? Надоумь, Господи. Ой-ё-ёй! Разволнуется, станет прыгать, орать, а для этой паршивой братии люди — ничто. Эти дифизиты пришибут его своими крестами и мечами. Что делать, Господи?..»

Он выглянул в окно. По освещенному факелами двору сновали монахи. Окликнуть кого-нибудь?.. Неуважительно, а главное, наверняка бесполезно. Григор посмотрел на звездное небо, выглядел серединную звезду Лебедя и, точно Господь находился там, воззрися на нее, моля надоумить.

«Ничего с Силачом не случится,— пришло наконец в голову.— Он отменных статей, а Никандр расчетлив до скупости. Значит, и все здесь если не такие же сквалыги, то бережливые. Силач давно в стойле. С чего я вдруг? И здесь люди — как люди».

Едва он успел сказать себе это, как раздался стук в дверь, и он пошел открывать ее. У порога стоял светловолосый монах, по виду не старше Григора. Лицо — круглое, простое. Выражение голубых глаз — доброе.

— Местный библиотекарь, грешный инок Савва,— мягко улыбувшись, назвался.

«Славный»,— сразу почувствовал Григор и легко ответил:

— Еще более грешный инок Григор. Входи.

Тот расплылся в беззвучном смехе, приложил палец ко рту, переступил порог и, закрыв дверь, сказал:

— Грешнику с грешником приятно иметь дело. Ты разговаривай потише. У нас так полагается. А я уже побывал у тебя полчасика назад, свечи зажег.

— Спасибо. Я и внимания не обратил на этот свет, потому что меня страшно беспокоит чудесный осел, которого я привязал у ворот.

Савва так же, как Никандр, близко поднес ладонь к глазам, степенно сообщил:

— Осла я отвел в конюшню.

— Слава Богу!

— Шшш! Чего ты кричишь?— Глянул на Григора ласково-укоризненно и стал зачитывать с ладони:— Ничему не удивляйся. Преподобный Никандр — великий человек, ясновидец. О твоём приезде он сказал мне утром. Сказал и про епитимью, которую на тебя наложит. И про то, что ты будешь моим помощником, сказал. Вот это стесняет меня. Ты ведь магистр, а я всего лишь лицензиат, и то, если по совести, никудышный. Ты со мной не церемонься, ладно?

Григор решил, что и впрямь хватит удивляться.

— Ладно. И ты со мной — тоже.

— Епитимья — пустяки,— вздохнул Савва.— Ты и вообразить не можешь, в каком кошмаре мы все тут живем. Клопы тянут из нас и кровь и душу.

— Знаешь что...— нетвердо начал Григор и, мысленно воскликнув: «Эх, таронские клопики, простите мое предательство!», рассказал Савве о налитых водой мисках, которые он ставил под кроватными ножками, когда жил с Лейли, и об идее жестяного противоклопного корыта над кроватью. По мере того как он рассказывал, круглое Саввино лицо все больше походило на луну за окном и в конце концов превратилось в сплошную лучезарность.

— Сам Господь прислал тебя,— изрек он проникновенно.— Спаситель наш, вот кто ты. Поскучай немножко. Я сейчас же должен поведать об этом преподобному отцу.

Озарил Григора любовным взглядом и вышел. «Милый человек,— садясь на кровать, сказал себе Григор.— Теплый, бесхитростный». Потянулся за подсвечником, оглядел потолок и стены. Клопов не видел. Еще не унюхали добычи. Нёбо поднялось в зевке, веки смежились. В самый раз бы соснуть...

— Григор,— услышал он ликующий Саввин полупшепот,— преподобный отец апробировал твоё изобретение. Завтра же все жестянички округи примутся за работу. Только для общежития понадобится двести шестьдесят восемь корыт.

Григор изумленно распахнул глаза. Вот так обителька! Три Нарека.

Савва с повинным видом сложил ладони возле носа:

— Я заикнулся было насчет послабления твоей епитимьи, но преподобный отец так глянул на меня, что я чуть язык не проглотил. Слушай, а такое же универсальное средство от блох тебе известно?

— Как, вы и блохастые?

— К сожалению.

— И вши есть?— заранее ужаснулся Григор.

— Вшей вывели,— с достоинством выпятив пушистую бороду, сказал Савва.— От вшей избавляют разные травяные смеси, а главное, чистота.

— Это же избавляет и от блох.

— Увы. Таронские блохи необычайно стойкие.

Григор развел руками.

— От блох я вряд ли чего-нибудь придумаю. Они скачут.

— Не то слово. Летают, мерзавки. Ну что же, пойдем в библиотеку. Накинь куколь и по дороге ни на кого не гляди. Ты, наверное, есть хочешь, но завтракаем мы в полночь. Еду тебе буду носить я. А сейчас, не обессудь, примешься за дело. Преподобный отец похвалил твою латынь и почерк и распорядился, чтобы ты свел воедино два разрозненных тома Кассиана-Римлянина и переписал их.

Библиотека находилась на нижнем этаже. В ярко освещенном зале, среди сработанных из золотого ливанского кедра шкафчиков, столов, стульев, Григор сразу почувствовал, как истосковался по книгам.

— Погоди,— остановил Савву,— я сам.

Наугад отворил дверцу шкафчика и, увидев пухлый, растрепанный том с надписью на корешке «Сочинения любомудрого Кассиана», вытащил его, затем — соседний, еще более растрепанный. Убедился, что и это сочинения Кассиана, и понес оба тома на ближайший стол.

Писания Кассиана он знал и любил. В основном это были разумные советы инокам, как преодолевать пороки и слабости,— советы, поясненные живыми примерами. В теологические дебри Кассиан тоже углублялся, но всегда брал в проводники здравый смысл. Конечно, созданная пятьсот с лишним лет назад, книга отчасти устарела. Не только переписать ее следовало, но и сориентировать на современность. В Нареке дядя обычно распоряжался снабжать такие книги предисловиями. Доводилось писать их и Григору. Однако лезть с этим здесь было бы нескромным. Здесь наверняка достаточно людей образованней его, так что надо выполнять порученное и не соваться, куда не просят.

Перепиской Григор занимался лишь однажды — перебелил небольшую работу отца. Это же была огромная книга. Он собрал из двух экземпляров один и убедился, что хотя не все разборчиво, но все цело. Пергамент Савва дал качественнейший. Смывальную губку Григор отверг, решил переписывать пусть медленно, зато чисто. В полустершихся фразах он разбирался с помощью отличного увеличительного стекла. Большей трудностью были различения в экземплярах. Тут Григор полагался на собственное восприятие слога Кассиана. А на что еще было надеяться? Савва — прекрасный товарищ, однако просвещенность его, как он загодя уводил, заставляет желать лучшего. К тому же через день здесь устраивались учебные сражения, и после них Савва, видать, и боец не лучший, охал и потирал себя то спереди, то сзади.

Библиотекой пользовались мало. Григор объяснял это теми же учебными побоищами, после которых не до чтения. Правда, Савва постоянно носил книги Никандру, который сам в библиотеку не заходил. Савва прямо-таки обожествлял Никандра и усердно копировал все его жесты, поступь, манеру говорить. Очень получалось забавно.

День в обители стал днем, а ночь — ночью, хотя противоклопные корыта ожидаемого эффекта не оказали. Григор перепробовал все клейстые жидкости, какие знал, чтобы натирать заостренные корытные края, но они быстро пересыхали. Откуда взялось столько клопов? Может, таронцы действительно занесли их нарочно? Щели тщательно замазаны, дважды заменены кровати, тюфяки, одежда, а клопы никуда не деваются. Видимо, в храме плодятся вкупе с блохами. Только блохам далеко до клопов, которые на редкость кусачие и вонючие. Кое-какое облегчение принесли лишь миски с водой под кроватными ножками. «Э, я уже притерпелся,— говорил Савва.— Адские муки будут помятней». Суровое утешение, думал Григор, однако больше утешиться нечем.

Как-то Савва влетел в библиотеку, весь сияя, и сообщил новость: приехал из Константинополя великий иконописец Шек.

— Имя нехристианское,— удивился Григор.

— Он русс. Его патриарх очень ценит и позволил ему оставить свое имя, как он того хотел,— растолковал Савва.

Григор подумал, что и он не поменял имени, и заинтересовался этим Шеком.

— А иконостас привез?— спросил.

— Нет, патриарх оставил его последний иконостас Студийской обители. Здесь будет писать. Для него уже мастерскую строят. Все, чего он ни пожелает, устроят. Ты давай заканчивай Кассиана. Одну икону Шек привез. Диво дивное! В храме повесили. Сделаешь Кассиана, и, наверно, преподобный отец причастит тебя и снимет епитимью.

Кассиан изрядно надоел Григору: с середины книги пошли повторы, да и просто устал напрягать внимание и руку. Но работал с прежней сосредоточенностью. Ни на какое чтение, кроме Библии, не отвлекался. Переписку он завершил поздней осенью и, вручив груду листов Савве, попросил:

— Замолви за меня словечко преподобному. В храм зайти охота.

Савва вернулся от Никандра печальный.

— Гусь — твой Никандр,— не выдержал Григор.— Пусть на том свете его душу клопы жрут!

— Напрасно ты,— возразил Савва.— Не так уж все плохо. Преподобный отец одобрил твой труд и дозволил самому выбрать следующий.

Григор вздохнул и, подойдя к латинскому шкафу, решил поискать стихи. Наудачу достал ветхую, обшарпанную трубку, извлек дырявый свиток. Пришлось опять прибегнуть к увеличительному стеклу. Начал читать, и с первых же слов сердце запрыгало от восторга. О, какой поэт! Самому Давиду ровня! А не духовный — светский. Григор вздохнул, проглотил свиток и кинулся к шкафу в надежде найти еще что-то этого, как он называл себя, Катулла. Нашлось, шесть свитков нашлось! Судя по тому, что он писал о Юлии Цезаре и Помпее как о современниках, поливая их безбояз-

ненной, уморительнейшей бранью, жил он тысячу лет назад. И все не только не устарело, а совершается на глазах, сейчас. Вот — потешная уличная сценка, вот какой-то Эгнаций своей мочой полощет рот, чтобы стать белозубей, вот ловчат в сенате государственные мужи, вот по лености обывателей струхлявел мост в захолаустном городке, — и все на глазах!

— Чего хохочешь? — услышал он Савву.

— Уфф!.. Ты послушай, послушай!

На досуге шатался я по рынку.
Тут повёл меня Вар к своей подружке.
Видно сразу — гулящая девчонка,
Но лицом недурна и остроумна.
Мы пришли. Завязались разговоры.
И о том и о сём. Зашла беседа.
Про Вифинию, как-то в ней живётся,
Не привёз ли я золота оттуда.
Я ответил, как было. Ни начальству
Не пришлось пожить там, ни свите,
Не поправил и я своих делишек.
Был к тому же наш претор страшный бабник,
И на свиту свою плевал бесстыдно.
«Неужели, — сказала мне красotka, —
Ты не вывез оттуда, как другие,
Слуг-носильщиков?» Я, чтоб не казаться
Через меру убогим, ей ответил:
«Хоть попалась провинция дрянная,
Не такой я растяпа, чтобы даже
Не набрать восьмерых парней здоровых».
(А ни здесь я, ни там таких не видел,
Чтоб носилок поломанные ножки
Взгромоздить на затылок согласились.)
Тут девчонка, на то она и шлюха,
Закричала: «Прошу тебя, Катулл мой,
Одолжи их на время! Прокатиться
В храм Сераписа надо мне». — «Да нет же! —
Я ответил. — Теперь припоминаю:
Всё я спутал. Ведь это друг мой Цинна,
Цинна Гай, а не я себе добыл их.
Впрочем, он или я, не всё ль едино?
Что его, что моё — беру, коль надо.
Ты ж изрядная дрянь и прилипала,
Надо ухо востро держать с тобою»¹.

Савва, слушая, взгогатывал, но затем сделал строгое лицо и заявил:

— Нет в этих стихах ничего душеполезного, праведного.

— Как нет?! Разве правда не сродни праведности? Чистейшая правда в этих стихах, сказанная умно и смешно, а такая правда просветляет, бодрит, радует. Нет, что ли?

— Какая же правда, если он врет девчонке?

— Ну и пусть врет! Он же сам говорит, что врет.

— Но ведь врет, — уперся Савва.

¹ Перевод А. Пиотровского.

— О чем столь бурный диспут?— донесся от двери глуховатый голос.

В дверном проеме изваивался сухой, как засуха, Никандр. Оба встали и поклонились ему.

— Я счел возможным лично принести тебе поощрительные слова за прилежно выполненную работу,— сказал он, приближаясь к Григору. Глянул на свиток, проронил:— А, бедный Катулл.

— Почему бедный?— озадачился Григор.

— Гм, неужели ты не знаешь анекдота о разбойнике и поэте?

— Не знаю.

— Разбойник и поэт жарились вместе на адской сковороде,— принялся зачитывать с ладони Никандр.— Лет через сто бес объявляет разбойнику: «Ты прощен, выходи из геенны». Тот удалился. «А как же я?»— вопрошает беса поэт. «Ты останешься».— «Почему? Чем я грешней его?»— «Тем, что его грешные деяния люди забыли, а твои грешные стихи помнят. Останешься на сковороде, пока их не забудут».— Просыпав на ладонь подобие смешка, заключил:— Бедного Катулла никогда не забудут.

Анекдот был уместный и с перцем, но рассказан до того сухо, что Григор и не улыбнулся.

— Верно ли я понимаю, что ты вознамерился переписывать Катулла?— спросил Никандр и передвинул одну из трубок от края стола к середине.

— Если ты разрешишь, преподобный отец.

— Я уже разрешил выбрать тебе следующую работу по собственному усмотрению. К тому же Катулл, невзирая на его языческое мировосприятие, представляет собой огромную культурную ценность. Переписывай, но не восторгайся им чересчур.— Поймал взгляд Григора чуть оттаявшими глазами.— Поясница беспокоит тебя?

«Насколько лучше относится он ко мне, чем я к нему»,— устыдился Григор.

— Спасибо за заботу, преподобный отец. Я делаю необходимые гимнастические упражнения, я в порядке.— В голове зажглось: «А вдруг?» Низко поклонился, выговорил спотыкливым голосом:— Могу ли я уповать на величайшую милость?

— Смотря на какую именно.

— Мне бы хотелось переписать Катулла и для Нарека.

Никандр, поведив из стороны в сторону взглядом, припустил веки.

— Ну что же, Катулл несомненно обогатит армян. Империя щедроносна.— Повернулся к Савве.— Для узконаправленных нужд выдашь армянскому инок пергамент попроще. Благодарю не меня, а православную империю,— бросил Григору, чья расцветшая было благодарность тотчас зажухла.— После этой работы выполнишь еще одну, немногословную, но весьма существенную. А потом я причащу тебя и сниму епитимью. Я доволен тобой,— бросил, идя к двери.

— Ты видишь, какой он добрый!— шепотом воскликнул Савва, когда дверь затворилась.— Он строгий, но добрей всех на свете!
— Ага, добрей не бывает.— И Григор, не слушая упреков, принялся откупоривать трубки.

Они были пронумерованы. Видимо, не зря, подумалось.

Прочитав очередной свиток, Григор понял, почему Никандр предостерег его от избыточного восторга. Григор имел представление о том, что творилось в Риме той поры. Несколько лет назад дядя принес ему из Клавдиевой библиотеки книгу речей Цицерона, блестящего писателя и видного государственника. Видного, но недальновидного. Цицерон положил жизнь на то, чтобы спасти республику, а она вся изветшала. Одряхлели и рушились все устои — религиозные, правовые, семейные. Катулл был безбожником, не верил в высшее благо. Нет, с Давидом его не подобает равнять. То есть подобает, и даже очень подобает, но лишь по стиховой мощи. Вот в чем Катулл, пожалуй, превосходит Давида. У Давида такая незыблемая опора, как «Господи мой, Господи!», да и царская власть чего-то стоит. А тут — безбожие, полунисщенское прозябание. Но как прекрасно это Божье творение и в своем безбожии! Катулл светел и в духовной тьме. Э, тут есть чем восхищаться! Бедность его сродни истинно монашеской. Его наверняка пытались подкупить: общественное мнение во времена Юлия Цезаря кое-что значило. Но попробуй забросай море деньгами, чтобы оно не бушевало!

Конечно, нрав у Катулла не медовый, но друзей он любит, горюет, когда у них горе, радуется, когда у них радость. Наверняка многие отвечают ему любовью, а как не любить такого?

В последнем свитке Григор нашел стихотворение о юноше Аттисе, который решил служить мрачно-целомудренной богине Кибеле, приплыл на безлюдный берег, оскотил себя, а потом, сообразив, что наделал, сокрушается. В этом иступленном, как сам поступок, сокрушении острее всего прожгли Григора слова юноши, что он лишил себя родного порога, постоянно нагретого дружескими шагами гостей. Видимо, Катулл, заболел или измаявшись полуголодным существованием, уехал из Рима туда, где никого не интересовали ни он, ни его стихи...

Еще опьяненный восторгом, Григор приступил к переписке и стал портить листы. Вспомнился привидевшийся перед уходом из дома сон, будто он жил среди греков и занимался только перепиской чужого, потому что это чужое было несравненно лучше своего, но даже переписывать это чужое оказалось ему не по силам. Вот и сбылось сновиденье... День-другой успокаивался. Не получилось—руки зудели от нетерпенья. Пришлось сначала переписывать для себя. Взял у Саввы грубый пергамент и пошел строчить. Споткнулся на самом маленьком, но и самом емком из любовных стихотворений:

Да! Ненавижу и все же люблю. Как возможно, ты спросишь?
Не объясню я. Но так чувствую, смертно томясь¹.

¹ Перевод А. Пиотровского.

«Не объясню я» — рассудочно, в духе Никандра. Не мог Катулл так сказать, он знал цену словам. А здесь, на малой площади, и сложочек драгоценен. Наверняка — оплошность переписчика. Сколько их между подлинником и этим списком? Григор мысленно посоветовался с Овиком, вкусу которого доверял больше, чем своему, и вместо «не объясню я» подыскал «сам не пойму я», подходящее и по ритму, и по количеству слогов. Поправка доставила тщеславное удовлетворение — что-то вроде того, что и он немножко Катулл. Тьфу, дурак, нашел к кому примеряться! У Катулла совершеннейшие ритмы, ему и никаких созвучий не нужно, а главное, душа у него глубочайшая, а не плоскодонка, не платок для утирки слез и сморкания, не вбирающий влаги...

Едва он закончил Катулла, как Никандр всучил свое сочинение. Оно и правда было небольшим: около полусотни листов, усеянных крупной вязью. Григор догадывался, что ему предстоит, и не ошибся: надлежало перебелить бесчеловечные воззрения Никандра, которые тот изложил при знакомстве. Уже тогда Григор усомнился, действительно ли его направил сюда Господь. Почему Никандр молчит об этом и расхваливает его за молчание?.. Что-то здесь не так... Никандр недавно велел поставить к нему в келью железную печку, хотя зимы тут нет — так, приятная свежесть. Почему Никандр заботится о нем? Что он, незаменимый копиист? Ничуть не бывало. У Саввы пропись почетче и помельче, а Никандр дорожит качественным пергаментом. К тому же на днях осела в библиотеке целая троица копиистов, и все пишут лучше не надо. Зачем же Никандр именно ему велел перебелять эту мерзость? Скорей всего — Божье наказание.

Однако же Господь наказал и Никандра. Бездарь — Никандр, полная бездарь, мертвенная. Если при устном изложении его система производила впечатление хотя бы стройной, то на пергаменте она разваливалась, как дом, из-под которого выбили опорные столбы. Все торчит, точно прошлогодняя солома из худого мешка. Поставь такой мешок перед оголодавшей скотиной — сыто рыгнет. Ох, Боже, Боже, за что?.. Все поделом, все.

Вероятно, наградой за смирение было то, что вторичную исповедь принимал у Григора не настоятель, другой монах, а причащаться погнали еще к кому-то. Григор вошел в храм и среди тяжелой дифизитской роскоши немедленно ощутил себя монофизитом. Впрочем, так всегда: в дифизитском храме он — монофизит, и наоборот.

Под куполом жуткое уродство — гигантские стальные крест и меч. У входа он увидел новехонькую икону. Краски, не вытусклясь, слепили. Подошел поближе. Хороша икона. Изображение Богородицы с Младенцем, но куда до Них Тем, что в привратной арке Нарека... Здесь Они выпуклые, выталкиваются и плывут с доски навстречу смотрящему, входят в него. Красок немного. Преобладают коричневые оттенки. Доска пупырчато крыта охрой, на которой

лишь намечены тоже охряные нимбы. Как у Матери, так и у Сына лица утомленно-спокойные, с подглазными мешочками, нисколько не портящими Их красоты. В соответствии с дифизитской традицией, у Младенца взрослое лицо, хотя безбородое, разумеется. Он ухватился за край одежды Матери, а Она благоговейно поддерживает его длиннопалыми руками. Оба, в отличие от нарекских, внушают не жалость, а надежду, что все в конце концов утрясется как у Них, так и у смотрящего на Них.

Григор окликнул идущего мимо служку, справился, кто сегодня причащает.

— Иконописец Щек,— ответил тот и, кивнув на икону, сказал: — Его работа.

— Как обращаться к нему?— спросил на всякий случай Григор.

— Почтительно,— усмехнулся служка.— Он архимандрит.

Щек, высокий, примерно с Григора, в куколе, в такой же одежде, как все, причащал у правого клироса. Григор, выстояв очередь, подошел к нему.

— Кто таков? — спросил Щек тихим, но звучным и низким голосом, сильно упирая на «о».

— Армянский инок Григор.

Щек протянул ему дрожжевую поджаристую просфорку, дал глотнуть красного вина из заалмазненной чаши, сложил крестобразно на груди свои руки-лопаты и старательно выбормотал:

— Причащается раб Божий Григор Честному и Святому Телу и Крови Господа, и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, во оставление грехов и в Жизнь Вечную.

Услыша это, давным-давно не слышанное, Григор почувствовал, как все тягостное, тревожное, малопонятное от него отслоилось. Легко вздохнул, произнес мысленно: «Спасибо, Господи». Из храма уходить не хотелось, направился было к амвону, но Щек сказал:

— Ступай на паперть и жди меня.

Григор скрепя сердце поклонился и пошел.

Блеклое солнышко новой зимы сквозь прозрачную завесу облака освещало темно-серые постройки. Все тут, кроме храма, мглистое — под стать времени года. Но ведь наступит же когда-нибудь и новая весна...

— Иди за мной,— услышал он уже не сдерживаемый бас Щека.

Тот зашагал к воротам.

— Отец Щек, я не получил благословения настоятеля на выход из обители,— догнав его, быстро и размашисто шагающего, сказал Григор.

— Я в ответе,— бросил тот, не сбавляя шаг.

Слева от ворот, возле самого рва, стоял домик, сколоченный из глянцевиных некрашенных серовато-белых досок, вроде бы грабовых, с широким, вполстены окном. Должно быть — мастерская Щека. Почему за воротами?

Щек вошел в дверь первым, не оглядываясь, махнул рукой Григору. В домике была всего одна комната, очень светлая оттого,

что в крыше-потолке было еще окно. У стены напротив составлены короткие белые доски, по виду для икон. У окна — стол, два стула. Над столом — довольно потрепанная большая карта. На подоконнике — горшок с восковым деревцем, сильным, толстоствольным, но образующим крону только в самом верху. Рядом со столом — громоздкий комод. У противоположной стены — могучий сундук. Возле двери — рукомойник. А где лежанка? Спать тут можно либо на сундуке, либо в нем. Можно и на полу, конечно.

— Все оглядел?— спросил Щек, вешая на дверной косяк рясу.

— Нет,— улыбнулся Григор,— хозяина пока не видел.

— Разглядывай.— Щек махнул на стул, сам сел на сундук.—

И я на тебя погляжу.

Густой копной рыжеватых, словно побитых ржавчиной волос и такой же копнистой бородой, а также размахом плеч Щек напоминал Овика. Но подрясник очерчивал худощавое тело. На Григора смотрели просторно расставленные ярко-голубые, однако хмурые глаза. Прямой нос оттого, что глаза не теснили его, выглядел очень независимо. Возраст неопределенный — от тридцати до сорока.

— Я твоего осла облюбовал,— пробасил Щек.— Разъезжаю на нем по окрестным селениям.

— А, Силача.

— Ха!— Щековы глаза просияли детски радостно.— И я его так зову. Здоровенный ослище.

Григор виновато признался:

— Я-то совсем забыл его.

— Плохо,— сказал Щек, снова помрачнев.— Нельзя забывать живую тварь. Ну, ладно, не для назиданий тебя зазвал. Составь-ка мне греко-армянский лексикончик из самых обиходных слов. К завтрашнему дню сделаешь?

Григор кивнул и, поколебавшись, сказал:

— Извини мое суетное любопытство. Почему твоя мастерская за воротами?

— А потому, что твой настоятель у меня в печенках сидит!— И Щек трижды черкнул кулаком от виска к полу.

— Он такой же мой, как и твой,— обиделся Григор.

— Он — Ирод с Навуходоносором, вместе взятые!— очевидно не услышав его, продолжал громыхать Щек.— Черное пятно на православии! У меня работа не идет в этой символической обители, здесь мечами машут!— Отдувшись, сказал тихо:— Хочется работать — и не можетя.

Григор сочувственно проговорил:

— Понимаю. Мука мученическая.— Подумал: «Обитель и вправду на военный стан смахивает. Мирному человеку тут неуютно. Вдобавок — чужеземец. Ему, как и мне, одиноко. А что, если?..»— Отец Щек, возьми меня подмастерьем.

Тот хмуро глянул на него, спросил:

— Тебе приходилось подмастерничать у иконописца?

— Нет. Я вообще в первый раз вижу живого иконописца. Но возиться с красками приходилось, и я это люблю.

Щек подошел к комоду, вытащил гладкий, протертый пемзой лист пергамента, грифель, положил на столе и велел:

— Изобрази своего Силача.

Григор, начав с длинных ушей, вычернил наспинную полосу, продлил ее хвостом с кисточкой и быстро набросал прочее. Сходство получилось не ахти какое, но все же это был осел. Щек взял грифель, укрупнил ослиную морду, вывел упущенный Григором кострец, расширил голяшки. Потом произвел что-то неуловимое, поправив ослиный глаз, и Григор умилился:

— Силач!

Щек, взблеснув детской улыбкой, снова насупился, однако сейчас и его насупленность выглядела мальчишеской. Свойский он был — вот чем напоминал Овика.

— Из тебя и чертежника толкового не выйдет,— заявил сердито.

Но Григор уже знал, как держаться с ним.

— Не выйдет так не выйдет,— проронил.

— Беру,— немедленно буркнул Щек.— Раз любишь краски, сгодишься. Пойду к Никандру договариваться.

— А это, это ни к чему. Это я и сам сумею.

— Ты вот что...— Щеку, вероятно, непросто давался греческий, и он, повысив голос, произнес нечто на родном языке. Похоже, ругнулся. Затем умиротворенно сказал: — Чего зря споришь? Тебе Никандр по вредности откажет или какую-нибудь отволочку придумает. А мой иконостас ему нужен. Так что к нему схожу я, а ты ступай делать мне лексикон. Встретимся завтра на утрене.

Поначалу Григор пожалел, что поступил в подмастерья к Щеку. Работа была муторнейшая. Сначала доски надо было процарапывать шилом в клетку. Потом — проклеивать. Клей следовало варить на малом огне и по несколько раз вскипачивать. После того как доска была промазана клеем, на нее ложилась редкого плетения ткань. Опять варился клей — другой, с белилами, куда добавлялось оливковое масло. Этим составом надо было крыть доску раз шесть или семь. Потом лишняя клеевая толща убиралась куском пемзы. Если проглядывали изначальные клеточные царапинки, Щек бранился и заставлял Григора счищать их на нет сухой травой, от которой трескалась кожа на ладонях, потому что руки постоянно требовалось мыть. Малейшая соринка на доске приводила Щека в ярость. Терпел Григор все это лишь потому, что Щек работал наравне с ним, успевая, конечно, гораздо больше.

Несмотря на гневливость, часто безосновательную, иконописец был, несомненно, разумным и отзывчивым человеком. В мастерскую заходили местные крестьяне (этот край населяли дифизиты), с которыми Щек знакомился, когда не работал и разъез-

жал на Силаче по окольным селениям. Крестьяне заходили будто бы для того, чтобы посоветоваться насчет каких-нибудь житейских неясностей. В действительности же им льстило простецкое общение с константинопольским архимандритом. В таком общении он никогда не подлещивался к ним, как это произвольно делал Григор, чувствовавший себя виноватым за то, что он князь, а они не князья. Щек сам был из крестьян и, по крайней мере, сейчас, задним числом, любил крестьянский труд. Трудиться на полях доводилось и Григору, однако трудился он без удовольствия, считал этот труд лишь необходимым, но донельзя однообразным и унылым. Впрочем, он знал крестьянское дело снаружи, а Щек изнутри, и, слушая теперь беседы Шека с крестьянами (тот все бойчее говорил по-армянски и ежедневно просил Григора пополнить лексикон), понимал, что и в этом труде уйма неожиданнейших и праздничных удач. Случалось, крестьяне приходили не вовремя и нерешительно топтались. Тогда Щек бурчал: «Занят. Не видно, что ли?» Но сразу улаживался о подходящем времени.

Киевским княжеством, откуда Щек был родом, правил заядлый язычник, непримиримый враг христианства. Он задумал перенести столицу в Болгарию и воевал из-за нее с империей. Минувшим летом неуспешные дела заставили его заключить мир. Щек без охоты рассказывал о себе, но, похоже, именно это событие всколыхнуло в нем национальное чувство — русс. Скорее всего, поэтому он покинул Константинополь, где жил в Студийской обители. Впрочем, Щек объяснял это иначе, говорил, что студийские монахи насылали на него порчу и он укоротился на полголовы. Григор, призадумавшись, рассудил, что Щек фантазирует. Возможно, он и вправду когда-то был повыше, но спал он на своем сундучище и, по-видимому, убавился по его длине. Умный человек, а суеверен. Впрочем, суеверия слишком живучи, чтобы отрицать их голословно.

Между тем черновая работа завершилась. Щек принялся грифелем выводить лики, складки одежды, очертания местности. Кое-что позволял доводить Григору. Иногда скупно похваливал его. Но в основном Григор занимался приготовлением красящих смесей. Это оказалось нелегким делом. Приходилось разбивать множество куриных яиц, тщательно отделять белок, сливать его в бутылки и додерживать до изрядной протухлости, от которой болела голова. Приходилось также делать тончайшие листочки из червонного и зеленоватого золота. Листочки накладывал на доски сам Щек, а Григор перед тем обильно смачивал поверхность водкой. Потом пошли в работу куриные желтки. Щек взял яйцо, разбил тупой конец, перевертел круглое отверстие и, выкатив желток на ладонь, принялся перекидывать его с одной ладони на другую, пока желтковая пленка совершенно не очистилась от белка. Григор усвоил и это. Еще нужна была копоть и всякое другое, но одновременно пошли в дело и готовые краски. Главное же — на досках проступали объемные лики, облака, деревья, постройки и начали плыть в глаза и в душу, — чудо совершалось! Хотя Щек утверждал, что строго соблюдает

традицию и никакой отсебятины не привносит, Григор в пасмурном Крестителе узнал его, а в распятом подле Христа разбойнике, том, что раскаялся,— себя. Все правильно. Как без жизнеподобия? Кого тронут безличностные изображения?

Щек стал благодушно-степенен. Он и Никандра, который ни в чем ему не отказывал, прекратил сволочить. Так, в меру поругивал.

Стояло лето, знойное, пышное. По вечерам Щек с Григором купались в Балеше, потом прогуливались.

Однажды Щек, прежде не интересовавшийся, чем живет Григор, завел об этом беседу:

— Слушай-ка, Никандр сказал, что ты стихи сочиняешь. Прочел бы мне чего-нибудь.

— По-армянски?

— Давай по-армянски.

Григор прочитал вторую молитву.

— Мало что понял, переведи,— пробурчал Щек.

Григор изложил содержание молитвы.

— По-армянски лучше, напористей,— помолчав, сказал Щек.— Но и на греческом ничего. Натяг ровный, точно гирия подвешена. И зацепливать можешь. Меня зацепило.— Чуть погода спросил:— Простые люди поймут?

— Понимают. Речь обиходная. Попадаются и книжные слова, но в общем потоке они доходчивы.

— Слушай-ка...— Щек недоуменно пожал плечами.— Ты чего здесь застрял? У тебя же дело есть.

Никакого желания посвящать его в свои обстоятельства у Григора не было: зачем замутнять ясные отношения?

— Так получилось,— сказал.

Навстречу ковыляла старуха с клюкой. Заметила их, остановилась, нацелила на них клюку и гневно затарахтела:

— Припожаловали на чужую землю, греки паршивые! Кто вас звал засирать нашу землю греческим сраньем? Эх, будь я мужчиной, схватила бы одного за ноги и хрясь другого по морде!

— Успокойся, матушка! — воскликнул Григор.— Мы не греки.

— Армяне продажные! — завопила старуха.— Грекам продались, сранье сракой высланное!

Щек, ошалело застывший, вдруг потряс над головой кулачками и двинулся на бабу, загромыхав:

— В тебе, бабеч... как сказать?... прелесть бесовская появилась!

Бабке только того и надо было.

— А этот засранец и говорить по-нашенски забыл! — возликовала она.— Что, все слова высрал? Во как Господь карает! Сейчас и я тебе подбавлю!

Она замахнулась на Щека клюкой. Тот едва успел увернуться; и Григор, хохоча, поволок его за руку к воротам.

— Ох, бесовка, ох, сквернавка...— повторял Щек, но возле ворот, тоже хохотнув, сказал:— Ступай в келью.

На следующий день прибыл в обитель многочисленный воинский отряд, а через день, рано утром, было устроено учебное сражение между воинами и монахами. Ни Григор, ни Щек зашибкой не наблюдали. Но когда в мастерскую стукнулся служка и позвал их в храм, пошли. Мимо протащили кряхтящего Савву, держа его за ноги и под мышками. Он глянул на Григора кроткими глазами, сообщил: «Ключицу сломали». В храме, на Горнем месте, стояли Никандр и красавец воин. Оба — в доспехах, только Никандр — в бедно-стальных, а воин — в золоченых. Храм заполнился, дверь затворили. Никандр высоко воздел руку, призывая всех к вниманию, и спустя минуту заговорил. Все о том же заговорил — о кресте и мече, которыми богоносная империя распространит христианство повсюду. Надо отдать должное Никандру. Хотя большинство его слушателей были воинами, он не опускался до них с высот своей эрудиции. Он оставался самим собой. Но его разругавшееся лицо, его рассверкавшийся взгляд свидетельствовали, что он вдоволь помахал мечом, что он свой среди своих, и суть его речи, наверно, доходила до каждого. «Наша первоочередная миссия — эллинизировать этот варварский край, и мы осуществим данную миссию», — сказал он металлическим голосом и, простерши руку к висящим под куполом кресту и мечу, крикнул: «Слава им! Слава нам!» — «Слава! Слава! Слава!» — грянули все, кроме Григора и Щека.

Щек цепко ухватил Григора за руку и потянул к двери. На пустой паперти, где никогда не сидели нищие, Щек проговорил: — Они в Божьем доме себя восславляют. А мы с тобой для них иконостас пишем.

Григор ничего не ответил, побрел в келью. Сел на кровать и задумался и о старухе-сквернословке, и об эрудите Никандре... Правда-то за старухой. Вот так обитель!

Так он просидел до вечера, прободствовал ночь, мало о чем помышляя и почти не чувствуя клопных укусов. Если чувствовал, то с приятностью: хоть клопы здесь армянские, пусть едят его на здоровье...

Уже рассвело, когда в дверь постучали. Щек пришел, подумалось. Без охоты поднялся, открыл дверь. На пороге стоял чернявый воин с черными плутоватыми глазами.

— Хусик! — узнал его Григор. — Хусик! Родной мой!

Это был оруженосец Мушега, действительно изрядный плут, но как раз этот недостаток являлся, во всяком случае для Мушега, его главным достоинством. Не было ничего такого, чего бы Хусик не мог проверить. И хотя Мушег вечно ворчал на него, потому что Хусик все вершил по собственному усмотрению, в частности, кормил лошадей ячменем, а грубое ячменное пуканье оскорбляло княжеские уши Мушега, он все прощал Хусику за изумительную оборотливость, да и просто любил его.

— Эй-эй, младший господин, не подходи! Ты весь в клопах. — И Хусик отпрыгнул в глубину коридора.

— Что же делать, а? — стряхивая клопов, спросил Григор.

— Идем на речку, искупаешься и сполоснешь одежду. Жарища. не простынешь. Только держись от меня подальше. Стой, я кое-что привез тебе.

Хусик сунул руку за ворот, достал сложенный вчетверо лист бумаги и кинул Григору. Он на лету подхватил его, развернул и прочел: «Возвращайся. Дядя, Овик». Хлюпнул носом, опустил на кровать и разревелся.

— Эй, младший господин, так не годится, — решительно сказал Хусик. — Они дожирают тебя. Пошли. Но держись поодаль.

У ворот были привязаны две лошади. Хусик снял с той, что пониже и потолще, сумку и, боязно сторонясь Григора, пошагал к берегу. Пока Григор купался, он развел в лозняке костерок.

— Хватит, младший господин. Полощи одежду и прожаривай.

Григор покорно развесил все на кустах, сел нагишом возле Хусика, попросил:

— Ну, рассказывай. Как Няня, дядя, Овик?

— Все живы-здоровы. У хозяйина прибавление.

— Опять дочка? — засмеялся Григор.

Хусик надменно глянул на него, произнес:

— Айлана сына родила.

— Не может быть! Вот радость-то! Когда?

— Прошлой осенью. Он семимесячный родился, но ничего, выходили. Уже по комнатке ползает. — Значительно посмотрел на Григора. — Айлана-то, слышь, как его назвала? Григориком.

«А я ведь так плохо обошелся с ней, беременной! — вспомнил Григор. — Вот это месть по-христиански».

— Ну, рассказывай, дорогой, рассказывай!

— Чего рассказывать?

— Ай, какой ты непонятливый! Я же два года дома не был. Ну давай, давай!

— Чего давать? — Хусик растопырил пальцы. — Видишь, нет у меня ничего.

— Ладно, я буду спрашивать, а ты отвечай. Что в Нареке?

— В Нареке худая новость, — вздохнул Хусик. — Ризничего Месропа тондракиты убили. В двух шагах от обители. Шастает нынче эта мразь по всему царству. Не было такого при покойном государе. Э, младший господин! У тебя глаза на мокром месте. Брось, слышишь? Тондракиты и своих пришивают. Был у них такой епископ-расстрига Иаков Сюникаци. Они и его уколошили. Э, ты чего опять разлился? Еретика окаянного пришибли, а ты плачешь.

Григор ладонью смахнул слезы.

— Я знал Иакова Сюникаци. Вовсе он не окаянный. Прекрасный человек был. А что же твой хозяин? Он-то куда смотрит?

— У хозяйина свои заботы, — помедлив, выговорил Хусик. — В царстве перемены. Государь Ашот спивается. Он это сам сообщает. Взял соправителем брата.

— Которого?

— Гургена.

— И что, Гурген сместил твоего хозяина? — встревожась, заерзал Григор.

— Зачем? Хозяин ему не кто-нибудь, а пятиуродный брат. Да и дело хозяин знает.

— А хозяин пьет?

Хусик гоготнул.

— Было разочек. Когда Григорик родился, заперлись мы с хозяином на недельку. Выйдем, поглазеим на Григорика — и обратненько. А тут из Ани приехал ихний полководец. Грузин. Звать его Вахтанг Семь Волков. Ну и к нам, конечно. Пришлось перебраться в гостиную. А этот грузин малопьющий. У него с горлом что-то. Сипит. А от водки еще пуще осипевает. Не может ее принимать. Но хозяину-то охота гостя попотчевать, он и придумывает здравицы. То за Грузию подымет, чтобы она процветала, то за каждого родственника этих Семи Волков. А под конец, когда грузин напрочь отказался, хозяин ему говорит: «Ежели ты христианин, за Господа Бога выпьешь». Говорит, а сам...— Хусик очень похоже изобразил восседающего за столом хмельного Мушега.— И тут дверь открывается. Стоит на пороге Няня. Стоит и эдак нехорошо смотрит. Грузин поднялся и ласково сипит хозяину: «Айда баиньки». — «Нет! — рычит хозяин. — Я здесь хозяин, а не это идолице в двери». Ну, думаю, быть беде, опять вся мебель вразнос пойдет. И тут грузин шаст к хозяину, руку ему вывернул, поднял его со стула и сипит мне: «Показывай, куда вести». Этот грузин, конечно, здоровила. Но что он перед хозяином? Фитюлочка! Только хозяин-то уже целую неделю пьет. Какое в нем здоровье? Упирается, а грузин ему руку подкрутит и ведет. Хозяин все поойкивает, оглядывается и поговаривает: «Странный ты человек, Семь Волков. За Господа Бога не выпил. Странные вы, грузины».

— Э, грузин тоже, видать, не фитюлька, — засмеялся Григор.

Хусик пренебрежительно сплюнул, встал, ощупал Григорову одежду.

— Младший господин, все просохло. Нам в дорожку пора. Ежели мы через два дня в Нареке не будем, владыка Анания посулил голову с меня снять.

— Ай-я-яй! — вспомнил Григор. — Я ведь тут не по своей охоте. Я без спросу уйти не могу.

— У кого отпрашиваться?

— У настоящего.

— Ох, — вздохнул Хусик, — все без толку. Заново — купаться и одежку прожаривать. Нам тутешних клопов не нужно, у нас своих хватает. Чего же ты? Ступай. Я тебя здесь, в тенечке, подожду.

Григор оделся и, стараясь не переходить на бег, направился к Никандру. Предчувствие было, что тот отпустит. Никандра он застал одного в келье, в той самой, увешанной оружием, где ни разу со дня приезда не бывал. Поклонился, развернул записку дяди и подал.

— Это, наверно, по-армянски,— сказал Никандр.— Я вашего языка не знаю. Сам зачти.

Григор прочел.

— Что же, поезжай.— Никандр растянул рот в подобии улыбки.— Намерен кое-что изъяснить на прощание. Я о тебе иногда думал и пришел к умозаключению, что ты напоминаешь мне всех не столь уж плохих смертных, какие мне ведомы.

Григор, растрогавшись, собрался было поблагодарить его и за то, что думал, и за приятный вывод, однако Никандр воздел свою твердую ладонь.

— Мне ведомо и твое отношение ко мне,— сухо вымолвил.— Меня оно не волнует.

Григор, ничего не ответив, вышел.

Теперь — сперва к Щеку, решил, потом к Савве.

Щек похаживал вдоль расставленных у стен досок.

— Домой уезжаю! — с порога объявил Григор.

— Вот и славно,— буркнул Щек и, подойдя к нему, троекратно расцеловал.— Погоди. Есть у русских христиан обычай меняться на прощанье крестами.— Сунул руку за пазуху, снял увесистый серебряный крест.— Держи. Сам его отливал.

Григор снял свой, рубиновый, в изумрудной оправе, подаренный Суйбик.

— Я не прогадал,— буркнул Щек.— Прощай.

Забежав в келью, Григор захватил книжку с молитвами, пергаментные листы с Катуллом и кинулся в больницу. Савва спал. Этому милому человеку нечего было оставить на память. Григор прикоснулся губами к его подушке, вышел и побежал на берег.

— Все?— брюзгливо спросил Хусик.

— Ага.

— Раздевайся, вешай над костром одежду, пожитки и лезь купаться.

Спустя полчаса они выехали на дорогу, и Хусик, переводя коня на рысь, объяснил:

— Перед Датваном трое дожидаются. Я уже сказывал, что тондракиты шалят. Вот мне и не доверили тебя. Эти трое — бывшие телохранители князя Павла. Нынче хозяина охраняют. Вояки. Не чета мне. Брать их сюда ни к чему было. Тут греки. Тишь да гладь.

Скорая езда освежила Григора. Захотелось перекусить.

— У тебя какой-нибудь домашней снеди нет?— спросил.— Я и по ней соскучился.

— Как так нет?— обиделся Хусик.— Только ты в седле заправляйся.— И вынул из сумки прочесноченный шматок вяленины.

Григор живо умял его, почувствовав жажду.

— А чего-нибудь хмельного выпить? — спросил.

— Ох вы, Арцруни,— вздохнул Хусик.— Все на один покрой. На, держи бутыль.

Григор отхлебнул. В голове отрадно шумнуло, и он перевел коня на скаковую побегу, хотя они въехали в лес и тропа пере-

вилась древесными корнями. Справа, в зарослях, завиднелась квадратная, явно монофизитская церковка с обрушившимся куполом. Вероятно, некогда стояло здесь селение, но все, кроме храма, заросло.

— Зайдем на миг,— сказал Григор.

Хусик нюхнул воздух, поморщился.

— Младший господин, береженого Бог бережет. Не по душе мне эта глушь.

— А ну тебя, каркалка! Что мы, не на своей земле?

Он спешился, привязал коня к сохлому дубу и вошел в церковь. Обвалившийся купол разрушил ее внутренность. Только исцарапанный алтарь из строго граненного позеленелого мрамора уцелел. Григор опустился перед ним на колени, прошептал: «Спасибо, Господи, за благополучное прибытие на родину». Едва успел дошептать, как услышал шепоток Хусика: «Тондракиты». Перешмыгнули к ризничному остоу, залегли за обломками купола. В храм въехало пятеро вооруженных конников в колпаках с красной тесьмой.

— Ишь ты!— гаркнул один.— Алтарище-то сберегся.

— Давай выворотим его и испражнимся в яму,— предложил другой.

— Дело говоришь.

Все спрыгнули с коней и плечами уперлись в алтарь.

— Разом!

— А ну подружней!

Хусик затрясся, прошипел яростно:

— Что делают, сволочи, что делают!

Вскочил, выхватил саблю — и к ним. Григор зажмурился. Когда открыл глаза, увидел Хусика окровавленным на камнях. Двое убийц деловито саблями отпиливали ему голову. Остальные были уже верхом. Григор вылез из укрытия и пошел на них, как слепой, с простертыми вперед руками.

— А, монах, чего надо?— спросил верховой.

— Убить тебя.

— Спятил, святой отче, совсем сбрендил от страха.

Верховой с гадливой опаской глянул на Григора, выдернул из стремени сапог и саданул в переносицу.

Когда Григор очнулся, тондракитов в храме не было. Рядом распросталось туловище Хусика. Чуть подальше — его отпиленная голова. Приподнятый алтарь нависал над ямой. По его днищу сновали огромные рыжие муравьи. Вот кто сглодает Хусика. Григор, не чувствуя ни горя, ни боли в переносице, чувствуя лишь, что довершается начавшийся в нем вчера переворот, сполз в яму, стащил туда Хусиково туловище, потом голову. Приложил ее к шее, прочитал заупокойную. Выкарабкавшись, налег спиной на боковину алтаря и, вернув его на место, ощутил тупое нытье в ноге. Притронулся к пульсирующей переносице. Продавлена. Воздух не проходит. Он взялся за нос сверху и снизу и, крича от боли, оттянул

спинку носа и сложил сошниковые и прочие кости и хрящи. На носу, застя глаза, образовалось вздутие. Он вышел из храма.

Лошадей, конечно, увели. Ничего, до Датвана от силы час ходу. Григор выбрался на тропу и, прихрамывая, побрел навстречу морскому веянию. Нос уже дышал.

Вот так-то. Дивной жизнью он жил до сих пор. Чудесно заменил за обочиной, чтобы никто не задел. А по дороге движутся греки с их двоесущным Христом. И тондракиты, которые стократ хуже. Люди-звери. Дорвутся до власти и все испохабят, как испохабили алтарь в древней церкви. Нельзя этого. «Нельзя»,— сказал он, и душевная боль уняла телесную. Что ж, спасибо, научили уму-разуму, и за это подобает отблагодарить их щедро, по-княжески, чтобы не роптали и не пикнули,— щедро, с лихвой отблагодарить!

Тропа вывела к морю. На берегу стояли три латника. В одном, рукастом, он узнал Овсеп, бывшего старшего телохранителя Павла Амуни. Двоих, близнецов, раньше не видел. Поковылял к берегу.

— Ты кто?— глядя на его взбухший нос, спросил Овсеп.

— Князь Григор Арцруни.

— А где Хусик?

— Тондракиты убили.

— Сколько их?

— Пятеро.

Овсеп шагнул к лошади.

— Нет,— сказал Григор,— пятерых мне мало.— И крикнул:— Христом-Богом клянусь, что изведу эту мразь из царства!— Выдернул из-под рясы нательный крест, чтобы поцеловать его, но, вспомня, что крест дифизитский, рванул с шеи и кинул в море.— Богом клянусь, а не человеком!

— Князь, с пятком разбойников мы управимся,— сказал близнец, у которого на скуле багровел шрам.

— Заткни пасть,— бросил ему Григор и обернулся к Овсепу.— Едем.

Тот внимательно посмотрел на него, вытащил из-за пазухи длинный платок, подошел к воде, намочил и вернулся.

— Дозволь, хозяин, нос тебе обмотать.

— Сам сделаю.

Григор осторожно положил середину платка на лицо, замотал концы за ушами, потом высвободил глаза.

Овсеп велел близнецу без шрама:

— Подведи хозяину коня. Будешь держаться за узду моего.

Григор снял рясу, кинул ее Овсепу, подпернул выше колен полы подрысника, вспрыгнул в седло и залюбовался чистым морским простором.

— Можно ехать, хозяин?— спросил Овсеп.

— Едем.

Правитель Датвана, рыхлый старик, выбившийся в начальство из низов, узнав Григора, покатился со смеху: «Ай, дорогой, ну и вид у тебя! Пугало огородное краше!» Но Григор так зыркнул на него, что тот мигом язык прикусил. Без лишних слов дал Григору отменное воинское снаряжение, расщедрился и на доброго коня для Лошта. Не задерживаясь, поехали дальше. Григор хотел приехать в Нарек здоровым. Вовремя сдвинутые носовые кости и хрящи должны срастись быстро. Нога ныла, но умеренно.

В пути он думал только об исполнении своей клятвы. Приглядываясь к попутчикам, убеждался: все трое — нужные ему люди. Саргис и Лошт — великолепные конники. Едут — как он по земле идет. А оружия на них достаточно: копья, сабли, кинжалы, дальнотбойные луки. Все, похоже, в безупречном порядке. Для еды пользуются особыми ножами. Об Овсепе и говорить нечего. Отношения сразу установились с ним у Григора такие, точно он знал Овсепу сызмала. Тот ворчал, если что-то было не по нему, но ворчал почтительно. Дистанция между ним и близнецами была еще большая, и, однако, они являли собой одно целое. Няня не всегда понимала Григора так, как эти трое друг дружку.

Овсеп рассказал о бесчинствах тондракитов. На северо-западе царства, на обширном пространстве вокруг Тондрака, они разрушили девять обителей и, по обыкновению, зверски растерзали монахов и отшельников. Начали буйствовать и в Анийском царстве. Для переговоров о совместных действиях против них и приезжал к Мушегу полководец Вахтанг. Вроде бы обо всем договорились, а действий — никаких. «Жареный тетерев уже клюнул, а мы все почесываемся, — ворчал Овсеп. — Мешкотные мы». Он считал, что двухсотенного отряда конников вполне хватило бы для управы с покуда разрозненными еретиками. Хотя он наверняка запомнил данную Григором клятву и понимал неслучайность его дотошных вопросов, сам ни о чем не расспрашивал. Иногда поправлял его посадку в седле, а заметив, что Григор осторожно наступает на правое стремя, тоже без расспросов обмотал стремя войлочной тряпкой. Затем последил за Григором и сказал: «Тебе не рысак трясучий, тебе иноходец надобен». Григор беспечно ответил: «В Ване, на рынке, возьмем». — «Как бы не дать маху. Дюжего иноходца не угадаешь. Они все поначалу стрелой летят, но рысаки жилистей». — «Обойдусь рысаком». — «Есть иноходец. Покойного князя Павла носил». — «Я к его матери не пойду». — «Погоди, послушай меня. Служили в охране два проходимца, Сукиасы. Как убили князь, они враз потопали к его матери за расчетом. Та им столько отвалила, сколько им и во сне не снилось. А один Сукиас выпросил у нее праздничные доспехи князя. Она нынче никому ни в чем не отказывает, дает на помин души сына. Так, один Сукиас, который выклянчил доспехи, соображал в лошадях. Выездил золотого иноходца для князя. Зачем справному коню без толку в стойле торчать?» Это была самая продолжительная их беседа.

«Спокойствие, только спокойствие»,— мысленно твердил Григор, сознавая, как станут противиться его решению дядя и Овик.

В Нарек приехали на закате, после вечерни. Ворота еще не закрыли. Григор спешил, бросил поводья Овсепу, перекрестился перед Богородицей, словно бы с Лейли написанной, и прошагал во двор. Первым, кого он увидел, был Вифоний — вылитый юный Христос.

— Приехал!— взвизгнул Вифоний, кидаясь к нему на шею.— Я тебя так ждал, так ждал! Ты не представляешь, какие гимны я сочинил! Хочешь, прочту коротенький?

— Всею своею время, дорогой,— наморщиваясь, чтобы не выдать радости, сказал Григор.— Там, в воротах, воины. Ты их пристрой, пожалуйста.

— А почему на тебе латы?— не отставал Вифоний.— И почему горб на носу?

— Завтра,— уже жестко отрезал Григор.— Ступай к воинам.

— Ждешь человека, ждешь, а он точно чужой,— обиделся Вифоний.— Ты что, мои гимны разлюбил?

Из глубины двора неотвратимо, как Геракл на гидру, нашлагивал потучневший, но все такой же ладный Овик. Григор, отрывисто кивая по сторонам и стараясь не хромать, пошел к нему. Напряженное спокойствие Григора мгновенно сообщилось Овику. Он лишь щелкнул его по наплечнику и прогудел:

— Дядя в гостевой трапезной. Идем.— И зашагал впереди, тучный, величественный.

Дядя, наоборот, осунулся. Впрочем, седины не прибавил, не постарел, хорош был в свои сорок лет. Мельком оглядел доспехи Григора, углядел носовую горбинку и небрежно сказал Овику:

— Он нас опять хочет чем-то осчастливить. Ему нейдет.

Григор усмехнулся, проговорил безмятежно:

— Может, пригласишь меня к столу? Я проголодался.

— Что ж, пускай он поест для начала,— сказал дядя Овику.

— Не очень-то учтиво говорить о присутствующем в третьем лице,— по-прежнему безмятежно промолвил Григор и уселся напротив Овика.

— Ого!— воскликнул дядя.— Слышишь, чему он набрался у греков? Он теперь старших поучает.

— Да ну вас,— откликнулся Овик.— Не успели сойтись, как собачатся.— Заглянул в кувшины, спросил Григора:— Воды или вина?

— Одного с другим,— удовлетворенно ощущая силу своего спокойствия, ответил Григор.— Сам разбавлю.

Дядя сел во главе стола и подчеркнуто бесстрастным голосом осведомился:

— Кто тебе, душа моя, шишку на носу поставил?

— Тондракиты. Меня они пожалели. А Хусика убили.

Дядя склонил голову, перекрестился. Овик, отодвинув посуду, сказал:

— Тяжкая весть. Для Мушега — особенно.

— Что-то кусок в горло не лезет.— Отодвинул съестное и Григор.— Хусик, Месроп, Иаков Сюникаци...

Дядя поднял голову, выпрямился:

— Иаков знал, на что идет. Иаков был умнейший и образованнейший человек. Кому-кому, а ему известно было, что тишь да гладь — понятие относительное. Да, мы живем без войны. Второе поколение живет в мире. Прекрасное вроде бы время. Но разве это подлинный мир? Это — подспудная война. Все воюют. Разве безрогие овцы не отпихивают друг дружку от сочного клочка травы? Разве два трусливых и забитых пахаря не кладут целую жизнь на то, чтобы безраздельно завладеть каким-нибудь родничком? Неужто трудно договориться и пользоваться родничком вместе? Трудно, невозможно. Каждому охота самому владеть родничком, не делить с соседом почетное звание водовладельца...

— Извини,— подумав: «Он-то всегда в своей тарелке», прервал его Григор.— Мне спросить не терпится, когда ты узнал, что я в обители Символов?

— Год назад. Никандр меня сразу об этом известил. Хорошая обитель, защищенная. Вдобавок и библиотека там хорошая. Сам писал?

— Так, понятно... Писал я мало. Зато переписал для Нарека древнеримского поэта Катулла.

— Без нужды трудился. Он у нас имеется. Клавдий перевез сюда библиотеку.

— Клавдий здесь?— обрадовался Григор.

— Здесь и не здесь. Умер весной. Новую плиту возле храма не увидел? Впрочем, их две. Под одной — Клавдий, под другой — Месроп.

Помолчали. Овик, шумно вздохнув, пододвинул блюдо с курятиной и принялся вытаскивать гузки. Григор спросил:

— От теории Клавдий не отрекся?

— Нет,— вздохнул и дядя.— На уровне наших знаний теория, к сожалению, неопровержима. Но умер он, точно и не заметил смерти,— как святой.

— Монофизитом умер?— насупясь, спросил Григор.

Дядя досадливо отмахнулся:

— Э, какая разница! Христианином умер, честным, кротким.

— Разница есть. Я теперь в язычниках не вижу ничего худого, а в христианах вижу. Ну, ладно, Катулла я все-таки не зря переписал. Нужно будет сверить. Разночтения наверняка сыщутся. Овик всерьез набил рот, сосредоточенно проворачивал гузки.

— На что он тебе сдался, этот Катулл? — удивился дядя.— Поэт неплохой, но дурь у него в голове, на какую-то шлюху злится...

— Неплохой поэт! Да он самому Давиду ровня!

— Давиду?! Ну, раз так, то уж тебе во всяком случае...

Григор расхохотался.

— Мне! С чего ты взял?

— А вот с чего.— Дядя стремительно поднялся, подошел к комоду, вытащил бумажные листки и бросил их на стол перед Григором. Он узнал свой почерк. Это была первая молитва, которую он оставил Фетеку. В голове заяснилось.

— Так-так,— сказал.— Откуда листки?

— Из канцелярии анийского епископа Армена,— проглотив наконец гузки, самодовольно сообщил Овик.

— Значит, вы следили за мной с тех пор... Так... Значит, и ангел...

— Отменный ангел,— перебил дядя, засияв своим откровенным лукавством.— Опытный, десять лет ангелом работает. Еще при князе Захарии начинал.

— Следили, значит...

— А что было делать?— проворчал Овик, приминая сложенную вдвое хлебную лепешку хрусткой куриной кожей.— Из дому ушел, а куда — неизвестно. Потом у этой бабы ошивался. Беда с твоими бабами. Нет чтобы по-тихому, как все добрые христиане.

— Она меня и сегодня мучает,— вырвалось у Григора.

— Ах, мучает?— На всегда сухом дядином лбу взблеснули капельки пота.— Тогда я тебе кое-что скажу о Карсской Жемчужине. Я ее так прозвал. Я ее не хуже твоего знаю. А сейчас знаю, и почему она все такая же свеженькая. Она себя мальчиками омолаживает. Сейчас ее прозвище будет Нетускнеющая Карсская Жемчужина...

— Не смей!— наклонясь к нему и упершись ладонями в стол, закричал Григор.— Мне ни к чему эти подробности!

Дядя бешено взглянул на него, но поднялся неторопливо и прогулочным шагом, чуть покачивая безукоризненно ровными наспинными складками ряссы, вышел из трапезной.

— Ты чего себе позволяешь, гнус паршивый?— гуднул Овик, едва закрылась дверь.

— Она же больная!— крикнул Григор.— Зачем он так о больной?

— Плевал я на здоровье твоих курв! Меня его здоровье волнует!

— Что с ним?— пробормотал Григор.

— Сердце,— буркнул Овик.— Учащенное сердцебиение. Вот чем его простуды обернулись. А лечиться не желает. Он в твою молитву уверовал. Кладет ее в изголовье.

— Ох, Господи! Идем к нему.

Уже при входе в обитель Григор уловил какую-то пустоватость. А теперь, несмотря на непозднее время, многие окна темнели.

Дядя сидел в кресле, царственно опершись о подлокотник. Лоб был сухим, но за креслом валялось скомканное полотенце.

— Прости, пожалуйста,— сказал Григор и бережно приложился губами к его лбу.— Больше не буду.

— Будешь,— вполголоса откликнулся дядя.— Давай начи-

най. Ты же не Хусика не можешь простить тондракитам, а своего греческого носа.

— У вас что-то еще стряслось?— спросил Григор, решив оставлять без внимания дядино ехидство.

— Кое-чем и мы похвастаться можем. Расскажи, Овик.

Овик сел на диван, взял за руку Григора, усадил рядом.

— Рассказывай,— сказал дядя.— Все равно не сегодня, так завтра узнает.

— Маниак от нас ушел,— угрюмо сообщил Овик.

— Как ушел? Куда?— закричал Григор и вспомнил слова Никандра о том, что дяде и Маниаку трудно будет жить в ладу.

Овик снова отдулся и заговорил:

— В благословенную империю. И не один ушел. С двадцатью четырьмя людьми. Семь дифизитов у нас нынче. Школу пришлось закрыть. Нас еле на академию хватает. А во всем я виноват. Прибыл греческий инженер и посоветовал убрать печки, а вместо них проложить под кельями трубы и насосом качать воду из моря. Ну и соорудить котел для обогрева. Я пораскинул умом. Леса мало, а морской воды залейся. Экономия, подумал.хлопотно, конечно. Но все одобрили. И тут как какой бес в Маниака вселился. Стал Маниак понукать своих, чтобы больше поспевали, а на стене дифизитского храма через день стал вывешивать цельную овечью шкуру с писаниной, что дифизиты работают лучше монофизитов потому, дескать, что дифизитское вероисповедание лучше. Ну и всякие там измерения, цифрочки. А сверху здоровенными буквами,— Овик показал какими,— заглавие «Нарекский дифизит».

— Полная чушь,— пробормотал Григор.

— Вовсе нет,— возразил дядя.— Маниак — книгочей, вроде нас. Он накинулся на Клавдиеву библиотеку и выкопал в ней свиток, который еще в Первом Риме вывешивался, при Юлии Цезаре. Потом выведаль у Клавдия, что такие свитки вывешивались регулярно на тумбе возле сената. В них сообщалось о правительственных актах, о назначениях на ответственные посты, а внизу или сбоку — о всяких работах по благоустройству города и прочих новостях. Вот так-то. Говори, Овик, говори.

— А чего говорить? Ему,— кивнул на Григора,— все уже ясно.— Вздыхнул.— Ладно, доскажу. Дядя не смог этого стерпеть. Быстрехонько сочинил книгу «Корень веры, что против дифизитов». Ну так он им всыпал, ай до чего славно! Тут уж Маниак взвился. Образованнейших людей увел, преподавателей.— Яростно глянул на Григора.— Сам-то что задумал? Не томи. Я как на иглоках сижусь.

— Сколько у вас людей осталось?— бесстрастным, почти Никандровым голосом осведомился Григор.

— Около пятидесяти,— сказал Овик.

— Сколько боеспособных?

— Половина наберется.

— Тондракиты ходят отрядами до трехсот головорезов. Жен-

щины у них тоже умеют сражаться. Обложат Нарек, и вы недели не продержитесь.

— Все понятно,— сказал дядя Овику.— Он вздумал заменить Павла Амуни.— Повернулся к Григору.— Князь Павел закончил имперскую военную школу, водил конницу Иоанна Цимисхия. А ты и таракана пристукнуть жалеешь. Сколько я тебя заставлял учиться военному делу?— Передразнил Григора: «Не-а, у меня собственное имеется». Вот и занимайся собственным.

— Князя Павла я заменять не собираюсь,— все так же бесстрастно сказал Григор.— Но сражаться и водить сотню конников научусь. И пока не изведу тондракитов во всем царстве, к своему делу вернуться не смогу.

Дядя неестественно засмеялся:

— Кто ж тебе доверит сотню? Тут мало уметь сражаться, надо уметь предводительствовать, держать людей в железном кулаке, всем обеспечивать. Им нужна кормежка, свежие доспехи, всякое нужно. На Мушега рассчитываешь? Зря. Не даст он тебе сотни.

— Поживем — увидим.

— В нем унижение говорит,— бормотнул Овик.— Его по носу хрястнули. А что Христос завещал? Огрели по щеке, подставь другую.

— Я не дорос до этой заповеди. К тому же, чтобы исполнять ее, следует быть уверенным, что сам сможешь ударить ударившего. Иначе подставленная вторая щека немногого стоит. Все равно ударят по ней.

Дядя засмеялся уже естественно.

— Занятная мысль,— сказал.— Не бесспорная, но занятная.

— Ты что же?— крикнул на дядю Овик.— Подзуживаешь его?— Прикусил губу и, помедлив, сказал Григору:— Есть и такая заповедь: не судите, да не судимы будете.

— И до этой великой заповеди я не дорос. Я готов судить и быть судимым.





КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ





ВОИН

Свись! И лезвие Овсеповой сабли вновь не задело отвилгнувшего плеча, полоснуло воздух.

Григор, спружинив ногами, прыгнул к Овсепу и достал саблей его нашейник. Не меньше чем в трехсотый раз за сегодня удалось Григору верхом и на земле уклониться от колющих и рубящих ударов Овсепы и ударить его. Метко ударял и Овсеп, но реже.

Упражнялись в глухих шлемах, лишь с глазными и ноздревыми дырочками, в тяжелых доспехах, в длинных, по локоть, стальных рукавицах. Все — для отягощения, неудобства.

Овсеп, гулко пыхтя, стряс рукавицы с питонообразных рук (в благодушные минуты он пощучивал: «Руки как руки. Одна беда — росточком не вышли»), снял шлем, раскосматил бороду и пропыхтел:

— Заладилось. Можешь работать.

Это признание весило порядочно. По словам скаредного на похвалы Мушега, не было в царстве саблиста, равного Овсепу.

— Щадил небось? — разлепляя и растирая пальцы, спросил Григор.

Овсеп недоуменно выпятил губы.

— Зачем? Саак-то Косой не пощадит.

— Значит, не осрамлюсь перед Сааком Косым?

— Кошки по сердцу скребут? — осклабился Овсеп. — Ничего, они всех скребут поначалу. Обвыкнешь. Не приведи Гос-

подь сшибиться с тобой всерьез. Ты самого оборотня оборотистей,— сказал и не хохотнул, а степенно вымолвил:— Хо.

— А князя Павла оборотистей? Одолеет бы его? Ну, по правде давай.

Овсеп осклабился еще шире, ничуть не утратя степенности.

— Его — навряд. Эдаким...— вопросительно глянул в небо,— родиться надо.— Опустил взгляд на помрачневшего Григора, прищурился.— А кто знает? Рука у него была шустрее твоей. Зато у тебя крепыльщик,— покрутил узластым в суставах большим пальцем,— длинше и, гляжу, уцепистей, чем у светлейшего покойника.

Только так называл теперь Овсеп бывшего хозяина, чтобы воздать ему должное и вместе избежать путаницы, поскольку титул светлейшего князя носил новый соправитель, Гурген.

Новые времена — новые имена. И среди них страховитая кличка «Саак Косой». Был когда-то Саак Мартиросян, человек довольно знатного происхождения, соученик Овика, ученостью, впрочем, не отличался. Да и ничем не отличался, не запомнился и своей косиной. Это сейчас она прогремела, у всего царства в ушах рокочет. Закончил Саак академию, стал белым священником в городке неподалеку от Тондрака, женился, детей произвел, жил спокойно. А года два назад подцепил еретическую заразу, которая уже не впервые поражает церковь. И водит нынешний Саак Косой разбойничье полчище, лютует, рушит монастыри, разграбляет храмы. Вот так-то: один Саак, братец единокровный, запятнал разбоем семью, другой, вроде бы по духу близкий, запятнал Нарек. Что же с такими делать? Христос дает очень определенный совет: если твой собственный глаз соблазняет тебя, вырви его. Операция, конечно, тяжелая, но как без нее обойтись? Лекарствами эту болезнь не проймешь, хотя дядя иного мнения, которое он то так, то сак — очень расплывчато формулирует. Дядя, как сказал бы ученый муж Никандр, дезактивизировался. Вдобавок дядя стал утверждать, что церковь не в состоянии защитить бедняков от произвола богатых, а тондракиты, пусть и не лучшим образом, защищают. Саак Косой — бедняцкий заступник? Хорош заступничек: гробит и простой люд, купается в роскоши, завел гарем, в котором держит даже малолеток. С дядей все ясно. Нет мира в царстве, а он привык к мирной жизни. Нет прежнего Нарека, а он любил его больше всего на свете. Но сейчас нужен иной Нарек — монолитный...

— Чего, хозяин, задумался?

— А, так. Давай-ка червячка заморим.

— Можно.

Побрели вразвалку, шатко к привязанным над берегом лошадям. Шатали Григора и набухшие мышцами плечи, руки, раскачивали, сутулили. Необычайно приятным было это непривычное бремя. Все тело свое он чувствовал, все мельчайшие сочленения — по отдельности и в неразрывной связке. Главное — в этой

связке. Уфф, до чего она приятна! И почти в такой же неразрывной связке он теперь с Овсепом, близнецами и во сто крат умножающей его мощной, отлично вышколенной, послушной каждому его жесту конной сотне. Силища! Не зря она так притягательна для людей.

Повернулся спиной к Овсепу:

— Снимай.

Овсеп ребром ладони принялся выколачивать втулки из гнезд. Измятые латы, поскрежещивая, съехали наземь. Григор помог раздеться Овсепу. Освободились от поножей, потоптались, разминая ноги.

Нынче третий день Великого поста. Накануне порывисто налетал западный ветер, сегодня тихо, но море бугрится и заливаает берег. Небо вчера постегивало снежной крупой, было низким и слитным с морем, а нынче висит особняком, яркое, теплеющее. Велел Овсепу:

— Неси кулек.

Овсеп подошел к рысаку, отвязал от луки кулек, от ременных лопастей — корзины. Покуда он складывал доспехи, Григор растеребил узел, увидел в кульке опять лишь хлеб и луковицы, положил в растрюбистое углубление валуна. Неделю, конечно, попуститься следует, и будет: мясо дает силу. Овсеп чересчур ревностно постничает. Вразумить надо. Хрустя луковицей, спросил:

— Слышал про то, что древние еврейские военачальники Маккавеи свято блюли день субботний как день отдыха?

Овсеп присел рядом на корточки, сколупнул толстыми, по виду каменными ногтями луковичную одежду.

— Нет,— буркнул.

— Блюли. А чем обернулось? Враги провели и накидывались по субботам.

— Ну?

— Чего «ну»? Думай, а не нукай.

Овсеп целиком сунул в рот луковицу, прибавил к ней половину лепешки, гремуче даванул и без понимания уставился на Григора.

— А слышал, что Христос на этот счет сказал?— терпеливо продолжил Григор.

— Что?

— Суббота для человека, а не наоборот.

Овсеп вытащил изо рта обслюенный и усеянный крошками лука хлеб.

— Хозяин, ты давай попросту, ладно?

— Ладно,— ухмыльнулся Григор.— Евреи отдыхают в субботу, а мы в воскресенье. Но как ты поступишь, если на тебя нападут в воскресенье?

— Отбиваться стану,— ухмыльнулся и Овсеп.— Не пропадать же, верно?

— Верно. А если дело будет в Великий или другой пост?

— Ага.— Овсеп потискал в кулаке хлебный комок и хмуро сблизил патлатые брови.— Клонишь к тому, что воину поститься без нужды?

— К тому. Мясо дает силу.

— Мой духовник наказывает поститься,— возвращая хлеб в рот, сказал Овсеп.

— Знаю я твоего духовника. Он старенький приходский попик. Перевелся в Ван откуда-то из захолустья. Он Святое Писание еле-еле читает. А я нарековский иеромонах. Но дело не только в этом. Я твой начальник, я больший. Мне решать и приказывать, тебе исполнять. Такие у нас обязанности в здешней жизни. Посему до конца недели постничай, а там вволю наедайся заодно со мной. Я больший, и я возьму твой грех на себя.

— Эээ...— Овсеп несогласно, даже как-то суетливо замахал ручищами, и вся степенность с него спала.— Э, не то говоришь. Светлейший покойник единожды взял мой грех на себя. Взял и опочил. А мой грех с собой не забрал. Грех мой на мне. Я исповедался, но не полегчало.— Серdito сплюнул.— Да ну! Зря ты это. Я всю жизнь пощусь и, почитай, всю жизнь воюю. И ничего. Я и не хочу мясного в посты.

— Вот кремень чертов!— засмеялся Григор.— Будь по-твоему, хоть солому трескай.

Доели, пошли к коням. Всякий раз, садясь на Чанка, Григор с наслаждением ощущал его умную чуткость. Им и управлять не нужно — безошибочно понимает любое намерение. Внимательный, заботливый конь. Вот и теперь, идя под ольхами, мягко приседает, чтобы голову всадника не задела нижние ветви.

Спустя четверть часа были в городе. Небо вновь затянулось серостью, посыпались волглые снежинки. Безветрие, предвесенний, нехолодный холодок, уют знакомых улиц, почти сплошь знакомые лица кланяющихся прохожих, пухлые почки над оградами, трубы, продолженные прямыми дымами. Все родное, светлое и в эту серую погоду.

— Хозяин, подожди немножко. Домой загляну.

— А меня не пригласишь?

— Я свое место знаю. Ты больший, я меньший. Тебе приказывать, мне исполнять.

— Ну стервозина!— расхохотался Григор.— Кинь поводья, рысака поддержи.

Овсеп неспешно, чинно слез на землю, прошел в калитку. Он давно, еще при князе Захарии, отделился и зажил своим домом. Неплохо смотрится дом: приземистый, но прочный, тщательно облицованный желтым туфом, обильно повитый плющом. На хозяина похож. Через минуту Овсеп вернулся, держа что-то длинное, завернутое в мешковину.

— Прими от меня,— сказал значительно.

— Что это?

— Глянь.

В мешковине была сабля. Григор вытащил ее из ножен. По черному лезвию выпукло струился красноватый узор. Персидская булатка. На днях Мушег подарил Григору булатку покачественней и покрасивей, с коленчатым золотистым узором. Но и эта прекрасна.

— Овсеп, спасибо тебе огромное. Только она ведь кучу денег стоит. Я не могу ее принять, никак не могу. Чем я отдаюсь, ну?

— Твоя забота. Думай, а не нукай. Дашь Нарек, скажу, бедно даешь. Хаа.

Григор чуть не задохся от изумления.

— Язва ты от дурной болезни, вот ты кто!— нашелся наконец.— Ну что с таким делать, Боже праведный?

И оба, довольные друг другом, поехали дальше.

Заехав во двор, Григор увидел Айлану и Григорика. Ядрененький, калено-румяный, весь выпирающий вперед, точная копия Мушега, он враскачку затопал к Григору, таратора:

— Дя-дя-дя-дя-дя.

Григор поднял его на руки, поцеловал в раздутые щеки и виновато проговорил:

— Не привез тебе ничего дядя. Недобычливый он, никудышный. Ты уж прости.

Вручил Григорика раздобревшей, по-матерински пригожей Айлане и, желая сказать ей приятное, осведомился:

— Муж дома?

— Вскорости должен быть,— улыбаясь поглядывая то на него, то на захныкавшего и вырывающегося Григорика, ответила она.— Просил передать, чтобы ты дождался.— И примолвила тихо:— Спасибо.

— За что?

Быстро прошагал к дому, взбежал на второй этаж. Еще в минувшем году он переселился в отцову комнату. Каждая вещь в ней хранила отцовский дух, прибавляла бодрости, решимости. Подошел к окну. Старуха яблоня верна себе: глянцево светлыми особыми, чуть не с голубиное яйцо почками.

Он выдвинул ящик комода, поместил наискось подарок Овсепы, вперекрест с Мушеговым, снял жаркую поддевку на волчьем меху, фуфайку, ошлепал влажные всхолмившиеся плечи, сел в кресло.

Все, что далось за эти восемь месяцев, трудно далось. Впрочем, в одном повезло сразу. Не зная, как лечить позвоночник, он услышал, что лекарь Хайк, который когда-то отца лечил, а после уехал в Китай, вернулся и творит чудеса. Григор отправился к нему. Тот, по-прежнему велеречиво-разговорчивый, не позволил Григору и слова сказать, положил на его запястья по три пальца и тут же определил повреждение позвоночника. Но, что поразительней, Хайк вот так же, без собеседования, без заглядывания в глаза, лишь пощупывая запястья палечными подушками,

стал называть и свойства его характера: самобрезгливость и небрезгливость к другим, постоянное недовольство собой, чувственность (это он назвал «нежной чувствительностью к нежному полу») и прочее. Все выявил точнейшим образом. Убедясь, что перед ним если не замечательный врач, то, по крайней мере, превосходный диагност, Григор спросил: «Позвоночник вылечить берешься?» — «Постараюсь, предельное усердие приложу, но некоторые способы лечения значительную боль причинят вельможному священнослужителю». Хайк начал ежедневно посещать его. В первый день жег на подъеме здоровой ступни пахучий травяной состав, в котором преобладал запах полыни. Затем последовали прижигания раскаленной железной проволокой над ушными мочками. Потом стал втыкать серебряные иглы в локтевые сгибы, между пальцами рук и ног, в лодыжки, икры, бедра. Это было совсем не больно, наоборот, приятно грело и усыпляло. Когда напоследок Хайк воткнул иглу в темя, Григор чувствовал себя совершенно здоровым и спросил, окончательно ли он выздоровел. Хайк не обнадеежил, сказал, что запущенные недуги раньше или позже возвращаются. Но Григор после его лечения и моргать перестал.

В ту пору, на исходе сентября, Мушег отрядил против тондракитов полусотню под началом Оста, командовавшего когда-то дворцовым полком. Это было ошибкой: и Ост излетался, и воинов ему дали мало. Саак Косой уничтожил отряд. Гоняться за разбойниками, которые на зиму ушли в горы, было бы гиблой затеей, и Мушег отложил дело до весны. Григор, ничего не говоря Мушегу о своем намерении, сказал только, что хочет подучиться бойцовскому ремеслу, и тот разрешил ему заниматься с Овсепом и близнецами. Крепко доставалось ему от них в первое время...

Да и вообще, все поначалу криво и косо шло. Э, минувшее минуло. Мушег теперь верит в него, особенно после недавнего учебного боя, когда он внезапно и успешно ввел в действие пехоту.

Григор подошел к столу, взял зеркальце. Высмугленное зимним солнцем, обветренное лицо с тупым углом на переносице — хорошей памятью — смотрело оттуда.

В коридоре слышались тяжелые Мушеговы шаги.

— Можно к тебе?

— Входи.

Мушег остался на пороге и, покачавшись на ногах, сказал:

— Гонец прибыл из Ани. Две сотни пехотинцев дают нам.

— С чего такая щедрость? — поразился Григор. — Мы же о полутора договаривались.

— Сами соображают, — любовно погладив затылок, сказал Мушег. — Мы даем отборную конную сотню. Им следует нас... следует... как это зовется?

— Уравновесить?

— Во, уравновесить. Ты чего голышом?

— Запарился.

Мушег кивнул на одежду.

— Обряжайся. Гурген ждет нас.

Ни радости, ни волнения Григор не почувствовал: все явилось в свой срок, все как должно быть. Подошел к рукомойнику, ополоснулся, натянул фуфайку и с сомнением взглянул на поддевку.

— Чего-нибудь понарядней?— спросил.

— Зачем? Ты не придворный фуфыришка, а воин.— Удовлетворенно хмыкнул.— Овсеп сказал, что нынче ты совсем умучил его.

— Глянь на его подарок,— не удержался Григор и выдвинул ящик.

Мушег ревниво осмотрел саблю, проронил:

— Моя лучше.

— Только не проговорись ему, что подарил мне булатку.

— Что я, дурак?— обиделся Мушег, всегда готовый обидеться.— А эту он не подарил тебе, он наградил тебя ею.

Сошли вниз и встретили Няню. Она молча воззрилась на них. Мушег усмешливо глянул ей в глаза и, отвесив поклон, торжественно возвестил:

— Всем взяла, вредностью тоже.

Няня отвернула лицо, проплыла мимо.

Во дворе стояла запряженная парой лошадей коляска. Овсеп выводил из конюшни рысака. Близнецы были верхом. Подойдя к коляске, Мушег сказал Григору:

— В ней поедем. Залазь на облучок, а то на сиденье мне и одному тесно.

Григор отвязал вожжи от борта колодезной крышки, выждал, пока взгромоздится Мушег, устроился на облучке и прицокнул на лошадей. Овсеп заехал вперед, близнецы поехали сзади.

— Слышь,— проговорил Мушег,— ты держись с Гургеном, конечно, почтительно, но поуверенней. Он тебя испытывать будет.

— Тон делает музыку,— усмехнулся Григор.

— Чего?

— Так, франкское присловье.

— Во-во. Отпускай ему этих иноземных премудростей сколько не жалко. Он сам премудрый.

Григор смутно представлял себе нового соправителя даже внешне: не видел его со времени кончины отца. Да и раньше знал Гургена издали. Знал лишь, что он и вправду человек образованный — для мирянина, конечно. Его, как и других царевичей, воспитывал Клавдий; но, по словам дяди, Гурген удачнейший из воспитанников: свободно читает и пишет по-армянски, владеет и греческим. Когда-то он вместе с Мовсесом был послом в Константинополе, несколько месяцев там провел.

Крепостной мост был опущен. По нему, прищпорив рысака, помчался Овсеп; остановился возле внутренних дозорных и что-то

спросил, по-видимому, где сопроводитель; те указали на Малый дворец.

Григор выкрутил коляску к крыльцу, кинул поводья Овсепу и пошагал вслед за Мушегом. Охранник проводил их коридором нижнего этажа к последней двери.

Гурген, сидевший за письменным столом, тут же встал, вышел из-за стола, но к ним не пошел. Он был примерно такого же роста, как Амазасп, такой же поджарый, однако шире в плечах. Его смоляные волосы бледнили и без того бескровное лицо.

— Добро пожаловать,— произнес он хрипловатым, простуженным голосом, и Григор увидел, что шея у него обмотана шерстяным платком.

Гурген прокашлялся, отер рот краем платка и сказал уже звонче:

— Давайте-ка устроимся в креслах у камина. Там потеплее будет.— Опустившись в кресло, глянул приветливо узкими черными глазами на Григора.— Век не видались. Ты подрост за это время. Как поживаешь?

— Государь...— машинально начал было Григор.

— Я не государь,— мигом перебил Гурген.— Даст Бог, государь поправится, и я смогу отъехать в Андзевачскую область.— Ухмыльнулся белыми зубами.— Семья у меня небольшая, меня и Андзевац прокормит. Да и климат тамошний стал мне привычней. А живешь ты, судя по виду, хорошо. Я не ошибся?

— Нисколько, светлейший князь.

— Вот и славно. Прости, утружу тебя как самого из нас молодого. Подай мне вон тот листок с камина. На нем кое-что занятное начеркано. Ага, спасибо.— Взглянул на Мушега.— Это после того, как ты ушел, доставили. Слушайте. «Воины отборные. Двести двадцать. Оружие тяжелое. Сотник Марк. Простолюдин. Пятьдесят лет. Имеет детей, внуков. Получил в награду селение. Выехали сегодня на телегах. Поедут дорогой между Араратом и Хакнацем». Позавчера отправлено. Что скажешь, Мушег?

В дверь постучали, и Гурген крикнул:

— Входи, Симон!

Прошедший в комнату Симон, белый священник, настоятель собора святого Фомы, был так же, как Саак Косой, соучеником Овика. Но — в отличие от Саака — Симон был одним из способнейших выпускников Нарека, полиглотом под стать самому Клавдию. Год назад он получил в заведование царскую канцелярию, с нынешнего года курировал и сыск. Бесстрастноглазый, спокойный, он нравился Григору. Заметив, что четвертого кресла нет, Григор принес себе стул, а Симону указал на кресло. Тот, поблагодарив, сел. Гурген заново прочел донесение и глянул на Мушега.

— Чего же еще желать?— заговорил Мушег.— Двести двадцать человек дают. О сотнике Марке не слыхал. Но ему доверили

пару сотен. Стало быть, повысили. Он награжден селением. Значит, теперь — дворянин. Это анийцы неглупо придумали, что против тондракитов худародца послали. Уж этот Марк ради детей и внуков постарается. — Потер затылок, прищурился. — Тут вот в чем загвоздка. Кто над кем будет? Григор над Марком или тот? Не вышло бы этого... как его?

— Двоеначалия, — подсказал Григор.

— Во, двоеначалия. Мы с анийцами уговаривались, что начальствовать наш будет. Косой-то — нашенский. И заодно уговорились живьем его брать, не делать из него мученика, хотя за Оста я его хрясну по темечку! — взбурлил Мушег. — А у этих анийцев то так, то сяк, у них семь скромных постов на неделе! Вдобавок им всегда верховодить охота. — Покружил взглядом по потолку. — Да, пожалуй, так. Полсотни сабель Григору прибавить надобно. Тогда он будет главный, будет за все в ответе. И дело выйдет вернее.

Гурген досадливо тряхнул вправо-влево головой, спросил Симона:

— Не сможешь выяснить силу Косого?

— Нет, — помолчав, ответил тот. — Ты ведь знаешь, что у Саака только ядро постоянное. Заслать своего человека к нему немисливо. Большая удача и то, что устанавливаются основные его пристанища. Считаю, Мушег верно говорит. Саака нельзя недооценивать. По самому скупому подсчету, он может в короткий срок собрать до трехсот бойцов.

Гурген перевел взгляд на Григора:

— Твое мнение?

— Разреши мне пока воздержаться.

— Разрешаю, — вздохнул Гурген и спросил Симона: — Я не дал тебе договорить?

— Только что меня известили, что отец Саака совершил над ним заочный погребальный обряд. Сам вырыл яму, бросил в нее вещи сына и прочитал заупокойную.

— Тоже хорошая сволочь! — гаркнул Мушег. — Не хуже сыночка. Небось за себя испугался, полные штаны наложил.

— Кошунство! — не выдержал и Григор. — Кошунство ставить могильный крест на живом человеке, кем бы он ни был.

— Не нахожу здесь ничего кошунственного, — усмехнувшись, сказал Гурген. — Саак мертв для церкви. А известие о поступке его отца разлетится повсюду и приостановит разрастание еретического бурьяна. Нет разве?

Григор взвесил эти два четко выраженных соображения и ответил:

— Ты прав. Извини мою горячность. — Подумал: «Что-то кроется в Сааке более значимое, чем в Овиковых отзывах о нем», и попросил Гургена: — Позволь задать вопрос Симону.

— Задавай.

— Саак, учась в Нареке, чем-нибудь особым выделялся?

Симон неспешно отрогал плотную, как руно доброй овцы, бороду и вдруг весело улыбнулся:

— Списать у меня любил. Мы ведь с ним на одной скамье сидели.— Продолжил уже без улыбки и без своего, казалось бы, неотъемного спокойствия:— Труслив, завистлив, подобострастен, речист. В школе не раз бывал бит за доноительство, причем — глупое, мелочное и для всех нас явное. В академии поумнел. Там он стал выделяться другой особенностью — интересом к богословским спорам. Но занимала его не суть, а казуистика. И в ней преуспел. Так что для тондракитов он не просто главарь, он вождь в более широком смысле. Следует учитывать и его немалый священнический опыт.

Григор повернулся к Гургену:

— Саак серьезный противник. Покорнейше прошу тебя, светлейший князь, добавить мне полсотни. Кроме того, я считаю оплошным тяжелое вооружение анийцев. В горах, откуда их пехоте придется гнать Саака на ровную местность, тяжелые латники будут неуклюжи. Необходимо снабдить их средним вооружением.

— Дельно,— кивнул Мушег.— И вот что,— заговорил с Григором таким голосом, точно все решено.— Завтра же бери полторы сотни и езжай к Беркри. В город соваться незачем. Обогнешь — и дальше. Встретишь этого Марка, оглядишь его народец. Потом сам съездишь в Беркри за средним оружием.— Сказал Симону:— Слушай, настроичь к вечеру письмецо в Беркри, да построже, а то этот Гагик прижимистый. Даст, глядишь, Григору какую-нибудь рухлядь.

— Стойте, стойте,— вмешался Гурген,— я пока не сказал своего слова. Что за спешка? И не чересчур ли много чести для вчерашнего смерда — лететь к нему навстречу?

— Светлейший князь,— удивился Григор,— с какой стати дожидаться его в Ване? Снег сходит. Нам пора приступить к делу.

Землистые щеки Гургена зажглись румянцем. Откинувшись на спинку кресла, он произнес:

— Ладно, будь по-вашему. Но полсотни я не добавлю. Двадцать пять сабель, и кончено.

Симон поймал взгляд Мушега и незаметно подмигнул. Мушег мигнул в ответ и заговорил необычайно мягко:

— Какая нам разница — двадцать пять или пятьдесят? А для Григора — разница большая. Давайте исчислим, что у кого. Симон подсчитал, что Косой играючи сколотит триста.— Подчеркнул так же мягко, но заскрипев креслом:— Играючи. А у Григора сто пятьдесят сабель и двести двадцать пехотинцев. Стало быть, триста семьдесят. А ежели Косой станет своих собирать не играючи? Вдобавок осиливать его придется в местах, которые ему хорошо известны. У него там и со снедью никаких трудностей не будет. Так ведь? Так. И вот что я скажу. Простить себе не могу промашку с Остом. Но тогда сыск разваливался, все про Косого с потолка взял.— Глаза его отвердели.— Оста мне жалко,

заправский воин был. Но кто мне Ост? А нынче я, почитай, родного брата против этого зверя шлю. Не жалею, шлю. Вот оно как.

— Ладно, убедил,— опять обескровев, согласился Гурген.— Но сколько людей у тебя останется в Ване и окрестностях?

— Без малого две тысячи,— невозмутимо ответил Мушег.— Ежели какой эмир наскочит — управлюсь. Да и не было при мне никакого эмира. Заглядывала всякая мелкота. Так с ней мы шутя разделявались.— Встал, ласково погладил бороду и так же ласково сказал Гургену:— Слушай, ты застуженный. Ноги бы попарил, в постельке бы повалялся. Тебе завтра Франкского князя принимать.

— Спасибо, Мушег,— выбравшись из глубин низкого кресла, сказал Гурген натужно-учтиво, а затем — строго — Григору:— Без Косого не возвращайся.— И круговым мановением руки отпустил их троих.

Отойдя от двери, Мушег попросил Симона:

— Пускай мне на дом ее доставят, записку эту беркрийскому Гагику. Печать не забудь поставить. Сегодня пришьешь?

— Не тревожься, все будет.— И Симон дружески протянул руку Григору, сказав:— В добрый час.

На крыльце Григор забормотал:

— Ничего не понял...

— По дороге растолкую,— ответил Мушег и крикнул Овсепу:— Лошади под седлом в конюшне есть?

— Ну.

— Веди сюда пару. Сами доберемся. А ты с близнецами езджай домой, или на всенощную, или к потаскухам в Семирамидский квартал. Но чтоб утром вы у меня на глазах были, не то шею намну.

Когда выехали из крепости, Мушег спросил:

— Чего не понял?

— Почему Гурген скупится и вообще ерунду мелет? Мне он сперва толковым показался.

Мушег перевел лошадь на шаг и, утончив голос, очень похоже передразнил Григора:

— «Не поеду в крепость, не поеду!» А я что, волоком тебя тащить должен? Да и то, думаю, все равно съездить придется, а там своим умишком раскусит, что почем.

— Не раскусил.

Смеркалось, но слева всплывала яркая луна, неся на себе очертания сквозисто-дымчатых разводов. Мушег свернул на пустырь, остановил лошадь и сказал:

— Тут и понимать нечего. Гурген голову на плечах имеет. Не такую, как у покойного государя, но имеет. Только начхать ему на то, что Косой потрошит северные области. Гурген трона под собой не чувствует. Он покуда — правитель Андзевца. Воинов ему, видишь ли, давать жалко. У него их в Андзевце тысяча, а он хоть столечко,— Мушег растопырил пятерню,— привез? Я за ним

туда охрану посылал. С ней он и приехал. Вдобавок покрасоваться любит. Этого кто не любит? Покойный государь тоже любил. Но тот дело любил, да и за все царство болел. Вон сколько дорог проложил. Куда ни возьмешь из Вана,— наломтил перед собой воздух,— до границы враз доберешься. А Гурген — тьфу! Ему бы все перед гостями иноземными фигурировать. И думаешь, из-за двадцати пяти человек он торг завел? Не понимает он ни шиша в военном деле и боится, что мы это поймем. Тьфу ты! Худо, что мне и Симону приходится с ним не по-честному, а душой кривить. От этого всякие затяжки и делу вред. Симон — вот кто нынче царством правит. А Гурген у Симона... для этого... как его?

— Представительства?

— Во, представительства. Все, хватит о Гургене. О деле пора. Симон насочинял, что Косой три сотни собрать может. Ему красная цена — двести. Но он будет обороняться, а ты нападать. Так что у тебя в самый раз. Даже с хвостиком. И у тебя все — выученные бойцы, а у него их примерно полсотни, остальные — шваль.

Григор, тпрукнув на дернувшуюся лошадь, спросил:

— А почему анийцы сверх уговора семьдесят человек присылают?

— Да потому, что я с ихним полководцем Бахтангом подружился. Грузины, они такие, любят пыль в глаза пустить. И ему это пара пустяков. А нам, по нашей бедности-малости, семьдесят человек очень сгодятся. И никакого верховодства анийцы не желают. Желали бы — оговорили. Это я сбrehнул Гургену. Но тебе лишние полсотни надобны и на то, чтобы этим анийцам глаза запорошить. Пускай видят, что и мы не убогие. Так...— Поскреб толстые сборки на лбу.— Завтра тебе ехать рано. Завтра спокойно выберешь добавочных воинов. И послезавтра — рано. Анийцы на телегах до Беркри нескоро доедут. Так что выедешь послепослезавтра. Так, двинулись домой.

По дороге продолжал говорить:

— Слышь, мы с Овсепом тебя здорово поднатаскали на Косого. Ты его словишь. А без него это поветрие на убыль пойдет. Не торопись только. Овсеп с собой возьмешь. Он у тебя сразу поверил. Я сомневался, а он — сразу. Хозяином не меня, а тебя называет. Он воин каких поискать. Я ему давно про сотню толкую, да он отнекивается. Видно, по жадности. У него в охране заработок вернее. Ты его слушайся, советуйся ежели что, ладно?

— Ладно.

— Так, еще. Тондракиток не пользуй. Они до этого дела охочие, но у них дурную болезнь подцепить раз плюнуть. И воинов удерживай. Они у тебя не кто-то, а Божьи воины. Моисей, когда замечал какой блуд с иноверками, обоих копьем протыкал, когда они друг на друге были. Так, еще. Овсеп слушайся...

— Господи! Ты уже говорил, чтобы я его слушался,— нет? Сколько можно?!

— Сколько нужно, столько и можно. Блажи в тебе до хрена,

вот я и тревожусь. И Овсепу накажу ни шагу от тебя не отходить, потому что...

— Ой-ё-ёй! Я немолодой человек. Мне о смерти время думать. А вы до сих пор у меня тут,— замолотил себя по загривку,— сидите. Няня, дядя, Овик, ты. Овсепу мне недостает. Не возьму его, не навяжешь.

Мушег, гулко хохоча, заронял:

— Овсеп... после нас... перышко воробьиное... Ты на кого кулачище вскидываешь? Ладно, молчу.

«Заехать к беркрийскому Гагику всегда успею»,— решил Григор и свернул на дорожку, вдоль которой три года назад шагал в Ани. Возле поворота запомнилось селение с богатым храмом и крепким помещичьим домом. Добравшись до селения, Григор отрядил полусотню встречать анийца Марка, а сам зашел к помещику, показал пластину с орлом и попросил разместить воинов. Тот, робкоглазый старичок, немедля вызвал управляющего и распорядился выполнить все наилучшим образом.

Через день, когда Григор после обеда лег прикорнуть, его разбудил Овсеп:

— Марк приехал.

— Зови,— отряхивая заспанность, вызвнул Григор.

Марк, чуть выше обычного роста, грузный, пожилой, но свежий, с гладко выбритым лицом, на котором сиротливо топорщилась седая щетъ усов, прошел в комнату и почтительно, насколько ему позволяло немалое чрево, поклонился. Был он без лат, без оружия. Григор протянул руку, и вся кисть исчезла в уемистой ладони анийца.

— Присаживайся,— сказал Григор, махнув на деревянное кресло.

Тот сел и удобно устроил руки на подлокотниках. Над его горбатым носом зеленели настороженные, но детски чистые глаза. Такие чистые глаза редко увидишь у людей пожилых.

— Как добрался?— спросил Григор.

— Без злоключений,— ответил тот, продолжая ощупывать Григора откровенно настороженным взглядом.

«Чего это он по мне снует?»— подумал Григор. Предложил: — Отобедай.

Марк хлопнул себя по животу:

— Спасибо. Набил утробу. Люди тоже сыты.

— Селение я все занял, так что, извини, здесь их размещать негде.

— О чем разговор? Народ привычный. Поставят шатры. Да и завтра в дорогу, нет?

— Может, что и нет. Я жду из Беркри проводчиков.

— Их ждать без надобности.— Марк самодовольно хохотнул.— Косой в Апахунике.

— Точно?

— Точнее и в сундуке ростовщика не бывает. Сыск у нас справный. Хочешь, докажу? Могу тебе кой-чего рассказать о тебе. Ты — иеромонах Григор из Нарека. Имеешь магистерское звание. Три года назад побывал у нас, монашествовал в обители Святого Духа. Потом тебя пожелал заполучить помощником владыка Армен. Ты вроде бы согласился, но оставил его с носом...

Григор, улыбнувшись, перебил:

— Оставить с носом такого занятого человека пара пустяков.

— Нет, ты не подумай, он дельный. Только и вправду занятой,— серьезно возразил Марк.

— Прости, я прервал тебя. Что еще обо мне известно?

— Известно, что сотню доверили тебе не зря.

— Полторы,— спокойно поправил Григор.

— Ого!— встrepенулcя Марк.— Щедро. Теперь Косому точно несдобровать.— Снова хохотнул.— А знаешь, как тебя у нас прозвали?

— Как?

— Только не обижайся, ладно?

— Ладно.

— Косой — из Нарека, и ты. Он был священником, и ты священник. Но он лицензиат, а ты магистр. Поэтому у нас прозвали тебя Магистром. Все мои люди кличут тебя так. Прилепилось прозвище.

«Все же солидней, чем Мигалка»,— подумал Григор.

— Ничего обидного,— сказал.— А сыск у вас и впрямь неплохой.

Марк бережно потрогал языком щетинник усов и спросил:

— Слушай, ведь это ты сочинил молитву, в которой просишь Господа даровать людям крепкое здоровье?— Глянул на потолок.— Там есть такие слова о Господе: «Врачевание безвозмездное, здоровье, двукратно дарованное». Ты это сочинил?

— Ну я, я,— изумленно подтвердил Григор.— А молитва-то откуда тебе известна?

— Ее нашли в обители Святого Духа, и владыка Армен распорядился сделать с нее списки. Потом корыстные людишки начали их размножать, большие деньги за них дерут. От номисмы и дороже. Я не поскупился, взял.— Марк заговорил взволнованно и быстро:— У меня внучат пятеро. Я их пуще детей люблю. Знаешь присловье? Дети — живые игрушки, а внучата — дети. Так молитва твоя особенно малышам помогает. Когда у кого жар, я вечером кладу ее в изголовье, и к утру лобик...

— Э!— перебил Григор.— Ты бы лучше на лекаря полагался, на снадобья.

— Это само собой. Но и молитва — снадобье. Мне-то она не помогает.— Брезгливо пошлепал себя по гладким щекам.— Видишь, как выскабливаюсь? Приходится, потому что волоски вот тут и на шее загибаются и внутрь прорастают. Бороду я могу

только во рту отпустить. Слава Богу, хоть усы прямые. Хоть какой-то волос есть на лице. А то ходил бы вовсе с лысым лицом, как баба. И у детей моих та же напасть. У меня сыновей двое. Они, если не считать безбородости, парни что надо. Я-то сам неграмотный, а их выучил, к ремеслу дельному пристрастил. По-гречески геологией называется.— Встал и лёгок заходил ко комнате.— Они недавно в Спитакских горах медь отыскивали. Я этим делом сам мечтал заняться. У меня нрав мирный. Но я из бедных, из тех, у кого блоха на цепи. Вот и провоевал всю жизнь.

Под окном зазвучала надсадная визготня.

Марк выглянул в окно, крикнул:

— Эй, Арменчик, ступай куда-нибудь в сторонку петь!— Объяснил Григору:— Он авар крещеный. Мой щитоносец, в паре с ним работаю. И он человек мирный. Сочинитель, вроде тебя. Но Господь как захочет, так и повернет человека.

Григор решил, что пора и о деле потолковать:

— Вооружение у тебя тяжелое?

— Зачем мне тяжелое?— Марк удивленно шевельнул налитыми, покатыми плечами.— С тяжелым по горам не больно покарабкаешься. Полтораста в мелкосетчатых кольчугах, имеют средней длины копья, мечи, дротики. А прочие семьдесят...— самодовольно ухмыльнулся,— мне их поначалу тридцать давали, но я выклянчил,— прочие — скалолазы. Они и вовсе без кольчуг, только с луками.— Насупился, нагнул голову.— Косого брать непросто будет. Слышал, что сотник наш к нему переметнулся?

— Нет.

— Переметнулся, падаль,— вздохнул Марк.— И не один, с двадцатью тремя воинами. Зимой стряслось. Мы пока скрываем — стыдно. Этот сотник, оказывается, давний дружок Косого. Жирайром зовут. Я его знаю. Умеет и начальствовать и сражаться. Есть при Косом и одна старая тондракитка, которой он, как самому себе, доверяет. Ее зовут Маро. Эх-хе-хе...— Удрученно помотал головой.— Целая нечестивая троица. Прости меня, Господи, что уподобил,— сказал и перекрестился.— Вот ты — священник, магистр. Растолкуй мне, темному, откуда взялась эта проклятая зараза.

Григору не хотелось погружаться в исторические глубины, и ответил он коротко:

— На сладкую жизнь глаза у них разгорелись.

— Это я понимаю. Я про них много думал. Но Смбат из Тондрака, первый ихний вожак, жил праведно, погиб на кресте от рук арабов. Мученик был. Только зачем эти, нынешние, величают его новым Иисусом? Мучеников видимо-невидимо. По мне, так каждый человек — мученик. Иной больше мучается, иной меньше, но мучается каждый. Нельзя же всех мучеников величать богами. Что нам, друг дружку с тобой обожествить? Нет, ихняя настоящая задачка полукавей. Я так мыслю, что тондракские главари для одних себя хотят обожествления. Вон — Косой. А отчего он

так хочет, чтобы в него уверовали? Думаю, оттого, что сам он в себя не верит. А почему? Работать не любит, бездельник он, лоботряс. Ладно, станет Косой, станут его дети и внуки богами. Только что его внуки жрать будут? Общая земля — как общая баба. Испортят ее — это же яснее ясного. Да и все испортят, потому что общее — не свое. Вот ты человек ученый. Ты скажи, может, я не в ту сторону умишком раскинул?

— В ту, — хмуро откликнулся Григор.

Марк, вероятно, расценил его краткие ответы как нежелание обсуждать с ним, простым человеком, сложные вещи, поднялся и деловито спросил:

— Когда прикажешь выступать?

— Завтра, на заре.

— В каком порядке двинемся?

— Я распределил конников на три полусотни. У двух есть начальники. Третью сам поведу. Она двинется впереди. Другая — у тебя по бокам. Третья — в хвосте.

— Дозволишь уйти?

— Иди.

Едва он закрыл дверь, как в комнату ввалился Овсеп. Скулы багровели, глаза были дурные.

— Я этих анийцев знаю, — сказал. — Они все хитрожопые. Ему чего надо? Ему надо, чтобы ты себя под стрелы подставлял. А сам у тебя в зад ухорониться будет.

— Так, — обдуманно и стремительно наращивая злость, произнес Григор. — Подслушивал? А знаешь, почему ты это делал? — Перешел на крик: — Потому, что тебе делать нечего! Сколько я тебя уламывал взять третью полусотню? Хватит! Конеч всему! Не возмешь — с глаз долой! Обратно в Ван катись!

Овсеп раздвинул ноги, подбоченился и вернул свою степенность.

— Так и быть, — забурчал, — возьму под начало этих сифилитиков паршивых. Но чтобы ты при мне был. Уговорились или нет? Ежели нет — уезжаю в Ван.

Григор еле сдержал смех:

— Уговорились.

Перед выступлением Григор осмотрел отряд Марка и изумился незащищенности скалолазов-лучников: на них и шлемов не было. Пришлось ехать с ними в Беркри — распорядиться выковать строго по мерке шлемы и снабдить щитами. В городе была всего одна оружейная мастерская. Выступление отложили на неделю. Не успели двинуться, стали ломаться чеки в тележных колесах. Поход к Арджешской крепости отнял еще неделю. В этих местах все было спокойно. На полях крестьяне вели прополку; скотина паслась; в море попрыгивали поплавки неводов. Тишь, благодать.

Миновали Арджеш и, взяв на северо-запад, к Апахунику, до-

брались до Цумбской крепости. Ее не было — развалины дымились там, где она была. Овальные пробоины в стенах свидетельствовали, что у Косого имеются катапульты.

К Григору подъехал Марк.

— Косой собрал всех своих, — проговорил удрученно. — Иначе не захватить бы ему Цумб.

— Вот те и анийский распрекрасный сыск, — усмехнулся Григор. — Видишь, какие дыры в стенах? А где искать Косого, тебе известно?

Он услышал знакомый топот. Приближался на саврасом Овсеп, везя за спиной мелкого костлявого человечка. Григор посмотрелся к нему и узнал Маленького Сукиаса. Тот на скаку прыгнул, согнулся в поклоне. Овсеп, ткнув на Сукиаса пальцем, сказал:

— Чанков дружок объявился.

— Кто он сейчас? — спросил Григор.

— Говорит, что наш проводчик, что напрямиком от Косого. Григор повернулся к Сукиасу:

— Чем докажешь?

— Я помню тебя, о святой чудотворец и великодушный даритель, — начал тот.

— Доказательство предъяви! — рявкнул Григор.

Сукиас торопливо развязал ворот рубахи, снял, царапнув ухо, цепочку с нателным крестом и протянул Григору. На краях крестовой перекладины виднелись поперечинки. Такие кресты Симон выдавал сыскным людям.

Григор сказал Сукиасу:

— Ты же разбогател на службе у князя Павла. Почему занялся опасным делом?

— О великодушный даритель! Все нажитое кропотным и праведным трудом имущество я вложил в морскую торговлю. Но коварное Эгейское море...

— Ладно, свои беды держи при себе. Куда ушел Косой?

— К отрогам Шариани.

— Что ты выведал?

— Уйму разного. Я при Косом конским лекарем был.

— Погоди, — вмешался Марк. — Косой не признает креста. Неужто тебя не обыскали?

— Раздели догола и поковырялись даже там, где доброму христианину и показать зазорно, — показав, где ковырялись, зататорил Сукиас. — Только нынче Косой невзыскателен. Он знает, что за ним охоту учинили. При нем нынче всякий народ.

— Сколько боеспособных? — спросил Григор.

— Около шестисот, — умильно поглядывая на Чанка, сказал Сукиас.

«Вот тебе и двести!» — мысленно воскликнул Григор. Впрочем, и так уже стало ясно, что Косой куда многочисленней Мушеговых подсчетов, основанных на прошлогодних данных. С двумястами не взять бы тондракитам Цумбской крепости. Спросил:

— Конников сколько?

— Конников я сосчитал точнехонько, — заглядывая Чанку под хвост, ответил Сукиас. — Сто двадцать три. Но разве увидишь у них такого коня, как этот. Этого я знаю, я в него всю душу вложил. Сокровище, а не конь! Истинный перл!

Еще он сообщил, что тондракское войско хорошо вооружено, что в нем соблюдается дисциплина, что есть у Косого семь катапульт и два тарана.

Засылать Сукиаса обратно значило бы отправить его на верную гибель. Григор посмотрел на Овсепу, который понимал его без слов. Тот, хмуро кивнув, сказал:

— Пускай отъестся, отоспится. А там будет твоим телохранителем взамен меня. Он юркий. Да и за Чанком приследит. — Кликнул проезжавшего мимо воина, велел: — Отвези парня в стан, накорми досыта, подбери доспех по росту. Ежели по росту не сыщешь, тащи какой есть. Сам переделает. И лошадь выберет сам.

Облачное небо, словно решив погасить дымящиеся руины, принялось крупно накрапывать. Впереди, на пустоши, за грудой того, что совсем недавно было домами, плодовыми деревьями и всем остальным, в чем живут и чем на всю жизнь рачительно окружают себя люди, — за этой мертвенной грудой серела невесть как уцелевшая саманная лачуга. Почему — невесть? Зачем на нее тратить силы? И без того развалится.

Григор, махнув Марку и Овсепу, поехал к ней.

В развалюхе жались несколько спасшихся горожан. Все старые, кроме девочки лет шести или семи. Марк выглянул наружу, подозвал своего крещеного авара.

— Арменчик, отведи их в стан. Устрой в шатре, еды принеси.

Девочка, оборванная, в копоти, сверкая глазами, решительно подошла к Григору.

— Я Нвард, — не назвалась, а, можно сказать, представилась. Вздернула верхнюю губку, показала отсутствие молочных резцов и едва проглянувшие ростки постоянных и прошепелявила: — Я похижу ш тобой.

— А есть ты не хочешь? — спросил Григор.

— Я шытая. — Кивнула на стариков. — Они меня вше кормят и кормят. — Поковырялась грязным пальчиком в носу. — Я похижу у тебя на коленях.

Он улыбнулся:

— Ладно, посиди. — Спросил стариков: — Чья она?

— Теперь ничья, — вздохнул кто-то.

Григор сел, поднял ее, легонькую, и она уютно свернулась на нем рогулькой.

— Двинемся к Шариани, — сказал он Марку. — Косой в сборе и, похоже, не боится нас.

— Конечно, не боится, — ответил тот. — У него шестьсот воинов, а у нас и четырехсот нет.

— Что думаешь делать?

— А чего тут думать? Надо упрочить Арджеш с Апахуником, послать в Ани и Ван гонцов и дожидаться еще двух-трех сотен.

— Ага. Хочешь распылить по крепостям справных, готовых к бою людей, чтобы там все разнуздались,— сказал Овсеп и хмуро покосился на Марка.

Прирожденный воин, Овсеп со дня знакомства почуял чужеродность Марка и относился к нему неприязненно.

В противоположном углу сквозь прореху в крыше уже основательно лило, и на земляном полу образовалась лужа. Овсеп ткнул на нее пальцем.

— С тобой вон куда плюхнемся,— сказал Марку.

Тот промолчал. Григор спросил Овсепя:

— Что предлагаешь?

— Сближаться. Конников у нас поболее, и наши лучше. Это и Сукиас твердит. Конечно, выстроенные пешие ряды не прорвем. Но мы можем лупить Косого наскоками. Вдобавок у нас скалолазы. Ежели настигнем его у Шариани, можно неприметно засылать их наверх, и они оттуда будут его расстреливать. А так — кто знает? Дадим ему время, и он, глядишь, вдвое увеличится.

Григор, разглаживая спутанные волосы девочки, задумался. Ждать скорого подкрепления несбыточно. А у Косого имеются и катапульты. Он мощнее. И места вокруг — тондракские... «Скалолазы»! — выкрикнулось в уме... Но их нужно использовать единственный раз. Повторного случая Косой не предоставит.

— Двинемся к Шариани,— сказал он.— Разведчиков Косого, если появятся,— отгонять только для виду. Пусть докладывают ему, что нас меньше. Попробуем расколотить Косого за раз.

— У тебя какая мыслишка есть?— спросил Марк.

— Есть. О ней успеется.

Девочка, до этого спокойно лежавшая у него на груди, подняла лицо и очень серьезно осведомилась:

— Дядечка, а Кошого зачем колотить?

— Надо,— уловив в ее голосе незрешнюю серьезность, ответил Григор.— Ты видела, что он натворил. Все порушил, пожег.

— А шечаш ты будешь шечь его?

— Буду. Не то он опять за свое примется.

Девочка посмотрела на него долгим взглядом и тихо-тихо проговорила:

— Неправильно вше это.

— А что мне еще делать?— так же серьезно и тихо спросил Григор.

Она слезла на пол, уставилась вниз, потом посмотрела на прибывавшую лужу.

— Не шнаю.

— Ты маленькая, а я вон какой. Я знаю, что мне делать,— усиливая голос, сказал Григор, очень желая убедить ее, но ощущая какую-то дикую неубедительность сказанного.

Она топнула ножкой и крикнула:

— Ты шлой!— Внимательно глянула на Марка, потребовала:— Дедушка, я хочу быть ш тобой.

Тот обрадованно всохотнул.

— Иди ко мне, внученька, иди. Я тебя на лошадку усажу, в шатер отвезу, сладенького чего-нибудь дам.— Спросил Григора:— Можно идти?

— Ступай.

Когда он с девочкой на руках вышел, Овсеп покосился вслед и забурчал:

— Во, добренький выискался. Ерундит аниец. Воины нынче в самой поре. К осени похудшают. Какая у тебя мыслишка?

— Уфф!— Григор отряхнулся, и проклятый сомнительный туманец улетучился.— Мыслишку ты мне подсказал. Анийские скалолазы стреляют без промаха на сто шагов. А если Косой возле горы скучит пехоту, тогда и целиться ни к чему. Важно катапультистов выбить.— Они будут сзади пехоты, их и камнями закидать недолго. Скалолазы враз могут заняться и пехотой. И нам тогда прорывать ее незачем. Она врассыпную на нас побежит, а наша стройно на нее пойдет.

Овсеп задумался, вздул на лбу жилу.

— В голове-то складно выходит,— сказал.— Но подле гор наклон бывает. Разбойникам спускаться, а нам лезть. Того, кто выше, бить не шутка. Коннице — особенно.

— Бывают и горы без склонов.— Григор прочертил ладонью прямой угол.— Будем искать встречи с Косым у такой горы. Он теперь самонадеянный. И людьми богаче.

Овсеп зыркнул по сторонам, шепнул:

— Ага, похоже, дело говоришь. Пойду гляну, не подслушивает ли кто.

Вернувшись, сказал:

— Надобно идти обратно, к Арджешу.

— Это зачем?

— Чтобы одеть и вооружить скалолазов, как прочих пехотинцев. Может, Косой и вызнал, что у нас скалолазы, но может, что и нет. А перебежчиков, думаю, у нас не будет. Вознаграждение всем великое посулили.

Григор поморщился:

— Неделя — туда, неделя — назад. А где потом Косого отыскивать?

— Отыщется. Ты правильно сказал, что он нынче самонадеянный. Да и, кроме Сукиаса, посматривают за ним и наши и анийцы.

— Все,— вставая, сказал Григор.— Сегодня же — в Арджеш.

Вышли из лачуги под ливень, вспрыгнули на коней и поехали в стан, объезжая тела, от которых густо истекал трупный запах. Некогда было хоронить их.

Уже и Успение минуло, а за Косым длилась пустая гоньба, без единой стычки. То он водил их по Апахунику, то поднимал в отроги Джарабашха, то вдоль Цахканца заставлял петлять. Впрочем, кое-что сделать удалось. Побывав в нескольких пристанищах Косого, отыскиали утварь восьми или девяти храмов. Но это было примерно впятеро меньше награбленных Косым церковных ценностей. Найденное отправили в Арджеш. Пристанница выжгли.

Приходившие время от времени проводчики докладывали о прежней численности Косого. Да и не мог он здесь возрасти. Все подскреб. Без мужчин в тондракских селениях царило такое убожество, что Григор ловил себя на мысли: повзрослей он в здешней крестьянской семье — подался бы к Косому. Здешний человек и для таронских еретиков, и для греков бешеной собаки хуже. Жили в этих селениях женщины, малышня, старики и больные. Косой, хотя и очень не жирно, кормил их.

Помня Овсепово предрекание, Григор поддерживал жесткую дисциплину. Сурово наказывал и за шашни с тондракитками. Впрочем, некоторые послабления сами собой происходили. Так, однажды скалолазы вытащили из горной пещеры барана, настолько оголодавшего, что, когда кинули ему мясные потроха, слопал их. Вскоре спустились в низину, но баран успел захищневеть и к траве не подходил. Воинам это его преобразование страшно понравилось. Заглянув к скалолазам, которые как раз пичкали барана мясом, Григор услышал: «Ишь, себя потерял!» В ответ раздалось: «Не смекает, дурачок, что ему на пользу, а что во вред». Другой сказал: «На то и скотина. Не может себя понимать». — «Ты-то, умник, небось себя понимаешь», — подытожил начальник скалолазов, красноволосый Манук. Все, в том числе и Григор, захотали.

В анийском войске скалолазы были вспомогательными частями. Марку их не прибавили, а как подачку сунули. Вот почему явились они даже без шлемов, без щитов, которые пришлось заказывать в Беркри. Да и луки имели не дальнобойные, выпуклые. В Арджеше Григор перевооружил их арбалетами; они быстро освоили это прекрасное оружие и теперь прицельно стреляли на вдвое большее расстояние. Григор во всем уравнил их с прочими воинами. Награда скалолазам тоже сперва полагалась жиже, но он снесся с Симоном и договорился о прибавке. Не зная про свое особое предназначение, скалолазы, когда их уравнили с остальными, почувствовали, что это не зря.

Овсеп ошибся. Отряд оставался сильным. Его поддерживала и охотничья страсть, подогревал задор преследователя. Ясно было, почему Косой избегает сражения, но далеко не уходит, а водит их кругами. Изнурить рассчитывает. Он не волчьей породы — лисьей. Но о бывшем анийском сотнике Жирайре Марк отзывался как о крупном звере. Под стать ему и ведьмовка Маро — истая амазонка. По сообщениям проводчиков, Косой отдал ей под начало пехоту.

Не только отряд, но и себя самого Григор поддерживал в постоянной физической готовности к сражению. Превосходный наездник, Сукиас научил его обходиться без поводьев, и теперь Григор свободно орудовал обеими булатками. Овсеп на занятиях уже не дотягивался до него.

Хуже обстояло у Григора с готовностью нравственной. Он часто вспоминал девочку Нвард и ее слова «неправильно все это». Но разве правильно позволить тондракитам погубить ее? Детолюбивый Марк привязался к ней; поселил в семье владельца Арджешской крепости с тем, чтобы, когда будет покончено с Косым, забрать в Ани. Хорошо быть девочкой Нвард. «Неправильно все это!» Да, есть, конечно, в ее словах и правда, но вникать в нее сейчас незачем. Сейчас она Косому на руку.

Григор, как всегда, просыпался рано, выходил из шатра и смотрел на небесные светила. Может, и там кто-то живет. Считать, что Господь затеплил жизнь лишь на Земле,— не гордыня ли? Может, там существуют живые миры, где разумные существа научились ладить друг с другом? И тогда о травле еретиков мягко сказать «неправильно». Как-то по-иному надо бы с ними... Но как? Покорно прийти к этой, по меткому выражению Марка, нечестивой троице, пасть перед ней на колени и лепетать: «Губите, грабьте, рушьте и будьте для всех Святой Троицей»? Ведь с ними можно говорить либо на языке бессилия, либо на языке силы. Иных слов не поймут, не примут. Так что подобные, кроткие мысли — проявление гнилостного тщедушия, и только.

Отгоняя такие мысли, он ложился на землю, отжимался разков по десять на правой руке, на левой; взбадривал мышцы ног, живота; затем шел проверять дозорных и удоволенно хмыкал, слышав опасливый шепоток: «Магистр идет!»

23 сентября неподалеку от горы Цахкео их впервые обстреляли конные лучники. Ранили двух скалолазов и ускакали. Григор послал вдогон полусотню с Овсепом. Тот вскоре вернулся, махнул рукой в сторону Цахкео и спокойно сказал:

— Стоят, бесюги.

— Что, все стоят, все?— скороговоркой спросил Григор.

— Стали бы иначе!— огрызнулся Овсеп, крутанул повинно головой и заговорил снова спокойно:— Место для них вроде как выгодное, на склоне. Но к самой горе приткнулись. Мануку сподручно будет их расстреливать. Посмотрим, что ли? Вон с того холма они как на ладошке.

Его деловитость передалась Григору. Он отправил Сукиаса за Марком и Мануком, а сам вместе с Овсепом поехал к холму.

Все кругом искрилось. Было то неопределенное время года, которое, уже не будучи летом, еще желаёт им быть и еще имеет для этого немало теплой силы. Однако искрилось не по-летнему,

сквозистее и разреженнее, и действительно, все впереди — каждый уступ Цахкео, каждый куст на горе и залосненная закатным солнцем сборчатая скорлупа ее вершины — виднелось как на ладошке.

Около холма их догнали Марк и Манук. Начальнику скалолазов, горцу из бедного дворянского рода, кормильцу вдовой матери и нескольких сестер, не исполнилось и двадцати, а выглядел он и того младше. Красно-рыжий, веснушчатый, с едва пробившейся бородкой, вертлявый, он походил на озорливую молодую обезьянку. Но хотя выглядел Манук не очень серьезно, был распорядителен, дисциплинирован и по-умному независим. К нему даже Овсеп, придирчивый ко всем анийцам, относился почти уважительно.

Молча въехали на холм, где Овсеп оставил полусотню. Зрелище у подножья Цахкео, на отлогом склоне, примерно в тысяче шагах, открылось внушительное. Тондракиты выстроились в боевом порядке. Пехота стояла вытянутым в ширину ромбом, стояла спаянно — упертый в землю прямоугольный щит заходил за другой, и все блистающее щитами построение выглядело заледеневшим. Впрочем, глубина его была небольшая. Григор насчитал в центре семь рядов, на боках пять, по краям четыре. Справа пехоту заслонял серповидный конный строй, поплотнее — семь всадников в шеренге. Слева заслоном служила кривая длинная скала, тянущаяся до отрогов Цахканцского хребта. Катапульти размещались за пехотинцами. Перед ними громоздился вал из камней и телег. Между катапультами и пехотой, ближе к скале, на взгорке, высился пышный багряный шатер, возле которого виднелось девять всадников.

Марк отнял от глаза трубку с увеличительными стеклами и сказал Григору:

— Это, должно быть, Жирайр советовал растянуть пеших, чтобы обильней смотрелись. Он конник. — Покосился на Овсеп. — Ему бы все страх нагонять. Растяжка глупая. Ее недолго и в лоб прошибить. — Ласково шлепнул по щеке Манука, который, мельком оглядев строй, вглядывался в подъем Цахкео. — Ты вначале сможешь стрелы беречь. Через двух разберешь пехотинцев и бей в задний ряд, потом в другой, а там уж, конечно, как придется. Но сперва надо выбить катапультистов.

— Это успеется, — возразил Григор, прикинув расстояние от катапульт до вала. — Они смогут стрелять только по своим. Те живо к валу подадутся. А катапульти дальше не достанут.

— Верно, — буркнул Овсеп и вполголоса процедил, что ванская голова работает лучше анийской.

— Вот и поработал бы ею, чем брюзжать, — так же негромко, но с нажимом произнес Григор.

Между тем Манук продолжал вглядываться в подъем Цахкео. Его зоркий и наметанный глаз не нуждался в увеличительных стеклах. Скорее всего, выследчики находились над начальственным

шатром, но Манук рьяно прошарил всю протяженность подъема и лишь затем кивнул на шатер:

— Трое. Вон там конец веревки болтается. А вдоль веревки, в уступчиках, они и сидят друг над дружкой.

Григор напряг зрение, но и конца веревки не различил. Марк дунул на стекла трубки, протер их рукавом, приставил трубку к глазу, поводит ею замедленно и сказал:

— Ничего не вижу. Точно, сынок?

— Как в моей бедняцкой копилке,— оскалив острые зубы, отозвался Манук.

— Уцелеешь, тогда и шутки шутить будешь,— проворчал Овсеп.— Что еще разглядел на Цахкео?

— А чего тебе еще надобно?— удивился Манук.

— Надобна тропа,— сказал Григор, мигом поняв Овсеп, и весело подумал, что на ванскую голову и вправду грех жаловаться.— Не похоже на Косого, чтобы тот разом все бросил на кон.

Манук вновь обрыскал подъем и кивнул на шатер:

— За ним, может, и есть. Но ее не углядеть. Взорок мешает.

— Взорок-то и я вижу,— досадливо проговорил Марк.— И девять всадников на нем вижу. А который из них Косой, различаешь?

Вопрос был не праздный. Косого следовало живым посадить в заготовленную клетку. Его нынешнюю внешность красочно изобразил Сукиас. Помогая себе руками и ужимками, он расписал тондракского царька рыхлым, с дергающимся отечным лицом, с зачесанными на правый висок редкими седыми волосами, которыми Косой пытается спрятать багровые язвины,— наверное, следствие цветущего люэса.

Манук оглядел всадников и нехотя признался:

— Не различаю ни Косого, ни этой бабы Маро. Все в закрытых шлемах. На шишаках — красные тряпки. Доспехи тоже одинаковые, стальные.— Озорно ухмыльнувшись, посмотрел на Григора.— А куда Косой денется? За него, живого, сто номисм обещано. Мне они сгодятся. В ягодичку слегка подстрельнуть его можно?

— Можно, если сможешь,— усмехнулся и Григор.— Ну, хватит ими любоваться. Здесь оставить пятерых конников. Раскинуть в трехстах шагах от холма шатры, выдвинуть дозорных, осмотреть вооружение и ужинать. Ко мне никому не заходить, сам позову.

В шатре он достал из сумки книжицу, грифель, присел на войлок и отчетливо вычертил расположение тондракитов, контуры Цахкео и более чем вероятную тропу. За ночь скалолазы успеют завалить ее вдалеке, откуда завального шума не будет слышно. Необходимо учесть допустимость того, что тропа охраняется и вдали. Он выдернул листок и на следующем стал вычерчивать действия своего отряда. Пехота построится клином, двинется по центру, одолеет холм и повернет на багряный шатер. В этом направлении вал выше, зато пеших — самый край, от которого конные — за про-

тивоположным краем. Впереди и по бокам клина Марк поставит сильнейших, могущих быстро сделать пролом нужной ширины. Мануку придется выбивать пехотинцев не через двух, как сказал Марк, а прицельно каждого на этой стороне. Поредевший левый край пеших, увидя Марка, подастся не к валу, а вправо, и тондракского пешего строя уже не будет, будет толпа. Выстроенной останется конница, которая, по логике, должна кинуться на Марка. Григор отогнул Марков клин вправо от багряного шатра (к нему и подпускать нельзя воинов: грабежом займутся) и, сопроводив по граниям весь путь Марка линиями конников, задумался, сколько их отрядить. Жирайр опытный воин. Он поймет, что выход у него один: ударить конницей с тылу, через тот же пролом. Итак, половину конников в пролом поведет Овсеп, а другую нужно затаить у въезда к холму. После сшибки, спустя минут пять, все должно распасться на единоборства. Манук выбьет до сотни пехотинцев, так что у Марка будет примерно на сто человек меньше, чем у врага. Скалолазов загодя нагружать лишним оружием незачем. Сделают свое главное дело, спустятся, подберут оружие мертвых и раненых и подержат Марка. Овсеп, когда увидит тондракскую конницу за проломом, вернется, чтобы ударить в тыл Жирайру.

Григор выдернул второй листок, положил рядом с первым и, поглядывая на оба, заново до мелочей продумал план. Это все правильно, и всем основным исполнителям задача будет ясна. Смутен Косой, которого живым взять надо... Почему смутен? Симон говорил, что Косой труслив, и его нынешний образ действий — лучшее доказательство. Сражение он дает лишь потому, что его нельзя не дать: профессиональных воинов среди тондракитов немного, да и те, видно, разложились уже. Без боя тондракиты и вовсе утратят боеспособность. Причем дает он бой в сугубо оборонительном построении, прижавшись к горе и имея тропу для бегства. Победить-то он надеется, но в его отряде наверняка знают о спасительной тропе, так что надежда эта стоит дешево. Да, Косого следует ловить на тропе, у завала.

Теперь подробно об уходе Манука. Местность позади пересеченная, но с Цахкео, где устроились выследчики, просматривается. Зато справа отсюда, стадиях в четырех, есть дубняк, а правей от него — довольно высокие взгорки. Манук дождетсЯ темноты (ночь будет звездной, только бы на заре морок не напалз с Цахканца), вооружит скалолазов запасными копьями, посадит на запасных лошадей — и в дубняк. Пусть тондракиты ломают голову: то ли все наступление на них пойдет справа, где, кстати, и вал жиденький, то ли это затаенный резерв.

Григор вложил листки в книжицу, лег на спину и зажмурился, сиюсь представить себя завтрашними Овсепом, Марком, Мануком, своими конными полусотниками Каро и Аветисом и всеми своими воинами — ванцами и анийцами, — которых, можно сказать, на зуб перепробовал... Да, к завтрашнему делу готовы все. Больше или меньше, но в общем готовы неплохо.

Он рассредоточился, и в уши начал спокойно входить многоглоточный гул за шатром, начали входить незлобивые проклятия и сквернословие, бряканье ложек, ножей, а в ноздри полез густой дух мяса.

— Сукиас!— крикнул Григор, и тот вмиг вырос в проеме шатра.— Поесть принеси.

— Чего, хозяин, вкусить желаешь?

Григору вспомнилось, как некогда, в пятницу, Сукиас выговаривал ему за голубей, которых так чудесно оживила Лейли. Нынче, к счастью, не постный день. Овсеп тоже подзаправится досыта. Это очень существенная промашка Косого.

— Шматок вяленины у тебя найдется?

— Почему бы ему не найтись?— оскорбленно изумился Сукиас.— А чего еще желаешь?

— Воды.

Приученный к тому, что не надо навязывать, чего не просят, Сукиас в мгновение ока обернулся с мясом на блюде и кувшином. Уже смерклось, и он через минуту, опасливо взглянув на Григора, все-таки решился сунуть в проем зажженный подсвечник. Григор неторопливо, с удовольствием сжевал вяленину, охлопал благодарный живот и велел позвать Овсеп, Марка и Манука.

Рассадив их на углах войлока и поместив посередине оба листка, Григор обстоятельно изложил общий замысел и задачу каждого. Едва он закрыл рот, Манук сказал:

— Толково. Мне все ясно. Скала и левый склон Цахкео отвесные. Начало тропы может быть только меж...

— Да погоди ты!— гаркнул Овсеп.— Дай обо всем подумать.— Поднял листок, на котором были изображены их движения и тондракитов, всмотрелся и ткнул на тондракскую пехоту.— Не перестроятся к утру?

— Вряд ли,— ответил Григор.— Вал сооружен на такую выстройку, повторяет ее. Справа он потоньше. Косой ждет нас справа.

— Похоже на то,— согласился Овсеп.— Но что будет, ежели Жирайр не поскачет к пролому, а станет драться изнутри вала?

— Тогда потерпишь немножко, пока я подоспею,— ответил Григор и, догадываясь, что сейчас Овсеп заведет спор не в свою пользу и по-ослиному упрется, вымолвил с предельной мягкостью:— Возьмешь Каро и его людей.

— Каро не возьму,— отрезал Овсеп.— Он вечно горячку порет. Аветиса возьму. В нем кровь холоднее.

— Ооох!— болезненно выдохнул Григор.

— Стало быть, при мне Аветис,— отмашкой давая понять, что с этим кончено, объявил Овсеп.— Людей делю пополам. Я пойду слева от Марка, Аветис — справа.

— Слева — это ближе к Цахкео,— сказал ему Марк.— Там ихний бок от Манука шарахнется, и будет простор. Жирайр мо-

жет всю конницу пустить на тебя. Не дели пополам, себе больше возьми.

— Как мне делить, моя забота.

— Не только твоя!— взревел Григор.

— Эй, не ори понапрасну. Я и так сильнее Аветиса. Зачем его еще ослаблять?

— Ооох!

— А ты чего суешь нос в чужое дело?— гаркнул Овсеп на Марка.— Ты о своем деле подумай. О том подумай, сколько времени провозишься, чтобы дыру в вале сделать.

— Подумаю,— невозмутимо обещал Марк, глядя не на Овсеп, а на камушек, который принес с собой, вероятно, представляющий некую ценность.

— Ну вот, теперь порядок,— сказал Овсеп.

— Мне теперь можно?— спросил у него Манук, подбирая оба листка.

— Тебе самая пора теперь,— милостиво разрешил Овсеп.— Тебе уже сматываться пора.

Манук оглядел листки, озадаченно глянул поверх Григора и сказал ему:

— Не помню, различат ли тебя под холмом.

— Не различат,— ответил Григор.— Из-под холма видна только макушка Цахкео. Выследчиков выбивать не надо. Что еще?

Манук стремительно взвился с войлока.

— Больше ничего. Пойду, пожалуй.

— Синей тесьмой не забудь обмотаться,— проворчал Овсеп.— Не то, чего доброго, зарублю тебя ненароком, а после на свечи расходоваться.

Манук показал ему кончик языка, поклонился всем коротко и вышел. Овсеп посмотрел в темную пустоту проема, качнул головою:

— Молодой, а справный. Даст Бог, уцелеет.— Перевел взгляд на Марка.— Ты-то чего замолк? То задибался, а то вдруг замолк.

Марк бережно поместил камушек в широкий чехол ножа и, хохотнув, сказал:

— У меня нрав, конечно, куда какой задиристый, но ради тебя я его смирил.

— А по делу что-нибудь сказать можешь?— насупясь, спросил Овсеп.

— Могу. Ты сколько лет в войнах?

— Пятнадцать.

— А я — тридцать два. Сделано дело.

Каро, распластавшись на гребне холма, оглядывался, искря белыми глазами, и хрипло бросал Григору, который ерзал на Чанке шагах в двадцати ниже:

— Манук спускается... Медленно, гад, спускается... А те, гады, держат строй, впритычно держат... Марк медленно, гад, работает... Овсеп не может врубиться... Ага, вошел вроде бы...

— Кто вошел?— крикнул Григор.

— Аветис вошел... Марк входит... Ого!

— Что — «ого»?

— Овсеп врубился! Ну перья летят! Ну!— завизжал Каро, вертеться туда-обратно.

— Жирайра не прогляди!

— Не прогляжу. Торчит, гад, на месте.

— Правильно торчит,— забормотал Григор,— боится засады из дубняка, вчерашнего Манука боится и торчит.— Крикнул:— Чего заткнулся?

— Аветиса не вижу — самого... Манук сошел не весь, но бежит к Марку... Ага, вот и сам, гад...

— Кто гад — Аветис?

— Манук... Нет, ничего, весь бежит... Ага, нету ихнего строя... Жирайр пошел к нам!— провизжал, катясь вниз.

Григор швырнул Каро поводья его коня и двинул Чанка наверх. Тондракская пехота, после обстрела Манука успевшая перестроиться (вероятно, был замечен слишком высокий костер, которым на левом склоне холма сигналили Мануку, и вал продолжили не скоро), пока не пятится, но обречена. Марк частично сберег клин. Скалолазы на подходе. В сверкающей кутерьме Григор разглядел Овсепу, который сохранил отряд плотным и начинал выводить его наружу. Аветиса не разглядел. Аветисовы люди бились порознь.

Он глянул вправо. Тондракская конница вышла на отлогость и набирала скорость. Вел ее, слегка опередив, всадник на рослом вороном. «Сейчас ты у меня опять затопчешься». Не оборачиваясь, прокричал:

— За мною вправо покруче заа-би-рай!

Отряд Овсепу был уже у пролома. Жирайр, увидя, что, если пойдет к пролomu, то ударят в тыл, действительно затоптался. Теперь у тондракской конницы не стало скоростного преимущества, осталось лишь численное. Григор забрал еще правей и развернул Жирайра боком к Овсепу. «Теперь — ссадить самого Жирайра». Оглянувшись на Каро, велел:

— Прямо иди.

А сам взял еще правей, дал свободный ход Чанку и вынесся далеко вперед. Жирайр, в глухом шлеме, только с прорезями для глаз и рта, повернул к нему вороного, но, затрудненный новым выбором, опять затоптался. Григор остановил Чанка и помахал булаткой, чтобы Жирайр мог убедиться, кто перед ним.

— Сшибите их!— указав на Григоровых конников, рявкнул Жирайр.

Булатка оказалась и у него — похуже, светлей,— и он, поигрывая ею, поскакал к Григору.

— Магистр, что ли? Сейчас я тебя приласкаю, кровь твою погляжу!

Григор расхохотался и поехал навстречу этому вчистую обмороченному болвану. Шагах в десяти Жирайр вшустрил своего очень рослого и крупноголового вороного, толкнул его на высоту справа от Григора, заноса саблю так, чтобы полоснуть наискось. Григор дождался предельного заноса, присадил и послал Чанка в эту заносную сторону, выкрутился за спиной у Жирайра и — раз-два — скovyрнул с него наплечники. Дивная четкость, такая же четкая, какая была в предосеннем окоеме, была в темно-красной струйчатой булатке. Жирайр, срезав ухо вороному, отомчался шагов на дюжину и, оглядываясь, вырывал из коня гриву, а тот не слушался, тряс мордою и криком кричал.

— Зачем животное мучаешь? — приближаясь, спросил Григор сквозь наплыв бешенства.

Жирайр в полуобороте водил вперед-назад саблей и тягуче выл. Григор отстукнул его саблю и, морщась от омерзения, направил свою в этот невыносимо воющий рот, охнул, ощутив, как перетекает в его руку вой Жирайра, разжал ладонь, ощутил подкативший к горлу ком, сорвал шлем, отбросил и закашлялся в рвоте, мысленно твердя: «Меня Жирайром рвет, Жирайром рвет, Жирайром рвет...»

— Тебя голыми руками взять можно! — услышал Овсеп. — На, держи саблю. Шлем надень. Туда не гляди. Там добивают. Что, не знал, что так будет, нет? — Поправил на нем шлем и загаркал потише: — Все, все. Со мной тоже такое бывало, ну, все.

— Уфф... Выволоки оттуда десяток людей, скажи, что за Косым поедут.

— А десятка не мало?

— Больше — друг дружку раздавят. Чего застыл, чурбан? Живей делай. Я на холме подожду.

С холма он увидел прижатые к Цахкео последки тондракской пехоты, вздохнул облегченно и уставился на мгlistую гриву всхрапывающего Чанка. За спиной раздался топот. Григор оглянулся, скользнул взглядом по ошалело алчным глазам конников, внятно произнес:

— Поедем без спешки. Сто номисм делю на каждого поровну. Овсеп, рядом. Что с Аветисом?

— Сшибли. Горячку порол. Все не так делал.

— Скольких ты потерял?

— Никого. Двоих оцарапали.

— Что у Каро?

— Пятеро убитых. Каро толковый. В нем кровь холодней, чем в Аветисе. Да и разбойная конница — плевая. Пехота лучше.

— Маро повидал?

— Срубил. Только срубленной бабы мне не доставало.

Слева от пролома среди задавленных мертвецов и живых лежал в мертвой повалке Сукиас. Он с утра исчез. Подслушал вчерашний разговор и пошел в одиночку брать Косого. (Остальным воинам,

чтобы не отвлекались, было, по разумному предложению Марка, объявлено, что Косой удрал.) Поднялись на взгорок, к багряному шатру. Пусто. Овсеп буркнул:

— Вон она, тропа.

Это был в ширину коня лаз между извилистой скалой и отвесом Цахкео. Овсеп схватил за узду Чанка, сказал Григору:

— Первым не суйся. Рачик поедет первым.

Тропа круто слезала вниз, поворачивала, за поворотом раздалась так, что можно ехать по трое в ряду. Положили перед собой луки, поехали шагом. Григор извертелся за долговязым Рачиком, но видел лишь пустую тропу и все те же отвесы Цахкео и скалы. Начиная догадываться, что случилось, он гасил эту догадку.

Завиднелась обвальная стена. Манук потрудился на совесть: непонятно, каким образом держалась его стена, гребец которой угрожающе свешивался над основанием, но она держалась.

— Что такое?— спросил Овсеп, и теснинное эхо недоуменно зарокотало.

Григор сохлым, наждачным языком поскреб небную шершавость.

— Ничего особенного,— сказал.— Просто Косой обморочил и меня и своих. Он удрал раньше, чем Манук перекрыл тропу.

— А почему справно дрались без него?

— У них допытывайся, если найдешь такого, кто еще говорит.

Воины обиженно загалдели:

— А мы как же?

— Не по-честному вышло, не по слову.

— Там уже со всех шелуху слупили.

Григор качнул головой:

— В Ване дам пятьдесят номисм.

— И катитесь отсюда!— гаркнул Овсеп.— Задарма кучу денег хапнули. Может, и там какие медяшки подберете.— Поехав рядом с Григором, тронул его за руку.— Не сердись, что я под холмом наорал на тебя. И насчет Косого не омрачайся. Мы ему зубы повышибали. Его за сто номисм свои же грабежники продадут.

— Продадут?— усмехнулся Григор.— Глупый ты. Косой — золотая гора. Таких не продают, такие сами покупают. Косой съездит в Тарон или в другое место, где развелись тондракиты, и закупит людей, сколько ему надо. Он опять объявится с войском, не сомневайся.

— Поживем — поглядим,— безразлично бросил Овсеп.— Я этого не знаю, я не провидец.

Главной неожиданностью сражения оказалось то, что пехотинцы Косого бились лучше его конницы, хотя по крайней мере четверть ее составляли опытные воины и руководил ею бывалый сотник.

Анийцам пришлось обильно напиться боя. Марк потерял убитыми тридцать девять человек, Манук — четырнадцать. Ванцам досталось меньше. Аветис, из-за горячности которого возникла давка в проломе, продолжал горячиться, кинулся на копья пешего строя раньше основательно действовавшего Марка, погиб сам и положил одиннадцать конников. Пятеро погибло у Каро. Всего (вместе со злосчастливым стяжателем Сукиасом) — восемнадцать. Еще — тяжелораненные. При отряде было два милосердных брата, послушники Арджешского монастыря, и теперь они как в котле варились.

На следующий день после боя Григор решил погребсти всех убитых — около семисот. Сразу заворчал Овсеп: дескать, не подобает благоверным христианам погребать еретиков, пусть их воронье склюет. Соскучившийся по внукам Марк поддержал его, проронил, что почва возле Цахкео каменистая. Ни слова не говоря, Григор взял лом и пошел долбить землю. Вскоре к нему присоединился Манук со скалолазами; потом и прочим стало совестно. Для тондракитов вырыли общую могилу. Своих хоронили по отдельности, настрогали в дубняке досок, установили кресты, на которых Григор выскоблил имена. Трудились от зари до зари целую неделю. В конце ее случилась беда. Манук, сооружая завальную стену, посадил левую ладонь, обмотал ее грязной тряпкой, а Григору пожаловался на боль, когда вся кисть распухла и окрасилась серо-зеленым, явно гангренозным цветом. Милосердные братья подтвердили гангрену. Григор сказал Мануку: «Отрезать придется». Манук всплакнул, но тут же ухмыльнулся и предложил: «Отсежь быстрее будет. И — сам давай-ка. У тебя машок точный». Ни всякий случай Григор отнял ему руку по локоть. Рубил булаткой, подаренной Мушегом, и, когда Манук очнулся, сказал ему: «Саблю возьмешь себе». — «Не возьму. Я весь, с руками и ногами, не стою такой сабли». — «Ты-то конечно. Ну а мать, сестры?» Манук, снова поплакав и поухмылявшись, согласился.

Простились с анийцами (Марк поехал в Арджеш за девочкой Нвард) и двинулись домой.

Там их ждало нечто невообразимое: безумные восторги, безмерные задаривания, торжественные молебны. Сражение среднечисленных отрядов нарекли «битвой при Цахкео». Григора дружно величали «цахкеоским героем», Овсеп и Каро — поглуше, но тоже достаточно звучно: «цахкеоскими удалцами». Мушег надрывался пуще всех, пока у него не сел голос. Разликовалась даже Няня. Дом перестал быть домом — превратился в денно-нощное пристанище поздравителей. Пожаловал и Гурген, в глазах которого уже сверкала орлиная царственность. Не приехали только дядя и Овик, за что Григор был очень им благодарен, хотя стосковался по ним и вспоминал их с тянущей за душу нежностью. Между ними и им сейчас — стена, вроде той, которую соорудил на тропе Манук. К подобной стене и приближаться опасно.

...Происшедшее мучило его еще больше, и он постоянно норовил забиться в какой-нибудь угол, чтобы все осмыслить. Куда там! «Где наш цахкеосец? Ты, Григор, молодчина! А ну выпей за себя!» Овсеп и Каро от немолчной хвалы, от даров почти спятили. Овсеп упился мертвецки и заорал, что его мало уважают и что он этого так не оставит. Григор совершенно растерялся. Зато мгновенно сориентировался Мушег: съездил Овсепу по скуле, подхватил его, блаженно захрапавшего, и отнес в сторожку, потому что другого свободного помещения в доме не оказалось. Тогда Григор спросил Мушега: «Может, хватит торжествовать?» Мушег отмахнулся: «Дай людям порадоваться!» — и в который раз за последние дни глянул на него с неодобрительным удивлением.

Наконец радостная буря утомилась, но Григор едва держался на ногах. Он спал, ел и снова валился в постель.

Вот такого, перезаспанного, его разбудила Няня:

— Симон зовет. Просит не мешкать. Повозка за воротами.

Сразу догадавшись о причине вызова, Григор наспех привел себя в порядок и побежал к повозке, которая доставила его в собор святого Фомы. Симон стоял у амвона, оглянувшись на торопливые шаги Григора и, пройдя с ним в ризницу, бесстрастно сообщил:

— Саак разгромил Трдатскую обитель.

— Это же настоящая крепость! — закричал Григор. — Полтора месяцев не минуло, как Косой драпанул от Цахкео!

— Ты в храме, — с тем же спокойствием сказал Симон. — Выбирай, пожалуйста, слова и произноси их потише. Саак набрал в Тароне двести пятьдесят воинов. Вот и все, что мне известно.

— Не все, — хмуро возразил Григор, глядя на его бронзовый нагрудный крест (умеренностью щеголяет, подумалось).

— Да, — спохватился Симон, — третьего дня случилось.

— Я хочу поговорить с доставившим известие.

— При смерти он.

— Гурген и Мушег что-нибудь решили?

— Им недосуг заниматься этим. Завтра уезжают в Андзевач инспектировать Гургеновых воинов. Сказали, что Саак — твоя забота. Какие у тебя соображения?

— Никаких. Я вообще лишился способности соображать.

— Верни ее, — безмятежно промолвил Симон. — И послушайся моего совета. Надень на лицо гримасу посветлей. Или же, если болит зуб, выдерни его. А то и мне, сухарю, смотреть на тебя больно.

Он прав, думал Григор, шагая к выходу, и приветливо раскланивался с прихожанами. На паперти задержался. Домой идти неохота. Пошел к морю и по дороге всем встречным расточал широкие

улыбки. Вот так. Мечтал в детстве стать воином или охотником. Стал и тем и другим. Не прочь был, на худой конец, стать уличным лицедем. Тоже стал. А монахом не желал быть и перестал быть. Даже молиться не может. Как может молиться тот, кто сделал не Божье дело, а отвратно-человеческое?.. Нет, тут иное. Но что иное, что?.. Хм, все, как в ту пору, когда, по дядиной указке, написал диссертацию. Видно, опять не свое дело сделал. Поэтому так угрюм. Поэтому и Мушег глядит косо. Мушегу война совсем не в радость, но Мушег делает свое дело. И ни в коем случае нельзя было при нем угрюмиться. Эта угрюмость — тень, бросаема на Мушегову жизнь... Хм, не столько воевал, сколько играл в войну. Мушег бы не играл с Жирайром, постарался бы вмиг уложить...

Море поблескивало. Он сел на камень, и долетающие брызги начали освежать голову. Пора думать о Косом, пора доделывать дело, которого на сей раз никто не навязывал... Почему трусливый Косой, ополчив против себя два царства, немедленно взялся за старое?.. Хм, великая загадка! Во-первых, жаден. Во-вторых, надеется опять выйти из воды незамоченным. Какой он еретик! Он преступник без всяких убеждений. А вот в его пехоте были убежденные в своей правоте люди. Поэтому пехота держалась крепче опытных конников, купленных не идеями, а деньгами. Нужно выяснить, кого он набрал сейчас. В Тароне разного люду полно. Там и охвостье грека Фоки, у которого служило много наемников. Ясно одно: нездешние... И еще одно ясно: Косой набрал их на определенный срок. Едва ли он станет распылять их на зиму, как прежних... Захваченный Трдатский монастырь — твердыня. Следовательно, у Косого пехотинцы. Снова взять скалолазов?.. Нет: слух о действиях Манука разошелся повсюду. Больше Косой не прижмет к горе.

Григор встал и заходил по берегу, озираясь вокруг. Поодаль возвышался причудливой формы утес. Основание его напоминало седло, а верх — тяжело вооруженного всадника... Что-то толковое проблеснуло в голове... Ухватить, ухватить! Ха, панцирные всадники! У Мушега их шестнадцать. Вот кто способен войти в пеший строй, как в масло. Мушег готовится к завтрашнему отъезду. Домой, скорей домой!

Мушега он застал с Айланой и Григориком. Не стесняясь ее, понурился виновато и сказал Мушегу:

— Прости, пожалуйста.

Мушег благодушно ухмыльнулся, потрепал его по плечу.

— Забыто. Айда ко мне.— Когда зашли, велел: — Вытрись. И не рукавом, а полотенцем. Надо же — весь мокрый. Нет, как следует утрись. Вот так. А теперь садись и говори.

— У Косого пехота.

— Это и грудному ребенку ясно. Говори, чего намыслил.

— Мне нужны панцирные всадники.

— Не дам,— отрезал Мушег и, то ли желая смягчить отказ, то ли чтобы поразглагольствовать о своей вящей гордости, пустился в объяснения:— Они на вес золота. При каждом оруженосце, кото-

рый все завинчивает. Этот болтик — три оборота сюда, после — тычок и пол-оборота туда. Другой болтик — по-другому. Так надобно, чтобы враги в случае чего не развинтили. Оруженосцы — умелые алебардщики. Защищают панцирных от крючьев и прочей пакости. — Глянул на угодливо кивающего Григора. — Да и кто их поведет? То же — целая наука. Их только я могу водить. Это тебе не эти самые отправлять... Ну, как их?.. Мовсес, владыка наш праведный, очень любит. Как же их?.. Хир... хер...

— Хиротесии?

— Во-во, эти самые, как ты сказал. У меня и язык не повернется на таковскую похабщину! Это тебе не хером трясти! — И Мушег, страшно довольный сальностью, загоготал.

Григор, ненавидя себя, подхихикнул.

— Ты дома засиделся, — отдышавшись, сказал Мушег.

— Залежался.

— Во, залежался. Не знаешь небось, что Овсеп соизволил принять сотню, которая была у Цахкео?

— Нет.

— Соизволил. Понравилось начальствовать, во вкус вошел. Так. У Косого на тебя зуб. Подбери справного телохранителя. И не откладывай в долгий ящик, ладно?

— Займусь незамедлительно.

— Так. Значит, привычных людей — сотня Овсеп и тридцатка Каро. — Приласкал затылок, похлопал мясистыми веками. — Гурген трон под собой учуял. Мы завтра едем обозревать его тысячу. Гурген нынче убогатворенный, с ним проще стало. Так. Ты поразмысли, кого и сколько тебе нужно. Время есть. Косой — мерзлявый, он снова на зиму притаится. Но его двести с лишним разбойников будут при нем, а это — не иголка в сене. Сыск сведает, где они. Так-то.

Григор решил подступиться издалека:

— Анийцев привлечем?

— Нет. Ты вернул самый чуток церковного достояния, и мы не станем учинять дележку. А анийцы этого требуют. Сумеешь все воротить, тогда... — Вдруг загремел яростно: — Я тебя насквозь вижу! Зачем делаешь с моими мозгами то, что я с бабами делаю? Опять к панцищикам крадешься?

— Крадусь, — вздохнул Григор. — Панцирщики — сила. Я смогу сберечь много людей. Да и понадобится мне всего лишь сотня с Овсепом и Каро. Какая сила будет, какая мощь!

— Ишь зачистил, — самодовольно ухмыльнулся Мушег. — Что верно, то верно — мощь. Одни греки чего стоят! Фалалей, Стахий, Лин, Онисим, Евлогий, Евсевий, два Аристарха! А франки? А германцы? Все — чистое золото. Да не про тебя оно. Ты, конечно, окреп, но в панцире работать не сможешь. Ты его и носить не сможешь. Да и меч — не сабля.

— Мушегик, родной, у меня целая зима впереди. Я потружусь, поднатужусь, поверь мне.

— Ох, до чего настырный!— Бацнул себя по загривку.— Вот где ты у меня сидишь! Слезешь или нет?

— Не-а.

Мушег отдулся, поместил на лямках свои лапы с толстыми, как тутовые сучья, пальцами, задумчиво на них уставился.

— Тогда слушай. Всей зимы...

— Спасибо, родной!

— Помолчи. Всей зимы у тебя не будет. Даю срок до Сочельника. Ежели к той поре сумеешь тупым копьём сшибить Фалалея с лошади — согласен. Не сумеешь — крышка.

— Крышка и аминь!— восторженно провопил Григор.

— Да помолчи ты, горлопан! Я уже говорил, что Косой, наверно, послеживает за тобой. Отправишься тишком в мою крепость и туда никого чужого не пускай. Так. А я распоряжусь, чтобы панцирщики погрузили вооружение на телеги и поехали следом. Я заявлюсь до или после Сочельника поглядеть, каков ты. Станешь ладен — научу вождению.— Гоготнул и зыркнул на него изумленно.— Вот чертяка! Заставил меня. Так. А теперь проваливай. Дозволь мне с семейством побыть.

— Уфф... Кланяюсь низко и качусь на все четыре стороны.

Григор зашел к себе, но, увидя постылую тахту, перевел взгляд на окно, где в яблоневой безлистности светилось нежно-лиловое, красивое предзимней и предвечерней красотой небо. Он любил эти неопределенные часы суток, неопределенные времена года, любил и просто так, и потому, что ему нравилось подыскивать для них определительные слова. Но сейчас ничего подыскивать не хотелось. «А и точно, покачусь-ка на все четыре стороны».

Неторопливо зашагав по городу, он уже с неподдельной приветливостью кланялся и улыбался встречным, кланялся и улыбался раньше их. И оттого, что это было им отратно, стало это отратно и ему. Все-таки кое-что он сделал для ближних... Правда, сделался для себя дальним...

Он не выбирал направления, полностью подчинясь слабым дувеньям воздуха то со спины, то с боков, и вот так, словно бы действительно гонимый на все стороны, вышел к рыночной площади. На ней никого не было, кроме птиц и собак, которые подбирали остатки съестного и ссорились без всякой злости, поскольку съестного пока хватало.

Он пожелал испытать, не поубавилась ли набранная за год ловкая сила, присмотрел высокий прилавок, побежал к нему, на бегу повернулся спиной, спружинил ногами и сел на крякнувшие доски.

Только птичье-собачья перебранка нарушала тишину... нет, не нарушала, а, наоборот, усугубляла ее всепоглощающее спокойствие. Хорошо, ой, хорошо!— как восклицала прекрасная и несчастная Суйбик...

Уже смерклось, когда на краю площади он увидел человека. Тот, вероятно, тоже видел его и переминался с ноги на ногу как-то

робко и вместе упорно. Вспомнилось предостережение Мушега. Если этот человек подослан, у него могут быть сообщники. Григор внимательно оглядел рыночные закраины, но больше никого не различил. Выжидать глупо. Он передвинул ременной кинжал на живот и, продолжая озираться, направился к топтуну, который, уставясь в землю, все так же робко и упорно толкал ее. Одет он был, мягко говоря, наполовину. Шагах в пяти Григор сказал:

— Подними голову.

При свете луны Григор разглядел шафренные глаза, вислый нос и захохотал. Это был таронский лицедей Овик, который несколько лет назад разыграл его и обчистил. Неважный вид Овика объяснялся просто: церковь, встревоженная тондракским разгулом, на строго запретила выступления лицедеев, всегда относимых ею к разряду баламутов, а теперь переотнесенных к мятежникам.

— Над злополучным горемыкателем всякий может посмеяться, — укоризненно произнес Овик.

— Да ну тебя! Неужто не узнал?

— Погоди, погоди. — Из его шафренных глаз выпорхнули ослепительные искры. — Ты же цахкеоский герой. Я имел счастье лицезреть тебя на богослужении в честь великой победы. Но почему ты в одиночестве? Почему без подобающей тебе свиты?

Григор напел:

— «В небе не видать ни звездочки, над водой плывет туман...»

— «Две свечи везу я в лодочке, две свечи на Ахтамар», — подхватил Овик, но сразу замолк и, перекрестив взглядом смеющегося Григора, всплеснул руками. — Да-да! Тот самый монашек, которого я немножко облегчил на берегу какой-то речушки... Однако ты очень изменился. На переносице нашлапка, какие мы из теста мастачим... Нет, у тебя она настоящая, костяная. И вообще ты здорово поздоровел. Чуть помолчав, сказал с наставительной ласковостью: — Ты не должен быть на меня в обиде. Я оставил тебе превосходную сумку, изумительную мантию, восхитительную рясу, роскошную бутылку и серебряный динар. Почему — сам не пойму... Нет, понимаю. Ты из тех лопухов, прости меня и не сочти это за лесть, с которыми становишься лучше.

Новое и чрезвычайно существенное появилось и в Овике. Он, конечно, играл, но его игры, прежде заметной, сейчас не было видно. Он совершенно не притворялся, а совершенно претворился в игру, и невозможно было не поддаться его обаянию. Игра эта радовала Григора и потому, что Овик, знавший его не Магистром, а Мигалкой, продолжал держаться с ним, как с Мигалкой — человеком еще не чуждым самому себе.

— Лопух, — повторил Овик тепло и удрученно. — Но на сей раз ничего у меня не получится. Не удастся мне сощипнуть хорошенького кусочка с этого лопуха. Зря я здесь битый час торчал. Ах! «Лопух» — неуместное выражение. Цахкеоского героя в Ване возносят до небес. А все же отчего-то мне кажется, что ты относишься к себе не очень серьезно.

— Даже очень не очень,— весело подтвердил Григор.

— Ого, как сказано!— Глаза его увлажнились, и он, прикрыв их, мазнул пальцами по векам.— Откровенно, проникновенно, преотменно! Запомню и при случае использую.— Засмаковал: — Даже оч-чень не оч-чень, оч-чень не оч-чень... Знаешь, я куме-каю так, что серьезно следует относиться не к себе, а к своему делу.

— Конечно, конечно,— закивал Григор,— но сдается мне, что дела твои на сегодняшний день обстоят средне. Ступай-ка со мной, Овик.

Тот, помявшись, вымолвил:

— Сначала я должен признаться и в другом искусном прохождении.

— Признавайся.

— Я вовсе не Овик. Я назвался так, чтобы снискать твое расположение. На меня — понимаешь? — наитие снизошло. Нет, тебе, человеку, от искусства далекому, трудно понять такое. Твоего брата зовут Овиком, и я угадал это, проник, протиснулся, просочился в это неким шестым, а возможно... да, так оно и есть — седьмым чувством.

Григора повело круговую.

— Кто же ты? — спросил сквозь слезы.

— Мкртч,— не сказал, а скорее пропускал тот свое имя, подчеркнув отсутствие гласных.

— Удивительно!— воскликнул Григор.— И самое удивительное, что моего брата все называют не Ованесом, а Овиком. Право же, диво! Слушай-ка, бывший Овик, мне не хочется с тобой расставаться. Ты ведь сейчас не можешь зарабатывать лицедейством?

— А что ты мне можешь предложить?— заинтересованно спросил Мкртч.

— Мне нужен телохранитель. Сражаться хотя бы чуть-чуть умеешь?

— Нет,— огорчился Мкртч, но вдруг весь подобрался и едва ли не вдвое расширил плечи.— Зато я умею делать вид, что умею сражаться. А если это надобно, я живо научусь, я любую науку на лету схватываю.

— Научу. Не такая уж хитрая эта наука. Пойдем ко мне. Ты небось голоден, да и одет не по погоде.

На улице перед домом толклись стар и млад, и над всеми двумя колоссами вздымались Мушег и Няня.

— Где ты шляешься?— загрохотал Мушег.— Житья от тебя нету! Я уже послал близнецов искать тебя! Я уже собрался ехать в крепость за воинами!

— Ты велел мне найти телохранителя,— спокойно ответил Григор.— Я неожиданно встретил подходящего человека и договаривался с ним.

— Вот с этим глистом задрипанным?

— Он из Тарона, а там благочестивый христианин нынче не

больно-то разжиреет. Ничего, у нас подкормится. Я с ним познакомился, когда ходил в Ани. Он замечательный воин.

— Откуда ты знаешь, что он замечательный? Ты что, в деле его повидал?

Мкртч снова совершил таинство своими раздвижными плечами, приблизился к Мушегу, скромно улыбнулся и произнес с внушительной хрипотцой:

— Воин я самый завалиющий. Знакомство мы свели в харчевне, выпили малость, и я, поди, расхвастался по пьяной дури.

— Гм, да ты и впрямь воин,— сказал ему Мушег.— И, похоже, заправский. Как же я сразу не признал? Ладно, ступай кормиться. После разберусь, кто такой, зачем и прочее... Гм, надо же — я не признал воина!

Действия панцирных всадников Григору довелось наблюдать год назад на войсковом учении. Да, они — силища, но весьма незатейливая. Мушег тщеславится ими, потому и забубнил о какой-то сугубой премудрости вождения. Их атаку и себя в ней Григор отчетливо представлял. Просторной выстройки клин (трое — спереди, по семеро — на боках, оруженосцы — внутри) пробадывает копьями щитовую загородку пехотинцев, копья отбрасываются, вынимаются мечи, и клин вламывается дальше и одновременно расходится вширь. Слагаемые успеха — ровная местность, желательно с небольшим покатом для набора скорости, и внезапность нападения. Разумеется, чтобы работать в массивном доспехе, необходимо будет поднарастить мышцы.

Ясно было, почему Мушег так быстро удовлетворил его просьбу. Хозяйственный Мушег за милую душу сам повел бы дорогостоящих наемников, но с высоты Мушегова положения не подобает опускаться до этого. И вот — удобная возможность без чрезмерного риска испробовать в деле этих греков, франков и германцев. Мушег озаботится подготовкой дела, а осуществление предоставит ему.

В обслуживающей отряд мастерской Григору за несколько дней сковали весь доспех с учетом того, что мышцы раздадутся; и в середине ноября Григор приехал в Мушегову крепость. Жизнь там текла невесело. Для законной семьи Мушега было слабым утешением, что она законная. Но Григор не веселиться приехал. С утра он залезал в панцирь и орудовал то копьем, то мечом, истребляя чучело за чучелом.

Мкртч обжулил его повторно. Впрочем, на сей раз это и жульничеством нельзя было назвать. Мкртч, солнечно лучась или слезно печалась, отказывался учиться военному ремеслу. Григор не злился. А что пользы? Таков уж Мкртч — мирный пройдоха, которого ни таской, ни лаской не переиначишь. К тому же здешний священник оказался человеком более чем терпимым, и Мкртч мог сколько угодно потешать обитателей крепости своим необычайно правди-

вым притворством. Вот он — влюбчивая царица Савская, вот — безлюбый фараон, а вот — грозный Иисус Навин перед погружающимися в землю стенами Иерихона. Дети носились за ним гурьбой.

В конце ноября прибыли панцирники, немногословные, отлично знающие себе цену и сполна ее получающие. От Григора им нужно было получить одно — уверенность, что он поведет их по праву сильнейшего, то есть первым вколотится в щитовую стену. И он уверил их в этом, выбив нескольких из седла. Все теперь стало у него иным, чем год назад. Иные люди, иные с ними отношения. Даже лошади иные — степенные, важные лошади.

Давно минуло Рождество, минуло и Сретенье, а Мушег все не приезжал. Никакой тревоги от этого Григор не испытывал. Снег в горах лежит, думал, надо оставшиеся дни использовать с толком.

Он спал безмятежным сном довольного собой труженика, когда однажды на заре услышал бас Мушега:

— Ну детина, ну бугай! А навонял-то как! Не комната — стойло!

Григор разлепил веки, принял поцелуй Мушега и, морщась от его холодных шлепков по плечам, отстранил его руку и натянул ставшую тесной поддевку.

— Что Косой? — спросил.

Мушег гоготнул, отмахнулся:

— Дай сперва поглазеть на тебя. Чего сразу о деле?

— Может, без меня сделаете? Я согласен.

— Ладно, — обиженно посопев, сказал Мушег. — О деле так о деле. У Косого двести четырнадцать пешаков, двадцать восемь конников.

— Откуда такая точность?

— Лазутчика удалось заслать. Трех охранников подкупили. Косой нынче не тот. Ведь его нынешним людишкам ведомо, что он бросил своих у Цахкео. Нынешние его не отпустят. — Озадаченно хмыкнул. — Слушай-ка, да и ты вроде как не тот.

— Я тот. Где Косой?

— У восточной границы. Возле истока Тхмута.

— Что ж он там ошивается со своей людской скудостью? — удивился Григор. — У него и двухсот пятидесяти нет, а там равнина. — Понял: — А, на Сурбскую обитель нацелился. Ее укрепили людьми?

— Обеспокоились, — снова хмыкнув, сказал Мушег, пошуркал недоуменно носом и добавил: — У тебя это пройдет.

— Что «это»?

— Ну это... Как же его?.. Ну?.. Как же его... какое?..

— Откуда мне знать, какое?

— Хватит! — свирепо гаркнул Мушег и отошел к оконцу. — Дело показывай, раз уж ты такой деловой. Уговаривались, что сшибешь Фалалея с лошади. Сейчас сделай.

— Можно и Фалалея, можно и сейчас,— проронил Григор.— Только он ведь из самых квелых. Я его где-нибудь в задку клина приткну.— Шагнув к двери, повернулся к Мушегу и объяснил:— У тебя тут никого не дозовешься, все до полудня дрыхнут.

— Каро!— гаркнул Мушег еще свирепей.

Вошел Каро в папаче, поклонился Григору и, помявшись, оставил папачу на голове. Он стыдился своей ранней лысины, не подозревая, что она красит его. У Каро был широкий лоб с двумя мощными выпуклинами, которые продолжались на темени. Волосы скрыли бы рельефную красоту его головы.

Григор, кивнув ему в ответ, велел:

— Сойди вниз, стукнись в первую от лестницы дверь и крикни: «Фалалей, проснись, оденься в кожаное, разбуди оруженосца и ступай к начальнику». Медленно крикни, а то он по-нашему еле чужфывает.

Через полчаса они — Григор и Фалалей верхом, Мушег, Каро и оруженосцы — были на булыжной площадке перед цитаделью. Осмотрев Фалалея и увидев небрежно затянутые подпруги его коня, Григор досадливо подумал: «Опять седло елозить будет», но решил, что задаст нагоняй Фалалею потом, и поехал к центру площадки, постепенно переводя лошадь на рысь. Фалалей, держа в левой руке поводья и щит, упер руку с копьем в седельную подставку и разогнался. Плохо он держал копьё, неподвижно, а седло, наоборот, двигалось. Григор вскинул руку с копьём на уровень плеча, склонил наконецником к щиту Фалалея, а когда они сблизчились шагов на шесть, выровнял копьё и, неся его на весу, ударил Фалалея в середину шлема. Фалалей, словно сощелкнутый, грохнулся на булыжник.

— Фалалейчик, миленький ты мой!— бросившись к нему, завопил Мушег, затем — оруженосцу:— Трифон, чего застыл, как истукан?! Вывинчивай болты из шлема! Всего развинчивай!— Убедясь, что Фалалей дышит, обернулся к Григору и затряс кулаками.— Ну амбалище проклятушее! Чуть моего Фалалейчика не сгубил! А он знаешь какой? Он мне стократ дороже тебя! — горланил, но глядел на Григора не с яростью, а с каким-то детским испугом.

В дождливое утро третьего дня Пасхи Григор стоял на берегу мутного Тхмута в панцире, но уже без шлема, мокрый, как сама мокрядь, оглушенный лязгом оружия и доспехов, воем добываемых врагов, стонами своих раненых, ругней тех, кто грабил. Повсюду сыкотно взблескивала сталь, отражая одну-единственную тучу, не чересчур большую, но неиссякаемую, видать. При этой безветрице она невесть когда выльется. Сейчас бы — под синеву, обсушиться, погреться. Но кто его сейчас послушается? А оставлять их нельзя. Порешат, чего доброго, друг дружку из-за пары худых сапог.

Тьфу, сволота! Обутые, а точно босые... И Косого все нет. Из-за него тоже кто-то из кого-то, глядишь, кишки выпустит... Эх-хе-хе, чернь чернящая... Косого-то сохранным доставят: сто номисм — не шутка...

Из общей свалки вытиснулся и, загребая длинными стальными ступнями, пошел к нему панцирник Евлогий.

— Овсеп зовет,— сказал.

— Что такое?

— Зовет.

Григор, ненавидяще бакая локтевыми скобами в чьи-то груди, бока, спины, пошагал за Евлогием. На другом конце поля широко раскинулся в повозке лежащий ничком Овсеп, а над ним сидел с обнаженной лысиной Каро и, как побитый пес, скулил:

— У, гады, у, гады...

Григор оттолкнул его, взобрался на повозку. Овсеповы дела, похоже, обстояли неважно: заголенный мохнатый пах был просажен копьем, торчал обломок. Григор ощупал рану вверх по коже. Да, скверно: пробоина кончается у поясницы. Непонятно, почему живой. Овсеп обернул к нему лицо, выхрипел:

— Что, худо?

— Паршиво.

— Мне бы священника,— помолчав, сказал Овсеп.

— Где ж я тебе его выкопаю?— И вдруг вспомнил:— Поймай, я ведь священник. Не тревожься, все как надо сделаю.— Сунул было руку за ворот, но панцирь не пустил ее.— Потерпи, покуда меня развинтят. Крест у меня ахтамарский, мне его владыка Бабкен пожаловал,— сообщил внушительно.

Овсеп ослабил:

— Какой ты священник? Ты нынче и крестом драться можешь.— Приложил к паху ладонь, отнял и поднес ее, грязно-красную, к глазам.— Нет, ты не священник.

Слева раздался топот. Приближалась четверка всадников. Передний вел в поводу лошадь с переброшенным через круп мешком. Всадники, злобно пихаясь, отвязали его и швырнули на землю. Он заворочался, закорчился. Мешковина выделяла то руку, то ногу. Больно было тому, кто был в мешке.

— Точно Косой?— холодно спросил Григор.

Всадники загалдели:

— А как же, начальник? Я что, безглазый?

— Ты, ты! А кто за ним, сукой, с зимы следил?

— Он следил! А кто брал?

— А вязал кто?

Все спешили, и каждый ухватился за мешок.

— В клетку его,— велел Григор, указывая, где клетка, и тут словно бы раскаленное сверло от виска к виску прокрутилось, и он почувствовал, что безудержно моргает.

Никто не виновен, как я,
Как я, никто не порочен,
Никто грехом не источен,
Никто не безрассуден,
Никто не безумен, не буен,
Не злобен, не звероподобен,
Никто в соблазн не введён,
Не замаран, не осквернён,
Не устыжён, не осуждён,
Я, только я, и никто другой!
Всё это — я, всякий грех мой!





КНИГА ПЯТАЯ





БРАТЪЯ

В ночь на 25 августа 1001 года Григор проснулся с ощущением тонкой прохлады, счастливо вздохнул, посмотрел в оконный проем, усеянный ярко-белыми, лучистыми, словно солнечное осколье, звездами, и прошептал: «Спасибо». С этим ощущением он нередко просыпался в последнее время. Вся кожа, как обычно, в испарине — вот так из ума и души выходит морок сомнений. Сейчас он выпотеет полностью, сейчас... Уфф, до чего приятно! Теперь — привести тело в соответствие с душой и умом.

Он оделся, отворил скрипнувшую дверь, петли которой все собирался смазать, вышел во двор, перекрестился перед ближним дифизитским храмом, потом — перед другим и пошел к стене, где лежала приставная лестница. С верхней ступеньки он на руках подтянулся до надстенного выступа, встал там, выглядел снаружи местечко поровнее, вздернул подол подрясника, завязал узлом на животе и, придерживаясь пальцами за выступ стены, чуть повисел снаружи, чтобы перестать раскачиваться, и спрыгнул.

Лето нынче на редкость знойное. Речушка почти пересохла, однако с питьевой водой забот нет. Похоже, что и не будет: август на исходе. Хотя — как знать? — парко даже ночью. Он прислушался к шелесту простых мыслей, которые всегда, пока удерживалась в нем тонкая прохлада, радовали... Не то выражение... Веселили. Тоже не исчерпывающая точность, но сейчас уточнится... Ага: тихо веселили. Чувствуя на лице блаженную улыбку, он побрел к морю.

Оглянулся на южную башню. Дозорщик похрапывает знакомо. Филарет, что ли?.. Филарет, он самый. Забавный он.

Вдоволь наплававшись в неподвижной воде, Григор, не вытираясь, оделся и, обогнув обитель с дальних от дозорной башни северо-восточных стен, выбрался на дорогу и направился к отцовской могиле.

Ослепительно белели звезды, внизу их силилась повторить беломраморная толченка, которую весной велел насыпать Овик. Теперь они с Овиком часто сюда приходят, однако порознь, а когда ненароком встречаются, молчат и, только отойдя, заговаривают, но не об отце.

Овик, став настоятелем Нарека, от епископского сана отказался, зато ему, Григору, то и дело навязывает докторскую степень, обосновывая это бесконечными доводами, что Нареку позарез необходим доктор богословия. Зря старается. Овик очень забавен. Свое чрево он уравновесил не меньших размеров седалищем и ходит, слегка приседая. Что-либо втолковывая, он сперва производит руками вертикальные нырки, затем совершает круговые движения, будто плавает, и то приседает, то поднимается. Э, Овика нужно видеть! Его заплывшие жиром, но всегда ясные глазки, его дебелую курносость, его обрамленную клочками седых волос, постоянно влажную плешь (приятно влажную, как бы росой орошенную), — э, Овика видеть нужно! И — слышать. Чего стоит Овикова история о лекаре Хайке, который врачует его иглами — от волчьих позывов к еде. Оказывается, Хайк уже лет тридцать записывает легенды о сасунском Давиде. Труд, конечно, полезный, но велеречивому Хайку не дается грубый народный слог. Записывает все же. И однажды вручил записи Овику. А пишущему человеку Овик отказать не может. Сел и принялся исправлять. Но какая тут правка? Тут заново все делать надо. Овик отложил крупные листы (числом около тысячи), заполненные уборым почерком, и, когда Хайк пожаловал в очередной раз, ласково заговорил: «Отчего бы тебе не жениться? Сколько можно цветущему мирянину жить холостяком? Прелюбодейничаешь небось?» — «Никогда!» — на сей раз отрубил Хайк без всяких экивоков. Овик заинтересовался: «Почему так?» — «Я еще в молодости подсчитал, что один половой акт лишает меня творческой активности, коей достало бы на четверть страницы». Овик укоризненно покачал головой: «Значит, четыре тысячи человек ты бы мог содейть взамен этого».

За обелиском Григор нашарил тряпку и, смачнув заметную и ночью на габбро пыль, начал ногтями выскребать сор, который набился в утопленные буквы надписи «РАБ БОЖИЙ ХОСРОВ». Затем вычистил даты «894—964». Затем — крест наверху. Когда-то обелиск казался ему мрачным, а в последнюю пору — вовсе нет, каким-то домашним даже. Да, хорошо здесь, уютно, как дома, спокойно, мирно... Человека значительней отца он не встречал, и этим отрадно гордиться, хотя и дурно, конечно. Заранее зная ответ, он спросил себя: чем же пуще всего определялась отцовская значи-

мость? Честностью. Не полной, увы, но, по крайней мере, восьми-десятипроцентной. Говорят, отшельник Акоп стопроцентно честен. Э, мало что говорят! Охочи творить кумиров, вот и говорят.

Григор глянул на холм, где когда-то стояла хижинка Лейли. Крестьяне разобрали саман и доски для строительных нужд. Скверно он поступил с Лейли и ее матерью, не по совести. Няня, та хоть денег дала им. А он что? Обещания, звуки пустые... А ведь, наверно, есть у него сын, которому нынче тридцать... Не наверно, а наверняка... Тьфу, вогнал себя в жар, не сберег ощущения, которое не каждый день посещает... Мушег когда умер?.. В 995-м. Но Мушег продолжил себя в Григорике, искусном воине. И — добряке, насколько воин может быть добряком... Что есть война, кроме желания завладеть чужим или готовности отстоять свое? Конечно, она и выброс дурной крови. Прошлой зимой в Ване, когда случилась гололедица, он нагнал двух дряхлых старушек, которые скользили, уцепясь друг за дружку локотками. И вдруг слышит: бранятся. Одна: «Знать тебя не хочу!» — и такие слова прибавляет, какие не всякий мужчина скажет. А подруженька ее в долгу не остается. Но идут рядом и до того прочно уцепились локотками, что видно: ничего худого между ними не стряслось — просто спускают дурную кровь. Занятную в этом отношении шутку выкинул когда-то дядя: кошку назвал Мышкой. А та возьми да и брось ловить мышей. Хм, как во всех дядиных шутках, содержалась и в ней изрядная доля серьезности... Мучительно умирал дядя. Мука и вспоминать о его кончине. Католикос незадолго до этого настоял, чтобы дядя письменно выступил против тондракитов. Дядя так и начал: «Перед смертью, не по доброй воле своей, а исполняя повеление католикоса, проклиная тондракитов». Тем самым он умно затупил проклятие. Об этом до сих пор толкуют... Да и какие сегодня тондракиты? Безобразят порой, но не те они, что раньше...

Григор отвел взгляд от могилы и поморщился, припомня собственное «Послание против секты тондракитов». Заголовок-то до чего поганый! Да и все пронизано поганью, какая цвела в нем, когда он, широко расставив ноги в раструженных панцирных поножах, любовался побоищем, которое учинил на берегу Тхмута. К вечеру того же дня сам себе омерзел и на год ушел в затвор, заперся в подвальной келье Сурбской обители. Спустя год приехали дядя с Овиком, забрали его...

Нынче совсем иные времена. Большую силу набрало Анийское царство, там правит деятельный и просвещенный Гагик. А здесь — Сенекерим. Инертный; и все, что он ни делает, — с оглядкой на империю, откуда на землю и воду отбрасывает серую тень грубый, страховидный, косноязычный Василий. Его-то инертным не назовешь. Лет десять назад он заставил весьма воинственного русского князя... Как бишь его прежнее имя?.. А, Мировластодержец¹. Типично языческое имя. Да, заставил этого Мировластодержца (язык

¹ Князь Владимир Красное Солнышко.

свихнешь, пока выговоришь) принять вместе с дифизитским христианством и имя *Василий*... Приятно думать, что иконописец Шек сумел вернуться на родину...

Книга, слава Богу, подвигается. Уже конец виден. Но работы предстоит немало. Сколько узлов надо увязать, сколько швов загладить! А он все теорией сочиняет. Уймищу насочинял, и они мешают работать. Византиец Симеон Студит ничего не сочиняет, берет все как есть, и до чего здорово берет! Как это у него? «Бог столько познается нами, сколько может кто увидеть безбрежного моря, стоя на краю его ночью с малой в руках зажженной свечою. Много ли, думаешь ты, увидит этот из всего безбрежного моря? Конечно, малость некую или почти ничего. При всем том он хорошо видит воду ту и знает, что перед ним море, что море то безбрежно и что он не может его все объять взором своим». Чем не опровержение теории Клавдия? Господи, дана же Тобою некоторым такая вера, такая мощь!.. Интересно, что Симеон, по сведениям, которые удалось добыть, сходной судьбы. Тоже знатного рода, тоже уходил из обители и даже служил сотником у Иоанна Цимисхия...

Мешает работать и клевета, что они-де с Овсепом ограбили купцов. Дым не без огня. Дядя как-то рассказывал, что Павел Амуни при участии Овсеп (принудил того) поразбойничал в Междуречье. А все потаенное вылезает наружу. Вот и вылезло, пускай и в искаженном виде. Клевету опровергать незачем. Глупо отрицать голословное обвинение. Так-то оно так, но работать мешает...

Однако хуже всего сказались на работе последние пять-шесть лет, когда ожидался конец света. Предзнаменований, особенно накануне 1000 года, было предостаточно. То изумрудное свечение в небе, то трехдневный ливень с градом, то слухи, что какая-то скала сгорела, как дерево, или что в Ани рогатая девочка родилась... Сам он в конец света не верил, однако работать в апокалиптической атмосфере не мог. Да и почти все в царстве, верящие и не верящие в этот конец, словно оцепенели. Сельское хозяйство, ремесла, торговля — все разладилось. Омертвела и церковь. Только в нынешнем году люди зашевелились. А он такой же, как все. Перед 1000 годом и в 1000-м ему и мизинцем шелохнуть тяжело было.

Что до Овика, то он хорош гусь. Овик, чтобы подстегнуть его, организовал заказ на книгу от Рштуникской епархии. Хочешь не хочешь — корпи, труби. Месяц назад Овик взял читать еще сырую рукопись, и сегодня предстоит ох нудное толковище...

Ничего, дано и ему кое-что. Он не так крепок, как Няня, как яблоня за отцовым окном, но и он пока ничего...

Григор посмотрел на потускневшие звезды. Монастырские ворота либо открыты, либо их вот-вот откроют к утрене. Пора идти. Он улыбнулся надгробью, встал на колени, поцеловал надпись, поднялся и, не оглядываясь, пошел к Нареку.

Овик стоял у ворот, его плешь вспотела. Разволновался, дурень.

— К могиле ходил? — хмуро осведомился Овик.

— К ней.

— Опять через стену лазил?

— Не будить же Филарета.

— Филарету положено бодрствовать, когда он дозорничает!— вскипел Овик.— А тебе не двадцать лет и не двадцать один. Сломаешь ногу.— Легко присев, изобразил нырками ладоней и плавательными движениями, как нога разлетается вдребезги.— Работать кто будет?

— Я пишу рукой.

— Левой,— нашелся Овик.— Меня огорчило твое сочинение. Я до утра глаз не сомкнул.

Вошли в некогда дядин дом. Овик занимал в нем нижнюю комнату. Наверху все осталось, как при дяде. Рукопись с несколькими торчащими из нее кожаными закладками лежала на столе. Овик придвинул к столу кресло. Сам, нарочито старчески побряхтывая, опустился на стул.

— Так.— Овик открыл рукопись ближе к середине.— Объясни, что сие значит. «Он, оставаясь неотъемлемой частью славы престольной и ни на миг не лишаясь связи с Родившим Его, вошел в обиталище лона девы простой и вышел оттуда сутью трудноопределимой,— Божественностью беспредельный и человечностью совершенный».— Овик грозно сверкнул глазами.— Объясни, пожалуйста.

— Дифизитское христианство,— спокойно проговорил Григор.

— Чудесно, чудесно!— как кипяток, заклокотал Овик и залетал руками во все стороны.— Чудесно, что не кривишь душой. Мне придется кривить, так?

— Ооох!

— Мне, мне! Ты не желаешь задуматься, в какие сложные времена мы живем.

— Про сложность времен я с детства слышу. Надоело!

— Не ори.— Овик повеличественел и мановением ладони указал на лист с отчеркнутыми стихами.— Ты ведь знаешь, что я человек безмерно терпимый. Подтверждение моей терпимости — наша дифизитская община, которая продолжает существовать, невзирая на злобное твяканье из Вана, из Востоана, из мириад обителей и отшельнических келий.

Григор поднялся, отошел к окну.

— Овик, зря лукавишь. Ты боишься ответственности за эти стихи. Так ведь?

— Какие стихи! Каждое слово горбом торчит!

— Глаже не сумел.

Овик двинулся в обход:

— Ты предал теорию Клавдия.

— Точно, предал!— ухмыльнулся Григор и процитировал отрывок из Симеона, вспомненный у могилы.— Вот тебе опровержение Клавдиевой теории.

— Эмоциональное опровержение, всего-навсего эмоциональное, а не логическое!

— С меня будет и такого.

— И вообще, ты поддался Симеону. Ох, в черный день завезли сюда его писанину! Две трети твоей книги — гигантская энергия преодоления невозможного, постоянная война с самим собой. Книга прежде всего прекрасна этим. И вдруг ты начинаешь воспарять, как пух тополиный. Кому такое, кроме тебя, надобно? — скорбно спросил Овик и завозил рукавами по мокрой плечи.

Григор, тщательно выбирая слова, заговорил вполголоса и замедленно:

— Симеон помог мне. Очевидно, какой-то выход из бесконечного покаяния я и сам нашел бы. Без выхода как? Читатель оказался бы в тупике. Я искал выход. Но не находил. И дело бы затянулось...

— Ладно, — прервал Овик. — Бог с тобой. Оставляю твое дифизитство. Я за него буду в ответе, а не ты. Я, я!

— Ну почему же? — мироносно улыбнулся Григор. — Книгу-то все же я написал. Труд, разумеется, соборный, как и любой в христианской литературе. Но ответчик не ты, а я. Что касается влияния Симеона, то неужели ты всерьез считаешь меня эпигоном? Симеон лишь оплодотворил меня.

— Вот это мне и обидно, дурья ты голова! Оплодотворил! Очень точное словцо, но я бы использовал иное. Вдобавок Симеон — грек. Ты — армянин, а он — грек.

— Ну, знаешь, это уже совсем несерьезно.

Овик, чуть помолчав, спросил:

— А две главы, обращенные к Богородице? Они — уступка латинянам.

— Я воспринимаю себя в пределах всего христианства. — У Григора взмокла переносица, и он отер испарину краем куколя. — К тому ж и мы, и дифизиты, и латиняне непрерывно твердим о воссоединении.

— Но идем к открытому расколу.

— А вот это не мое дело. Я не церковный деятель, а писатель.

— Значит, главы о Богородице остаются?

— Остаются.

Овик повздыхал, почесал чрево и заявил:

— Ты мало работаешь.

— Мало?! — возмущился Григор. — С весны — шесть глав. А кто как проклятый строчил теологические писания, от которых меня воротит, которые не мне, а тебе нужны? А кто в академии ведет три предмета?

— Ладно. Ты свободен от всего. Кончай книгу, но...

— Что еще?

— Будь добр, напиши эпилог с похвальными словами императору Василию. Так и быть, можешь воспринимать себя в пределах

якобы целостного христианства, однако следует опереться и на какую-то реальную основу.

— Подумаю. Стилистических замечаний много?

— Увидишь. Со второй половины ты начал повторяться и не-ряществовать.

— Я зверски устал,— виновато промямлил Григор.

— О том, что утомился, напиши в предисловии.

— Слушай, мне твои издевки наскучили. У меня во рту росинки сегодня не было, а ты ночью, по глазам вижу, налопался как боров. Опять будешь маяться животом и вызывать Хайка с его иголками и сасунским Давидом.

Овик поднялся, распахнул дверь и донельзя вежливым тоном осведомился:

— Все?

— Нет, не все. Закрой-ка дверь, закрой. Вот так. Тебе известно, что отшельник Акоп захворал?

— Ну и что? Разбежался я к нему, заперхавшему, как же! Велика важность — простыл. Возле него денно-нощно пребывает легион поклонников его проповеднического дара.— Овик сердито хмыкнул, но тут же просветлел.— Вчера мне рассказали, что на какого-то столетнего пердуна Акоп заорал: «Ты меня, дьявол, не тронь, а я тебя все равно трону!» Ха-ха-ахх-хах-хах!

— Анекдотец этот я слышал и по дурости тоже посмеялся. Похоже, у Акопа гнилая лихорадка. Хватит на него дуться. Пожалуйста, отправь за ним повозку.

Овик поскребся в темени, промолвил:

— Убедил.

— Вот и славно.

Григор подошел к нему, обхватил насколько мог его неохватное тулово и поцеловал в потную любимую плешь.

Григор собрался проведать Акопа на третий день после того, как его привезли. Хотя монахи злились на отшельника, покуда он находился в пещере и был притягательнейшим, чем весь Нарек, магнитом для паломников, сейчас наперебой за ним ухаживали. Лечения не понадобилось. Акоп поправлялся. Впрочем, кашлять продолжал, и с захлебами. Страшно довольный своим сердоболием, Овик распорядился поместить его в лучшей гостевой комнате. Она была выложена из остатков черно-зеленого мрамора, который пошел на гостевую трапезную. В иное время года в ней было бы зябко, но теперь в самый раз. На всякий случай ее протопили.

В предобеденное время Григор, зайдя на кухню, уставил поднос блюдами с разной лакомой снедью и направился к больному.

Акоп мало изменился. С этого Григор и начал:

— Ты все такой же. Не знаю, помнишь ли меня. Я Григор, сын владыки Хосрова.

— И ты такой же,— откашлявшись, просипел Акоп, взбил подушку и устроился полусидя.— Человек вообще не меняется. То есть меняется, но облик остается тем же.— Порыскав ореховыми глазами по комнате, сказал:— Здесь почему-то нет стульев. А кресло тяжелое и в дальнем углу.

Кресло было не тяжелым, но громоздким, и Григор, перемещая его ножками по полу, приставил к постели и облокотился на его спинку.

— Слушай-ка, я по делу,— признался.— Заканчиваю книжку покаянных молитв, и что-то мешает мне, рассредоточивает. Ты ведь с неделю здесь пробудешь?

— Не дольше,— просипел Акоп.— Меня здесь умыться заставляют.— Понимающе глянул на него.— Хочешь пожить в моей пещерке?

— Хочу. Здесь меня все отвлекает. И все жду чего-то. Чего — не знаю, но жду.

— Я читал твои покаянные молитвы,— сказал Акоп, поглядывая на потолок.— Паломники приносили. Дело, по-моему.— Кивнул.— Дело, ага.

Григор придвинул к нему поднос.

— Есть не стану,— замотал головой Акоп.— Ты уж извини. Не влезет. Не привык столько есть.

Григор оглядел очерченные рубахой костистые Акоповы плечи.

— Заставь себя,— произнес внушительно,— сейчас еда — твоё главное лекарство.

Акоп засмеялся и разом закашлялся. Был он предельно естествен. Фальши в нем ни на йоту не было.

— О пещерке мы договорились,— прохрипел наконец.— Но, кажется, ты желаешь побеседовать еще о чем-то.

— Тебе же трудно.

— Сядь, пожалуйста. Я лежу, а ты стоишь. Вот это и точно затруднительно для меня. Спасибо, Григор. Ты очень понятлив. Беседовать с тобой я буду тихо, чтобы не раскашляться. Скажу по совести: никого другого в пещерку я бы не пустил. Но тебе, видно, необходимо там побыть.— Сел, взбил подушку, сёканул её краем ладони посередине, сложил вдвое и лег повыше, считая, очевидно, что теперь-то уж кашель не доберется до горла, и тут же закашлял. Поводил себя ладонью сверху вниз по груди и хриплым шепотом сказал:— О чем-то ты хочешь спросить.

— Да. Но я приду завтра или послезавтра.

— Сейчас спрашивай. Для нас обоих будет лучше, если в пещерку ты отправишься сегодня. Спрашивай, а я стану отвечать вот так, шепотком.

Добрые глаза были у Акопа. Добрые, спокойные и очень широко расставленные. Может быть, Григор забыл необычайно широкую расстановку его глаз, а может,— кто знает?— с годами она расширилась.

— Видишь ли, давным-давно смущает меня некая догадка о

Творце,— нерешительно начал Григор и вдруг впервые в жизни весьма связно изложил гипотезу Клавдия.

— М-да, я тоже об этом много думал,— не сразу заговорил Акоп.— М-да, и меня смущает изначальное и неодолимое зло. Победившие христиане стали преследовать нехристиан, разрушать их храмы.— Акоп вдохновился, голос его с каждым словом очищался от хрипоты и усиливался.— А кто знает путь к истине? Кто вправе сказать: я знаю, каков Творец? Чем индус или перс хуже нас с тобой? Почему же заповедь «не убий» перестает быть обязательной для нас с тобой, когда мы встречаемся с ними? Творца можно уподобить морю, и только несметное множество людей, наблюдая это море с разных мест...

— Ты читал греческого гимнографа Симеона Студита?— не выдержал Григор.

— Нет.

— Прости и продолжай, пожалуйста.

— А чего продолжать?— вздохнул Акоп.— Тебе же все ясно. Или, вернее, как и мне, ничего не ясно. Разве самое простое и разумное — Моисеевы заповеди — выполнимо? Я жизнь положил на то, чтобы хоть как-то придерживаться заповедей, но в помыслах постоянно нарушал их.

— Есть все-таки разница между помыслами и их осуществлением.

— Отличка не в этом. Есть люди действия, и есть устраняющиеся от него созерцатели. Я из последних. За всю жизнь ничего не сделал. Паломники приходят ко мне, чтобы на миг очистить душу, и уходят, чтобы снова ее загрязнять. Действие никогда не бывает беспримесно чистым. А Творец деятелен, как никто. Вот почему я не в состоянии опровергнуть твою гипотезу. Но это не значит, что она неопровержима. Все может оказаться иным, все...— С интересом глянул на поднос.— Дай мне, пожалуйста, яблоко. Вон то, побокастей.— Скаля ослепительные зубы, он мгновенно сгрыз огромный, с оба свои кулака, артемедский плод.— Так что ничем не могу тебя утешить. Да, порой случаются минуты, когда я верой полностью приемлю вседоброго Создателя. Приемлю и люблю. Но это — минуты. Посуди сам, могу ли я вечно любить всеохватную и неустанную деятельность, если сам я бездельник?.. Говорун, и только.

— Неправда,— убежденно сказал Григор.— Люди жаждут чистоты и получают ее от тебя, пускай и на малое время. Недаром же они так чтят тебя. Ты именитейший человек в царстве.

Акоп засмеялся и опять закашлялся, но на сей раз покашлял, похоже, в удовольствие, ибо, кашляя, не переставал сиять глазами.

— Мое имя забудут тотчас, как я умру,— выговорил наконец.— У подножия холма появится еще одна могила, а в пещеру вселится кто-то другой.— Помолчав, закивал Григору:— Я наслаждаюсь нашей болтовней. И знаешь, почему? Потому что впервые в жизни

говорю о себе, ничтожном. Подай мне, пожалуйста, вон то яблоко. Кого я чту, так это артемедских садовников.— И он опять захрустел плодом.

— Нет, твою жизнь никак нельзя назвать ничтожной.

— Слушай, мы толчем воду в ступе!— Акоп возмущенно взмахнул свободной рукой.— Давай-ка хоть преподам тебе житейски полезные указания. Жара, видать, продержится долго, поэтому паломники вряд ли наведаются. Так что обязательно запасись съестным. Еще одно. Прошлым летом меня навестил громадный медведь. В пещеру он не пролез, но целые сутки слонялся у входа и норовил уцепить меня. Нынешнее солнце подсушило его, он может забраться внутрь. Вот почему я на ночь развожу костер. В пещере лежит роскошный нож, которым наградил меня за душевспасительную беседу суеверный курдский хан, принявший в Ване христианство. Взамен потребовал монетку или что-нибудь острое и забрал мой топорик, годный гораздо больше для рубки сушняка. Нож я порядком зазубрил. Все равно сушняк он берет. Над входом в пещеру найдешь кремь и огниво. Все, до свиданья. А то я совсем охрип. Спасибо за чудесные яблоки.

Выходя от него, Григор думал, что этот человек, пожалуй, честнее отца. Однако отец был значительней. Не все решает честность.

Небо прояснилось, вернулся зной. Григор, измаянный нытьем в пояснице, прогрел ее на солнце, и она затихла. Теперь можно будет отоспаться. Он вскарабкался к тутовнику, попил, погрыз орешков и спустился к пещере. В промозглые дни он, опасаясь за поясницу, только лицо ополаскивал и — странное дело — при-
вык к своей грязи. Очень радовало исчезновение жировой складки над животом. За шесть суток он стал худ и легок, как в юности. Спать, спать... Сквозь сон слышал шаги.

— Пещерник?— прогудел знакомый голос.— А ну-ка выберись наружу.— Человек басил по-отцовому.— Погляжу на тебя.

Григор, заморгав, вылез. Перед ним стоял отец, каким он запомнил его в конце жизни. Только весь увешанный оружием. «Саак, брат мой!» — догадался Григор и заморгал еще пуще.

— Я напугал тебя?— спросил Саак, и его тонкие брови вместе с глазами уголками приподнялись.

— Да. В окрестности медведь слоняется.

— Жаль, не встретился мне,— усмехнулся Саак и, продолжая разглядывать Григора, бросил разочарованно:— Тебе ведь лет тридцать пять.

Григор промолчал.

— До Нарекской обители за сколько доберусь?— то приподня-
мая, то опуская брови и уголки глаз, справился Саак.

— На лошади?

— Да.

— За полчаса. Дозволь осведомиться, откуда и зачем едешь? Я ведь не отшельник. Я нарецкий монах. Скоро вернусь в обитель.

— Мне скрывать нечего. Еду из империи к своему брату, к гимнографу Григору Нарекаци.

— Гимны Григора знают в империи?

— Его гимны знают все греческие армяне.

— Скажи, а не доводилось ли тебе встречаться с Симеоном Студитом?

— Симеона не встречал. Но сочинения его читывал.

— Вот кто прекрасный гимнограф!— вырвалось у Григора.

— Можно и так сказать. Только наш Григор лучше.

— Чем же?

— У Симеона поднебесья многовато. Не Гóспода, но поднебесья. Поэтому его стихи — достояние узкого круга образованных людей. А наш Григор — поэт всенародный.

— А ты кто?— стараясь говорить спокойно, спросил Григор.

— Раз уж ты нарекец — отвечу. Был когда-то и я тондракитом. Одним из тондракских вожakov.

— И что ты можешь сказать о тондракитах?

— Рядовые — либо беспочвенные мечтатели, либо люди, которым некуда деться. Вожаки — совсем иные. Они обычно бесстыжие властолюбцы. Для них тондракские грезы — всего-навсего ряднина, в которую они рядятся за неимением другой.— Саак вскинул голову, колюче прищурился, совсем по-отцовому.— Встречаются среди них и дураки двух видов. Первые дураки, видя тондракскую, довольно мелкую правду, полагают, что она всечеловеческая. Вторые же дураки, различив правду побольше, силятся обмануть самих себя, твердят себе, что правда первых дураков правдивей. В последнее время я записывал эти свои соображения. Пухлая книжица получилась. Она у меня с собой. Интересуешься — прочтешь.— Невесело хмыкнул.— Был когда-то и я редкостным дураком.

— Которым?

— Ох, до чего дотошный!— Саак покрутил головой и сдвинул шлем на безволосое темя.— Вторым.

— Ты сказал о себе: «когда-то». А после?

— Обычный наемник.

— Нижний чин?— спросил Григор уязвленно.

— Нет. У меня накопился некоторый опыт начальствования, да и имя прозвучало. При императоре Василии я руководил среднекрупными соединениями.

— А кем собираешься быть в Нареке?

— Послушником.— Саак забеспокоился.— Внизу я привязал лошадь с сумой, набитой золотом. Меня примут, как считаешь?

— Примут. Настоятель Нарека, Овик,— твой средний брат.

— Почему называешь Ованеса уменьшительно? У вас что, короткие отношения? Окажи милость, поедem со мной,— сказал требовательно.

Но Григор все еще чего-то ждал.

— Мне-то зачем ехать? Разве брат может не приютить брата?
— Всякое бывает,— вздохнул Саак.
— Поезжай,— твердо сказал Григор.— Сошлись Овику на меня.

— Как тебя зовут?

— Григором.

Саак, внимательно осмотрев его, проговорил:

— Ты очень похож на мою мать. Будь ты постарше, я принял бы тебя за своего брата.

Григор понаблюдая сверху, как Саак, легко отделяясь от земли, сел на лошадь и помчался в направлении Нарека.

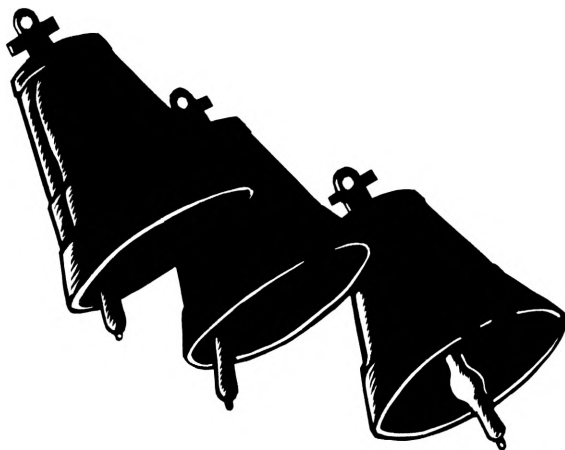
Вернувшись в келью, Григор подумал: а чего, собственно, он ждет? Дождется — это уж как пить дать,— что братья, оба норовистые, разругаются. Он взглянул на зенитное солнце. Сегодня — воскресенье. Литургия продлится до трех пополудни. Значит, он успеет в Нарек до ее окончания. Оглядел пещерку, положил нож сбоку от алтаря. Огниво и кремь лежали на месте. Перекрестился и сошел на дорогу.

И вот тут-то прямо перед ним воздвиглась Богородица. Голова ее закрывала солнце, края которого служили ей нимбом. Нет, Григор не отвел взгляда от великанши, не пал на колени. Смирненно, но и упорно он разглядывал видение. У Богородицы было лицо Лейли — той, когдатойшей, изможденной голодом, и той, что висит в привратной арке Нарека. Одежда была пестротканой, какие любила носить Лейли. На руках видение держало Младенца. И хотя Он не дотягивался головой до солнца, вокруг Его головы также сиял золотой нимб. В лицо Младенца не посмел взглянуться Григор. Подумалось: «Надо пройти и сквозь это».

И он пошел прямо, прошел сквозь многоцветный подол и, ощутив тонкую прохладу, пошагал в Нарек.

К о н е ц





СОДЕРЖАНИЕ

Коротко о романе	3
<i>Книга первая. АРХИПАСТЫРЬ</i>	7
<i>Книга вторая. СОПРАВИТЕЛЬ</i>	93
<i>Книга третья. СТРАННИК</i>	199
<i>Книга четвертая. ВОИН</i>	319
<i>Книга пятая. БРАТЬЯ</i>	363

Миль Л.
М60 Дух и плоть: Роман/Худож. Вл. Медведев.— М.: СП «Слово», 1993.— 375 с., ил.

ISBN 5—85050—325—0

В романе воображены события истинной жизни классика армянской и мировой литературы Григора Нарекаци. Ученый монах из знатного рода становится безымянным странником. Поэт, богослов, переводчик, суровый аскет и безудержный блудник, он не приемлет насилия; однако, втянутый в передраги, сотрясающие Передний Восток на исходе первого тысячелетия от Р. Х., Григор из Нарека берет оружие и вот уже он — сильный, жестокий воин... Роман утверждает идеи единства прошлого и настоящего, написан просто и ясно и предназначен читателям разной подготовленности.

М 4702010201—073 Без объявл.
Ш67(03)—93

ББК 84Р6



Леонид Миль

ДУХ И ПЛОТЬ

Редактор *М. И. Горчаков*

Художественный редактор *В. Ф. Нефедова*

Технический редактор *Л. И. Витушкина*

Корректоры

Т. И. Томашевская, Г. И. Киселева

Сдано в набор 4.09.92. Подписано в печать 21.12.92. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 23,5. Усл. кр.-отт. 25,25. Уч.-изд. л. 25,89. Тираж 3000 экз. Заказ № 292.
СП «Слово» 119034, Москва, Остоженка, 41.

Книжная фабрика № 1 Министерства печати и информации России. 144003, г. Электросталь Московской обл., ул. Тевосяна, 25.



Свою первую и единственную прозу — роман «Дух и плоть» — Леонид Миль завершил к своему пятидесятилетию. Книгу ждала нелегкая судьба — общая судьба неординарности, масштабных характеров, сложных духовных поисков, психологической глубины. Одобрительно, даже зосторженно встречаемая в редакциях журналов, в издательствах, книга тем не менее увидела свет только сейчас.

Этот роман — главный аргумент писателя в извечном споре о предназначении человека, свободе его, достоинстве, о пути к истине, к Богу оказался последним. Жизнь свою Леонид Миль завершил сам, по своей воле. На письменном столе остались переводы Псалмов и первые главы романа о царе Давиде.

В издательстве «Слово» мы с горечью и сожалением приняли весть о трагическом конце Леонида Милия. Он появился у нас менее года назад и останется в памяти удивительно добрым, искренним человеком и талантливым писателем.





Ex Libris